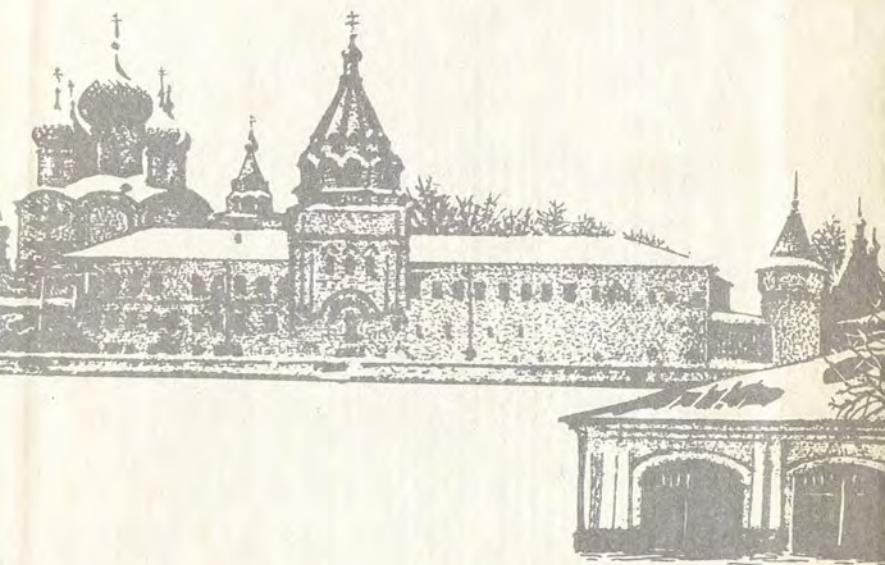


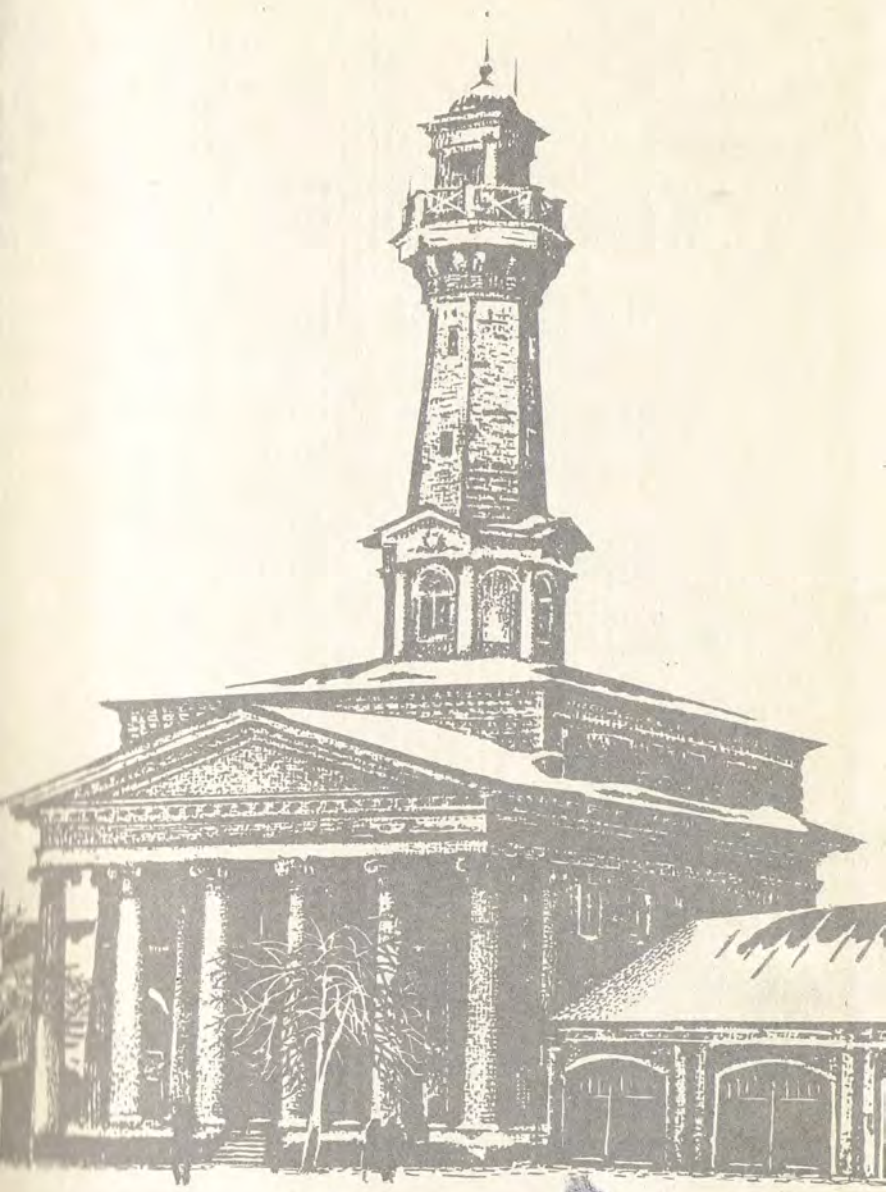
КОСТРОМСКАЯ БЫЛЬ

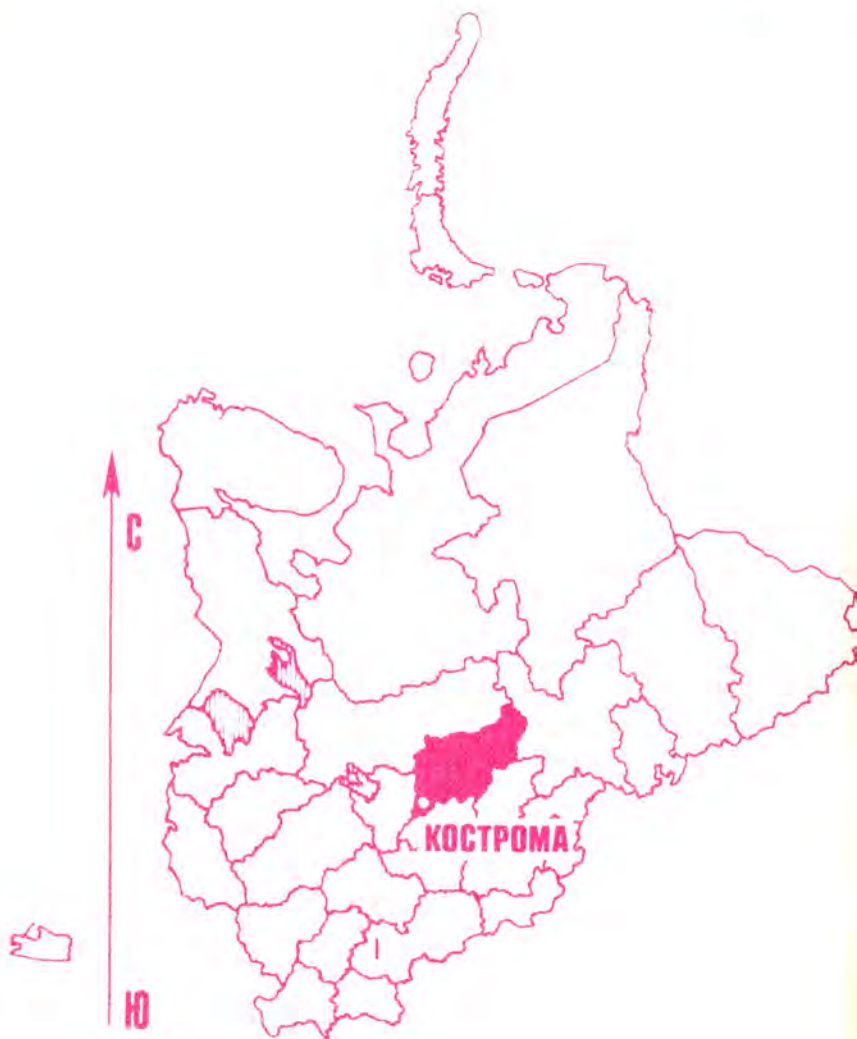




КОСТРОМА







КОСТРОМСКАЯ БЫЛЬ

«Современник»
Москва • 1984

65.9.(2Р34)
К72

Составитель В. К. ХОХЛОВ

Общественная редколлегия
серии «Сердце России»:

С. И. Шуртаков — председатель

В. И. Белов,	В. Д. Поволяев,
И. А. Васильев,	Г. В. Серебряков,
Н. Б. Егоров,	В. А. Ситников,
Г. Б. Комраков,	Я. Г. Ухсай,
В. И. Марченко,	Л. А. Фролов,
	Ю. Д. Черниченко

К $\frac{4702000000-088}{M106(03)-84}$ 4-84

ББК65.9(2Р34)

Ю. Н. БАЛАНДИН,
*член ЦК КПСС, первый секретарь
Костромского обкома КПСС*

ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Костромская земля. Земля потомственных текстильщиков и льноводов, лесорубов и сплавщиков, сыроделов и речников, край замечательных исторических памятников, славных революционных и боевых традиций.

Костромичи любят свой край и гордятся его историей, которая неразрывно связана с историей всей страны. Основанная в 1152 г. на берегах Волги Кострома сыграла заметную роль в защите русских земель от иноземных захватчиков. Костромичи мужественно сражались в битве на Куликовом поле, в рядах ополченцев Минина и Пожарского участвовали в освобождении Москвы от интервентов; костромские и галичские полки занесены в летопись воинской доблести в Отечественной войне 1812 г. На костромской земле совершил свой легендарный подвиг крестьянин-патриот земли русской Иван Сусанин. На всех этапах революционной борьбы костромичи находились в первых рядах российского пролетариата, самоотверженно боролись за народное дело.

Славную страницу в историю борьбы российского пролетариата против самодержавия и буржуазии вписали костромские текстильщики. В июле 1905 г. здесь был создан второй в России после Иваново-Вознесенска Совет рабочих депутатов. С 1907 г. в Костроме издается большевистская газета «Северный рабочий» (ныне — «Северная правда»).

В октябрьские дни 1917 г. рабочие и солдаты Костромы решительно встали на сторону большевиков и вслед за Петроградом установили Советскую власть.

Героически сражались костромичи на фронтах Великой Отечественной войны. Более 160 воинов удостоены звания Героя Советского Союза, тридцать стали полными кавалерами ордена Славы. Символом солдатской стойкости, верности Отчизне навечно

и памяти народной останется подвиг Героя Советского Союза костромича Юрия Смирнова.

Гордятся костромичи и культурным наследием родного края. Михайловское, Ясная Поляна, Константиново — эти названия хорошо известны и дороги каждому. Столь же дорого всем нам и Щельяково, где долгие годы жил и творил великий русский драматург Александр Николаевич Островский. С костромским краем тесно связаны жизнь и творчество писателей Н. А. Некрасова, А. Ф. Нисемского, поэта-декабриста П. А. Катенина. Здесь родились известный русский поэт А. Н. Плещеев, основатель первого русского театра Ф. Г. Волков, исследователь Дальнего Востока Г. И. Невельской...

В глубь веков уходит история костромской земли. Но подлинное экономическое и культурное развитие получила она после Великой Октябрьской социалистической революции.

Сегодня в системе народного хозяйства страны Костромская область — развитый индустриальный и сельскохозяйственный район Российской Федерации. Кроме традиционно сложившихся отраслей промышленности — легкой и деревообрабатывающей, быстрыми темпами, особенно в последнее десятилетие, развиваются электроэнергетика, машиностроение, станкостроение, радиоэлектроника, биохимия. В строй действующих вступили одна из крупнейших в стране тепловых электростанций — Костромская ГРЭС, заводы автоматических линий, деревообрабатывающих станков, «Мотордеталь», Мантуровский биохимический и ряд других предприятий, находящихся, можно сказать, на переднем крае технического прогресса.

Предприятия области производит экскаваторы различных типов, автоматические линии, оборудование для текстильной и химической промышленности, комплектующие детали для КамАЗа, Горьковского автомобильного и Ярославского моторного заводов. Станки и машины, ткани и продукция деревообработки, изготовленные костромскими предприятиями, направляются во все концы страны. Изделия экспортируются в различные страны мира.

Рост экономического потенциала области — процесс, разумеется, не стихийный; стоит за ним целенаправленная работа областной партийной организации, осуществляющей разработанные ЦК КПСС меры по совершенствованию экономической, социально-политической и идеологической сфер общественной жизни.

И в сельском хозяйстве области наметились устойчивые положительные тенденции. Возросло производство зерна, мяса, молока, на треть увеличились валовые сборы картофеля и льноволокна. Выполняются планы государственных закупок всех ос-

новых сельскохозяйственных культур. Усилия областной партийной организации и всех тружеников села направлены сейчас на всемерную интенсификацию сельскохозяйственного производства. Конечно, без крупных капитальных вложений, которые поступают по программе развития Нечерноземья, без механизации, химизации, мелиорации земель трудно было бы решать проблемы земледелия и животноводства. Но и сама организация сельскохозяйственного труда имеет немаловажное значение. Вот один из примеров. В трудном для земледелия лесном Антроповском районе было создано 17 звеньев на основе коллективного подряда. Передано им было 40 процентов пашни района. Чудес в земледелии, конечно, не бывает, там все дается упорным продуманным трудом. И все же результат обнадеживает: возросла производительность труда в подрядных звеньях, укрепилась дисциплина, повысились урожайность и производство зерна, картофеля, льноволокна. И это далеко не в передовом районе.

Хорошая организация производства в лучших хозяйствах области, таких, как колхоз имени 50-летия СССР, племенной завод «Караваево», опытно-производственное хозяйство «Минское», совхоз «Костромской», способствовали тому, что урожайность зерновых достигла 35-40 центнеров с гектара, а надой молока — четырех-пяти тысяч килограммов от коровы. Колхозы «Родина», «Знамя труда» Красносельского, имени 50-летия СССР Нерехтского, имени Ленина Кадыйского района собирают по 6—8 центнеров льноволокна с гектара. Увеличивают производство продукции и многие другие хозяйства, стремясь внести достойный вклад в Продовольственную программу страны.

В центре нашего внимания решение социальных задач, повышение материального благосостояния трудящихся области. Введены в строй миллионы квадратных метров жилья, новые больницы, дошкольные учреждения, поликлиники, заметно вырос объем товарооборота и бытовых услуг, построено более двух тысяч километров дорог с твердым покрытием.

Говоря об экономических и социальных изменениях, происходящих в нашей области, мы видим за ними, в первую очередь, человека — труженика и творца, воспитанного Коммунистической партией на славных революционных, трудовых и боевых традициях советского народа. Тысячи рабочих и колхозников, специалистов народного хозяйства показывают пример творческого, новаторского подхода к работе, добиваются высоких производственных показателей.

В связи с этим хотелось бы несколько слов сказать о богатых трудовых традициях области. Далеко за пределами костромской земли прославились имена советского инженера И. Д. Зворы-

кина — автора многих прядильных машин для льняной промышленности; создателей костромской породы крупного рогатого скота С. И. Штеймана, В. А. Шаумяна; П. А. Малининой; бригадира первой в стране женской бригады лесозаготовителей, показавшей рекордные нормы выработки, Ефросиньи Дюковой. В послевоенные годы более двадцати тысяч костромичей за трудовые подвиги награждены орденами и медалями СССР, лучшие из лучших удостоены высокого звания Героя Социалистического Труда.

За успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, область награждена орденом Ленина, а город Кострома — орденом Октябрьской Революции.

Всеми средствами идеологического воздействия областная партийная организация воспитывает в рабочих коллективах политическую сознательность, трудовую активность, экономическое мышление. И ответная инициатива рождает подлинных героев. Всей стране стало известно имя знатной ткачихи, Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной премии В. Н. Плетневой. Славные традиции поваторов производства продолжают Герой Социалистического Труда токарь завод «Текстильмаш» А. Л. Матвеев, кузнец завода «Рабочий металлист» А. В. Мохов, столяр-сборщик объединения «Шарьядрев» В. В. Хабаров, бригадир строителей территориального управления строительства, Герой Социалистического Труда, заслуженный строитель РСФСР З. А. Смирнова, мастера машинного доения совхоза «Костромской» Г. В. Абрахова и З. К. Сироткина и многие другие.

Различными отраслями народного хозяйства области руководят опытные, хорошо знающие свое дело командиры производства. Добрый след в трудовой летописи костромской земли оставили Герой Социалистического Труда, председатель колхоза имени 50-летия СССР Л. М. Малков, директор совхоза «Костромской» Г. И. Косопанов, председатель колхоза имени В. И. Ленина Кадыйского района В. П. Серов, директор льнокомбината имени И. Д. Зворыкина Ф. А. Головкин, начальник ПМК-389 управления «Костромаоблсельстрой» Н. Д. Смирнов.

Примеру коммунистов, передовиков производства следует молодежь. В дни работы XXV съезда КПСС среди выпускников средних школ области зародилось подлинно массовое движение под девизом «С аттестатом зрелости, с комсомольской путевкой — в Нечерноземье!» Эта патриотическая инициатива получила высокую оценку Центрального Комитета КПСС.

Обком КПСС, партийные организации ведут последовательную работу по трудовому воспитанию школьников, ориентируют их на сельскохозяйственные профессии. Свыше 90 процентов

выпускников сельских школ вместе со свидетельствами о среднем образовании стали получать квалификационные удостоверения тракториста-машиниста, оператора машинного доения, шофера.

Мне много приходилось встречаться с выпускниками сельских школ, оставшимися работать в колхозах и совхозах. И каждая такая встреча убеждала, что у молодежи отличное настроение, что она вступает в жизнь с чувством глубокого оптимизма и удовлетворенности, сознанием общественного и гражданского долга — отдать свои силы дальнейшему подъему сельского хозяйства, успешному выполнению Продовольственной программы, расцвету родного края.

Как и во всей Советской стране, в Костромской области за годы Советской власти произошли коренные изменения в культурной жизни, созданы условия для всестороннего и гармоничного развития личности. В краю, где до революции две трети тружеников было неграмотными, сейчас — около тысячи общеобразовательных школ, развитая сеть профессионально-технических училищ, двадцать пять средних специальных и три высших учебных заведения, готовящих для народного хозяйства специалистов по 32 специальностям. Расширяется сеть культурно-просветительных учреждений; работают два профессиональных и сорок народных театров, открыто около 900 Домов культуры и клубов, более полутора тысяч библиотек с фондом восемь миллионов книг; население обслуживает 870 киноустановок. В коллективах художественной самодеятельности занимается около 80 тысяч человек. Это ли не показатель духовного и культурного роста трудящихся?

Хорошей традицией стали встречи театра с коллективами промышленных предприятий, колхозов и совхозов. Утвердилась такая форма работы, как недели театра, музыки, изобразительного искусства для различных категорий трудящихся, детей и молодежи. На предприятиях, в колхозах и совхозах области ежегодно организуются художественные выставки, в ряде районов открыты постоянно действующие картинные галереи. Артисты, художники, писатели, работники музеев, кино активно участвуют в политико-воспитательной работе, пропаганде художественных ценностей, оказывают помощь в развитии художественной самодеятельности, проводят творческие отчеты. Все это способствует укреплению связей, развитию содружества творческой интеллигенции с производственными коллективами, тому, чтобы понятия труд и творчество постоянно шли рядом, питая и дополняя друг друга.

Важной вехой в жизни нашей страны стал XXVI съезд КПСС. Он определил долговременную стратегию партии на 80-е годы, стратегию, нацеленную на то, чтобы труд советских людей

приносил все более ощутимые результаты, чтобы наш социалистический строй полнее раскрывал свои созидательные возможности. Труженики Костромской области вошли в хороший трудовой ритм. Теперь, как определено на декабрьском (1983 года) Пленуме ЦК КПСС, самое важное — не потерять набранный темп, общий положительный настрой на дела. Успешное достижение поставленных целей, как известно, зависит от вклада каждого коллектива, от усилий каждого труженика.

Есть немало резервов и стимулов, способствующих росту трудовой активности, укреплению дисциплины, а в конечном итоге повышению производительности труда и нравственному формированию личности строителя нового общества.

Особое место среди таких стимулов занимает воспитание советских людей в духе любви к своей великой социалистической Родине.

Костромская партийная организация стремится к тому, чтобы подрастающее поколение знало историю своей земли, свято хранило верность ее героическим боевым и трудовым традициям.

Хотелось бы надеяться, что предлагаемая книга хорошо послужит этому большому благородному делу.



ОТ ВСЕЙ ДУШИ

НИКОЛАЙ ТРЯПКИН

Есть город на свете. Зовут Кострома.
Там крепко из бревен сидят терема.
Там лес бородатый, как дед Зимогор,
Сосновой дрючиной стучится во двор.

Там рыжие лоси в большой снегопад
На дровнях по школам развозят ребят.
Там царь Берендей на проспекте живет,
А сказки, что бабки, сидят у ворот.



*Вид Костромы
из Заволжья*

Сидят, и судачат, и глядят внучат.
А сойки вверху на антеннах кричат,
И пахнет на Волге брусникой и мхом...
А впрочем, я не был во граде таком.

Но в думах пречудных, сквозь песельный сон,
Я слышу лесов перегуд-перезвон,
И песня бежит вересковой тропой,
И чую, и верю: есть город такой!

Твержу: Кострома, Кострома, Кострома,
И вижу — над Волгой цветут терема,
И лес бородатый, как дед Зимогор,
Сосновой дрючиной стучится во двор...

НИКОЛАЙ СОКОЛОВ

Город — ткач, прядильщик и отбельщик.
Город — металлист и обувщик.



Мукомол. Строитель. Корабельщик.
Лесопил. Фанерщик. Плотовщик.

Не кичась собою от рожденья,
Пустомель он не терпел вовек:
По делам и по происхожденью —
Работяга, русский человек.

МАРИЯ КОМИССАРОВА

Вот они какие,
Костромские —
Женщины, подростки, мужики;
Деревенские и городские,
Волгари, волжане, земляки;

Плотники, солдаты, хлебобобы —
Костромской народ чеканной пробы,
Звонкий да каленный на углях,
Тертый, как зерно на жерновах,
Разумом прямой, а не в объезд,
С ним хлеб-соль водить не надоест.

Слово скажет —
Как узлом завяжет, —
Так умеют моряки вязать.
Дай, он скажет, мне два дела в руки,
Мало двух — я третье прихвачу!
Не заказаны ему теперь науки,
Океан и космос — по плечу!..
Вот они какие,
Костромские!

ВИКТОР БОКОВ

Речки Мера и Сендега,
Покша и Күекша,
Костромские разливы,
луга и леса,
Возле вас беззаботно
кукушкам кукуется,
Мелким пташкам поется
на все голоса.

Я бродил по тропинкам
и стежкам Некрасова,
В Шоды ездил, на Мезе-реке
побывал.
Видел я и людей и природу
прекрасную,
И для песен слова в Костроме
добывал.

Заглянул в Щельково,
в долину Ярилину,
Постоял у недремлющего
родника.
Навестил заодно
и Прасковью Малинину
И спросил у нее:
— Как надой молока?

Как доярки? — Да вот они,
спрашивай сам уж! —
А доярки прижались стыдливо
к дверям.
Я шутить: — Ненаглядные,
скоро ли замуж?
— Скоро, скоро! Но только не нам —
дочерям!

Костромская сторонушка,
заводи синие,
Полевые, речные, лесные края.
Лен цветущий, луга,
комбинаты текстильные,
Вас нельзя не любить: вы —
Россия моя!

СЕРГЕЙ МАРКОВ

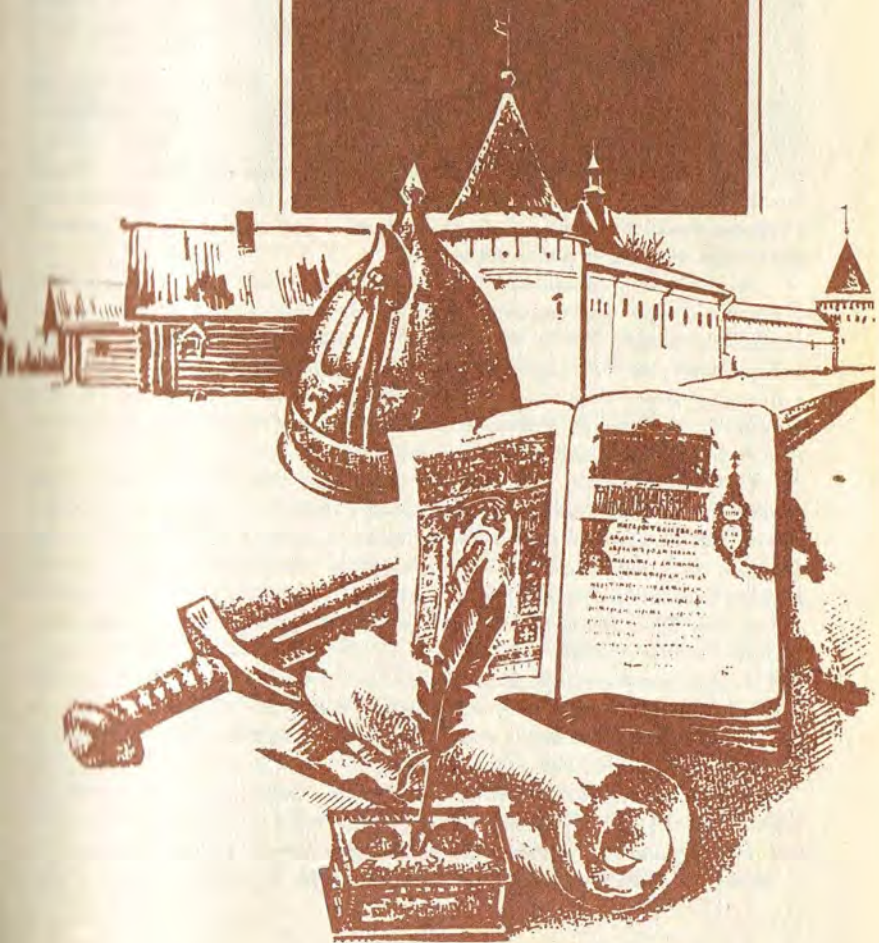
Всю жизнь я верен звуку «о» —
На то и костромич!
Он — речи крепкое звено,
Призыв и древний клич.

И, говор предков сохранив,
Я берегу слова:
«Посад», «полома», «кологрив», —
Покуда речь жива.

Мне не к лицу пустая спесь,
И я бы слышать рад,
Как говорили чужь и весь
Лет восемьсот назад.

На свете тот народ велик,
Что слово бережет,
И чем древней его язык,
Тем дольше он живет.

ИСТОКИ



Пока нет достаточно точных данных о древнейших поселениях в районе слияния реки Костромы с Волгой. Зато достоверно известно, что уже в начале первого тысячелетия, когда в Верхнем Поволжье сложился племенной союз, известный под названием меря, территория нынешнего города стала стойбищем большого рода.

А позднее сюда начали переселяться славяне. По всей вероятности, это были в основном жители среднего Поднепровья. В подтверждение тому местные краеведы приводят некоторые факты: в частности, напоминают, что небольшую речку, впадавшую здесь в Волгу, переселенцы назвали Сулой, по имени притока Днепра. Постепенно Кострома превратилась в укрепленное поселение и долгое время была последним славянским форпостом вниз по течению Волги.

Дальнейшему развитию города мешало воинственное государство волжских болгар: костромская земля нередко становилась ареной ожесточенных сражений. Чтобы обезопасить ее, владими́ро-суздальские князья, подчинившие первоначально костромскую вольницу, начали возводить в Костроме более солидные укрепления. Должно быть, это и имел в виду историк В. Н. Татищев, указывая, что город построен в 1152 г., хотя в действительности он существовал намного раньше.

Кострома страдала не только от вражеских нападений, немало вреда приносили ей и княжеские междоусобицы. Так, в 1213 г. город был сожжен ростовским князем Константином, который разгневался на жителей за то, что они не поддержали его притязаний на великокняжеский престол. К слову сказать, это было первым упоминанием о Костроме в письменных источниках (удаленные от традиционных культурных центров окраинные лесные города редко привлекали к себе внимание летописцев). В XII—XIII вв. Кострома была уже значительным городом и важным торговым пунктом: здесь возникла одна из немногих на Руси мастерских по изготовлению стеклянных браслетов, пользовавшихся широким спросом у населения, процветали ювелирное, косторезное и кожевенное ремесла.

Но расцвет Костромы, как и других российских городов, продолжался недолго: близилось нашествие татаро-монгольских орд. В феврале 1238 г. они опустошили и выжгли Кострому. Ополчение горожан, влившееся в состав владими́ро-суздальской рати, погибло в битве на реке Сити.



Стела
при въезде
в город



Мемориальная доска
на камне-памятнике

После ухода врага жители, которые успели укрыться в лесах, начали отстраивать город заново. Сюда стекалось население из южных окраин Руси, надеясь спастись от татарских набегов.

В 1262 г. в городах северо-восточной Руси вспыхнуло восстание против Золотой Орды, и костромичи приняли в нём активное участие. Для подавления «мятежа» хан выслал сильную рать. Завтавив Ростов и Ярославль, каратели жестоко расправились с повстанцами. Летом 1264 г. ханские полчища двинулись на Кострому. Узнав об этом, горожане созвали вече и решили выступить против поработителей. Сражение произошло в окрестностях Костромы, у Святого озера. Не ожидавшие встретить серьезного сопротивления, враги растерялись. Атакуемые костромичами, они были сброшены в озеро, на другом берегу которого находилась русская засада.

После этой победы повысился престиж Костромы и ее влияние заметно усилилось. Увеличился приток населения, в городе застраиваются новые районы, в частности на Нижней Дебре и по берегам реки Запрудни; возводятся каменные здания, сооружаются укрепления. В 1271 г. костромской князь Василий Ярославич, по прозвищу Квашня, младший брат Александра Невского, занял великокняжеский престол, но до своей смерти (1276 г.) продолжал жить в Костроме. В то же время все большее



*Камень-памятник
в ознаменование 800-летия Костромы*

влияние приобретала сильная боярская группировка. Это вызывало недовольство свободолюбивых костромских низов. В 1304 г., по свидетельству летописцев, горожане восстали против бояр и убили наиболее ненавистных из них.

В XIV—XV вв. Кострома продолжала играть активную роль в русском освободительном движении. В 1360 г. костромичи выступили инициаторами похода на золотоордынские города Поволжья, а в 1380 г. костромской отряд под водительством Ивана Родионовича Квашии участвовал в Куликовской битве. Около середины XIV в. Кострома была окончательно присоединена к Московскому великому княжеству и стала опорным пунктом русского государства в Поволжье. В это время был выстроен костромской кремль с дубовыми стенами.

Позднее, особенно после покорения Казанского ханства, военное значение Костромы несколько ослабло, но одновременно растет ее роль как крупного центра ремесла и торговли. Здешние купцы становятся посредниками в транзитной торговле, сюда поступают товары из Средней Азии, из Персии, учреждается английская фактория. Город расширяется, на окраинах его возникают новые слободы. К середине XVII века он уже был третьим по величине (после Москвы и Ярославля) городом в России. А с 1797 г. Кострома — центр губернии.

Возникновение губернских учреждений вызвало потребность в строительстве гражданских зданий. Генеральный план Костромы был разработан и утвержден в 1784 г. Город спланирован по четкой веерной схеме, где улицы радиальных направлений сходятся к центральной подковообразной площади, открытой в сторону Волги. При застройке планировка была почти полностью осуществлена. Этому способствовал случившийся в 1773 г. пожар, во время которого выгорели все деревянные постройки в кремле и примыкавшем к кремлю Новом городе, а также значительная часть посада.

С середины XIX в. центр строительства перемещается в противоположный окраинный район города — на берега реки Запрудни. В 1851 г. местность облюбовали приезжие московские льноторговцы Зотов, Мизин и Кашин, решившие поставить здесь на арендованной у церковного причта земле прядильные и ткацкие фабрики. Через двадцать лет облик Запрудни совершенно преобразился: возник многолюдный рабочий поселок, за которым возвышались три крупные фабрики (ныне «Искра Октября», «Знамя труда» и льнокомбинат имени В. И. Ленина). После ввода их в действие Кострома превратилась в крупнейший центр русской полотняной промышленности.

ПАВЕЛ СВИНЬИН

Творчество Павла Петровича Свиньина, писателя, этнографа, историка, археолога, художника, относится к первой половине XIX в. П. П. Свиньин (1788—1839) много путешествовал, результатом чего явилось несколько книг. В сборнике очерков «Картины России и быт разноплеменных ея народов» он отдал добрую дань родному городу Галичу, снабдив описание его собственными рисунками. Определенный интерес представляют и публикуемые здесь с некоторыми сокращениями очерки, посвященные Костроме начала XIX в., подвигу Ивана Сусанина, истории Ипатьевского монастыря. Естественно, что и литературный стиль очерков, и сам подход к освещению событий в полной мере соответствуют тому времени, когда была написана книга.

ЗЕМЛЯ СУСАНИНА¹

ИПАТЬЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Первою достопамятностью в Костроме есть, неоспоримо, Ипатьевский монастырь...

Монастырь лежит на крутом берегу реки Костромы, где вливает она в величественную Волгу быстрые свои воды, далеко заметные в ней отдельную струю сизого цвета. Реки сии при весеннем разливе представляются необозримым морем, из которого возвышается Ипатьевская обитель. Сад, разбитый по верху болверка, построенного для предохранения от напору льда, и кажущийся воздушным, придает не мало красоты грозным древним башням и огромному зданию, огражденному зубчатыми стенами...

Основателем Ипатьевского монастыря был татарский мурза Чет, бежавший в Россию с детьми своими и многими другими мурзами в 1330 году из Золотой Орды, обуреваемой междоусобными мятежами. Плывя вверх по Волге и привлеченный красотою пленительнаго местоположения, он раскинул здесь шатры свои для отдыха. Но в то же время его постигла тяжкая болезнь: он уже чувствовал близость смерти, когда представилась ему в чудесном видении богоматерь со святым мучеником Ипатием; больной дал обет принять христианскую веру, если получит облегчение, исцелился и поспешил в Москву принять от руки Петра Митрополита святое крещение с именем Захария, а в свиде-

¹ Главы из книги «Картины России и быт разноплеменных ея народов». С.-Петербург, 1839 г.

тельство благодарности промыслу божию построил здесь деревянную церковь Живоначальной Троицы, с приделом священномученика Ипатия. Впоследствии один из потомков татарского князя, боярин Дмитрий Годунов, в 1586 году, в царствование Феодора Иоанновича, вместо деревянной церкви построил каменную с пятью золотыми главами, а потом каменный же теплый Рождественский собор с трапезою и каменную ограду вокруг монастыря с настоятельскими кельями и святыми воротами. Так основалась обитель, издревле именовавшаяся Свято-Троицкою Ипатьевскою.

Во вкладной монастырской книге значится, что на сооружение сей великолепной ограды конюшим Дмитрием Ивановичем дано 815 рублей. Сумма важная в то время, и сверх того, им же и братом его, боярином Иваном Ивановичем, принесены в дар многие сокровища, доказывающие, сколь великими богатствами обладала сия фамилия. Золотой оклад на одной из местных икон того времени, осыпанный крупным жемчугом и разными драгоценными камнями, по нынешней цене стоит не менее 100 000 рублей. Три шведские золотые медали на лентах у сего образа суть дар царя Михаила Федоровича, и, вероятно, за первый мир, заключенный им с Швециею в 1617 году, февраля 17-го дня, в Столбовой; мир, успокоивший Россию по долгих смутах и положивший основание ее возрождения. Щедрые Годуновы принесли в дар сей обители около 90 разных икон, из коих 45 в золотых окладах, а остальные в серебряных. Сверх того, подарены боярином Дмитрием Годуновым драгоценная плащаница, вышитая жемчугом и стоящая более 50 000 рублей; золотые сосуды, со всеми утварями, украшенные бурмитскими зернами и драгоценными камнями, весом 8 фунтов 42 золотника; две большие серебряные чаши для водосвящения в 11 фунт. весом, в вечный поминок по своих женах; серебряный чеканный престол с покровом, украшенным жемчугом; рукописное Евангелие редкой красоты, обложенное серебром и драгоценными камнями и которое Дмитрий дал в обитель за свое здравие и за свою жену Матрену, «а Бог по душу сошлет, и по своей душе и по своих родителях для вечных благ». Братом его Иваном Ивановичем подарены серебряные сосуды в 6 фунтов и печатное Евангелие в богато украшенном окладе. Многие из бояр рода Годуновых, в том числе отец и мать Бориса Годунова, Стефанида, во инокинях Сундулея, усердствуя к сему месту, завещали положить здесь бранные свои останки и погребены под нижним сводом Рождественской церкви...

Нынешний Троицкий собор построен в 1652 году, по повелительной грамоте царя Алексея Михайловича монастырским иждивением, на месте старого, разрушенного страшным вихрем, бывшим в 1649 году января 29 дня. Старинная живопись по стенам уцелела донныне, но иконостас переделан, в 1758 году, по образцу Успенского собора. Под нижним сводом сего собора устроена, в 1768 году, церковь во имя св. Лазаря; весьма замечательно, что в ней нет ничего деревянного: все сделано из камня, даже самый иконостас. Стены сей церкви расписаны выразительными живописными изображениями, относящимися к божественной молитве: Отче наш. В преддверии, служащем папертью для Лазаревой церкви, скромный памятник показывает место, где погребен архипастырь Дамаскин, прославившийся красноречием, деятельною и добродетельною жизнью.

Им же была перестроена и распространена теплая соборная Рождественская церковь, в 1760 году. Епископ Евгений впоследствии устроил во внутренности сего собора десять колонн ионического ордена, для поддержания пространныго потолка, что придало красоты и самому храму.

Монастырская ограда, еще при царе Михаиле Федоровиче, распространена к западу почти на 500 сажен и украшена тремя башнями, из коих под среднею устроены врата на том самом месте, откуда выехал юный монарх в Москву, для принятия венца царского.

Сие достопамятное происшествие послужит навсегда славою Ипатьевской обители. Воспоминание о нем драгоценно для Русского сердца. Откинем завесу времен минувших, чтоб вполне насладиться им: перенесемся мыслию в 1612 год.

Спасители отечества, Минин, Пожарский и Палицын, уже освободили Москву от неистовых врагов; но Россия не была еще успокоена...

Поляки и литовцы, разорявшие Россию... умыслили на злодейство и послали сильный отряд наездников... Время было ненастное, холодное, начинало смеркаться, когда враги встретили крестьянина Ивана Сусанина и, суля ему золото, взяли его себе проводником к поместью Романовых. Сусанин догадался о умысле злодеев и, показывая, что с радостью готов выполнить их желание, послал между тем своего зятя известить Михаила о предстоящей опасности, а сам повел их лесом в противную сторону:

Идут, а снег им по колени,
И к вечеру уж близок день,



Памятник Ивану Сусаниuku

Устали Ляхи, слышны пени,
Не видно сел, ни деревень;
В сердцах таится подозренье,
Во взорах их ожесточенье.
Куда ведешь ты нас, седой?
Гляди, весь лес сплелся стеной!
Нет ни тропинки, ни дороги,
В какую глушь заведены?
Одни медвежьи тут берлоги
Чупыжником завалены!
«Путь долог, кажется, родные,
Тому, кто в первый раз идет;
Но волосы мои седые
Вам знак, что я найду здесь след».
Повел их в чашу, меж елями,

Здесь хлещет лес в глаза ветвями,
И слышен меж нагих деревьев
Крик птиц ночных, звериный рев;
Метель клубится в ночи темной,
Холодный зимний ветер выл;
В дубраве, снегом занесенной,
Волк за добычею следил,
И совы зоркие летали;
Но вот со всех сторон овраг.
«Куда? — Сусанину вскричали,
Куда ты нас завел, злой враг?
Погибнешь ты!» — «Когда хотите,
Вот голова моя — рубите!..
Мне смерть близка, я знаю сам,
За злато ж душу не отдам!
У русских не найдешь измены». —
И пал Сусанин пораженный!..

Так передал в прекрасных стихах подвиг Сусанина сельский поэт из Русских крестьян Слепушкин...

...Время разрушило гробницу, и читатель отечественных доблестей не найдет уже места, где покоится прах Сусанина. Но в честь его воздвигается памятник в Костроме, и подвиг его, избранный предметом для великолепного народного зрелища «Жизнь за царя»¹, оживлен перед глазами потомства²...

Кострома

Приложенный при сем вид Костромы снят от Татарской слободы. Хотя он не дает полного понятия о величественном положении города, расположенного полукружием по откосу высокого берега, изрытого глубокими оврагами, но, выказывая великолепный собор с его вызолоченными главами, глядящимися в зеркало вод широкой Волги, знакомит и с живописным достопамятным утесом, теперь служащим ему достаточным подножием, а в древности нередко представлявшим в ограде своей убежище для Великих Князей Московских, при пагубных набегах на Россию хищных татар. Таким образом, в 1382 году, великий князь Димитрий

¹ Превосходная музыка для сей оперы составлена из Русских народных напевов известным знатоком и любителем музыки М. И. Глинкою.

² Как известно, опера Глинки «Иван Сусанин» по цензурным условиям была поставлена на сцене под названием «Жизнь за царя». (Ред.)



Вид Костромы (Рис. П. Свинына)

Иоаннович Донской укрывался в стенах Костромского кремля, при нашествии Тохтамыша, а великий князь Висилий Дмитриевич, в 1408 году, от грозного Эдигея...

Кострома также, подобно другим уделам русским, временем возвышалась, временем упадала. В 1272 году, при княжении Василия Ярославича, она даже величалась именем столицы Русской земли, а при первом разделении России на губернии, в 1708 году, причислена была к Московской и так оставалась до 1715 года, т. е. до открытия Костромской губернии¹.

Если Кострома должна уступить Ярославлю, а может быть, и некоторым другим приволжским городам в общем смысле правильности и красоты строения, то, конечно, ни один из них не имеет столь обширной, великолепной площади, какова Сусанинская. Вступая на нее с пристани по едва заметной отлогости, открываешь в переднем плане несколько огромных зданий, в том числе прекрасный дом г-на Борцова, служивший для приема высочайших посетителей. Здания сии образуют дугу, с одной стороны ограничивающуюся

¹ Здесь П. П. Свиныным допущена неточность: Костромская губерния была образована в 1797 г. (Ред.)

боковым фасом огромного дома присутственных мест, с другой красивым портиком каланчи. Между ними в виде лучей пробиваются пять широких прямых поперечных улиц. С сожалением должно заметить, что огромные здания, занимавшие по этим улицам целые кварталы с их фабриками, кладовыми, садами и оранжереями, выстроенные некогда именитым костромским купечеством, приходят час от часу более в разрушение и запустение. Наконец, длинные фасы площади представляют еще два продолговатые четверугольника, заключающие гостинный двор с 300-ми лавок. С передней стороны, обращенной к Волге, начинаются две длинные улицы, из коих одна, Мшанская, продолжается в прямом направлении, как стрела, до Костромы-реки, а другая, обойдя собор и извиваясь по всем направлениям неправильностей горного берега, оканчивается у Татарской слободы, что составит в прямой линии около $4\frac{1}{2}$ верст, между тем как дуга, соединяющая их оконечности и составляющая окружность города с нагорной стороны, более десяти верст.

Изобилие садов, выказывающихся между домами, пестреющими на равностях, открывает много отдельных картин, достойных кисти искусного художника. Но если кто хочет видеть один из прелестнейших ландшафтов, видеть величественную Волгу во всей красоте и деятельности, то пусть переедет на противоположный берег, в Селище, и оттуда полюбуется на город в тихий летний вечер, когда закатывающееся солнце подернет золотом красные, белые, зеленые верхи зданий и садов, и в глубине прозрачных вод выстроится другой волшебный город, совершенное подобие первого, но еще милевиднее, еще живее от движения перебегающих струй. К довершению наслаждения слух нежится вместе с зрением, тысячи звуков долетают с барок, разукрашенных и подвигающихся плавно, как гордые лебеди, по течению быстрой реки. На одной раздается стройная круговая песня, с другой доносится заунывное пение рулевого или трели рожка кручинного доброго молодца, тоскующего об оставленной им далеко подруге, а по зеркалу бездонной Волги, кажется, движется другой подобный флот...

Несмотря на упадок некоторых богатейших купеческих домов, двигавших еще незадолго миллионами, бывших украшением своего полезного сословия, выгодное положение города для производства мелочной промышленности придает еще много жизни и способов городу, особенно с открытием судоходства, когда купечество, богатое и бедное, спешит



Ипатьевский монастырь (Рис. П. Свинына)

отправляться в низовые города за хлебом, купленным заблаговременно, и один перед другим торопится скорее доставить его в Рыбинск, Москву или С.-Петербург. Костромское купечество производит также немалую торговлю холстом, салом, льняным маслом и кожами. Холст закупается по селам и деревенским базарам и на ярмарках, бывающих в самой Костроме, в десятую пятницу, которые преимущественно славятся торгом лошадей. Кожевенные заводы и доселе поддерживают древнюю славу свою достоинством изделий. Рыболовство занимает также не мало рук и капиталов.

В Костроме считается не более 12 000 обоего пола жителей; домов 2 377, в том числе 243 каменных; церквей, кроме двух монастырей, 35.

Кострома уже во 2-й половине XIII века производила сильную торговлю с Новгородом и до позднейших времен считалась одним из самых ремесленных, промышленных городов в государстве; ныне остаются 4 полотняные фабрики и 7 кожевенных, 6 свечных (в том числе 2 восковых), 2 табачных и 1 колокольный завод. Уменьшение фабрик не мало должно приписать недостатку работников. Привычка жителей Костромской Губернии искать в столицах промыс-

лов и ремесленности, отчего во многих деревнях Чухломского, Галичского, Нерехотского и Солигалицкого уездов остаются на лето одни старики, дети и женщины, — преобладает и над жителями губернского города. Петербург наполнен отличными ремесленниками из Костромы во всех родах искусств: оттого не ищите здесь отличного по части художественной; отсутствие богатейших, образованнейших помещиков, проживающих в столицах из видов службы или для удовольствия жизни, заставляет также чувствовать в городе недостаток общественного духа, народного мнения и самостоятельности, а в селах, управляемых наемниками, не заметно того совершенства в сельском хозяйстве, которое давно разлилось по соседственным губерниям.

Любопытство призывает путешественника к важнейшей достопамятности города, к первому украшению Костромы — к обозрению собора. Мы уже сказали, что на сем месте, в древние времена, существовала неприступная крепость; остатки рва и вала, уцелевшие с восточной стороны, дают понятие, сколь глубок был первый и высок второй. С севера и до запада не осталось малейших следов от них: на месте их разведен прекрасный, тенистый бульвар для общественного гулянья. На самой оконечности крепостной площадки, висящей, так сказать, над Волгою, возвышается величественное здание Успенского собора...

В одно время положено было основание и теплому Богоявленскому собору, на месте, некогда занятом Крестовоздвиженским девичьим монастырем. Великолепный храм сей, об одной главе... свидетельствует и об искусстве зодчего, которое тем замечательнее, что принадлежит не знаменитому художнику, а простому гражданину Солигалицкому, Воротилову, питомцу природы, вдохнувшей в него изящный вкус при верном взгляде и удивительной точности в математических соображениях. Сии достоинства украшались еще необыкновенным трудолюбием и бескорытием. Разочтясь с работниками по окончании построения собора и не менее огромной колокольни его в 30 сажень вышины, Воротилов остался без копейки. Преосвященный Симон, узнав об этом, приказал выдать зодчему в прибавку 15 рублей, «дабы не явился тощ в дом свой по толь тяжелой работе и знаменитом подряде», и бескорыстный зодчий в малой награде нашел для себя великое утешение.

В куполе помещается соборная библиотека, содержащая более 5000 книг и беспрестанно умножающаяся покупкою лучших творений. Придите сюда, чтоб провести несколько

приятнейших минут: вид на город, на Волгу, на окрестности доставит несравненное наслаждение самому хладнокровному, равнодушному созерцателю красот величественной природы. При соборах устроены два больших дома, один для приезда архиерея и жительства протоиерея, в другом помещается уездное духовное училище...

В Костроме находится еще два монастыря. мужеский Богоявленский и женский Крестовоздвиженский, переведенный от собора на место упраздненного Анастасиина, основанного первою супругою Иоанна Грозного, царицею Анастасиею, и где впоследствии было архиерейское подворье.

В Богоявленском монастыре помещается семинария, находящаяся в самом цветущем состоянии, и библиотека, содержащая много редких книг, особенно богословских. Высокая стена монастырская с разнохарактерными башнями представляет также один из уцелевших образцов древнего укрепления городов и монастырей, подходящий зодчеством к циклопическому, ибо и здесь также целые груды диких камней взгромождены на высоты и держатся собственно своею тяжестью; вековые деревья выросли на зубцах и бойницах. Позади ограды замечательны огромные кедры, осеняющие келью настоятельскую. За монастырем сим было более 6000 душ...

Костромская гимназия может также быть признанною в числе отличных учебных заведений сего рода в России; но для читателя природного гения она еще заметна и тем, что в ней образуется тот необыкновенный мальчик-математик, Рагозинский, который, на 11-м году возраста, дивил и приводил в недоумение быстротою своих соображений знаменитейших математиков.

Не оставьте Костромы, не погуляв в бору, чернеющем у Татарской слободы, нередко призывающем городских жителей для отдохновения под тению вековых сосен, осеняющих белые чалмы на памятниках мусульман. Возьмите с перевоза лодку с четырьмя мощными гребцами, и не заметите, как перелетят с вами пять верст по течению быстрой Волги.

Татары, населяющие сию слободу, суть потомки казанских выходцев, переселенных сюда царем Иоанном Васильевичем. С похвальным постоянством сохраняют они не только свою веру, но и язык свой, обычаи и связь с прежним своим отечеством. Главный торг их — товарами, получаемыми из Казани; сверх того, промышляют они меною лошадей, борзых и гончих собак, быв страстными любителями псовой охоты. Жены их прядут самые тонкие нитки.

*Костромские
мещане
(Рис.
П. Свинына)*



Костромские мещане

Представляя здесь изображение костромских мещан в народной их одежде, скажем о приверженности их к старине и вообще о достоинствах костромичей, в числе которых многие из самого простого звания возвысились своими дарованиями. При всем том нельзя не заметить, что в наружной образованности между костромичами и ярославцами существует большое различие, несмотря на соседство и близкие их сношения. Хотя молодое поколение обещает перенять людкость и ловкость приветливых, оборотливых соседей,



но еще донныне костромские граждане, в особенности пожилые, с постоянством придерживаются всего старинного и сохраняют не только одежду, но и самый характер своих дедов: степенный, твердый, упорный. Они ближе к природе, зато и природа щедрее к ним, чем ко многим другим. Мало найдется губерний, которые более бы могли похвалиться числом граждан с счастливыми способностями к наукам и изящным искусствам. В Петербурге многие из костромитян пользуются славою первостепенных художников. Таковы два брата Чернецовы. Старший известен по прекрасной картине, представляющей парад, бывший на Царицыном

лугу, в коей на первом плане, в числе сопровождающих государя и зрителей, более 300 портретов замечательных современников весьма искусно выполнены. Меньшой, Никанор, обогащенный изучением роскошнейшей природы Кавказа и Крыма, украшает теперь столицу отличными картинами вроде Вернета и Рейсдаля. Два брата Соловьевы считаются, по справедливости, опасными соперниками Скотти в живописи на клею, но решительно можно сказать, не имеют соперника в изображении цветов. Резчик Захаров затмил своим резцом славившегося дотоле Кретана. Достаточно видеть его резьбу из ясени и дубоваго дерева в Александринском дворце, чтоб отдать ему первенство пред всеми другими в правильности рисунка, нежности и отчетливости его произведений. Физик-механик Соболев продолжает с пользою заниматься очищением огромных петербургских зданий от сырости и зловредных испарений. Укажем еще раз на юного Рагозина, крестьянского сына, оканчивающего свое воспитание... в Костромской гимназии и обещающего много для славы своей отчизны. Природа наделила его самым быстрым соображением. Еще в детстве он удивлял разрешением таких задач, которые могли бы принести честь ученому математику... Гидравлик Шкурин представил несколько моделей изобретенных им подводных судов, где конопат заменяется стружками. Наконец костромичи гордятся своим Красильниковым — природным оптиком, физиком, зодчим.

И действительно, сколько сей почтенный гражданин заслуживает удивления по своим способностям и дарованиям, еще более по той пользе, которую доставляет он обществу и просвещению благородными своими занятиями. У помещиков, в глуши самых отдаленных уездов, найдете электрические машины с любопытными приборами, электрические лампы с электрофорами, микроскопы, камер-обскуры, гидрометры, термометры, компасы, солнечные часы, пантографы, астролябии, хронометры, токарные станки и т. п. — работы Красильникова, дешевые и изящные. Мало этого — красивейшие церкви по городам и селам, мосты и приятной наружности дома выстроены большею частию сим природным зодчим, заслужившим доверие к прочности своих произведений, как художник практический. Войдите в его чистенький, уютный домик, и вы найдете в нем скромного человека, протекшего половину пути жизни посреди любимых своих занятий, окруженного предметами, которые украсили бы и ученый кабинет столичнаго профессора!

КОНДРАТИЙ РЫЛЕЕВ

ИВАН СУСАНИН

«Куда ты ведешь нас?.. не видно ни зги! —
Сусанину с сердцем вскричали враги: —
Мы вязнем и тонем в сугробинах снега;
Нам, знать, не добраться с тобой до ночлега.
Ты сбился, брат, верно, нарочно с пути;
Но тем Михаила тебе не спасти!»

.....

Сусанин ведет их... Вот утро настало,
И солнце сквозь ветки в лесу засияло:
То скроется быстро, то ярко блеснет,
То тускло засветит, то вновь пропадет.
Стоят не шелохнясь и дуб, и береза;
Лишь снег под ногами скрипит от мороза,
Лишь временно ворон, вспорхнув, прошумит,
И дятел дуплистую иву долбит.

Друг за другом идут в молчаньи Сарматы;
Все дале и дале седой их вожатый.
Уж солнце высоко сияет с небес:
Все глуше и диче становится лес!
И вдруг пропадает тропинка пред ними;
И сосны, и ели, ветвями густыми

Склонившись угрюмо до самой земли,
Дебристую стену из сучьев сплели.
Вотще настороже тревожное ухо:
Все в том захолустье и мертво, и глухо...
«Куда ты завел нас?» — Лях старый вскричал.
«Туда, куда нужно!» — Сусанин сказал.

.....

Предателя, мнили, во мне вы нашли:
Их нет и не будет на Русской земли!
В ней каждый отчизну с младенчества любит,
И душу изменой свою не погубит». —
«Злодей! — закричали враги, закипев: —
Умрешь под мечами!» — «Не страшен ваш гнев!
Кто Русский по сердцу, тот бодро и смело
И радостно гибнет за правое дело...»

.....



*Ипатьевский
монастырь
(снято
с реки
Костромы)*



*Крыльцо
Троицкого
собора
1650—1652 гг*

НИКОЛАЙ ЛЕСКОВ

Герой рассказа «Однодум» (1872 г.) — лицо вполне реальное. Действительно, в городе Солигаличе жил такой человек — Александр Афанасьевич Рыжов, по должности — квартальный, по свойствам характера — праведник, по направлению ума — философ. И описанные в рассказе события действительно имели место. Наибольшие подробности о них писателю, по всей видимости, сообщил житель Солигалича купец Кокарев, который был хорошо знаком с Н. С. Лесковым. Не исключено, впрочем, что автор и сам побывал в Солигаличе: состоя в молодости на частной службе, он исколесил всю европейскую часть России.

ОДНОДУМ

Глава первая

В царствование Екатерины II у некоторых приказного рода супругов, по фамилии Рыжовых, родился сын по имени Алексашка. Жило это семейство в Солигаличе, уездном городке Костромской губернии, расположенном при реках Костроме и Светице. Там, по словарю кн. Гагарина, значится семь каменных церквей, два духовные и одно светское училище, семь фабрик и заводов, тридцать семь лавок, три трактира, два питейные дома и 3665 жителей обоего пола. В городе бывают две годовые ярмарки и еженедельные базары; кроме того, значится «довольно деятельная торговля известью и дегтем». В то время, когда жил наш герой, здесь еще были соляные варницы.

Все это надо знать, чтобы составить понятие о том, как мог жить и как действительно жил мелкотравчатый герой нашего рассказа Алексашка, или, впоследствии, Александр Афанасьевич Рыжов, по уличному прозвищу «Однодум».

Родители Алексашки имели собственный дом — один из тех домиков, которые в здешней лесной местности *ничего не стоят*, но, однако, дают кров. Других детей, кроме Алексашки, у приказного Рыжова не было, или по крайней мере о них мне ничего не сказано.

Приказный умер вскоре после рождения этого сына и оставил жену и сына ни с чем, кроме того домика, который, как сказано, «ничего не стоил». Но вдова-приказничиха сама дорого стоила: она была из тех русских женщин, которая «в беде не сробеет, спасет; коня на скаку остановит, в горя-



*Внутренний дворик
монастыря*

щую избу взойдет», — простая, здравая, трезвомысленная русская женщина, с силою в теле, с отвагой в душе и с нежною способностью любить горячо и верно.

Когда она овдовела, в ней еще были приятности, пригодные для неприхотливого обихода, и к ней кое-кто засылали свах, но она отклонила новое супружество и стала заниматься печеньем пирогов. Пироги изготовлялись по скромным дням с творогом и печенкою, а по постным — с кашею и горохом; вдова выносила их в ночвах на площадь и продавала по медному пятаку за штуку. От прибыли своего пирожного производства она питала себя и сына, которого отдала в науку «мастерице»; мастерица научила Алексашку тому, что сама знала. Дальнейшую же, более серьезную науку преподавал ему дьяк с косою и с кожаным карманом, в коем у него

*Иконостас
Троицкого
собора*



без всякой табакерки содержался нюхательный порошок для известного употребления.

Дьяк, «отучив» Алексашку, взял горшок каши за выучку, и с этим вдовин сын пошел в люди добывать себе хлеб-соль и все определенные для него блага мира.

Алексашке тогда было четырнадцать лет, и в этом возрасте его можно отрекомендовать читателю.

Молодой Рыжов породю удался в мать: он был рослый, плечистый, — почти атлет, необъятной силы и несокрушимого здоровья. В свои отроческие годы он был уже первый силач

и так удачно предводительствовал *стеною* на кулачных боях, что на которой стороне был Алексашка Рыжов, — та считалась непобедимою. Он был досуж и трудолюбив. Дьякова школа дала ему превосходный, круглый, четкий, красивый почерк, которым он написал старухам множество зауспокойных поминаний и тем положил начало самопитания. Но важнее этого были те свойства, которые дала ему его мать, сообщившая живым примером строгое и трезвое настроение его здоровой душе, жившей в здоровом и сильном теле. Он был, как мать, умерен во всем и никогда не прибегал ни к чьей посторонней помощи.

В четырнадцать лет он уже считал грехом есть материн хлеб; поминания приносили немного, и притом заработок этот, зависящий от случайностей, был непостоянен; к торговле Рыжов питал врожденное отвращение, а оставить Солигалич не хотел, чтобы не разлучаться с матерью, которую очень любил. А потому надо было здесь же промыслить себе занятие, и он его промыслил.

В то время у нас только образовывались постоянные почтовые сообщения: между ближайшими городами учреждались раз в неделю гонцы, которые *носили* суму с пакетами. Это называлась пешая почта. Плата за эту службу назначалась не великая: рубля полтора в месяц «на своих харчах и при своей обуви». Но для кого и такое содержание было заманчиво, те колебались взяться носить почту, потому что для чуткой христианской совести русского благочестия представлялось сомнительным: не заключается ли в такой пустой затее, как разноска бумаги, чего-нибудь еретического и противного истинному христианству?

Всякий, кому довелось о том слышать, — раздумывал, как бы не истравить этим душу и за мзду временную не потерять жизнь вечную. И тут-то вот общее сердоболие устроило Рыжовкина Алексашку.

— Он, — говорили, — сирота: ему больше господь простит, — особенно по ребячеству. Ему, если его на поноске дорогою медведь или волк задерет и он на суд предстанет, одно отвечать: «не разумел, господи», да и только. И в ту пору взять с него нечего. А если да он уцелеет и со временем в лета взойдет, то может в монастырь пойти и все преотлично отмолить, да еще не за своей свечой и при чужом ладане. Чего ему еще по сиротству его ожидать лучшего?

Сам Алексашка, которого это касалось всех более, был от мира не прочь и на мир не челобитчик: он смелою рукою взял почтовую суму, взвалил ее на плечи и стал таскать из

Солигалича в Чухлому и обратно. Служба в пешей почте пришла ему совершенно по вкусу и по натуре: он шел один через леса, поля и болота и думал про себя свои сиротские думы, какие слагались в нем под живым впечатлением всего, что встречал, что видел и слышал. При таких условиях из него мог бы выйти поэт вроде Борнса или Кольцова, но у Алексашки Рыжова была другая складка, — не поэтическая, а философская, и из него вышел только замечательный чудак «Однодум». Ни даль утомительного пути, ни зной, ни стужа, ни ветры и дождь его не пугали: почтовая сума до такой степени была нипочем его могучей спине, что он, кроме этой сумы, всегда носил с собою еще другую, серую холщовую сумку, в которой у него лежала толстая книга, имевшая на него неодолимое влияние.

Книга эта была Библия.

Глава вторая

Мне неизвестно, сколько лет он нес службу в пешей почте, беспрестанно таская суму и Библию, но, кажется, это было долго и кончилось тем, что пешая почта заменилась конною, а Рыжову «вышел чин». После этих двух важных в жизни нашего героя событий в судьбе его произошел большой перелом: охочий ходок с почтою, он уже не захотел ездить почтарем и стал искать себе другого места, — опять непременно там же, в Солигаличе, чтобы не расстаться с матерью, которая в то время уже остарела и, притупев зрением, стала хуже печь свои пироги.

Судя по тому, что чины на низших почтовых должностях получались очень не скоро, например лет за двенадцать, — надо думать, что Рыжов имел об эту пору лет двадцать шесть или даже немножко более, и во все это время он только ходил взад и вперед из Солигалича в Чухлому и на ходу и на отдыхе читал одну только свою Библию в затрапезном переплете. Он начитался ее вволю и приобрел в ней большие и твердые познания, легшие в основу всей его последующей оригинальной жизни, когда он стал умствовать и прилагать к делу свои библейские воззрения.

Конечно, во всем этом было много оригинального. Рыжов, например, знал наизусть все писания многих пророков и особенно любил Исаию, широкое боговедение которого отвечало его душевной настроенности и составляло весь его катехизис и все богословие.

Старый человек, знавший во время своей юности восьми-десятипятiletнего Рыжова, когда он уже прославился и заслужил имя «Однодума», говорил мне, как этот старик вспоминал какой-то «дуб на болоте», где он особенно любил отдыхать и «кричать ветру».

— Стану,— говорит,— бывало, и воплю встречу воздуху:

«Позна вол стяжавшего и осел ясли господина своего, а людие мои неразумеша. Семя лукавое; сыны беззакония! Что еще уязвляетесь, прилагая неправды! Всякая глава в болезнь,— всякое сердце в плач.— Что ми множества жертв ваших: тука агнцов и крови юниц и козлов не хочу. Не приходите явитися ми. И аще принесете ми семидал — всуе; кадило мерзость ми есть. Новомесячий ваших, и суббот, и дне великого не потерплю: поста, и праздности, и новомесячий ваших, и праздников ненавидит душа моя. Егда прострете руки ваши ко мне, отвращу очи мои от вас, и аще умножите моления,— не услышу вас. Измыйтесь, отымите лукавство от душ ваших. Научитесь добро творити, и приидите истяжемся, и аще будут грехи ваши яко багряное — убелю их яко снег. Но князи не покоряются,— общницы татем любяще дары, гоняще воздаяние — сего ради глаголет Саваоф: горе крепким,— не престанет бо ярость моя на противныя».

И выкрикивал сирота-мальчуган это «горе, горе крепким» над пустынным болотом, и мнилось ему, что ветер возьмет и понесет слова Исаии и отнесет туда, где виденные Иезекиилем «сухие кости» лежат, не шевелятся; не нарастает на них живая плоть, и не оживает в груди истлевшее сердце.

Его слушал дуб и гады болотные, а он сам делался полумистиком, полуагитатором в библейском духе,— по его словам: «дышал любовью и дерзновением».

Все это созрело в нем давно, но обнаружилось в ту пору, когда он получил чин и стал искать другого места, не над болотом. Развитие Рыжова было уже совершенно закончено, и наступало время деятельности, в которой он мог приложить правила, созданные им себе на библейском грунте.

Под тем же дубом, над тем же болотом, где Рыжов выкрикивал словами Исаии «горе крепким», он дождался духа, давшего ему мысль самому сделаться крепким, дабы устыдить крепчайших. И он принял это посвящение и пронес его во весь почти столетний путь до могилы, ни разу не споткнувшись, никогда не захромав ни на правое колено, ни на левое.

Впереди нас ожидает довольно образцов его задыхнув-

шейся в тесноте удивительной силы и в конце сказания неожиданный акт дерзновенного бесстрашия, увенчавший его, как рыцаря, рыцарскою наградю.

Глава третья

В ту отдаленную пору, к которой восходит передаваемый мною рассказ о Рыжове, самое главное лицо в каждом русском городишке был городничий. Не раз было сказано и никем не оспорено, что, по понятию многих русских людей, каждый городничий был «третье лицо в государстве». Государственная власть в народном представлении от первоисточника своего — монарха разветвлялась так: первое лицо в государстве — государь, правящий всем государством; за ним второе — губернатор, который правит губерниею, и потом прямо за губернатором непосредственно следует третье — городничий, «сидящий на городе». Исправников тогда еще не было, и потому о них в разделении власти суждения не полагали. Так это оставалось, впрочем, и впоследствии: исправник был человек разъездной, и он сек только сельских людей, которые тогда еще не имели самостоятельного понятия об иерархии и, кто их ни сек, — одинаково ногами перебирали.

Введение новых судебных учреждений, ограничившее прежнюю теократическую полноправность сельских администраторов, испортило это, особенно в городах, где оно значительно содействовало падению не только городнического, а даже губернаторского престижа, поднять который на прежнюю высоту уже невозможно, — по крайней мере для городничих, высокий уряд которых заменен новшеством.

Но тогда, когда обдумывал и решал свою судьбу «Однодум», — все это было еще в своем благоустроенном порядке. Губернаторы сидели в своих центрах, как царьки: доступ к ним был труден, и предстояние им «сопряжено со страхом»; они всем норовили говорить «ты», все им кланялись в пояс, а иные, по усердию, даже земно; протопопы их «сретали» с крестами и святою водою у входа во храмы, а подрукавная знать чествовала их выражением низменного искательства и едва дерзала, в лице немногих избранных своих представителей, просить их «в восприемники к купели». И они, даже когда соглашались снизойти до такой милости, держали себя царственно: они не ездили крестить сами, а посылали вместо себя чиновников особых поручений или адъютантов, которые отвозили «ризки» и принимали почет «в лице послав-

шего». Все тогда было величественно, степенно и серьезно, под стать тому доброму и серьезному времени, часто противопоставляемому нынешнему времени, не доброму и не серьезному.

Рыжову вышла прекрасная линия приблизиться к началу градской власти и, не расставаясь с родным Солигаличем, стать на четвертую ступень в государстве: в Солигаличе умер старый кварталный, и Рыжов задумал проситься на его место.

Глава четвертая

Квартальническое место, хотя и не очень высокое, несмотря на то, что составляло первую ступень ниже городничего, было, однако, довольно выгодно, если только человек, его занимающий, хорошо умел стащить с каждого воза полено дров, пару бураков или кочан капусты; но если он не умел этого, то ему было бы плохо, так как казенного жалования по этой четвертой в государстве должности полагалось всего десять рублей ассигнациями в месяц, то есть около двух рублей восьмидесяти пяти копеек по нынешнему счету. На это четвертая особа в государстве должна была прилично содержать себя и свою семью, а как это невозможно, то каждый кварталный «донимал» с тех, которые обращались к нему за чем-нибудь «по касающемуся делу». Без этого «донимания» невозможно было обходиться, и даже сами вольтеррианцы против этого не восставали. О «неберущем» кварталном никто и не думал, и потому если все кварталные брали, то должен был брать и Рыжов. Само начальство не могло желать и терпеть, чтобы он портил служебную линию. В этом не могло быть никакого сомнения, и не могло быть о том никакой речи.

Городничий, к которому Рыжов обратился за кварталничьим местом, разумеется, не задавал себе никакого вопроса о его способности к взятке. Вероятно, он думал, что на этот счет Рыжов будет, как все другие, и потому у них особого договора на этот счет не было. Городничий принял в соображение только его громадный рост, осанистую фигуру и пользовавшуюся большою известностью силу и неутомимость в ходьбе, которую Рыжов доказал своим пешим ношением почты. Все это были качества, очень подходящие для полицейской службы, которой добивался Рыжов, — и он был сделан солигаличским кварталным, а мать его продолжала печь и продавать свои пироги на том самом базаре, где сын ее

должен был установить и держать хорошие порядки: блюсти вес верный и меру полную и утрясенную.

Городничий сделал ему только одно внушение:

— Бей без повреждения и по касающему моего не захватывай.

Рыжов обязался это исполнять и пошел действовать, но вскоре же начал подавать о себе странные сомнения, которые стали тревожить третью особу в государстве, а самого бывшего Алексашку, а ныне Александра Афанасьевича, доводить до весьма тягостных испытаний.

Рыжов с первого же дня службы оказался по должности ретив и исправен: придя на базар, он разместил там возы; рассадил иначе баб с пирогами, поместя притом свою мать не на лучшее место. Пьяных мужиков частью урезонил, а частью поучил рукою властною, но с приятностью, так хорошо, как будто им этим большое одолжение сделал, и ничего не взял за науку. В тот же день он отверг и приношение капустных баб, пришедших к нему на поклон по касающему, и еще объявил, что ему по касающему ни от кого ничего и не следует, потому что за все его касающее ему «царь жалует, а мзду брать бог запрещает».

День провел Рыжов хорошо, а ночь провел еще лучше: обошел весь город, и кого застал на ходу в поздний час, расспросил: откуда, куда и по какой надобности? С добрым человеком поговорил, сам его даже проводил и посоветовал, а одному-другому пьяному ухо надрал, да будошникову жену, которая под коров колдовать ходила, в кутузку запер, а наутро явился к городничему с докладом, что видит себе в деле одну помеху в будошниках.

— Проводят, — говорит, — они время в праздности и спронеья ходят без надобности, — людям по касающему надоедают и сами портятся. Лучше их от ленивой пустоты отрешить и послать к вашему высокоблагородию в огород гряды полоть, а я один все управлю.

Городничему это было не вопреки, а домовитой городничихе совсем по сердцу; одним будошникам могло не нравиться, да закону не соответствовало; но будошников кто думал спрашивать, а закон... городничий судил о нем русским судом: «закон — что конь: куда надо — туда и вороти его». Александр же Афанасьевич выше всего ставил закон: «в поте лица твоего ешь хлеб твой», и по тому закону выходило, что всякие лишние «приставники» — бремя ненужное, которое надо отставить и приставить к какому бы то ни было другому настоящему делу, — «потному».

И учредилось это дело, как указал Рыжов, и было оно приятно в очах правителя и народа, и обратило к Рыжову сердца людей благодарных. А Рыжов сам ходит по городу днем, ходит один ночью, и мало-помалу везде стал чувствовать его добрый хозяйский досмотр, и опять было это приятно в очах всех. Словом, все шло хорошо и обещало покой невозмутимый, но тут-то и беда: не свáрился народ — не кормил воевод,— ниоткуда ничто не касалось, и, кроме уборки огорода, не было правителю прибылей ни больших, ни средних, ни малых.

Городничий возмущился духом, вник в дело, увидал, что этак невозможно, и воздвиг на Рыжова едкое гонение.

Он попросил протопопа разузнать, нет ли в бескасательном Рыжове какого неправославия, но протопоп отвечал, что явного неправославия в Рыжове он не усматривает, а замечает в нем некую гордыню, происходящую, конечно, от того, что его мать пироги печет и ему отделяет.

— Пресечь советую оный торг, ей ныне по сыну не подо-бающий, и уничтожится тогда ему оная его непомерная гордыня, и он прикоснется.

— Пресеку,— отвечал городничий и сказал Рыжову:— Твоей матери на торгу сидеть не годится.

— Хорошо,— отвечал Рыжов и взял мать с ночвами с базара, а в укоризненном поведении остался по-прежнему,— не прикасался.

Тогда протопоп указал, что Рыжов не справлял себе форменного платья, и в пасхальный день, скупо похристовавшись с одними ближними, не явился с поздравлением ни к кому из именитых граждан, на что те, впрочем, претензии не изъявляли.

Это находилось в зависимости одно от другого. Рыжов не ходил за праздничными, и потому ему не на что было обмундироваться, но обмундировка требовалась, и она была у прежнего квартального. Все видели у него и мундир с воротом, и ретузы, и сапоги с кисточкой, а этот как ходил с почтою, так и оставался в полосатом тиковом бешмете с крючками, в желтых нанковых штанах и в простой крестьянской шапке, а на зиму имел овчинный нагольный тулуп и ничего иного не заводил, да и не мог завести на 2 руб. 87 коп. месячного жалованья, на которое жил, служа верою и правдою.

К тому же произошел случай, потребовавший денег: умерла мать Рыжова, которой нечего было делать на земле после того, как она не могла на ней продавать пироги.

Александр Афанасьевич схоронил ее, по общему отзыву, «скарედно», чем и доказал свою нелюбовь. Он заплатил за нее причту по малости, но по самой-то пирожнице даже пирога не спек и сорокоуста не заказал.

Еретик! И это было тем достовернее, что хотя городничий ему не доверял и протопоп в нем сомневался, но и городничиха и протопопица за него горой стояли,— первая за пригон на ее огород бударей, а вторая по какой-то тайной причине, лежавшей в ее «характере сопротивления».

В этих особах Александр Афанасьевич имел защитниц. Городничиха сама ему послала от урожая земного две меры картофеля, но он, не развязывая мешков, принес картофель назад на своих плечах и коротко сказал:

— За усердие благодарю, а даров не приемлю.

Тогда протопопица, дама мнительная, поднесла ему две коленкоровые манишки своего древнего рукоделья от тех пор, когда еще протопоп был ставленником, но чудак и этого не взял.

— Нельзя,— говорит,— дары брать, да и, одеваясь по простоте, я никакой в сем щегольстве пользы не найду.

Тут и сказала протопопица мужу в злости задорное слово.

— Вот бы,— говорит,— кому пристало у алтаря стоять, а не вам, обиралам духовным.

Протопоп осердился,— велел жене молчать, а сам все лежал да думал:

«Это новость масонская, и если я ее услежу и открою, то могу быть в большом отличии и даже могу в Петербург переехать».

Так он этим забредил и с бреда составил план, как обнажить совесть Рыжова до разделения души с телом.

Глава пятая

Подходил великий пост, и протопоп, как на ладонке, видел, каким образом он обнажит душу Рыжова до разделения и тогда будет знать, как поступить с ним по злобе его уклонения от истин православия.

С этой целью он прямо присоветовал городничему прислать к нему на дух полосатого квартального на первой же неделе. А на духу он обещал его хорошенько пронять и, гневом божиим припугнув, все от него выведать, что в нем есть тайного и сокровенного и за что он всего касающегося чуждается и даров не приемлет. А затем сказал: «Увидим по открытому страхом виду его совести, чему он под-

лежать будет, и тому его и подвергнем, да спасется дух».

Помянув слова Павла, протопоп стал ждать покойно, зная, что в них кийждо¹ своя отыскать может.

Городничий тоже сделал свое дело.

— Нам с тобой, Александр Афанасьевич, как видным лицам в городе, — сказал он, — надо в народе религии пример показать и к церкви сделать почтение.

Рыжов отвечал, что он согласен.

— Изволь же, братец, говеть и исповедаться.

— Согласен, — отвечал Рыжов.

— И как оба мы люди на виду у всех, то и на виду все это должны сделать, а не как-нибудь прячучись. Я к протопопу на дух хожу, — он всех в духовенстве опытнее, — и ты к нему иди.

— Пойду к протопопу.

— Да; и иди ты на первой неделе, а я на последней пойду, — так и разделимся.

— И на это согласен.

Протопоп выисповедал Рыжова и даже похвалился, что на все корки его пробрал, но не нашел в нем греха к смерти.

— Каялся, — говорит, — в одном, другом, в третьем, — во всем не свят по малости, но грехи все простые, человеческие, а против начальства особого зла не мыслит и ни на вас, ни на меня «по касающему» доносить не думает. А что «даров не приемлет», — то это по одной вредной фантазии.

— Все же, значит, есть в нем вредная фантазия. А в чем она заключается?

— Библии начитался.

— Ишь его, дурака, угораздило!

— Да; начитался от скуки и позабыть не может.

— Экий дурак! Что же теперь с ним сделать?

— Ничего не сделаешь: он уже очень далеко начитан.

— Неужели до самого до «Христа» дошел?

— Всю, всю прочитал.

— Ну, значит, шабаш.

Пожалели и стали к Рыжову милостивее. На Руси все православные знают, что кто Библию прочитал и «до Христа дочитался», с того резонных поступков строго спрашивать нельзя; но зато такие люди что юродивые, — они чудесят, а никому не вредны, и их не боятся. Впрочем, чтобы быть еще обеспеченнее насчет странного исправления Рыжова «по касающему», отец протопоп преподал городничему муд-

¹ К и й ж д о — каждый.

рый, но жестокий совет, — чтобы женить Александра Афанасьевича.

— Женатый человек, — развивал протопоп, — хотя и «до Христа дочитается», но ему свою честность соблюсти трудно: жена его начнет нажигать и не тем, так другим манером так дойдет, что он ей уступит и всю Библию из головы выпустит, а станет к дарам приемчив и начальству предан.

Городничему совет пришел по мыслям, и он заказал Александру Афанасьевичу, чтобы тот как знает, а непременно женился, потому что холостые люди на политических должностях ненадежны.

— Как хочешь, — говорит, — брат, а ты мне в рассуждении всего хорош, но в рассуждении одного не годишься.

— Почему?

— Холостой.

— Что же в том за укоризна?

— В том укоризна, что можешь что-нибудь вероломное сделать и сбежать в чужую губернию. Тебе ведь теперь что? — схватил свою Бибель да и весь тут.

— Весь тут.

— Вот это и неблагонадежно.

— А разве женатый благонадежнее?

— И сравнения нет; из женатого я, — говорит, — хоть веревку вей, он все стерпит, потому что он птенцов заведет, да и бабу пожалеет, а холостой сам что птица, — ему доверять нельзя. Так вот — либо уходи, либо женись.

Загадочный чудак, выслушав такое рассуждение, нимало не смутился и отвечал:

— Что же, — и женитьба вещь добрая, она от бога показана: если требуется — я женюсь.

— Но только ты руби дерево по себе.

— По себе вырублю.

— И выбирай поскорее.

— Да у меня уже выбрана: надо только сходить посмотреть, не взяли ли ее другие.

Городничий над ним посмеялся:

— Ишь ты, — говорит, — греховодник, — будто за ним и греха никогда не водится, а он себе уже и жену рассмотрел.

— Где грехам не водиться! — отвечал Александр Афанасьевич, — полон сосуд мерзости, а только невесту я еще не сватал, но действительно на примете имею и прошу позволения сходить на нее взглянуть.

— А где она у тебя, — не здешняя, верно, — дальняя?

— Да так, и не здешняя и не дальняя,— у ручья при болотце живет.

Городничий еще посмеялся, отпустил Рыжова и, заинтересованный, ждет: когда его чудака вернется и что скажет?

Глава шестая

Рыжов действительно срубил дерево по себе: через неделю он привел в город жену — ражую, белую, румяную, с добрыми карми глазами и с покорностью в каждом шаге и движении. Одета она была по-крестьянски, и шли оба супруга друг за другом, неся на плечах коромысло, на котором висела подвязанная холщовым концом расписная лубочная коробья с приданым.

Бывалые торговые люди сразу узнали в этой особе дочь старой бабы Козлихи, что жила в одинокой избушке у ручья над болотом и слыла злою колдуньей. Все думали, что Рыжов взял себе колдуньюню девку в работницы.

Это отчасти так и было, но только Рыжов, прежде чем привести эту работницу домой, — перевенчался с нею. Супружеская жизнь обходилась ему ничуть не дороже холостой; напротив, теперь ему стало даже выгоднее, потому что он, приведя в дом жену, тотчас же отпустил батрачку, которой много ли, мало ли, а все-таки платил рубль медью в месяц. С этих пор медный рубль был у него в кармане, а хозяйство пошло лучше; здоровые руки его жены никогда не были праздны: она себе и пряла и ткала, да еще оказалась мастерицею валять чулки и огородничать. Словом, жена его была простая досужая крестьянская женщина, верная и покорная, с которой библейский чудака мог жить по-библейски, и рассказать о ней, кроме сказанного, нечего.

Обращение с женой у Александра Афанасьевича было самое простое, но своеобразное: он ей говорил «ты», а она ему «вы»; он звал ее «баба», а она его Александр Афанасьевич; она ему служила, а он был ее господин; когда он с нею заговаривал, она отвечала,— когда он молчал, она не смела спрашивать. За столом он сидел, а она подавала, но ложе у них было общее, и, вероятно, это было причиною, что у них появился плод супружества. Плод был один-единственный сын, которого «баба» выкормила, а в воспитание его не вмешивалась.

Любила ли «баба» своего библейского мужа или не любила — это в их отношениях ничем не проявлялось, но что

она была верна своему мужу — это было несомненно. Кроме того, она его боялась, как лица, поставленного над нею законом божеским и имеющего на нее божественное право. Мирному житию ее это не помешало. Грамоте она не знала, и Александр Афанасьевич не желал пополнять этого пробела в ее воспитании. Жили они, разумеется, спартански, в самой строжайшей умеренности, но не считали это несчастием; этому, может быть, много помогало, что и многие другие жили вокруг не в большом довольстве. Чаю они не пили и не содержали его в заводе, а мясо ели только по большим праздникам — в остальное же время питались хлебом и овощами, квасными или свежими с своего огорода, а всего более грибами, которых росло в изобилии в их лесной стороне. Грибы эти «баба» летнею порою сама собирала по лесам и сама готовила впрок, но, к сожалению ее, заготавливала их только одним способом сушения. Солить было нечем. Расход на соль в потребном количестве для всего запаса не входил в расчет Рыжова, а когда «баба» однажды засолила кадочку груздей солью, которую ей подарил в мешочке откупщик, то Александр Афанасьевич, дознавшись об этом, «бабу» патриархально побил и свел к протопопу для наложения на нее епитимии за ослушание против заветов мужа, а грибы целою кадкою собственноручно прикатил к откупщику двору и велел взять «куда хотят», а откупщику сделал выговор.

Таков был этот чудак, про которого из долготы его дней тоже рассказывать много нечего; сидел он на своем месте, делал свое маленькое дело, не пользующееся ничьим особенным сочувствием, и ничьего особенного сочувствия не искал; солигаличские верховоды считали его «поврежденным от Библии», а простецы судили о нем просто, что он «такой-некий-этакой».

Довольно неясное определение это для них имело значение ясное и понятное.

Рыжов нимало не заботился, что о нем думают: он честно служил всем и особенно не угождал никому; в мыслях же своих отчитывался единому, в кого неизменно и крепко верил, именуя его учредителем и хозяином всего сущего. Удовольствие Рыжова состояло в исполнении своего долга, а высший духовный комфорт — философствование о высших вопросах мира духовного и об отражении законов того мира в явлениях и в судьбах отдельных людей и целых царств и народов. Не имел ли Рыжов общей многим самоучкам слабости считать себя всех умнее — это неизвестно, но он не был горд, и своих

верований и взглядов он никому никогда не навязывал и даже не сообщал, а только вписывал в большие тетради синей бумаги, которые подшивал в одну обложку с многозначительною надписью: «Однодум».

Что было написано во всей этой громаднейшей рукописи полицейского философа — осталось сокрытым, потому что со смертью Александра Афанасьевича его «Однодум» пропал, да и по памяти о нем много никто рассказывать не может. Едва только два-три места из всего «Однодума» были показаны Рыжовым одному важному лицу при одном необычайном случае его жизни, к которому мы теперь приближаемся. Остальные же листы «Однодума», о существовании которого знал почти весь Солигалич, изведены на наклейку стен или, может быть, и сожжены, во избежание неприятностей, так как это сочинение заключало в себе много несообразного бреда и религиозных фантазий, за которые тогда и автора и чтецов посылали молиться в Соловецкий монастырь.

Дух же этой рукописи стал известен с наступающего достопамятного в хрониках Солигалича происшествия.

Глава седьмая

Не могу с точностью вспомнить и не знаю, где справиться, в котором именно году в Кострому был назначен губернатором Сергей Степанович Ланской, впоследствии граф и известный министр внутренних дел. Сановник этот, по меткому замечанию одного его современника, «имел сильный ум и надменную фигуру», и такая краткая характеристика верна и вполне достаточна для представления, какое нужно иметь о нем нашему читателю.

Можно, кажется, добавить только, что Ланской уважал в людях честность и справедливость и сам был добр, а также любил Россию и русского человека, но понимал его барственно, как аристократ, имевший на все чужеземный взгляд и западную мерку.

Назначение Ланского губернатором в Кострому случилось во время чудаческого служения Александра Афанасьевича Рыжова солигаличским квартальным, и притом еще при некоторых особенных обстоятельствах.

По вступлении Сергея Степановича в должность губернатора он, по примеру многих деятелей, прежде всего «размел губернию», то есть выгнал со службы великое множество нерадивых и злоупотреблявших своею должностью чинов-

ников, в числе коих был и солигаличский городничий, при котором состоял квартальным Рыжов.

По изгнании со службы негодных лиц новый губернатор не спешил замещать их другими, чтобы не попасть на таких же, а может быть, еще и на худших. Чтобы избрать людей достойных, он хотел оглядеться, или, как нынче по-русски говорят, «ориентироваться».

С этой целью должности удаленных лиц были поручены временным заместителям из младших чиновников, а губернатор вскоре же предпринял объезд всей губернии, затрепетавшей странным трепетом от одних слухов о его «надменной фигуре».

Александр Афанасьевич исправлял должность городничего. Что он делал на этом замещительстве отменного от прежних «сталых» порядков, — этого не знаю; но, разумеется, он не брал взяток на городничестве, как не брал их на своем квартальничестве. Образа жизни своей и отношений к людям Рыжов тоже не менял, — даже не садился на городнический стул перед зеркало, а подписывался «за городничего», сидя за своим изъеденным чернилами столиком у входной двери. Этому последнему упорству Рыжов имел объяснение, находящееся в связи с апофеозом его жизни. У Александра Афанасьевича и после многих лет его службы точно так же, как и в первые дни его квартальничества, *не было форменного платья*, и он правил «за городничего» все в том же просаленном и перештопанном бешмете. А потому на представления письмоводителя пересесть на место он отвечал:

— Не могу: хитон обличает мя, яко несть брачен.

Все это так и было записано им собственною рукою в его «Однодуме», с добавлением, что письмоводитель предлагал ему «пересесть в бешмете, но снять орла на зеркале», однако Александр Афанасьевич «оставил сию непристойность» и продолжал сидеть на прежнем месте в бешмете.

Делу полицейской расправы в городе эта неформенность не мешала, но вопрос становился совершенно иным, когда пришла весть о приезде «надменной фигуры». Александр Афанасьевич в качестве градоначальника должен был встретить губернатора, принять и рапортовать ему о благосостоянии Солигалича, а также отвечать на все вопросы, какие Ланской ему предложит, и репрезентовать ему все достопримечательности города, начиная от собора до тюрьмы, пустырей, оврагов, с которыми никто не знал, что делать.

Рыжов действительно имел задачу: как ему отбыть все

это в своем бешмете? Но он об этом нимало не заботился, зато много забот причиняло это всем другим, потому что Рыжов своим безобразием мог на первом же шагу прогневить «надменную фигуру». Никому и в голову не приходило, что именно Александру-то Афанасьевичу и предстояло удивить и даже обрадовать всех пугавшую «надменную фигуру» и даже напророчить ему повышение.

Вообще заботливый Александр Афанасьевич нимало не смущался, как он явится, и совсем не разделял общей чиновничьей робости, через что подвергся осуждению и даже ненависти и пал во мнении своих сограждан, но пал с тем, чтобы потом встать всех выше и оставить по себе память героическую и почти баснословную.

Глава восьмая

Не излишне еще раз напомнить, что в те недавние, но глубоко провалившиеся времена, к которым относится рассказ о Рыжове, губернаторы были совсем не то, что в нынешние лукавые дни, когда величие этих сановников значительно пало, или, по выражению некоего духовного летописца, «жестоко подвалишася». Тогда губернаторы ездили «страшно», а встречали их «притрепетно». Течение их совершалось в грандиозной суете, которой работали не только все младшие начальства и власти, но даже и чернь и четвероногие скоты. Города к приезду губернаторов воспринимали помазание мелом, сажей и охрою; на шлагбаумы заново наводилась национальная пестрядь казенной трехцветки; бударям и инвалидам внушали «голова и усы наваксить», — из больниц шла усиленная выписка в «оздоровку». Во всеобщем оживлении участвовало все до конец земли; из деревень на тракты сгоняли баб и мужиков, которые по месяцам кочевали, чиня дорожные топи, гати и мосты; на станциях замедляли даже оглашенные курьеры и разные поручики, спешно едущие по бесчисленным казенным надобностям. Станционные смотрители в эту пору отмещивали беспокойному люду свои нестерпимые обиды и с непоколебимою душевною твердостью заставляли плестись на каких попало клячах, потому что хорошие лошади «выстаивались» под губернатора. Словом, не было никому ни проходу, ни проезду без того, чтобы он не осязал каким-нибудь из своих чувств, что в природе всех вещей происходит нечто чрезвычайное. Благодаря этому тогда без всякого пустозвонства болтливой прессы всяк, стар и млад, знали, что едет тот, кого нет

на всю губернию больше, и все, кто как умел, выражали по этому случаю искреннему своему разнообразие свои чувства. Но самая возвышенная деятельность происходила в центральных гнездах уездного властелинства — в судебных канцеляриях, где дело начиналось с утомительной и скучной отметки регистров, а кончалось веселою операциею обметания стен и мытья полов. Поломойство — это было что-то вроде классических оргий в дни сбирания винограда, когда все напряженно ликовало, имея одну заботу: пожить, пока наступит час смертный. В канцелярии за небольшим конвоем кривых инвалидов доставляли из острога смертную скукою соскучившихся арестанток, которые, ловя краткий миг счастья, пользовались здесь пленительными правами своего пола — услаждать долю смертных. Декольте и маншкурт, с которыми они приступали к работе, столь возбуждительно действовали на дежуривших при бумагах молодых приказных, что последствием этого, как известно, в острогах нередко появлялись на свет так называемые «поломойные дети» — не признанного, но несомненно благородного происхождения.

В эти же дни в домах чернили парадные сапоги, белили ретузы и приготавливали слежавшиеся и поточенные молью мундиры. Это тоже оживляло город. Мундиры сначала *проवेशивали* в жаркий день на солнышке, раскидывая их на протянутых через двор веревках, что ко всяким воротам привлекало множество любопытных; потом мундиры *выбивали* прутьями, растянув на подушке или на войлочке; затем их *трясли*, еще позже их *штопали*, *утюжили* и, наконец, *раскидывали* на кресле в зале или другой парадной комнате, и в заключение всего — в конце концов их втихомолку кропили из священных бутылочек богоявленскою водой, которая, если ее держать у образа в заткнутой воском посудине, не портится от одного крещеньева дня до другого и нимало не утрачивает чудотворной силы, сообщаемой ей в момент погружения креста с цением «Спаси, господи, люди твоя и благослови достояние твое».

Исходя в сретение особ, чиновники облекались в окропленные мундиры и в качестве прочего божия достояния бывали спасаемы. Об этом есть много достоверных сказаний, но при нынешнем всеобщем маловерии и особенно при оффенбаховском настроении, царящем в чиновном мире, все это уже уронено в общем мнении и в числе многих других освященных временем вещей легкомысленно подвергается сомнению; отцам же нашим, имевшим настоящую, крепкую веру, давалось по их вере.

Ожидание губернатора в те времена длилось долго и мучительно. Железных дорог тогда еще не было, и поезда не подходили в урочный час по расписанию, подвозя губернатора вместе со всеми прочими смертными, а особо заготавлился тракт, и затем никто не знал с точностью ни дня, ни часа, когда сановник пожалует. Поэтому истома ожидания была продолжительна и полна особенной торжественной тревожности, на самом зените которой находился очередной будочник, обязанный наблюдать тракт с самой высшей в городе колокольни. Он должен был не задремать, охраняя город от внезапного наезда; но, конечно, случалось, что он дремал и даже спал, и тогда в таких несчастных случаях бывали разные неприятности. Иногда нерадивый страж ударял в малый колокол, подпустив губернатора уже на слишком близкую дистанцию, так что не все чиновники успевали примундириться и выскочить, протопоп облачиться и стать со крестом на сходах, а иногда даже городничий не успевал выехать, стоя в телеге, к заставе. Во избежание этого сторожа заставляли ходить вокруг колокольни и у каждого пролета делать поклон в соответственную сторону.

Это служило сторожу развлечением, а обществу ручательством, что бдящий над ним не спит и не дремлет. Но и эта предосторожность не всегда помогала; случалось, что сторож обладал способностью альбатроса: он спал, ходя и кланяясь, а спросонья бил ложный всполох, приняв за губернатора помещичью карету, и тогда в городе поднималось напрасное смятение, оканчивавшееся тем, что чиновники снова размундировались и городническая тройка откладывалась, а неосмотрительного стража слегка или не слегка секли.

Подобные трудности встречались часто и преодолевались нелегко, и притом всею своею тягостью главным образом лежали на городничем, который вперед всех выносился вскачь навстречу, первый принимал на себя начальственные взоры и взрывы и потом опять, стоя же, скакал впереди губернаторской кареты к собору, где у крыльца ожидал протопоп во всем облачении с крестом и кропилом в чаше священной воды. Здесь городничий непременно собственноручно откидывал губернаторскую подножку и этим приемом, так сказать, собственноручно выпускал прибывшую высокую особу на родимую землю из путешественного ковчега. Теперь все это уже не так, все это попорчено, и притом едва ли даже без участия самих губернаторов, в числе коих были охотники «играть на понижение». Нынче они, может быть, и каются, но что уплыло, того не воротят: под-

пожек им никто не откидывает, кроме лакеев и жандармов.

Но исправлявший эту обязанность прежний городничий этим не стеснялся и служил для всех первым пробным камнем; он первый изведывал: лют или благостен прибывший губернатор. И, надо правду сказать, от городничего многое зависело: он мог испортить дело вначале, потому что одною какою-нибудь своею неловкостью мог разгневать губернатора и заставить его рвать и метать; а мог также одним ловким прыжком, оборотом или иным соответственным вывертом привести его превосходительство в благорасположение.

Теперь каждый, даже не знавший этих патриархальных порядков, читатель может судить, как естественна была тревога солигаличской чиновной знати, которой пришлось иметь своим представителем такого своеобразного, неуклюжего и упрямого городничего, как Рыжов, у которого, вдобавок ко всем его личным неудобным качествам, весь убор состоял в полосатом тиковом бешмете и кошлатой мужичьей шапке.

Вот что первое должно было ударить прямо в очи «надменной фигуре», о которой уже досужие языки довели до Солигалича самые страшные вести... Чего было ожидать доброго?

Глава девятая

Александр Афанасьевич действительно мог привести кого хотите в отчаяние; он ни о чем не беспокоился и в ожидании губернатора держал себя так, как будто предстоявшее страшное событие его совсем не касалось. Он не сломал ни у одного жителя ни одного забора, ничего не перемазал ни мелом, ни охрою и вообще не предпринимал никаких средств не только к украшению города, но и к изменению своего несообразного костюма, а продолжал прохаживаться в бешмете. На все предлагаемые ему прожекты он отвечал:

— Не должно вводить народ в убытки, разве губернатор изнуритель края? он пусть проедет, а забор пусть останется. — Требования же насчет мундира Рыжов отражал тем, что у него на то нет недостатков и что, говорит, имею, — в том и являюсь: богу совсем нагишом предстану. Дело не в платье, а в рассудке и в совести, — по платью встречают — по уму провожают.

Переупрямить Рыжова никто не надеялся, а между тем это было очень важно не столько для упряма Рыжова, которому,

с фореитором, украшенным медными бляхами. Это катил губернатор.

Рыжов быстро спрыгнул в телегу и хотел скакать, как вдруг был поражен общим стоном и вздохом толпы, крикнувшей ему:

— Батюшка, сбрось штанцы!

— Что такое? — переспросил Рыжов.

— Штанцы сбрось, батюшка, штанцы, — отвечали люди. — Погляди-ка, на коем месте сидел, так к белому весь шланбов припечатал.

Рыжов оглянулся через плечо и увидел, что все невысохшие полосы национальных цветов шлагбаума действительно с удивительной отчетливостью отпечатались на его ретузах.

Он поморщился, но сейчас же вздохнул и сказал: «Сюда начальству глядеть нечего» — и пустил вскачь тройку навстречу «надменной особе».

Люди только руками махнули:

— Отчаянный! что-то ему теперь будет?

Глава одиннадцатая

Скороходы из этой же толпы быстро успели дать знать в собор духовенству и набольшим, в каком двусмысленном виде встретит губернатора Рыжов, но теперь уже всем было самому до себя.

Всех страшнее было протопопу, потому что чиновники притаились в церкви, а он с крестом в руках стоял на сходах. Его окружал очень небольшой причет, из коего вырезались две фигуры: приземистый дьякон с большой головой и длинноногий дьячок в стихаре с священной водою в «апиковой» чаше, которая ходуном ходила в его оробевших руках. Но вот трепет страха сменился окаменением: на площади показалась борзо скачущая тройкою почтовая телега, в которой с замечательным достоинством возвышалась гигантская фигура Рыжова. Он был в шляпе, в мундире с красным воротом и в белых ретузах с надшитым канифасовым карнизом, что издали решительно ничего не портило. Напротив, он всем казался чем-то величественным, и действительно таким и должен был казаться. Твердо стоя на скачущей телеге, на облучке которой подпрыгивал ямщик, Александр Афанасьевич не колебался ни направо, ни налево, а плыл точно на колеснице как триумфатор, сложив на груди свои бога-

тырские руки и обдавая целым облаком пыли следовавшую за ними шестериком коляску и легкий тарантасик. В этом тарантасе ехали чиновники. Ланской помещался один в карете и, несмотря на отличавшую его солидную важность, был, по-видимому, сильно заинтересован Рыжовым, который летел впереди его, стоя, в кургузом мундире, нимало не закрывавшем разводы национальных цветов на его белых ретузах. Очень возможно, что значительная доля губернаторского внимания была привлечена именно этою странностью, значение которой не так легко было понять и определить.

Телега в свое время своротила в сторону, и Александр Афанасьевич в свое время соскочил и открыл дверцу у губернаторской кареты.

Ланской вышел, имея, как всегда, неизменно «надменную фигуру», в которой, впрочем, содержалось довольно доброе сердце. Протопоп, осенив его крестом, сказал: «Благословен грядый во имя господне», и затем покропил его легонько священной водою.

Сановник приложился ко кресту, отер батистовым платком попавшие ему на надменное чело капли и вступил *первый* в церковь. Все это происходило на самом виду у Александра Афанасьевича и чрезвычайно ему не понравилось, — все было «надменно». Неблагоприятное впечатление еще более усилилось тем, что, вступив в храм, губернатор не положил на себя креста и никому не поклонился — ни алтарю, ни народу, и шел как шест, не сгибая головы, к амвону.

Это было против всех правил Рыжова по отношению к богопочитанию и к обязанностям высшего быть примером для низших, — и благочестивый дух его всколебался и поднялся на высоту невероятную.

Рыжов все шел следом за губернатором, и по мере того, как Ланской приближался к солее, Рыжов все больше и больше сокращал расстояние между ним и собою и вдруг неожиданно схватил его за руку и громко произнес:

— Раб божий Сергей! входи во храм господень не надменно, а смиренно, представляя себя самым большим грешником, — вот как!

С этим он положил губернатору руку на спину и, степенно нагнув его в полный поклон, снова отпустил и стал на вытяжку.

Очевидец, передававший эту анекдотическую историю о солигаличском антике, ничего не говорил, как принял это бывший в храме народ и начальство. Известно только, что никто не имел отваги, чтобы заступиться за нагнутого губернатора и остановить бестрепетную руку Рыжова, но о Ланском сообщают нечто подробнее. Сергей Степанович не подал ни малейшего повода к продолжению беспорядка, а, напротив, «сменил свою горделивую надменность умным самообладанием». Он не оборвал Александра Афанасьевича и даже не сказал ему ни слова, но перекрестился и, оборотясь, поклонился всему народу, а затем скоро вышел и отправился на приготовленную ему квартиру.

Здесь Ланской принял чиновников — коронных и выборных и тех из них, которые ему показались достойными большого доверия, расспросил о Рыжове: что это за человек и каким образом он терпится в обществе.

— Это наш квартальный Рыжов, — отвечал ему голова.

— Что же он... вероятно, в помешательстве?

— Никак нет: просто всегда *такой*.

— Так зачем же держать *такого* на службе?

— Он по службе хорош.

— Дерзок.

— Самый смиренный: на шею ему старший сядь, — рассудит: «поэтому везть надо» — и повезет, но только он много в Библии начитавшись и через то расстроен.

— Вы говорите несообразное: Библия книга божественная.

— Это точно так, только ее не всякому честь пристойно: в иночестве от нее страсть мечется, а у мирских людей ум мешается.

— Какие пустяки! — возразил Ланской и продолжал спрашивать:

— А как он насчет взяток: умерен ли?

— Помилуйте, — говорит голова, — он совсем ничего не берет...

Губернатор еще больше не поверил.

— Этому, — говорит, — я уже ни за что не поверю.

— Нет; действительно не берет.

— А как же, — говорит, — он какими средствами живет?

— Живет на жалованье.

— Вы вздор мне рассказываете: такого человека во всей России нет.

— Точно, — отвечает, — нет, но у нас такой объявился.
— А сколько ему жалованья положено?
— В месяц десять рублей.
— Ведь на это, — говорит, — овцу прокормить нельзя.
— Действительно, — говорит, — мудрено жить — только он живет.

— Отчего же так всем нельзя, а он обходится?

— Библии начитался.

— Хорошо, «Библии начитался», а что же он ест?

— Хлеб да воду.

И тут голова рассказал о Рыжове, каков он во всех делах своих.

— Так это совсем удивительный человек? — воскликнул Ланской и велел позвать к себе Рыжова.

Александр Афанасьевич явился и стал у притолки, иже по подчинению.

— Откуда вы родом? — спросил его Ланской.

— Здесь, на Нижней улице родился, — отвечал Рыжов.

— А где воспитывались?

— Не имел воспитания... у матери рос, а матушка пироги некла.

— Учились где-нибудь?

— У дьячка.

— Исповедания какого?

— Христианин.

— У вас очень странные поступки.

— Не замечаю: всякому то кажется странно, что самому не свойственно.

Ланской подумал, что это вызывающий, дерзкий намек, и, строго взглянув на Рыжова, резко спросил:

— Не держитесь ли вы какой-нибудь секты?

— Здесь нет секты: я в собор хожу.

— Исповедуетесь?

— Богу при протопопе каюсь.

— Семья у вас есть?

— Есть жена с сыном.

— Жалованье малое получаете?

Никогда не смеявшийся Рыжов улыбнулся.

— Беру, — говорит, — в месяц десять рублей, а не знаю: как это — много или мало.

— Это не много.

— Доложите государю, что для лукавого раба это мало.

— А для верного?

— Достаточно.

— Вы, говорят, никакими статьями не пользуетесь?
Рыжов посмотрел и промолчал.

— Скажите по совести: быть ли это может так?

— А отчего же не может быть?

— Очень малые средства.

— Если иметь великое обуздание, то и с малыми средствами обойтись можно.

— Но зачем вы не проситесь на другую должность?

— А кто же эту занимать станет?

— Кто-нибудь другой.

— Разве он лучше меня справит?

Теперь Ланской улыбнулся: квартальный совсем заинтересовал его не чуждую теплоты душу.

— Послушайте, — сказал он, — вы чудак; я вас прошу сесть.

Рыжов сел vis-a-vis¹ с «надменным».

— Вы, говорят, знаток Библии?

— Читаю, сколько время позволяет, и вам советую.

— Хорошо; но... могу ли я вас уверить, что вы можете со мною говорить совсем откровенно и по справедливости.

— Ложь заповедью запрещена — я лгать на стану.

— Хорошо. Уважаете ли вы власти?

— Не уважаю.

— За что?

— Ленивы, алчны и пред престолом криводушны, — отвечал Рыжов.

— Да, вы откровенны. Благодарю. Вы тоже пророчествуете?

— Нет; а по Библии вывожу, что ясно следует.

— Можете ли вы мне показать хоть один ваш вывод?

Рыжов отвечал, что может, — и сейчас же принес целый оберток бумаги с надписью «Однодум».

— Что тут есть пророчественного о прошлом и сбывшемся? — спросил Ланской.

Квартальный перемахнул знакомые страницы и прочитал: «Государыня в переписке с Вольтером назвала его вторым Златоустом. За сие несообразное сравнение жизнь нашей монархини не будет иметь спокойного конца».

На отлинеенном поле против этого места отмечено: «Исполнилось при огорчительном сватовстве Павла Петровича».

— Покажите еще что-нибудь.

¹ Напротив (франц.).

Рыжов опять заметал страницы и указал новое место, которое все заключалось в следующем: «Издан указ о попечном сборе. Отныне хлад бедных хижин усилится. Надо ожидать особенного наказания». И на поле опять отметка: «Исполнилось, — зри страницу такую-то», а на той странице запись о кончине юной дочери императора Александра Первого с отметкою: «Сие последовало за назначение налога на лес».

— Но позвольте, однако, — спросил Ланской, — ведь леса составляют собственность?

— Да; а греть воздух в жильях составляет потребность.

— Вы против собственности?

— Нет; я только чтобы всем тепло было в стужу. Не надо давать лесов тем, кому и без того тепло.

— А как вы судите о податях: следует ли облагать людей податью?

— Надо наложить и еще прибавить на всякую вещь роскошную, чтобы богатый платил казне за бедного.

— Гм, гм! вы ниоткуда это учение не почерпаете?

— Из священного писания и моей совести.

— Не руководят ли вас к сему иные источники нового времени?

— Все другие источники не чисты и полны суемудрия.

— Теперь скажите в последнее: как вы не боитесь ни того, что пишете, ни того, что со мною в церкви сделали?

— Что пишу, то про себя пишу, а что в храме сделал, то должен был учинить, цареву власть оберегаючи.

— Почему цареву?

— Дабы видели все его слуг к вере народной почтительными.

— Но ведь я мог с вами обойтись совсем не так, как обхожусь.

Рыжов посмотрел на него *«с сожалением»* и отвечал:

— А какое же зло можно сделать тому, кто на десять рублей в месяц умеет с семьей жить?

— Я мог велеть вас арестовать.

— В остроге сытей едят.

— Вас сослали бы за эту дерзость.

— Куда меня можно сослать, где бы мне было хуже и где бы бог мой оставил меня? Он везде со мною, а кроме его, никого не страшно.

Надменная шея склонилась, и левая рука Ланского простерлась к Рыжову.

— Характер ваш почтенен,— сказал он и велел ему выйти.

Но, по-видимому, он еще не совсем доверял этому библейскому социалисту и спросил о нем лично сам несколько простолоудинов.

Те, покрутя рукой в воздухе, в одно слово отвечали: — Он у нас такой-некий-этакой.

Более положительного из них о нем никто не знал. Прощаясь, Ланской сказал Рыжову:

— Я о вас не забуду и совет ваш исполню — прочту Библию.

— Да только этого мало, а вы и на десять рублей в месяц жить поучитесь,— добавил Рыжов.

Но этого совета Ланской уже не обещал исполнить, а только засмеялся, опять подал ему руку и сказал:

— Чудак, чудак!

Сергей Степанович уехал, а Рыжов унес к себе домой своего «Однодума» и продолжал писать в нем, что изливали его наблюдательность и пророческое вдохновение.

Глава тринадцатая

Со времени проезда Ланского прошло довольно времени, и события, сопровождавшие этот проезд через Солигалич, уже значительно позабылись и затерлись ежедневною сутолокою, как вдруг нежданно-негаданно, на дивное диво не только Солигаличу, а всей просвещенной России, в обривизованный город пришло известие совершенно невероятное и даже в стройном порядке правления невозможное: квартальному Рыжову был прислан дарующий дворянство владимирский крест — первый владимирский крест, пожалованный квартальному.

Самый орден приехал вместе с предписанием возложить его и носить по установлению. И крест и грамота были вручены Александру Афанасьевичу с объявлением, что удостоен он сея чести и сего пожалования по представлению Сергея Степановича Ланского.

Рыжов принял орден, посмотрел на него и проговорил вслух:

— Чудак, чудак! — А в «Однодуме» против имени Ланского отметил: «Быть ему графом», — что, как известно, и исполнилось. Носить же ордена Рыжову было *не на чем*.

Кавалер Рыжов жил почти девяносто лет, аккуратно

и своеобразно отмечая все в своем «Однодуме», который, вероятно, издержан при какой-нибудь уездной реставрации на оклейку стен. Умер он, исполнив все христианские требы по установлению православной церкви, хотя православие его, по общим замечаниям, было «сомнительно». Рыжов и в вере был человек такой-некий-этакой, но при всем том, мне кажется, в нем можно видеть кое-что кроме «одной дряни», — чем и да будет он помянут в самом начале розыска о «трех праведниках».

АЛЕКСЕЙ ПИСЕМСКИЙ ОЧЕРКИ ИЗ КРЕСТЬЯНСКОГО БЫТА¹

(Из рассказа «Питерцик»)

Чухломский уезд резко отличается, например, от Нерехтского, Кинешемского, Юрьевецкого и других², — это вы заметите, въехавши в первую его деревню. Положительно можно сказать, что в каждой из них вамкинется в глаза большой дом, изукрашенный разными разностями: узорными размаляванными карнизами, узорными подоконниками, какими-то маленькими балкончиками, бог весть для чего устроенными, потому что на них ниоткуда нет выхода, разрисованными ставнями и воротами, на которых иногда попадаются довольно странные предметы, именно: летящая слава с трубой; счастье, вертящееся на колесе, с завязанными глазами; амур какого-то особенного темного цвета и проч. Если таких домов два или три, то прихоти в украшениях еще более усиливаются, как будто домохозяйева стараются перещегоолять в этом случае один другого; и когда вы, проезжая летом деревню, спросите понавшуюся вам навстречу бабу: «Чей это, голубушка, дом?», — она вам сначала учтиво поклонится и наверно скажет: «Богачей, сударь». — «А этот другой чей?» — «А это других богачей». Произношение женщины, без сомнения, обратит на себя ваше внимание: представьте себе московское наречие несколько на *a* и усильте его до невероятной степени, так что, говоря на нем, надобно, как и для английского языка, делать гримасу. Я сказал, что вы встретите женщину, на том основании, что летом вы уж, конечно, не увидите ни одного мужика, а если и протащится по перегородке какой-нибудь, в нитяной поневе, нечесаный и в разбитых лаптях, то вы, вероятно, догадаетесь, что это работник, — и это действительно работник и непременно *леменец*³.

Зима другое дело; зимой мужиков много появляется. У Богоявления, что на горе, с которой видно на тридцать верст кругом, в крещенье храмовой праздник: с раннего еще

¹ Под этим названием опубликовано в 1856 г.

² Костромской губернии. (Прим. автора.)

³ Вологодской губернии волость. (Прим. автора.)

*В реставрационных
мастерских
музея
изобразительных
искусств*



утра стоят кругом всей ограды лошади в пошевнях. Такой нарядной сбруи я в других местах нигде и не видывал. На узде, например, навязано по крайней мере с десятком бубенцов, на шлее медный набор сплошь — весом в полпуда, а дуга по золотому фону расписана розанами. Войдите в церковь: народ стоит удивительно чистый, лица умные, благообразные, на всех почти синие кафтаны; а вон напереди стоят одна лисья и две енотовые шубы — это-то и есть самые богачи: они из Терентьева, да их и много; вон в синем кафтане, рублей по восемнадцати сукно, — это из Овсянова; за-

езжайте к нему в гости: уверяю, что без цимлянского не уедете! В серой поддевке, рыжая борода, тоже богач из Маслова, одним словом, очень много, всех не перечесть!

Дело в том, что весь тамошний народ ходит на чужую сторону, то есть в Москву или в Петербург; а есть и такие, которые забираются и в Гельсингфорс и даже в Одессу и промышляют там: по столярному, стекольному, слесарному мастерству. Очень трудной работы — каменной, плотничной, кузнечной — чухломец не любит.

Жизнь почти каждого из них проходит одним обычным порядком: приходит к барину крестьянка — полустаруха.

— Что скажешь, Михайловна? — спрашивает тот.

— К вам, сударь, — парнишку с анофревским Веденеем Иванычем сговорила.

— А по какой это части?

— По стекольной, батюшка, части.

— Что это у вас все стекольщики?.. Хоть бы кто-нибудь из вас в колесники в Макарово отдал? А то по деревне колеса некому сделать.

— Где уж, батюшка, мне это затевать, дело вдове, непривычное, а тут всё на знакомстве-с.

— На сколько же лет?

— На пять-с лет, а по выходе от хозяина сто рублей да синий кафтан-с с обувкой.

— Ну что же? Хорошо, с богом!

И отправляют парнишку с Веденеем Иванычем, и бегают он по Петербургу или по Москве, с ног до головы перепачканный: щелчками да тасканьем не обходят — нечего сказать — уму-разуму учат. Но вот прошло пять лет: парень из ученья вышел, подрос совсем, получил от хозяина синий кафтан с обувкой и сто рублей денег и сходит в деревню. Матка первое время как посмотрит на него, так и заревет от радости на всю избу, а потом идут к барину.

— Кто там? — кричит тот из кабинета.

— Афимья с своим питерецем пришла, — отвечают ему из девичьей, с любопытством оглядывая новичка.

— А, хорошо! Войдите.

Входит питерец; волосы приглажены, кафтан подпоясан с форсом, сапоги светятся и скрыпят, кланяется барину и кладет ему на стол рыбу, или яблоков, или просто полтинник.

— Полно, братец, не надобно, — замечает барин.

— Пожалуйте¹, — отвечает питерец, встряхнув головой.

¹ Это значит — примите. (Прим. автора.)

- Молодец вырос, а мастерству выучился ли?
- Про себя, сударь, говорить нельзя, а все можем сделать, что от хозяина было показано.
- Это хорошо: жениться теперь пора, да и в тягло. Парень, слегка покраснев, улыбается.
- Не оставьте уж, батюшка,— отвечает за него мать и при этом случае опять прослезится.
- А у кого же думаете взять? — спрашивает помещик.
- У кого ваше приказанье будет, а мы, по нашему сирочеству, никого не обеегаем,— отвечает мать.
- Какое же мое приказанье: вы знаете, я в этом случае не приказываю... сходитесь по себе, полюбовно.
- На том благодарим, батюшка, покорно,— отвечает все мать,— коли милость ваша будет, так у Ефья Петровича девушку желаем взять.
- У Ефья так у Ефья, ваше дело,— только чтобы с той стороны не было сопротивления.
- Сопротивленья не полагаем, разговор уж об этом был.
- А тебе она нравится ли? — относится барин к парню.
- Нравится, сударь,— девушку похулить нечем, как быть следует.

И женят таким образом парня в мясоед, между рождеством и масленицей. Но как пришел великий пост, так и начали молодого в Питер собирать: прибрали попутчиков, привязал он к спине котомку и пошел, а там, месяца через два, и поотнишет что-нибудь, вроде того:

«Милостивеющая государыня матушка Афимья Михайловна и дражайшая сожительница Катерина Ефьевна, просим вашего родительского благословения и навеки нерушимо; о себе уведомляю, что проживаю по тепериче у Веденя Иваныча за триста рублей в лето, и при сем прилагаю десять целковых на подушную, чего и вам желаю.

Крестьянин ваш сын такой-то».

На Петров день и барину оброк выслал, а к Новому году и остальную цоловину, и сам сошел в деревню. Так он ходит каждый год, а там, как бог посчастливит, так и хозяйство заведет: смотришь — и дом с белендрясами вытянул... Все это хорошо, когда хорошо идет, а бывает и другое...

.....

(Из рассказа «Плотничья артель»)

Зиму прошлого года я прожил в деревне, как говорится, в четырех стенах, в старом, мрачном доме, никого почти

не видя, ничего не слыша, посреди усиленных кабинетных трудов, имея для своего развлечения одни только трехверстные поездки по непромятой дороге, и потому читатель может судить, с каким нетерпением встретил я весну. И — боже мой! Как хороша показалась мне оживающая природа и какую тонкую способность получил я наслаждаться ею, способность, которая — не могу скрыть — была мною утрачена в городской жизни, посреди чиновничьих и другого рода мирских тревожений. Настоящим образом таять начало с апреля, и я уж целый день оставался на воздухе, походя на больного, которому после полугодичного заключения разрешены прогулки, с тою только разницей, что я не боялся ни катара, ни ревматизма, ходил в легком платье, смело промачивал ноги и свободно вдыхал свежий и сыроватый воздух. Протаявший на пригорке луг сделался для меня предметом неистощимого вниманья; по нескольку раз в день я наблюдал, как он больше и больше расширяется, свежей и свежей зеленеет; появившиеся на садовых вербах почки я почти пересчитывал, как будто бы в них было все мое богатство. С каким живым чувством удовольствия поехал я, едва пробираясь, верхом по проваливающейся на каждом шагу дороге, посмотреть на свою родовую речку, которую летом курица перейдет, но которая теперь, несясь широким разливом, уносила льдины, руша и ломая все, попадающееся ей навстречу: и сухое дерево, поваленное в ее русло осенним ветром, и накат с моста, и даже вершу, очень бы, кажется, старательно прикрепленную старым поваром, ради заманки в нее неопытных щурят. Целую неделю на небе хоть бы облачко; солнце с каждым днем обнаруживает больше и больше свою теплотворную силу и припекает где-нибудь у стены, точно летом. И сколько птиц появилось, и как они ожили, откуда прилетели и все поют: токуют на своих сладострастных ассамблеях тетерева, свищет по временам соловей, кукует однообразно и печально кукушка, чирикают воробьи; там откликнется иволга, там прокричит коростель... Господи! Сколько силы, сколько страстности и в то же время сколько гармонии и в этих звуках оживающего мира! Но вот снегу больше нет: лошадей, коров и овец, к большому их, сколько можно судить по наружности, удовольствию, сгоняют в поля — наступает рабочая пора; впрочем, весной работы еще ничего — не так торопят: с Христова дня по Петров пост воскресенья называют *гулящими*; в полях возятся только мужики; а бабы и девки еще ткут красна, и которые из них помоложе и повеселей да посвободней в жизни, так ходят

в соседние деревни или усадьбы на гульбища; их обыкновенно сопровождают мальчишки в ситцевых рубахах и непременно с крашеным яйцом в руке. Гульбища эти по нашим местам нельзя сказать, чтоб были одушевлены: бабы и девки больше стоят, переглядываются друг с другом и, долго-долго собираясь и передумывая, станут, наконец, в хоровод и запоют бессмертную: «Как по морю, как по морю»; причем одна из девок, надев на голову фуражку, представит парня, убившего лебедя, а другая — красну девицу, которая подбирает перья убитого лебедя дружку на подушечку, или, разделавшись на два города, ходят друг к другу навстречу и поют — одни: «А мы просо сеяли, сеяли», а другие: «А мы просо вытопчем, вытопчем». Самой живой сценой бывает, когда какой-нибудь мальчишка покатится вдруг колесом и врежется в самый хоровод, причем какая-нибудь баба, посердитее на лицо, не упустит случая, проговоря: «Я те, пес-баловник этакой!», толкнуть его ногой в бок, а тот повалится на землю и начнет дрегать ногами: девки смеются... Иногда привяжется к хороводу только что воротившийся с базара пьяный мужичонко и туда же лезет целоваться с девками, которые покрасивее; но этакого срамного кто уж поцелует? И он начнет выкидывать другие штуки: возьмет, например, две палки, из которых одну представит будто смычок, а из другой скрипку, и начнет наигрывать языком «Барыню» или нагонит какого-нибудь мальчишку, стащит с него сапог силой, возьмет этот сапог, как балалайку, и, тоже наигрывая языком, пустится плясать и, подняв на улице своими лаптями страшную пыль, провалится, наконец, куда-нибудь; хороводницы после этого еще постоят, помолчат, пропоют иногда: «Калинушка с малинушкой лазоревый цвет»; мальчишки еще подерутся между собой, и затем начнут расходиться по домам... Вот вам и игрище все!

Между тем время идет: яровое допахивают. Вечер ясный, теплый. Я сижу на задней галерее дома, обращенной во двор...

...Чалый мерин, которому дозволено гулять в саду по дряхлости лет и за заслуги, оказанные еще в юности, по случаю секретных поездок верхом верст за шесть, за пять, в самую глухую полночь и во всевозможную погоду, — чалка этот вдруг заржал; это значит, слышит лошадей — такой уж конь табунный, жив-сгорел по своему брате; значит, это с поля едут. Сначала показываются боронщики-мальчишки, верхами на лошадях; Васька, сын кучера, обыкновенно впереди всех и что есть духу мчит, но, завидев меня, поехал шагом. Этакого сорванца-мальчишки и вообразить

трудно: его пошлют, например, за грибами, а он поймает в поле чью-нибудь чужую лошадь, взнуздает ее веревкой да верст в десять конец и даст взад и вперед.

«Однако что ж это оральщики не шабашат?» — думаю я сам с собою. Но и оральщики отшабашили, едут! Это можно догадаться по крику задельного мужика, Петра Завирохи; не зная, можно подумать, что он с кем-нибудь бранится, а вовсе нет: он только говорит, и беспрестанно говорит, и все криком кричит; поэтому его Завирохой и прозвали. От оральщиков отделился староста, худощавый и с озабоченным лицом мужик, отличающийся от прочих только тем, что в сапогах и с палочкой, но, как и все другие, сильно загорелый и перепачканный в грязи; он входит на красный двор, снимает шапку и подходит к перилам галереи.

— Здравствуй, Семен, надевай шапку. Что скажешь хорошего? — говорю я.

— Овес выкидали, — отвечает Семен неторопливо.

— Ну, и слава богу! Вовремя, значит, управляемся; теперь, стало быть, ячмень и лен только остался, — продолжаю я.

— Лен и ячмень остался теперь, — подтверждает Семен.

Несколько времени мы оба молчим...

— А куда завтра народ пошлешь? — спрашиваю я его.

— Завтра на дороги надо выгнать: выбивают. Сотской два раза прибежал, исправник его хлестать хочет, что дороги долго не чинят.

— Ну, на дороги так на дороги, откладывать нечего в дальний ящик, не отвертись!

— Известно-с, — соглашается Семен, — за нами хоть бы и без вас, — прибавляет он, — хошь кого извольте спросить, никогда супротив прочих ни в чем остановки нет; как другие вышли, так и мы.

— Это хорошо; так и надо. Ступай, однако, отдыхай, — заключаю я.

Семен сначала пошел было, но потом приостановился, подумал немного и опять воротился ко мне.

— Насчет плотника вы приказывали... — проговорил он.

— Ну да; что ж?

— Наказывал я: на этой неделе обещался побывать.

— И хорошо; только сделает ли он ригу-то?

— Как бы, кажись, не сделать: по мужикам здесь на всем околотке работает; рига не какая хитрость, не барские хоромы.

Тем разговор мой с Семеном и кончился...

Дня через три я сижу в кабинете, который, как водится в помещичьих домах, прилегает к лакейской; слышу: кто-то вошел. Я окрикнул; вместо ответа в сопровождении Семена вошел мужик небольшого роста, с татарским отчасти окладом лица: глаза угловатые, лицо корявое, на бороде несколько волосков, но мужик хоть и из простых, а, должно быть, франтоватый: голова расчесанная, намавленная, в сурмленной поддевке нараспашку, в пестрядинной рубашке, с шелковым поясом, на котором висел медный гребень, в новых сапогах и с поярковой шляпой в руках. Как вошел, так и начал молиться, и молился долго, потом вдруг подошел ко мне, и не успел я опомниться, как он схватил и поцеловал у меня руку. Мне это с первого раза не понравилось.

— Что это за глупости? — сказал я с сердцем, отнимая руку.

Он отступил несколько шагов назад.

— Это, ваше высокоблагородие, так следует: когда выходит господин, значит, опосля бога и царя первый, ваше высокопривосходительство, — проговорил он с умильной физиономией.

— Да кто ты такой? Что ты за человек?

— Пузич, ваше привосходительство.

— Что такое Пузич?

— Фамилия такая у меня, значит, ваше привосходительство, и таперича наслышан я, что работа у вас имеется, ваше привосходительство, что ежели таперича вам мастера хорошего надобно, чтоб в настоящем виде мог представить, ваше привосходительство...

— Плотник это-с, что этта говорили, — разрешил наконец Семен.

— А! Плотник! Я и не догадался. Красно уж очень говоришь ты, братец, — сказал я.

Похвалу эту Пузич принял за чистую монету.

— Нельзя, ваше высокопривосходительство, нам разговору не знать: ежели таперича дела имеем мы с господами хорошими, значит, компанию им должны сделать завсегда, ваше привосходительство.

— Конечно, — сказал я, — только так ли ты хорошо строишь, как говоришь?

— Работа моя, ваше привосходительство, извольте хоть вашего Семена Яковлича спросить, здесь на знати; я не то, что плут какой-нибудь али мошенник; я одного этого бесчестья совестью не подниму взять на себя, а как перед богом, так и перед вами, должён сказать: колесо мое большое,

ваше привосходительство, должён благодарить владычицу нашу, сенновскую божью мать, тем, что могу угодить господам. Таперича хоша бы карандашом рисовка на плане, али, примерно, циркулем, али теперь по ватерпасу прикинуть — все в разуме моем иметь могу, ваше привосходительство.

Семен усмехался и качал головой.

— Как же, братец, ты вот все это в разуме имеешь, а работаешь больше по мужикам? — заметил я.

— Нет, ваше привосходительство, как перед богом, так и перед вами, говорю: за бесчестье себе считаю у мужика работать. Что мужик? Дурак, так сказать, больше ничего! — возразил Пузич.

— Да ведь и ты не княжеского рода. Говори дело-то, а не то что... — вмешался Семен.

— Известно, слово твое настоящее, Семен Яковлич, коли говорить, так говорить надо дело, — отвечал, не сконфузясь, Пузич.

Он начал производить на меня окончательно неприятное впечатление, но вместе с тем я с удовольствием смотрел на несколько ленивую и флегматическую фигуру моего Семена, который слушал все это с тем худо скрытым невниманьем и презреньем, с каким обыкновенно слушает хороший мужик плутоватую болтовню своего брата.

— Братъ ли нам его? — спросил я Семена.

Он посмотрел в потолок.

— Возьмите. Здесь ишь какая сторонка — глушь: хоть бы и из их брата, первой, другой, да, пожалуй, и обчелся.

— Без сумления будьте, ваше привосходительство, сделайте такую милость! — подхватил Пузич.

— Что ж ты возьмешь? Как твоя цена будет? — спросил я.

— Цена моя, ваше привосходительство, — начал Пузич, — будет деревенская, не то что с запросом каким-нибудь али там прочее другое, а как перед богом, так и перед вами, для первого знакомства, удовольствие, значит, хочу сделать: на ваших харчах, выходит, двести рублей серебром.

При этом Семен мой даже попятился назад.

— Что ты, паря, сблаговал, что ли? — сказал он, устремив глаза на Пузича.

— Меньше одной копейки, Семен Яковлич, взять не могу, — отвечал тот.

Я с своей стороны понял, что имею дело с одним из тех мелких плутишек, которые запрашивают рубль на рубль барыша, и хотел разом с ним разделаться.

— Твоя цена двести рублей, а моя — сто, — сказал я, думая, что снес, сколько возможно, много. По лицу Пузича быстро промелькнул какой-то оттенок удовольствия, а Семена опять подернуло.

— Сто — много, помилуйте! Семидесяти рублей с него за глаза будет, — произнес он с укоризною.

Пузич усмехнулся.

— Не то что об семидесяти, а и об ста рублях, Семен Яковлич, разговаривать нечего. Этой цены малой ребенок не возьмет! — сказал он с такой уж физиономией, как будто скорей готов был умереть, чем работать за сто рублей.

— Полно врать, Пузич! Полно! Что язык понапрасну треплешь! — возразил Семен, начинавший выходить из терпенья.

— Може, вы сами язык понапрасну треплете, Семен Яковлич. Здесь идет разговор с господином, а не с мужиком: значит, понимаем, с кем и пред кем говорим, — возразил Пузич.

— Сто рублей, больше не дам: согласен — хорошо, а нет — так можешь убираться, — сказал я и нарочно стал заниматься своим делом.

Пузич не уходил.

— Позвольте, ваше привосходительство, — начал он, прикладывая руку к сердцу, — так как таперича я очень желаю, чтоб знакомство промеж нас было; значит, полтора ста серебром вы извольте положить, и то в убыток — верьте богу.

— Больше ста не дам, убирайся! — решил я.

— Ваше высокородие, позвольте! — продолжал Пузич, еще крепче прижимая руку к сердцу, — кому таперича свое тело не мило, а лопни, значит, мои глаза, ваше привосходительство, ежели кто хоть копейку против меня уваженья сделает.

— Ломается еще туда же, дура-голова! — проговорил Семен.

— Ломаться мы не ломаемся, Семен Яковлич, уж это вы сделайте такое ваше одолжение, а, значит, дело, выходит, неподходящее.

— Неподходящее? — повторил Семен сердито. — Мало тебе, жиду, ста рублей! Двадцать пять серебром и то лишних передано.

Пузич как будто бы не слышал этого замечания и обратился ко мне:

— Накиньте, ваше высокопривосходительство, хоть четвертную еще; ей-богу, безобидно будет.

Я молчал.

— Это что говорить,— продолжал Пузич,— сработать можно всяко; только я худого слова, значит, заслужить не хочу, а желаю так, чтоб меня и напередки знали... Maybe, ваше привосходительство, изволите знать по Буйскому уезду генерала Семенова: господин, осмелюсь так, по своей глупости, сказать, строжающий, в настоящем виде, значит.. когда у него эта стройка дома была, пятеро подрядчиков, с позволенья доложить вашему привосходительству, бегом сбежали от него; и таперича, когда он стал требовать меня: «Что ж, думаю, буди воля царя небесного! А я готов завсегда служить господам», ваше привосходительство. И как перед богом, так и перед вами потаить не могу, первые две недели все мои ребра палкой пересчитаны были; раз пять, может статься, кровянил меня; но я, по своему чувству, ваше привосходительство, не то что брал в обиду, а еще в удовольствие — значит, нас, дураков, уму-разуму учат; когда таперича мужик над тобой куражится и ломается, а от барина всегда снести могу.

«Экая подлая натурашка!» — подумал я и молчал.

— Таперича при разделке, когда дело это было,— продолжал опять Пузич,— генерал сейчас сделал мне отличнейшее угощенье и выкинул пятьдесят рублей серебром лишних. «На, говорит, тебе, Пузич, за то, что нраву моему, значит, угодил». И эти деньги мне, ваше высокопривосходительство, дороже капитала миллионного: значит, могу служить господам.

Я все молчал. Выждав немного, Пузич снова заговорил:

— А насчет вашей работы, я так полагаю, что мое особенное старание быть должно. Таперича, когда моя работа у вас пойдет, вы извольте лечь на ваш диванчик и поживать — больше того ничего сказать не могу.

Я взглянул на Семена: в лице его изображались досада и презрение.

— Не дам больше ста,— сказал я решительно.

Пузич перенял свою шляпу из одной руки в другую.

— Этой цены, ваше высокородие, никому взять несобразно,— проговорил он и потом, постояв довольно долго, присовокупил, вздохнув: — Прощенья, значит, просим,— и стал молиться, и молился опять долго.— Только то выходит, что за пятнадцать верст сапоги понапрасну топтал,— пробурчал он.

— Эка, паря, что ты сапоги потоптал, так и дать тебе тысячу! — возразил Семен.

Пузич, ничего на это не возразив, повторил еще раз:

— Прощенья просим, ваше высокородие,— и пошел; Семен за ним; но я видел, что Пузич не уйдет и воротится, потому что шел он очень медленно по красному двору и все что-то толковал Семену. Через несколько минут они действительно опять воротились.

— Сто берет,— сказал Семен.

— Хоша три рублика серебром, ваше высокородие, набавьте: по крайности я на артель ведро вина куплю,— присовокупил Пузич с подло просительным выражением в лице.

— На артель, братец, я сам куплю ведро вина, а тебе копейки не прибавлю,— возразил я.

Пузич грустно покачал головой.

— Как нынче и на свете стало жить — не знаем,— начал он,— господа, выходит, пошли скупые, работы дешевые... Задаточку уж, ваше высокородие, извольте мне пожаловать,— прибавил он еще более просящим голосом.

— Сколько ж тебе?

— Двадцать пять рубликов серебром,— отвечал Пузич совершенно уж неестественным тоном.

Видимо, что он принадлежал к разряду тех людей, которые о деньгах покойно и без нервного раздражения не могут даже говорить. Я подал ему двадцать пять рублей; Семену это не понравилось.

— Что в задаток-то хватаешь? Не убежим от твоих денег!— сказал он Пузичу.

— Ах, Семен Яковлич, бог с тобой! Выходит, словно ты наших делов не знаешь,— проговорил тот, засовывая дрожащею рукою бумажку в кожаную кису, висевшую у него на шее.

— Ты сам, паря, свои дела лучше нашего знаешь,— отвечал Семен.— Теперь вот ты у нас работу берешь, а я тебе при барине говорю, чтоб опосля чего не вышло: ты там как знаешь, а чтоб на нашей работе Петруха был беспременно.

Пузич насмешливо улыбнулся.

— Петруха? — повторил он с усмешкою и обратился ко мне:— Когда я, ваше привосходительство, сам на работе, что же значит Петруха? Какое он звание может иметь, когда сам подрядчик тут, извините вы меня, Семен Яковлич,— отнесся он к Семену.

— Из наших ведь, брат, мужицких извинений не шубу шить, это что! — возразил в свою очередь Семен.— Не на одной нашей работе, а и на всякой Петруху от тебя требуют — знаем тоже.

Пузич еще насмешливее покачал головою.

— Ежели таперича, чтоб барину сделать удовольствие, Семен Яковлич, мы о Петрухе не постоим, за Петруху нам стоять много нечего: артель моя большая.

— Артель твою, Пузич, и мы тоже знаем; я опять при барине говорю: кроме Петрухи, другой прочий може у тебя только с нынешнего Николы тонор в руки взял, так уж с того спросить много нечего.

— А Петруха-то кто ж такой? — спросил я Семена.

— Уставщик; по всей артели парень надежный, — отвечал он.

— Кто про это говорит! Мастер отличнейший, в лучшем виде значит. Ежели таперича, ваше привосходительство, с позволения так сказать, по нашим делам он человек, значит, больной, а мы держим его без пролежек, ваше привосходительство, жалование, значит, кладем ему сполна, — проговорил Пузич, но таким голосом, по тону которого ясно было видно, что похвала Петрухе была ему нож острый, и он ее поддерживал только по своим торговым расчетам.

При прощанье Пузич стал просить у меня полтинничка в придачу ему на чай. В полтиннике мне уж совестно было отказать — я ему дал, но Семен и против этого протестовал:

— Ну, паря, славная ты выжима! — проговорил он Пузичу, на что тот отвечал только вздохом.

Сделать ригу я задумал не столько по необходимости, сколько для развлечения. Помещики, обреченные на постоянную жизнь в деревне, очень хорошо знают, что стройка в деревне — благодать, самое живое развлечение; точно должность получил, приличную своим способностям: каждое утро сходишь посмотреть, потолкуешь; после обеда опять идешь посмотреть; вечером тоже.

Все это делал, конечно, и я.

Пузич пришел ко мне работать сам четверт: с молодым парнем, Матюшкой, толсторожим и глуповатым на лицо, с Сергеичем, стариком очень благообразным, который обратил особенно мое внимание на себя тем, что рубил какими-то маленькими и очень красивыми щепочками и говорил самым мягким тенором, и все всклад. Уставщик Петруха был мужик высокого роста, сухой, с строгим выражением в глазах и с ироническим складом в губах. Он говорил мало, но резко и насмешливо. Сам Пузич оказался на работе совершенная дрянь: он суетился, кричал, бранил, впрочем,

одного только Матюшку, который принимал его брань с простодушной и глупой улыбкой.

— Всегда тебя так бранит подрядчик? — спросил я его.

— Завселды... дядюшка ведь он мне, завселды все лается, — отвечал он мне и засмеялся.

Над Сергеичем Пузич только важничал, но перед Петрухой — другое дело: тот его, видимо, уничтожал своею личностью и чувствовал, кажется, особое наслаждение топтать его в грязь по всем распоряжениям в работе. Достаточно было Пузичу выбрать какое-нибудь бревно и положить его на углы, для пригонки, как Петр подходил, осматривал и распоряжался, чтоб бревно это сбросили, а тащили другое.

— Что? Аль неладно? — спрашивал при этом Пузич каким-то робким голосом; но Петр даже не удостоивал его ответом, молча размечал, и Пузич смиренно усаживался и начинал рубить по отметкам работника.

На другой или на третий день, как стали они у меня работать, я подошел и сел на бревно около Сергеича, на долю которого выпало тесать пол, и, следовательно, он работал вдали от прочих.

— Что, дедушка, стар бы ты по чужой стороне ходить, — заговорил я.

— Что делать-то, батюшка, — отвечал старик мягким голосом, — нужда скачет, нужда пляшет, нужда песенки поет — да! Хоть бы и мое дело, не молодой бы молодец, а на седьмой десяток валит... Пора бы не бревна катать, а лыко драть да на печке лежать — да!

— Отчего это ты все вот всклад говоришь? — заметил я ему.

Сергеич усмехнулся.

— Измолоду, государь мой милостивый, — отвечал он, — такая уж моя речь; где и язык-то набил на то — не помню; с хороводов да песен, видно, дело пошло; ну и тоже, грешным делом, дружничал по свадебкам.

— Дружкой ты был? — сказал я.

Старик самодовольно улыбнулся.

— Я был, може, из дружек дружка, а не то что просто дружка; меня ажно из Ярославля богатые мужички ссыгали дружничать у них на сыновних свадебках, по сту рублей мне за то платили; я был дорогой дружка — да! Ты вот, государь милостивый, в замечанье взял, что я речь всклад говорю; а кабы ты посмотрел еще меня на свадебном деле, так что твой колоколец под дугой али гусли многострунные!..

... — А уж нынче разве ты не дружничаешь? — спросил я.

— Нет, государь мой милостивый, давно уж отстал; что-что с рожи-то цветен да румян, а глаза больно плохи. Вот и рубишь теперь все больше по памяти; кажинный год раза три сослена-то обрубисься, а уж где дружничать: тут надо глаза быстрые, ноги прыткие!

— Ты семейный али одинокий?

— Какое, друг сердечный, одинокий! — возразил Сергеич: — Родом-то, видно, из кустовой ржи. Было-боло в избе всякого колосья — и мужиков и девья: пятерых дочек одних возвел, да чужой человек пенья копать увел, в замужества, значит, роздал — да! Двух было сыновьев возрастил, да и тем что-то мало себе угодил. За грехи наши, видно, бог нас наказывает. Иов праведный был, да и на того бог посылал испытанье; а нам, окаянным, еще мало, что по ребрам попало — да!

— А сыновья где ж у тебя?

— Сыновья, друг сердечный, старший, волей божьею на Низу холеркой помер, а другого больно уж любил да ласкал, в чужи люди не пускал, думал, в старые наши годы будут от него подмоги, а выходит, видно, так, что человек на батькиных с маткой пирогах хуже растет, чем на чужих кулаках — да!

— Где ж он? Спился, что ли?

— Я уж и сказать тебе не знаю как, в кою сторону он дурак; недолго бы, кажись, пил, да много в кабак отвалил. Добросовестным он, государь мой милостивый, при конторе нашей был, и послали его, где греху-то быть, с мирскими деньгами в город; уехать-то уехал в поддевке, а оттель привели на веревке — да! Все денежки, двести с хвостиком, и ухнул там; добрые люди, спасибо, подсобили — да! Он-то благовал, а батька в ответ попал: мирские рублики, батюшка, не простят. На сходке такое положенье сделали, что али бы я деньги за него клал, али бы его, разбойника, на поселенье сдал — да! Не стерпел я этого: детки-то к нам сердцами не падки, а они нам — худы ли, добры — всё сладки. Делать неча, пошел к Пузичу, стал ему в ноги кланяться...

— А разве Пузич у вас деньги в рост отдает?

— Нештó, нештó, сударь, одождает кой-кого на знати, — отвечал старик, вздохнув, — исстаря еще у них в дому это заведение идет: деды его еще этим промышляли.

— Помилуй! Сам Пузич дурак какой-то, болтушка! — заметил я.

Сергеич усмехнулся.

— Да, то-то вот, что-что разумом мелок, да как сердцем-то

крепок, так и богаче нас с тобой, государь милостивый, живет. Гривной одолжит, а рубль сорвать норовит; мало бога знает, неча похвалить, татарский род проклятый, что-то крещеные! Хоша бы и мое дело: тем временем слова не сказал и дал, только в конторе заявил, а теперь и держит словно в кабале; стар не стар, а все в эту пору рубль серебра стою, а он на круг два с полтиной кладет.

— Ну, а прочие как же живут у него? — спросил я.

— А что, государь мой милостивый, прямо тебе скажу: вся артель у нас на одном порядке, — отвечал старик тихо. — Все в кабале у него состоим. Вон хоть бы этот Матюшка, дурашный, дурашный парень, а все бы в неделю не рублем ассигнациями надо ценить.

— Неужели же он рубль ассигнациями только кладет ему в неделю? — воскликнул я.

— Али больше! — отвечал Сергеич. — Он тоже пригульный: девка по лесу шла да его нашла, бобылка согрешила — землицы, значит, и не было у них, хлебом-то и бились... Ну, Пузич и делал им это одолжение: давал на пропитание, а теперь и рассчитывает как надо: парень круглый год калачика не уболит съись; лапотов новых не на что купить, а все денег нет — да! Каковы наши богатые-то мужички, а наш-то уж, пожалуй, изо всех хват, черту брат.

— Ну, а этот Петр, уставщик, верно, на особом у Пузича положении нанят, по настоящей ряде?

— А какое, сударь, по настоящей ряде! Тоже в кабале, еще больше нашего. Триста рублей ему должным состоял, от родителя тоже поотделился, а тут, где бы разживаться, в болость впал, словно бы года два хворал, а уж это до кого ни доведись: хозяин лежит, нужду в доме творит.

— Отчего ж Пузич трусит его, кажется?

— Ну да, батюшка, по работе-то нужный ему человек: что бы он без него? Как без рук, сам видишь! А еще и то... после болести, что ли, с ним это сделалось, сердцем-то Петруха неугож, гневен, значит. Таперича, что маленько Пузич сделает не по нем, он сейчас ему и влепит: «Ты, баэт, меня в грех не вводи; у меня твоей голове давно место в лесу приискано».

— Неужели же он это вправду говорит? — спросил я.

Сергеич засмеялся.

— Нету, сударь, какое, кажись, вправду! — отвечал он. — Мужик богобоязливый, сделает ли экое дело! Сердце только срывает, страшает. Ну, а Пузич тоже плутоват-плутоват, а ведь заячьего разуму человек: на ружье глядит, а от

воробья бежит, и боится этого самого, не прекословствует ему много.

Петр стал меня очень интересоваться, и я хотел было о нем поподробнее расспросить Сергеевича, но в это время подошел Пузич и начал нести какую-то чушь о работе, и я, чтоб отделаться от него, ушел в комнаты.

.....

Успеньев день — у нас в приходе праздник. Это можно уж догадаться по тому, что кучер мой, Давыд, между нами сказать, сильный бахвал и большой охотник до парадных выездов, еще в семь часов утра, едва успел я встать, пришел в горницу.

— Что тебе? — спрашиваю я.

— Извольте ехать молиться к обедне или нет-с? Коли поедете, так лошадей надо припасти.

Собственно говоря, лошадей совершенно нечего припасть, а стоит только вывести из конюшни и заложить, и Давыд, я знаю, пришел спрашивать, чтоб скорее успокоить свое ожидание насчет того, удастся ли ему проехать и пофорсить.

— Поеду, — говорю я.

У Давыда от удовольствия кровь бросается в лицо.

— Жеребцов ведь припасти? — спрашивает он.

— Нет, братец, разгонных бы, — говорю я.

— На разгонных нельзя, вся ваша воля: разгонные лошади совсем смучены; а что эти одры, стоят только да овес едят! Хошь мало-мальски промнутя, — возражает Давыд с вытянутым лицом, и я убежден, что одна мысль: ехать на разгонных к празднику, была для него мученьем.

— Ну хорошо, на жеребцах поедем, — говорю я, — только уговор лучше денег: в сарае не изволь их муштровать и хлестать, а то они у тебя выскакивают, как бешеные, и, подъезжая к приходу, не скакать благим матом, а то, пожалуй, или себе голову сломишь, или задавишь кого-нибудь.

— Не извольте беспокоиться. Господи, боже мой! Не первый год езжу, — говорит Давыд и потом, постояв немного, присовокупляет: — Кафтаи синий надо надеть-с?

— Конечно, — говорю я.

— Кушак тоже шелковый? — прибавляет он.

— Конечно, конечно, — подтверждаю я, не понимая еще, к чему он ведет этот разговор: синий кафтан и шелковый кушак находятся совершенно в его распоряжении.

— Вы этта изволили говорить, перчатки зеленые купить мне в Чухломе.

— Ну да! Что ж?

— Не для чего покупать-с... у Семена Яковлича еще после папеньки вашего лежат кучерские перчатки; не даст только без вашего приказанья, а перчатки важные еще! — разрешает наконец Давыд, к чему он клонил разговор.

— Хорошо; скажи, чтоб дал, — говорю я.

И Давыд, очень довольный, отправляется. Надобно сказать, что он очень хороший кучер и вообще малый трезвого поведения и доброго нрава, но имеет одну слабость: прихвастнуть, и прихвастнуть не о себе, а все как бы в мою пользу. Вдруг, например, расскажет где-нибудь на станции, на которой нас обоих с ним очень хорошо знают, что я граф, генерал и что у меня тысяча душ, или ошибет какого-нибудь соседа-мужика, что у нас двадцать жеребцов на стойле стоят. Когда я бываю с ним иногда в городе и даю ему полтинник на чай, он этот полтинник никогда не издержит, но, воротившись домой, выбросит его на стол перед своей семьей и скажет: «Нате-ста: только и осталось от пяти серебром баринова подареньица». Кроме этих внешних достоинств, он любил меня украшать и внутренними, нравственными качествами; так, например, припишет мне храбрость невероятную в рассказе такого рода, что раз будто бы мы ехали с ним ночью и встретили медведя, и он, испугавшись, сказал: «Барин, я пуцу лошадей», а я ему на это сказал: «Подержи немного, жалко медвежьей шкуры», и убил медведя из пистолета, тогда как я в жизнь свою воробья не застреливал.

После Давыда начинает являться прочая дворня проситься на праздник — обычай, который заведен был еще прадедами и который я поддерживаю, имея случай при этом делать неистощимое число наблюдений. Первая является Александра-скотница, очень плутоватая и бойкая женщина.

— Батюшка Алексей Феофилактыч, позвольте на праздник-то сходить, — говорит она.

— Хорошо, ступай; только как коровы без тебя останутся? Смотри!

— О коровах, батюшка, я баушку Алену просила: баушка походит. Как можно о скотинке не думать! Я о ней кажинный час жалею. И сегодня не пошла бы, да у тетки моей праздник, а у меня и родни-то на свете только тетка родная и есть, — говорит она скороговоркой.

— Ступай, — говорю я, хоть и предчувствую, что она меня обманывает.

Только что Александра ушла, мимо окон по двору идет Андришка-ткач, с женой, очень смазливый малый, год назад женившийся на молоденькой и очень хорошенькой из крестьян бабенке, значит, еще *молодые* и оба, в отношении меня, несмелые; они стоят некоторое время на дворе и пере-коряются, кому идти проситься: наконец подходит к окну молодая и кланяется.

— Здравствуй, милушка,— говорю я.

Она вся вспыхивает.

— На праздник, что ли, хочешь идти? — спрашиваю я.

— Нешто, сударь,— говорит она.

— Ну, ступай.

— И хозяина уж пусти! — прибавляет она.

— Ступайте.

Она хочет идти.

— Да, постой,— говорю я,— у тебя грудной ребенок: как ты его оставишь?

— Пошто оставлять: с собой возьму.

— Помилуй, ты измучишь и сама себя и ребенка.

— Ой, ничего,— отвечает она,— мало ли с ребятами ходят, не одна я — ничего!

— Ступайте.

Она кланяется и опять краснеет и, подходя к мужу, говорит: «Пустил!» Тот тоже издали мне кланяется, и уходят оба. Комнатный человек мой Константин, сопутник с десятилетнего возраста моей жизни, имеющий обыкновение обращаться со мной строго, приготовляет мне бриться и одеваться с мрачным выражением в лице. Ему тоже хочется на праздник, и он думает, что не попадет, но я намерен доставить ему это удовольствие.

— Константин, ты велишь оседлать себе лошадь и поедешь со мной.

— Слушаю-с,— отвечает он голосом, необычно суровым.— Старуха Алена пришла: просится тоже помолиться,— прибавляет он, умилившись сердцем от собственного удовольствия.

— Как же мне делать? Уж я скотницу отпустил,— воскликнул я.— Позовите старуху.

Старуха входит.

— Я ведь, старуха, скотницу Александру отпустил: она мне наврала, что ты берешься посмотреть за коровами.

— Ну, батюшка, вся ваша воля,— отвечает старуха покорным, но укоризненным тоном,— круглый год из-за этой

Александры Алексевны лба не перекрестишь. Она пошла пиво пить, а тебе и помолиться нельзя.

— Эй! Кто там? — кричу я. — Скажите Александре, чтоб она не уходила; а ты, старуха, ступай.

— Где уж, батюшка! Не воротись ее: совсем нарядная приходила к тебе проситься; прямо из горницы и побежала; верст на пять теперь уж ушла.

Мне стало жаль старухи.

— На тебе двугривенный, что ты остаешься; а в следующее воскресенье я тебя на лошади отправлю богу помолиться, — говорю я.

— Ой, батюшка! Что это? Пошто? И так довольны вашей милостью, — говорит она; впрочем, берет двугривенный и этим отчасти успокаивается.

Я продолжаю смотреть в окно: старик повар прошел, в белой манишке моего подаренья; молодая горничная, еще накануне завившая свои виски в мелкие косички, а теперь расчесавшая их, прибежала, как сумасшедшая, к матке в избу. Ключница прошла в погреб, в мериновом платье и в шелковом, повязанном маленькой головкой, платочке. Это штат барыни, и они у нее, вероятно, отпросились. Я вижу даже, что у конского двора отчаянный Васька запрягает им в телегу лошадь и сам, никого не допуская, натягивает супонь. Таким образом, собирается почти вся дворня, за исключением разве дедушки Фадея: и тот остается потому, что с печки слезть не может. Впрочем, он только еще нынешний год не пошел, а прошлый ходил, но, не дойдя еще до прихода, свалился в канаву и пролежал тут почти целый день. Даже Семен, несмотря на свою флегматичность и бесстрастность характера, остался очень доволен, когда я ему предложил, чтоб и он тоже ехал. Никогда еще не замечал я в нем такой расторопности: не прошло пяти минут, как он уже сидел верхом на чалке, в синем кафтане и какой-то высокой бобровой шапке, бог знает от кого и каким образом доставшейся ему. Однако пора и мне собираться; я оделся и вышел. Давыд, несмотря на мои просьбы и наставления, распорядился по-своему: лошади, весьма добронравные и хорошо приезженные, вылетели из сарая, как бешеные, так что он, повалившись совершенно назад, едва остановил их у крыльца. Я убежден, что они жесточайшим образом нахлестаны; кроме того, коренную он по обыкновению взнуздal бечевкой, чтоб круче шею держала, а бедным пристяжным притянул головы совершенно к земле, так что у них глаза и ноздри налились кровью.

Напрасно я восставал против этой его системы закладыванья: на все мои замечания он отвечал: «Господа так ездят, красивее этак!..» В настоящем случае я ничего уж и не говорил и только просил его, ради бога, не гнать лошадей, а ехать легкой рысью; он сначала как будто бы и послушался; но в нашем же поле, увидев, что идут из Утробина две молоденькие крестьянки, не мог удержаться и, вскрикнув: «Эх, вы, миленькие!» — понесся что есть духу.

— Неужели ты, Давыд, думаешь, что нас молодцами за это сочтут? Напротив, дураками! — принимался я было ему втолковывать, но все напрасно. Подъезжая к приходу, он весь как-то уж изломался: шапку свернул набекрень, сам тоже перегнулся, вожжи натянул, как струны, а между тем пошевеливает ими, чтоб горячить лошадей. День был светлый; от прихода несся говор народа, и раздавался благовест вовся; по дороге шло пропасть народу, и все мне кланялись.

— Матка, чей барин-то? — говорит одна старуха другой.

— Филата Гаврилыча, матка, сын, али не узнала? — отвечает ей та.

— Ну вот, какой хороший да пригожий! — говорит первая старуха.

На худой лошаденке, которые обыкновенно называются вертохвостками, гарцует некто Фомка Козырев, лакей и управляющий одной немолодой вдовы-помещицы. Уж три года, как Фомка стал являться на всех праздниках в плисовых штанах, в плисовой поддевке, с серебряными часами; путем поклониться ни с кем не хочет, простого вина не пьет, а все давай ему наливки. Жареных пышек на иной ярмарке на рубль серебра съест в день, а орехи без перемежки в кармане насыпаны. За это и по другим, еще более уважительным причинам, его и прозвали *полубарином*. Завидев меня и замечая, что я начинаю его обгонять, он также, в свою очередь, начинает горячить лошадь, а сам представляет, что совладеть с ней не сможет. Лошаденка завертела хвостом и пошла боком забирать все дальше и дальше в сторону.

Чем ближе к селу, тем больше обгоняешь народу. Какие у всех довольные лица, а между тем как мало надобно, чтоб доставить этим людям это удовольствие. Придет иной верст за десять пешком к приходу, помолится, а тут и отправится в деревню, где празднуют. Хорошо еще, у кого есть родные: тот прямо идет гоститься, то есть выпить, пообедать и поболтать; а у кого нет, так взойдет в избу несмело и проговорит каким-то странным голосом: «С праздником, хозяева

честные, поздравляем». Хозяин, который уж действительно ничего не жалеет, но которого в то же время одолевают гости, проговорив: «Сейчас, голубчик, сейчас», поспешит ему дать рюмку водки, пирога и пива; гость это все выпьет, съест и отправится в другую избу, и таким образом к вечеру наберется порядочно.

К величайшему неудовольствию Давыда, я не допустил его произвести эффект, проезжая по улице села, а велел ехать задами и пошел сам пешком. У церковных ворот пересек мне дорогу маленький семинарист, в длинном нанковом зеленом сюртуке.

— Здравствуйте, папенька крестный, — проговорил он. Когда я его крестил, — совершенно не помню.

— Здравствуй, милый! Ты чей?

— Отца дьякона, папенька крестный, — отвечал он.

— А! Отца дьякона! Это хорошо... Что, обедня идет или нет?

— Начинается, папенька крестный, — отвечал он и, как человек привычный, пошел впереди, расталкивая для меня народ.

В церкви, у левого клироса, стоят две барышни, небогатые прихожанки. Я убежден, что до моего появления они молились усердно, но как увидели меня, так и начали модничать. Мне всегда несколько грустно видеть их у прихода. Зачем они не ходят в просто причесанных волосах, а как-нибудь всегда их взобьют? Зачем они носят эти собственного рукоделья шляпы из полинялой шелковой материи с полинялыми лентами? Зачем так безбожно крахмалят свои кисейные платья и, наконец, зачем, по преимуществу старшая, произносят все в нос? Я подозреваю, что, говоря таким образом, она воображает, что говорит по-французски.

После обедни я хотел было пройтись по ярмарке, но меня остановила проживающая в селе немолодая тоже девица из духовного звания, по имени Арина Семеновна, девица большая краснобайка и очень неглупая.

— Позвольте, батюшка Алексей Феофилактыч, — начала она, — просить вас осчастливить меня вашим посещением. Я еще пользовалась милостями вашего папеньки, маменьки; по доброте своей и великодушию, они никогда не брезговали посещать мою сиротскую хижину. Слух тоже, батюшка, и про вас идет, что вы в папеньку — негордые.

— С большим удовольствием, сударыня; но меня звал отец Николай; чтоб мне туда не опоздать, — сказал я.

— Отец Николай, батюшка, долго еще изволят пробыть

в церкви, так как теперича простой народ молебны будет служить, а вы по крайности тем временем чайку или кофейку у меня откушаете. Богато-небогато, сударь, живу, а все на прием таких дорогих гостей имею.

— Очень хорошо, сударыня, извольте.

— Не знаю, как и благодарить за ваши милости,— сказала мне с поклоном Арина Семеновна и отнеслась к идущим за мной двум барышням: — Нимфодора Михайловна, Минодора Михайловна, позвольте и вас просить к себе на чашку чаю: я у вас частая гостья, гощу-гощу и стыда не знаю, а вас в своем доме давно не имела счастья видеть.

— О нет, вы этого не можете сказать: мы у вас тоже частые гости! — произнесла совершенно в нос старшая сестра, Нимфодора.

— Кабы еще чаще, еще бы я была больше осчастливлена,— сказала Арина Семеновна...

...Из толпы, окружающей кабак, вышел Пузич с Козыревым; оба они успели, видно, порядочно выпить. Я еще прежде слышал, что Пузич подрядился у Фомкиной госпожи строить новый флигель, и у них, вероятно, были поэтому слитки. Пузич, увидев меня, остановился и поклонился, а Козырев, нахмуренный и мрачный, немного пошатываясь и засунув руки в карманы плисовых шаровар, прошел было сначала мимо, но потом тоже остановился и, продолжая смотреть на все исподлобья, стал поджидать товарища.

— Ваше высокоблагородие, позвольте с вами компанию иметь,— проговорил Пузич пьяным голосом.

— Нет, братец, в другое уж время,— сказал я, показывая ему рукой, чтоб он отправлялся, куда шел.

— Барин!.. Писемский!.. Господин! Позвольте с вами компанию иметь! — прокричал Пузич на всю уж улицу, так что Арина Семеновна, как хозяйка, обеспокоилась этим...

— Нехорошо, нехорошо, Пузич,— сказала она,— мужик вы хороший, богатый, а беспокоите господ. Ступайте, ступайте!

— Арина Семеновна, позвольте компанию иметь! — воскликнул опять Пузич.— Ежели таперича барину, господину Писемскому, деньги таперича нужны — сейчас! Позови только Пузича: «Пузич, дай мне, братец, денег, тысячу целковых» — значит, сейчас, ваше высокопривосходительство. Что мне деньги! Денег у меня много. Мне барин, господин Писемский, его привосходительство, значит, отдал таперича все деньги сполна, и я благодарю, должен благодарить. Таперича господин Писемский мне скажет: «Подай мне, Пузич, деньги

назад!» — «Изволь, бери...» Позвольте, ваше привосходительство, компанию мне с вами иметь?..

В это время вышел из-за угла Матюшка, что-то с несвойственным ему печальным лицом, и робко подошел к Пузичу.

— Дядюшка, дай два рублика-та, — пробормотал он.

Физиономия Пузича в минуту изменилась: из глупо подлой она сделалась строгой.

— Какие твои два рубли? — сказал он, обернувшись к Матюшке лицом и уставив руки в бока.

— Мамонька наказывала серн купить, жать нечем, — проговорил тот.

— Какие твои деньги у меня? За какие услуги? Говори! Ежели таперича ты пришел у меня денег просить, как ты смеешь передо мной и господином в шапке стоять? Тебе было сказано, на носу зарублено, чтоб ты не смел перед господами в шапке стоять, — проговорил Пузич и сшиб с Матюшки шапку.

Тот только посмотрел на него.

— Что дерешься? И на тебе шапка не притаченная, — проговорил он поднимая шапку.

— Молчать! Поговори еще у меня! — продолжал Пузич. — Когда, значит, подрядчик с тобой разговаривает, какой разговор ты можешь иметь!

— Пузич, идемте, — проговорил октавой Козырев, которому уж, видно, наскучило ждать.

— Идем, идем, Флегонт Матвейч, — отвечал Пузич, — дураков, значит, надо учить, ваше привосходительство, коли они неумны, — отнесся он ко мне и, очень довольный, что удалось ему перед всем народом покуражиться над Матюшкой, пошел с Козыревым опять, кажется, в кабак.

Бедняга Матюшка издали последовал за ним.

— Что? Тебя не рассчитывает подрядчик? — спросил я его.

— То-то-тка, все вот жилит да дерется еще, — отвечал он, уходя.

Не прошло четверти часа после этой сцены, мы сидели еще с барышнями у Арины Семеновны в ожидании отца Николая, который присылал из церкви с покорнейшею просьбою подождать его, приказывая, что, как он освободится, так сам зайдет просить достопочтенных гостей... Около церкви никого уж не видать, а между тем в противоположной стороне, к кабаку, масса народа делается все гуще и гуще. Наконец я увидел ясно, что туда идут и бегут.

— Кажется, пожар! — сказал я, вставая.

— Ах, боже мой! — воскликнула Нимфодора и даже Минодора с довольно, по-видимому, твердыми нервами. В это время вошел отец Николай, бледный и запыхавшийся.

— Батюшка! Что такое случилось? Откуда вы? — спросил я.

— Что, сударь! Случилось несчастье: убийство в кабаке! Сейчас ходил напутствовать дарами, да уж поздно — злодеи этакие!

— Скажите! — произнесли опять Нимфодора и Минодора в один голос.

— Кто такие? Кто кого убил? — спросил я.

— Плотники... стали пьяные в кабаке с хозяином разделяться... слово за слово, да и драка... один молодец и уходил подрядчика насмерть, — отвечал отец Николай, садясь и утирая катившийся с лица его крупными каплями пот.

— Не Пузича ли это? — сказал я.

— Его, его, Пузича, коли знаете. Плотоватый был мужичонко.

— Кто ж его убил? Он сейчас здесь был.

— Да я уж и не знаю. Петром, кажется, зовут парня, высокий этаким, худой,

— Батюшка! Нельзя ли еще как-нибудь помочь убитому? — воскликнул я.

— Вряд ли! — отвечал отец Николай, сомнительно покачивая головой.

Но я, схватив попавшийся мне на глаза перочинный ножик, чтоб пустить Пузичу кровь, пошел как мог проворно к кабаку. Место происшествия, как водится, окружала густая толпа; я едва мог пробраться к небольшой площадке перед кабаком, на которой, посредине, лежал вверх лицом убитый Пузич, с почерневшим, как утопленник, лицом, с следами пены и крови на губах. У поддевки его правый рукав был оторван, рубаха вся изорвана в клочки; правая рука иссечена циркулем, но кровь уж не пошла. В стороне стоял весь избитый Матюшка и плакал, утирая слезы кулаком связанных рук. Сидевшему на лавочке Петру, тоже с обезображенным лицом и в изорванном кафтане, сотский вязал ноги.

— Злодей, что ты наделал? — сказал я ему.

Он взмахнул на меня глазами, потом посмотрел на церковь.

— Давно уж, видно, мне дорога туда сказана! — проговорил он и прибавил сотскому: — Что больно крепко вяжешь? Не убегу.

В толпе между тем несколько баб ревело, или, лучше сказать, голосило:

— Батюшка, кормилец мой! — завывала одна.

— Что ты надсажаешься? Али родня? — говорил ей мужской голос.

— Ну, батюшка, как не надсажаться! Все человеческая душа, словно пробка выскочила! — отвечала женщина.

— Пускай поревет; у баб слезы не купленные, — заметил другой мужской голос.

— О, о, о, ой! — стонала еще другая баба. — Куда теперь его головушка поспела?

— Удивительная вещь, удивительная вещь! — толковал клинобородый мужик с умным лицом и, должно быть, из торговцев.

— Как у них это случилось? — отнесся я к нему.

— Пьяные, сударь, — отвечал он, — Пузич с утра с Фомкой пьют; пьяные-с! Поначалу они принялись вдвоем в кабаке этого толсторожего парня бить; не знаю, про што его и связали: он ничем не причинен!.. Целовальник видит, что дело плохо: бьют человека не на живот, а на смерть, караул закричал. Мы в кабак-то и вбежали, и Петруха-то вошел. «За что, говорит, парня бьете?» — и стал отымать, вырвал у них его, да и на улицу: они за ним, да и на него. Пузич за волосы его сгрел, а Фомка под ногу подшибает, и Петруха — на моих глазах это было — раза два их отпихивал, так Фомка и поотстал, а Пузич все лезет: сила-то не берет, так кусаться стал, впился в плечо зубами, да и замер. Мы было с сотским начали разнимать их — где тут! За ноги хотели было их растащить, так Пузич как съездил меня сапогом по голове, так шабаш — на-ли шабалка затрещала. Сотский стал уж кричать: «Воды! Водой разливайте!» Я было побежал зачерпнуть — прихожу: все уж порешено. Петруха, говорят, оборанивался, оборанивался и как ухватит его заперек, на аршин приподнял, да и хрясь о землю — только проохла. А Козырев испугался, вскочил на своего живодерного коня и луния почал его лупить плетью, чтоб ускакать. Ребята тут смеются ему: «Возьми, говорят, кол; ишь плетью-то не пробирает, бока больно толсты!» Такой дурак: угнал — словно не найдут.

Я вышел из толпы...

НИКОЛАЙ НЕКРАСОВ

КОРОБЕЙНИКИ

(Главы из поэмы)

*Другу-приятелю
Гавриле Яковлевичу
(крестьянину деревни Шоды,
Костромской губернии)*

Как с тобою я похаживал
По болотинам вдвоем,
Ты меня почасту спрашивал:
Что строчишь карандашом?

Почитай-ка! Не прославиться,
Угодить тебе хочу.
Буду рад, коли понравится,
Не понравится — смолчу.

Не побрезгуй на подарочке!
А увидимся опять,
Выпьем мы по доброй чарочке
И отправимся стрелять.

Н. Некрасов
23-го августа 1861
Грешнево

I

Кумачу я не хочу,
Китайки не надо.
Песня

«Ой, полна, полна коробушка,
Есть и ситцы и парча.
Пожалей, моя зазнобушка,
Молодецкого плеча!
Выди, выди в рожь высокую!
Там до ночки погожу,
А завижу черноокою —
Все товары разложу.»

*Часовня
в селе
Некрасовском
(перв.
четверть
XVIII в.)*



Цены сам платил немалые,
Не торгуйся, не скупись:
Подставляй-ка губы алые,
Ближе к милому садись!»

Вот и пала ночь туманная,
Ждет удалый молодец.
Чу, идет! — пришла желанная,
Продает товар купец.

Катя бережно торгуется,
Все боится передать.
Парень с девицей целуется,
Просит цену набавлять.
Знает только ночь глубокая,
Как поладили они.
Распрямись ты, рожь высокая,
Тайну свято сохрани!

«Ой! легка, легка коробушка,
Плеч не режет ремешок!
А всего взяла зазнобушка
Бирюзовый перстенок.
Дал ей ситцу штуку целую,
Ленту алую для кос,
Поясок — рубаху белую
Подпоясать в сенокос.—
Все поклала ненаглядная
В короб, кроме перстенька:
«Не хочу ходить нарядная
Без сердечного дружка!»
То-то дуры вы, молодочки!
Не сама ли принесла
Полуштофик сладкой водочки?
А подарков не взяла!
Так постой же! Нерушимое
Обещаньице даю:
У отца дитя любимое!
Ты попомни речь мою:
Опорожнится коробушка,
На Покров домой приду
И тебя, душа-ззнобушка,
В божью церковь поведу!»

Вплоть до вечера дождливого
Молодец бежит бегом
И товарища ворчливого
Нагоняет под селом.
Старый Тихоныч ругается:
«Я уж думал, ты пропал!»
Ванька только ухмыляется —
Я-де ситцы продавал!

Зачали-пóчали
 Поповы дочери.
*Припев деревенских
 торговшей*

«Эй, Федорушки! Варварушки!
 Отпирайте сундуки!
 Выходите к нам, сударушки,
 Выносите пятаки!»
 Жены мужние — молодушки
 К коробейникам идут,
 Красны девушки-лебедушки
 Новины свои несут.
 И старушки важеватые,
 Глядь, туда же приплелись.

«Ситцы есть у нас богатые,
 Есть миткаль, кумач и плис.
 Есть у нас мыла пахучие —
 По две гривны за кусок,
 Есть румяна нелинючие —
 Молодись за пятачок!
 Видишь, камни самоцветные
 В перстеньке как жар горят.
 Есть и любчики¹ заветные —
 Хоть кого приворожат!»

Началися толки рьяные,
 Посреди села базар,
 Бабы ходят словно пьяные,
 Друг у дружки рвут товар.
 Старый Тихонич так божится
 Из-за каждого гроша,
 Что Ванюха только ежится:
 «Пропади моя душа!
 Чтоб тотчас же очи лопнули,
 Чтобы с места мне не встать,
 Провались я!..» Глядь — и хлопнули
 По рукам! Ну, исполать!

¹ Л ю б ч и к и — деревенские талисманы, имеющие, по понятиям простолюдинок, привораживающую силу. (Прим. Н. А. Некрасова.)

Не торговец — удивление!
Как божиться-то не лень...

Долго, долго все селение
Волновалось в этот день.
Где гроши какие медные
Были спрятаны в мотках,
Всё достали бабы бедные,
Ходят в новеньких платках,
Две снохи за ленту пеструю
Расцарапались в кровь.
На Феклушку, бабу вострую,
Раскудахталась свекровь.
А потом и коробейников
Поругала баба всласть:
«Принесло же вас, мошейников!
Вот уж подлинно напасть!
Вишь, вы жадны, как кутейники,
Из села бы вас колом!..»

Посмеялись коробейники
И пошли своим путем.

.....

«Ой! пуста, пуста коробушка,
Полон денег кошелек.
Жди-пожди, душа-зазнобушка,
Не обманет мил-дружок!»
Весел Ванька. Припеваючи,
Прямым домой идет.
Старый Тихоныч, зеваючи,
То и дело крестит рот.
В эту ночь не уснулося
Ни минуточки ему.
Как мошна-то пораздулася,
Так бог знает почему
Всё такие мысли страшные
Забираются в башку.
Прощелыги ли кабашные
Подзывают к кабаку,
Попадутся ли солдатики —
Коробейник сам не свой:
«Проходите с богом, братики!» —
И ударится рысцой.

Словно пятки-то иголками
Понатыканы — бежит.

В Кострому идут проселками,
По болоту путь лежит,
То кочажником, то бродами.
«Эх! пословица-то есть:
Коли три версты обходами,
Прямыми будет шесть!
Да в Трубе, в селе, мошейники
Сбили с толку, мужики:
— Вы подите, коробейники,
В Кострому-то напрямки:
Верных сорок с половиною
По нагорной стороне,
А болотной-то тропиною
Двадцать восемь.— Вот оне!
Черт попутал — мы поверили,
А кто версты тут считал?»
— Бабы их клюкою меряли,—
Ванька с важностью сказал:—
Не ругайся! Сам я слыхивал,
Тут дорога попрямей.—
«Дьявол, что ли, понанихивал
Этих кочек да корней?
Доведись пора вечерняя,
Не дойдешь — сойдешь с ума!
Хороша наша губерния,
Славен город Кострома,
Да леса, леса дремучие,
Да болота к ней ведут,
Да пески, пески сыпучие...»
— Стой-ка, дядя, чу, идут!

VI

Только молодец и жив бывал.
Старинная былина.

Не тростник высок колышется,
Не дубровушки шумят,
Молодецкий посвист слышится,
Под ногой сучки трещат.

Показался пес в ошейничке,
Вот и добрый молодец:
— Путь-дорога, коробейнички!
«Путь-дороженька, стрелец!»
— Что ты смотришь? — «Не прохаживал
Ты, как давеча в Трубе
Про дорогу я расспрашивал?»
— Нет, почудилось тебе.
Трои сутки не был дома я,
Жить ли дома леснику? —
«А кажись, лицо знакомое», —
Шепчет Ванька старику.
— Что вы шепчетесь? — «Да каемся,
Лучше б нам горой идти.
Так ли, малый, пробираемся
В Кострому?» — Нам по пути,
Я из Шуны. — «А далеко ли
До деревни до твоей?»
— Верст двенадцать. А помногу ли
Поделили барышей? —
«Коли знать всю правду хочется,
Весь товар несем назад».
Лесничок как расхохочется!
— Ты, я вижу, прокурат!
Кабы весь, небось не скоро бы
Шел ты, старый воробей! —
И лесник приподнял коробки
На плечах у торгашей.
— Ой! Легохоньки корбушки,
Всё повыпродали, знать?
Наклевались воробушки,
Полетели отдыхать! —
«Что, дойдем в село до ноченьки?»
— Надо, парень, добрести,
Сам устал я, нету моченьки —
Тяжело ружье нести.
Наше дело подневольное,
День и ночь броди в лесу. —
И с плеча ружье двуствольное
Снял — и держит на весу. —
Эх вы, стволики-голубчики!
Больно вы уж тяжелы. —
Покосились наши купчики
На тяжелые стволы:

Сколько ниток понамотано!
В палец щели у замков.
«Неужели, парень, бьет оно?»
— Бьет на семьдесят шагов.—
Деревенский, видно, плотничек
Строил ложу — тят да ляп!
Да и сам христов охотничек
Ростом мал и с виду слаб.
Выше пояса замочена
Одежонка лесника,
Борода густая склочена,
Лычко вместо пояса.
А туда же — пес в ошейнике,
По прозванию «Упырь».
Посмеялись коробейники:
«Эх ты, горе-богатырь!..»

Час идут, другой. «Далеко ли?»
— Близко.— «Что ты?»— У реки
Куропаточки закокали.—
И детина взвел курки.—
Ай, курочки! важно щелкнули,
Хоть медведя уложу!
Что вы, други, приумолкнули?
Заноем для куражу!—

Коробейникам не пелосся:
Уж темнели небеса,
Над болотом засинелася,
Понависнула роса.
«День-деньской и так умелешся,
Сам бы лучше ты запел...
Что ты?.. эй! в кого ты целишься?»
— Так, я пробую прицел...
.....
Молодец не унимается,
Штуки делает ружьем,
Воем, лаем отзывается
Хохот глупого кругом.
«Эй! уймись! Чего дурачишься?—
Молвил Ванька:— Я молчу,
А заеду, так наплачешься,
Разом скулы сворочу!



*На окраине
села Спас-Вежи*

Коли ты уж с нами встретился,
Должен честью проводить». —
А лесник опять наметился.
«Не шути!» — Чаво шутить! —
Коробейники отпрянули,
Бог помилуй — смерть пришла!
Почитай что разом грянули
Два ружейные ствола.
Без словечка Ванька валится.
С криком падает старик...

В кабаке бурлит, бахвалится
Тем же вечером лесник:
«Пейте, пейте, православные!
Я, ребяташки, богат;
Два бекаса нынче славные
Мне попали под заряд!
Много серебра и золотца,
Много всякого добра

Бог послал!» Глядят, у молодца
Точно — куча серебра.
Подзадорили детинушку —
Он почти всю правду бух!
На беду его — скотинушку
Тем болотом гнал пастух:
Слышал выстрелы ружейные,
Слышал крики... «Стой! винись!..»
И мирские и питейные
Тотчас власти собрались.
Молодцу скрутили рученьки:
«Ты вяжи меня, вяжи,
Да не тронь мои онученьки!»
— Их-то нам и покажи! —
Поглядели: под онучами
Денег с тысячу рублей —
Серебро, бумажки кучами.
Утром позвали судей,
Судьи тотчас всё довели
(Только денег не нашли!),
Погребенью мертвых предали,
Лесника в острог свезли...

ВЛАДИМИР КОРОЛЕНКО

В 1879 г. В. Г. Короленко по подозрению в «обществе с главными революционными деятелями» был сослан в Вятскую губернию. Направляясь к месту ссылки, он некоторое время пробыл в Костроме. Эти дни, а также путешествие по дорогам Костромской губернии Короленко описал в своем дневнике — «Записной книжке 1879» и частично — в «Истории моего современника».

ИЗ «ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ 1879»

...Кострома видна. Оба берега Волги довольно высоки; на правом церковью... какие-то здания, но самый город рассыпался по левому берегу. Скоро. Публика собирает пожитки...

У пристани является вопрос — брать ли извозчиков. Полицейский, очень курьезного вида, в каком-то рыжем сюртуке, указывает дом губернатора и советует идти пешком. Действительно близко, — подняться только по лесенке на гору. Неграмотный унтер-офицер трусит. «Нельзя, полагаются на извозчике. Ну, как он из окон увидит». Спор. Мы прекращаем эти препирательства. «Ну, послушайте, как-нибудь, да поскорее». Берут извозчиков. Попадаются мальчишки. Я сажусь с откровенным унтер-офицером.

— Собака! — ворчит он на другого, — хлеба не дает есть!

Это он насчет экономии на извозчика, хотя, впрочем, и расходы-то оказываются небольшие.

— Эй ты, — покрикивает он на извозчика. — За пятак ты должен на гору рысью везти!

Извозчик, красивый мальчишка, оглядывается с недоумением. Дело в том, что как ни близко к губернаторскому дому пешком, но на извозчике приходится делать объезд, и пятак за троих на гору — цена невероятная.

Подъезжаем.

— Получай на двоих гривенник!

— Что вы! Как можно за гривенник?

Гривенника не оказывается.

— Ну, так и быть! Получай пятиалтынный. Ну, ну! Не разговаривай! По казенной надобности, без ряды!

Входим в дежурную комнату... Большой стол, кажется, приспособленный для того, чтобы служить постелью для дежурного чиновника. Шкап для верхнего платья. Кипы бумаг.

В окна виднеются аллеи, куртина. Вечереет. Мимо окон проходят какие-то дамы. Вскоре затем... является и сам его превосходительство. С ним ... небольшой господин, одетый по-летнему; они о чем-то беседуют, подходя к куртине. По временам поднимают головы, смотрят на верхушки высоких деревьев, над которыми сгущается вечерний сумрак. Вслед за ними пробегает юноша в очень изящной летней блузе, с большой красивой собакой... Мирные картины во вкусе Ауэрбаха и Шпильгагена. Мне почему-то вспоминается «На высоте» Ауэрбаха, хоть высота-то еще не из самых высоких. Теперь там, наверху, должно быть, докладывают:

— Ссылные, ваше-ство, политические.

Его превосходительство стряхнет с себя на минуту идиллическое настроение, навеянное старыми деревьями, и удалится в свой кабинет, чтобы подписать распоряжение об отправке в какую-нибудь часть, где мы запасемся вшами на всю дорогу, — впредь до особого распоряжения.

Жандармы уселись на кипы бумаг. Явился сторож со свечами. Идут расспросы — откуда, где служат и т. д..

Вскоре выносят бумагу. Жандармы ждали квитанции и надеялись тотчас же отправиться на пароход, где им предложили ночлег. Оказывается, что им придется еще проводить нас до части.

Выходим. Первое впечатление по выходе на улицу — поражающая после Питера тишина. Улица пуста. Часов 10. Вечер совсем почти уже спустился над городом. Река потемнела; у берега безмолвно стоят пароходы, барки; работы на судах прекратились. Пристань, еще за полчаса оживленная публикой, высыпавшей встречать пароход, тоже пуста.

— Тихо у вас как!

— Да, вечером у нас тихо.

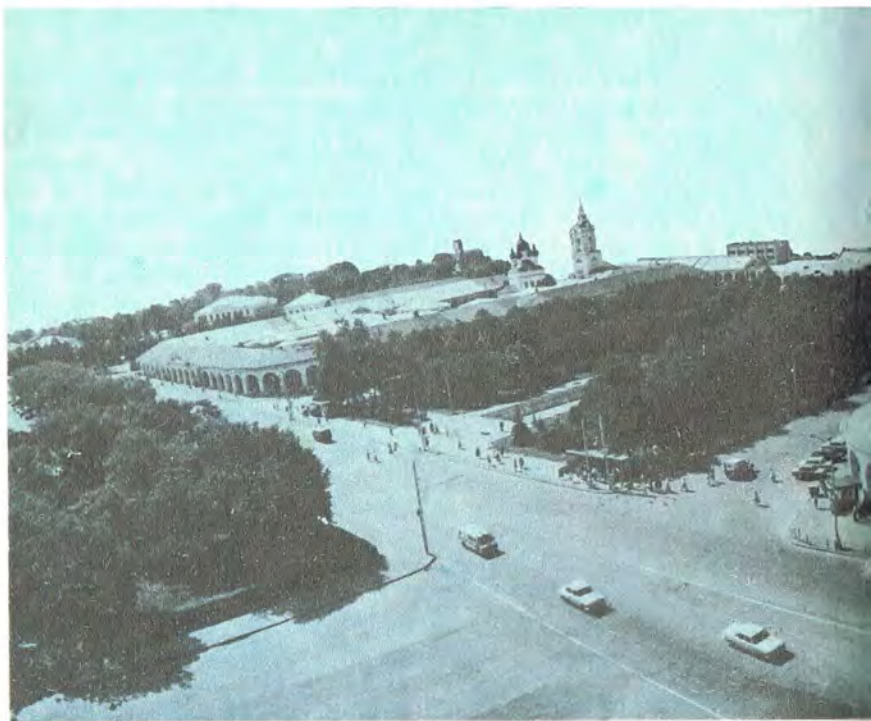
Хорошо! С Волги веет прохладой, воздух свежий. В окнах зажигаются огни; на том берегу, совсем потонувшем в сумраке, всныхивают искорки. Над рекой, на барках тоже.

— Далеко ли до части?

— Близко совсем. Пешком можно, — говорит сторож.

Тем лучше. Город посмотрим, да и благодать теперь прогуляться в такую погоду. Успеем еще в части насидеться и за ночь. Идем.

До части, однако, оказывается далеко. Это сторож для жандармов, видно, старался, чтобы сэкономить плату за



*Исторический центр
города Костромы (Торговые ряды)*

извозчика. Проходим через площадь... Памятник торчит какой-то. Колонна, наверху бюст в мономаховой шапке; внизу, у основания колонны — какая-то фигура, во весь рост, в сидячем положении.

— Чей памятник? — спрашивает молодой жандарм.

— Сусанина, — отвечает сторож.

— Это кто же? — обращается опять тот же жандарм к унтер-офицеру.

— Сусанин, — отвечает тот, — Кострому который спас. Не знаешь разве?

Идем мимо сада с железной решеткой. Гуляние. Длинная, темная аллея; в ней мелькают зонтики, дамские шляпки, белые фуражки кавалеров...

Вот и часть.



Жандармов отпускают, мы остаемся ночевать в части; отводят камеру, которая, вероятно, в обычное время служит кутузкой для временного задержания пьяных...

16 мая. Еще накануне сказали в части, что, вероятно, придется ждать, пока вернутся жандармы, которые повезли в Вятку 6 человек из Питера. По приезде в тюремный замок подтверждают то же. Долго ли?..

— Ну, господа, посидите, — встречают в конторе; — тут ваши тоже проехали, — ждать придется возвращения жандармов... Нет ли чего в узлах: оружия, подпилков?.. Книжечка каких не везете ли запрещенных? — Смотрят вещи. — Ну, отведи их в ту же камеру...

Скука идет *crescendo*. Смотритель заходил. Производит очень приятное впечатление; видно, человек хороший; «доб-



*Памятники архитектуры:
пожарная каланча и здание б. гауптвахты*

рый барин у нас», — говорили сторожа. Арестанты тоже хвалят. Однако обещал книг и газет, да так на обещании и кончилось...

Первое время избавлялся от скуки записыванием да рисованием, но вскоре и этот ресурс стал истощаться. Здесь впечатлений мало. День тянется однообразно. Встаем часов в 7, 8, всегда после поверки (льгота — нас к утренней поверке не будят). Можно бы и раньше вставать, да не знаешь и то, что с временем делать. Чай. Затем в окно больше смотрим. Надоело. Дни хорошие, светлые, порой жаркие. Ветерок когда подымется, заворочают крыльями три ветряные мельницы, — повертятся, повертятся, да и станут. Почта по тракту проедет... солдаты пройдут на работу (на горе, у леса лагерь начали строить), стадо прогонят еще ранее, и вот день установлен. Затем он разбивается в тюрьме на несколько периодов. Часов около 12 раздается внизу: «Пошел за хлебом!» — «За хлебом пошел!» — точно эхо отдается на нашем коридоре. Движение. Затем вскоре: «Пошел обедать!» Арестанты бегут вниз с чашками. Затем после обеда, до чаю, камеры запираются, кроме нашей.

— Теперь вам, господа, по коридору гулять можно, — объявляет зачем-то сторож, хотя мы гуляли и ранее.



*Церковь Воскресения
на Дobre (1652 г.)*

Часа в 4, или иногда ранее, опять слышно внизу: «Пошел за кипятком!» И у нас: «За кипятком пошел!» Чай вечерний. Затем: «Пошел за квасом!»; далее: «Ужинать пошел!» После ужина, часов около 7-ми: «Пошел по местам!» и наконец, минут через 5: «Становись на поверку!» Два-три солдата, помощник смотрителя, иногда офицер караульный, обходят камеры, записывая, сколько человек в каждой, и камеры запираются на ночь (перед ужином еще вносятся парашки и парашечник обходит камеры с купоросом в откинутой поле халата).

День кончен.

Остается серый промежуток; камеры заперты, на коридоре

тихо; временем только пройдет сторож, заглянет в камеры, прикрикнет иногда:

— Вы что делаете? Ах вы, негодяи! Забыли, где сидите-то?

— Да мы (имярек) немножко... — слышится из глубины камер...

— Немножко-о! Вот я вас! Я уж третий раз подхожу, не вижу, думаешь?..

Работают, должно быть, в неуказанное время. Вообще, здесь кто умеет — работает. Есть портные, сапожники; другие гильзы набивают, по заказу в лавочки. «На базар тоже носим, — говорил мне сторож. — Полицместер новый запретил было работать их, да «барин» опять схлопотал».

Наконец раздастся: «Ланпы зажигай!» — «Зажигай ланпы!» К нам тоже подойдет, к отверстию в дверях: «Не темно ли вам, господа?» Это из деликатности...

С арестантами сносились очень мало. Видно, был строгий наказ к нам не ходить. Зашел было один. «Книжки нет ли почитать?» — Нет никаких. Евангелие вот у нас тут есть. — Есть и у нас, да что!.. — Присядьте, — говорим, — побеседуем. Не сел; на коридоре раздались шаги сторожа, и арестантик скрылся.

Встречаемся на коридоре, иногда в сортире. Сначала стеснялись, потом меньше стали; случалось беседовать...

Сортир вроде как клуб. Есть такие любители, особенно из молодых парнишек, — весь день на окне в сортире торчат. И по двору-то ходят мало, хотя разрешено. Разговоры у этих клубных завсегдатаев все вокруг одной темы вертятся: тюрьма-то за городом почти, у кладбища, да и дальше кусты все пошли — арена весьма удобная для эротических походов, которые и служат неисчерпаемым источником наблюдений для завсегдатаев.

— Это кто же с ним пошел?

— Да это Аксюта, или Агафья и т. д. не узнал разве?

Публика пойдет под вечер гулять, — тоже наблюдают.

— Слышь, вон Федор Иванович с женой идет. Жеза-то, вишь, евоная в шляпке тоже!..

*

Все скучнее. 21-е прошло. Ночью явился полицмейстер, — зашел в 2 камеры, в том числе в нашу. — Скоро ли? — Ждали жандармов сегодня. Деньги на вас получены, все готово. Спросил, знаем ли Рябинина. Мы догадались, что это фами-



Здание картинной галереи

ля другого пересыльного, которого привезли вскоре после нас (тоже политический, из Петербурга¹).

*

22, 23, 24-е — все не едем. Что значит? Не знали, что и думать, пришла даже мысль, уже не задержал ли нас маленький эпизод. В Костроме, вот уже два года (кажется) содержится политический арестант Белосветов, по отзывам, господин очень симпатичный. Захотелось послать поклон. Купили чаю и сахару, отдали сторожу, на обороте бумажки написали: «Белосв. привет от незнакомых товарищей таких-то». История было затеялась. Откуда узнали, что он здесь?

¹ Оставлен в Вятке, где мы его и видели. Здесь сторожа жаловались — неуживчив-мол. На нас произвел приятное впечатление: интеллигентное, неглупое, правда, как будто нервное лицо.

Отвечать было очень легко, но мы сказали просто, — знаем, мол, — можно, — так передайте. Раньше знакомы не были. Пошло официальным порядком, через смотрителя. В конце концов чай передали, и сторож принес поклон, — благодарит, мол, за память.

Наконец-то! Узнали, что завтра, часов в 11 укатим. Весть эта застала в одну из скверных минут. Досада, даже злость стала разбирать. Швыряют, точно неодушевленный предмет, да еще такие вот сюрпризы! Главное — не знаешь, что делается с дорогими людьми. Скорее бы уж туда, в Вятку, к письму, наконец, к концу этой скверной неопределенности. Ну, поедем-таки!

При поверке, вечером, к нам не зашли, а наутро сегодня, 25 мая (я схватился еще до поверки, рано), помощник смотрителя подтверждает: «в поход вам сегодня!»

*

...Выехали только часа в 4. Ну, да все же выехали наконец. Дорога, лесок больше по сторонам. Ухабисто. Всю ночь шел дождик, лужи, рытвины. Все же станция мелькает за станцией и не заметишь. Одна смена картин чего стоит, да и кое-когда разговоры послушаешь не тюремные, увидишь хоть проездом что-нибудь интересное. Первая станция (Дровянская) 17 верст. Интересного мало. 2-я Антипинская. Ямщики просят на чаек. Не даем, да и просят хоть назойливо, но без особенной надежды на успех. С Антипинской станции ямщик сел старик, интересный. Бывалый, видно: про Аршаву говорил, про Киевскую губернию. Очевидно, большой любитель «хлебопашества». Все сворачивает разговор на эту тему.

Завод разрушенный встретился на 38-й версте за Костромой. Забор с каменными колоннами, в глубине виднеется разрушенное наполовину каменное здание. Всюду пробивается зелень, поглощающая остатки построек.

Винный завод был, оказывается.

— Что, куда немец-то девался, хозяин? Неизвестно тут у вас? — спрашивает полицейский.

— Неизвестно.

— Вот ведь человек много имел, так больше еще захотелось. Какой завод был, лесу сколько.

— Хлебопашество какое было заведено, — сворачивает ямщик на свою любимую тему, — вот видишь, указывает он кнутовищем, — поля-то все его, далеко еще, — все его было.

Вот к меже подъедем уж, так укажу, где конец земли-то его.

— С чего же это все прахом пошло? — спрашиваю.

— Видите, — поясняет полицейский, — затор он большой сделал на заводе, а полиция и накрыла.

— Так что ж, неужели при таких владениях штрафа не мог выдержать?

— Кто его знает, — не мог, видно.

— Э, нет, — замечает ямщик, — как штрафа не выдержать. Да уж у его раньше тут кое-что запуталось, а тут еще штраф этот и порешил вконец...

— Так и не знаете, где он теперь? Пропал, что ли? Уехал куда? — спрашивает жандарм.

— Может, и костей его уже нет, — произносит полицейский задумчиво. — А завод кто купил?

Ямщик называет фамилию счастливица, которого звезда всплывает над этой мрачной хищнически-финансовой драмой.

— Вот это поле тоже его.

Поле вспахано.

— А ведь земля-то неважная.

— Земля бы ничего, земля хорошая, да назему нет, не кладут навозу.

— Почему же не кладут?

— Земля-то, видишь, в ренду сдается, на год, на один, так и неохота мужику наземить-то. Этот-то год она у него, а на тот другому отдадут. Так и пашут, что даст, то и ладно.

— Известно уж, аренда, — говорит полицейский, — на свою-то полосу мужичок навозу-то натаскает небось...

Мимо лесу поехали. Попалось место, вырубленное сплошь, на пространстве около десятины. Торчат черные обгорелые пни, место огорожено, между пнями по земле пробивается зелень.

— Это что же такое? — спрашивает жандарм.

— Лес, видишь, выжжен. Поле сделано.

— Вот так поле! Что же с него будет-ту?

— А на ём уже и пшеница посеяна. Еще посмотри, коли бог даст, какая пшеница будет, сама повалится, без ветру.

— Ну, и выдумают, — наивничает жандарм. — Господи! Сколько лесу испортили.

Ямщик смеется в бороду.

— Чего испортили! — вмешивается полицейский, — лес этот много ли стоил, а ему урожай тут будет хороший.

— И без навозу, — добавляет жандарм; очевидно, он только прикидывается наивным, так это, — не мужик, мол, и не знаю как что.

— Вот, вот, до дела-то и договорился,— оборачивается ямщик и весело улыбается во все широкое добродушное лицо.— Еще без навозу-то лет пять тут земля-то матушка урожай давать будет. Менять только надобно посевы.

— А что сеять станут? — спрашиваю.

— Пшеницу вот посеяли, а на тот год рожь посеют, потом горох, потом овес, а там опять горох, да и шабаш (кажется, не переврал порядок).

— Что ж, потом так и бросят? — Ямщик не расслышал вопроса; за него ответил полицейский:

— Пни эти сгниют; земле мягче станет, лет через 7—8 вспашут ее; новь называется тогда.

Кажется, врет. Дальше другой ямщик рассказывал тоже о подсечном хозяйстве: севооборот другой: горох, рожь, овес, горох...

— А там, говорит, и бросят; опять березкой да ельничком порастет, и опять лес на этом месте станет (это было севернее).

Станция Судиславль (заштатный город), потом Дубровская (73 в. от Костромы). Ехали ночью. Ночи недлинные; закат еще не потемнеет совсем, а уж на востоке заря забрезжит. Собственно ночи промежутки часа 3—4.

Шатры какие-то у дороги попались, под деревьями. Закрывают с двух сторон и сверху; внутри телеги крытые поставлены, и опять место загорожено холстинами да рогожами. В шатрах людей не видно; спят за загородками.

— Цыганы это,— поясняет ямщик,— снялись уже с зимовок со своих.

— Что,— воруют они тут у вас?

— Зачем воровать,— говорит полицейский весьма уверенно.— Смирно живут.

— А так они у нас смирно живут, что где лошадь уведут, где две; тройка попадетя коли,— тройку, а и пятерка,— так они и ту не оставят. А вот на зиму в деревни пойдут, зимовать. Избу снимут по согласию, рублей за 10. Ну, тогда смирно живут, то есть так даже, что лучше наших. Заедешь к ним по знакомству ежели, примут тебя, накормят, угостят в лучшем виде. И по соседству они тогда люди хорошие. А вот это лошади ихние пасутся.

У краев дороги, под лесом, лошади ходят, лошади хорошие, каждая покрыта попоной. Невдалеке вьется дымок.

— Это вот пастухи ихние.

Утро. Свежо. У костра виднеются трое цыган. Когда мы проезжали мимо, они проснулись; приподнялись три головы,

в каких-то круглых (вроде малороссийских) шапках; при сером полусвете утра я рассмотрел три красивые, смуглые лица. Головы повернулись вслед за нами и затем опять припали к росистой траве.

Странное впечатление произвела на меня эта встреча. Зачем забрело сюда это странное, вечно бродячее племя. И ведь странно, что ко всему применяются они,— применились же к суровому климату севера,— не применяются только к оседлой жизни. И сюда-то, на север, не затем ли они забрели, что здесь привольнее. Помнится, в последние годы у нас, на юго-западе, их становилось все меньше. Не сюда ли и бегут они из стран частной собственности, где каждый клочок земли, каждый уголок луга или леса нашел уже своего владельца; здесь им привольнее, здесь много мирской не деленной в наследственную собственность земли, много лугов, много леса, который жгут полосами, да потом и «шабашат», кидают на волю. «Опять, мол, лес станет». Здесь есть им где и лошадок пустить, не боясь потравы и штрафов, да и порядки полегче. За все эти блага, правда, приходится им смирять на зиму свои дикие воровские инстинкты и становиться «хорошими по соседству людьми».

*

— Даму-то мы вот в Судиславле встретили, мягкая такая,— спрашивает жандарм,— проезжала тут она, у вас-то?

— Толстая? Как же, проезжала. Недавно тудь-ту ехала, до Кадыя никак, а даве назад поехала. Из Костромы она...

— Как звать-то ее, не знаете?

— Не знаю, бог ее знает. В книге записано.

— Зачем вам, спрашиваю, фамилия-то ее?

— А так... Смотрела она на нас даве, так вот... наша ведь она — из Костромы...

— Так что ж?

— Неблагоприятно смотрела очень, так узнать бы фамилию.

Вот, думаю, что! Даром, что в Костроме служит, а не в Питере, даром, что и рожа неумная, а шпионская выправка есть.

Ночь прошла, солнце впереди нас подымается, на восток все едем. Утро свежее, холодное. Роса белеет, точно иней. Местами белые полосы ходят, как тучки. «Туман это или роса?» — спрашивает жандарм.

— Роса это, день ясный будет, хороший.

Действительно, хороший день. Местность тоже хорошая.

Деревни попадаются довольно часто, городов мало, да и те неважные...

— Вот в Кадый-город приедем, курочку велите зажарить,— шутит ямщик.

— Ой? Есть разве? — спрашивает жандарм.

— Какое! Ситнова и то еще достать ли... Вот у нас город какой.

— Да уж недаром говорится: Буй да Кадуи черт три года искал, трое лаптей истаскал, да и посейчас в этих городах черта нет. Не нашел, значит.

Вот и самый Кадый, не то городок, не то деревня. Станция, впрочем, хорошая,— комната большая, вроде гостиной; зеркало, горшки с цветами. Ситного таки достали, яиц сварили, и дальше.

Дорога хорошая, веселая. Лес стал крупнее (у Костромы лесик плохой все, мелкий). Через реку какую-то переправлялись (забыл название). Паром. На другом берегу лес стоит, высокий, темный. На берегу повалено тоже много лесу. У перевоза избушка, белая вся, новая,— сторож живет.

Причалили к берегу; подъем крутой, лошади дергают прямо с парома и сразу выхватывают вихрем на гребень кручи. Дорога берегом идет, стена сосен справа стоит, шум идет от лесу. Потом повернули вправо, в о л о к о м поехали (волоком зовут здесь дорогу по лесу).

— А что, водятся у вас тут медведи в лесу?

— Много есть.

— Что, небось коров дерут, лошадей?

— Как же, бывает, зимой когда...

— А людей?

— И людей тоже, это уж рассердится когда... А рассердится он, так хуже турки бывает. Только теперь его не увидишь,— людей боится, в глушь идет, подальше.

Под вечер уже к Макарью (Макарьев — уездный город) подъезжать стали. Недалеко от Макарьева переправа через Нею-реку. Погода насунилась. Тучи поднялись, и ветер пошел резкий, холодный, особенно у реки. Жандарм надевает пальто.

«Сиверко, говорит; и что это за сторона за такая этот Архангельск, как ветер оттуда подует, такой сивер пойдет, страсть». У переправы народу много.— Что это,— не базар ли у Макарья? Народ оттуда идет.

— Хлеб покупали.

За рекой дорога селом пошла, Зарецким. Дома новые все. «Пожар недавно был, не иначе».

В Макарьев въехали. Город довольно большой, растянулся широко. Дома попадаются каменные, купецкие дочки в окна смотрят. Интеллигенции не видно; на базаре мужики все, бородачи да купцы. Чисто русский город.

— Гляди, городской-то, городской! Вот еще какие бывают!

Среди базара, в кучке здоровенных бородатых мужиков, стоит высокий старик в полицейской форме. Вид патриарха, борода седая, до пояса, в руках громадная палка. Картина оригинальная.

За Макарьем дорога очень живописная вдоль Унжи-реки. Мы ехали по высокому, правому берегу. Река извивается множеством изгибов по широкому заливному пространству; где луга поемные, где лесок по островам; далекий берег виден, весь сплошь лесом покрыт частым, но, кажется, мелким. Вся эта широкая поемная площадь изрезана очень живописно изгибами Унжи; затем она круто подымается возвышенным берегом, по краю которого пролегла с горки на горку наша дорога. По Унже много плотов; в иных местах вся река сплошь плотами занята, и только в середине проход узкой лентой виднеется.

— А что, унжаков тут не видно? — спрашиваю.

— Унжаки все уже в Волгу по полой воде спущены, — теперь их нет. А вон, гляди, один остался, у берега стоит.

Оказывается — унжак просто барка, с широким носом, сидит глубоко в воде; над уровнем воды оконца прорезаны. На Неве таких много.

— Что это у вас часовни понастроены: как горка какая, так тут, на вершине, и часовню выстроют.

— А это, видишь ты, мощи преподобного Макария несли, так где отдыхать становились, тут и часовни ставили.

— Куда же несли-то их?

— А из Старого Макария в Новый.

Унженский разлив в сторону отбежал и скрылся; дорога полями пошла, где перелеском.

— Вот тут скотина одна пасется, без пастухов. С Макарьевского уезда вплоть до Вятки нигде вы пастухов не увидите, — говорит полицейский.

— Это отчего?

— А оттого, что тут поля так уж поделены. Земля на три поля делится — яровое, озимое и паровое, и уж всем хозяевам полосы так к одному месту и отводятся, — все яровые поля вместе, озимые тоже, ну и пар. Так они посевы-ту общей загородкой обгородят, а скотину на пар выпустят. Ходи!

— А у вас как?

— А у нас полосы отдельно раскиданы, каждую не загородишь.

Поехали по Ивановскому селу. Возок попался навстречу; на облучке цыганенок черный за кучера; в возке старик сидит, в синем распашном балахоне, широком, точно у священника. Борода седая, окладистая, длинная, волосы тоже седые. Лицо смуглое, вид очень почтенный. Поклонился.

— Цыган это, старик-от проехал. К Макарию едет (у въезда в Макарьев опять видели шатер; вокруг него собралась кучка мужиков, с большим интересом смотревших на цыган; те очень равнодушно относились к этой добродушной назойливости). — Начальник, что ли, ихний.

У старого Макария опять Унжа к дороге подошла. За селом недалеко станция Унженская; к ней река крутой лукой подбежала. «Не здесь ли перевоз через Унжу будет?»

— Нет, еще далеко. Верст сто дорога-то по Унже бежит, а перевоз только за Высоковской станцией.

На Унженской станции первое затруднение насчет лошадей вышло. Взяли тройку земских.

Выехали к вечеру, в дороге ночь провели. Опять по Унже поехали, а там опять на гору поднялись, повернули, и река скрылась. Сначала ехать было скверно, тесно. Провожатые кой-как полусидя дремлют. Я не спал опять, иногда только сидя вздремнешь будто, забудешься, да тут же на ухабе где-нибудь голову встряхнет, и проснешься. Проснувшись раз таким же образом, вижу, ямщик поворотился ко мне и смотрит на меня пристально. Когда я открыл глаза, он посмотрел еще некоторое время так же внимательно и потом медленно поворотился к лошадям. Это повторилось несколько раз. Лицо умное, взгляд пытливый, вдумчивый. Меня он заинтересовал также, и я решился потолковать с ним. Стали волоком на гору подыматься, песком дорога пошла, из телеги вышли; стали назад садиться, я на облучок полез к ямщику.

— Плохо вам будет, — говорит жандарм, которому эта идея, очевидно, сильно не по сердцу пришла.

— Ничего не плохо, — говорит ямщик, очищая мне место. — Тут получше еще будет, просторнее-от.

— Вы хоть ноги-ту сюда спустите.

— Нет, это неудобно. Так лучше.

Поехали. Лес поднялся повыше. Волков, говорит ямщик, много есть. Про волков заговорили сначала; потом беседа стала интересней. Вообще, эта ночь, хотя я ее вторую уже

не спал напролет, оставила во мне самое яркое, хорошее впечатление. Ясно; по обе стороны дороги ельничек пошел невысокий, луна над ним плывет, точно по самым верхушкам перекачивается, колокольчик позванивает, да еще собеседник хороший, умный.

— Недавно тут тоже ваших провезли — две тройки. Барышню везли, молоденькая такая, хорошая, веселая...

Это он про Мурашкинцеву. Вообще несколько раз в дороге приходилось подобные отзывы слышать. Все Мурашкинцеву вспоминают. Нравится.

— Дозвольте вас спросить: вы-то из каких же будете, какого звания люди.

Я понял этот вопрос в общем смысле, т. е. кого это взяли-то этак? — и ответил не совсем точно:

— Студенты, говорю, слышали?

— Слышали, слышали. А на службе на какой были?

— Не были на службе, — вольные были.

— Вольные... так, так. Все же при деле были при каком?

Объясняю, что был при газетном деле. Знает газеты.

Сделал несколько вопросов: где жили, не брат ли это другой-то? Семья есть ли? и т. д.; все это как-то не зря, с большим участием, даже с каким-то интересом; вообще, хотя по содержанию разговор не представлял ничего особенного, но тон его мне очень понравился; пожалуй, не приходилось еще говорить-то этак; чувствовалась связь какая-то; интерес в вопросах, и отвечать интересно. Рассказал: так, мол, и так — было нас столько-то; всех мужчин забрали, баб одних да ребенка оставили. «Экое дело!» Часто после незначительного, по-видимому, вопроса он покачивал головой; «так, так», скажет и задумается, точно обдумывает слышанное в связи с тем, что думалось раньше.

Я был осторожен и, пожалуй, чересчур уже сдержан. Не хотелось уже очень с колеи сбиться, сказать что-нибудь, что могло казаться мне интересным, а ему не было бы нужно. Часто приходилось испытывать это ранее. Поэтому я довольствовался ответами на прямые вопросы. Я чувствовал себя, так сказать, «на пути», и будь время, я бы, конечно, разговаривался «по душе» и с интересом, но от неумения шел ощущенью и тихо.

Помолчали. Выехали из волоки, полем поехали. Ямщик думал; я тоже; вслушивался в звон колокольчика, да еще всегда, когда приходится на лошадях ночью ехать, мне все сзади голоса какие-то смутные слышатся. Все кто-то говорит будто, — несколько голосов, далеко, далеко —

сзади в сумраке. И такое знакомое что-то, хорошее, да не разберешь — что. И слушаешь, слушаешь, а тут и картины пойдут одна за другой, лица знакомые, дорогие люди, что остались там сзади по разным местам, далеко. И не сплю я ночью в дороге от этого.

Ямщик повернулся слегка в мою сторону, посмотрел внимательно, искоса, очевидно, спросить что-то захотел. Я знал даже — что: «За что, мол, везут-то вас в чужую дальнюю сторону?» — Да так и не спросил. Я тоже смолчал.

Помолчали еще, да о политике и заговорили. Отчего наш государь последнего городу у турок взять не смог? Почему у турок золото было, а у нас нет? Отчего бумажки падают в цене?

Объяснил, кажется, довольно понятно. «Так, так», — говорит.

Правду сказать, это уже мало было интересно. Политика — как бы ни было, дело далекое. «Слава богу, замирение сделали» — вот единственное действительно глубоко искреннее восклицание, остальное все отзывалось простым любопытством. Дальше и совсем про белую Арапию пошло. Про Китай расспрашивать стал (начал с того, что, мол, китайский-то нашему сродственник выходит).

Вижу — станция недалеко, все равно другого разговора не заведешь, да и жандарм ёрзает сзади, не спится ему, боится чего-то. Стал отвечать. Рассказал про Китай, про тесноту в нем, как там от тесноты землю вглубь продают, на снос; про водные города на Янтсекианге. Слушал с интересом, да мне этот разговор уже не нравился. Чем, в самом деле, от рассказов про белую Арапию какого-нибудь служивого он отличается? Тем, что мои чудеса — истинные, а служивый наврет много; но во 1-х, это вопрос одного праздного любопытства, а во 2-х, у него нет мерки, чтобы отличить мои истинные чудеса от лживых. Далеко ведь Китай-то.

Подъехали к станции. «Прощайте», — говорю. «Прощайте, родной, дай бог счастливее вам». Руку протянул сам. «Ну, ну, ладно, прощайте уж», — ворчит жандарм.

*

На утро миновали Фатьяновскую станцию, к Высоковской подъезжать стали. Опять Унжа зазмеилась вправо. Движение тут по ней шло. Плоты плавили; плоты эти длинные, связаны по несколько так, что весь плот изгибаться может. Два руля — спереди и сзади; будочка к носу поближе поставлена.

Церковь
в с. Красном
на Волге
(1592 г.)



Издали по 2 человека, а где и по одному виднеются. По дороге народу много идет, кто с котелком, с кошелками из бересты. «С реки это идут, лес плавили в Волгу». Бабы тоже попадают.

К реке ближе дорога подвинулась.

— Гляди, там вон, на плоту, баба веслом как орудует, — говорит жандарм, — неуж и они тоже к Волге на плотях ходят?

— Как же! Еще у нас редкий мужик без бабы своей становится. Мужик да баба, так вдвоем и гонят.

— Что ж, она ему много ли поможет?

— Коли не поможет! Она всю работу может справиться. Еще которая так и лес кошмит на берегу-то.

— Как это: 'кошмит-то'?

— Кошмит — плоты сшивает, значит, бревна заворачивает, гляди, как ловко.

Лесная сторона все, леса хорошие.

— Свой лес гоняете или в работниках с чужим ходите?

— Бывает и свой, а то в работниках больше.

— Выгодно?

— Год на год не приходится. Вот как-то наши свой погнали. Кормомных-то денег, никак, по 3 р. 14 к. заплатили в казну-ту, а на Волге лес этот по 3 р. пошел. По 14 коп. (с бревна, должно быть) своих еще и скормили.

*

— Вот тут избы хорошо строят, — говорит жандарм. — Крыши-те хорошие, окна большие. А вот дальше туда в Вятской губ. совсем плохо строятся. Где и лес есть, и то плохо строятся.

— Неохочи строиться они, — говорит ямщик.

— Линтяи, вот что, линь, братец, главное дело (в Костромской губернии говорят и вместо е, — линь-лень). Уж так здесь у них серо, так серо и-и! просто не смотрел бы, как есть мужики, си-ивые!

Случается, впрочем, жандарм и похвалит народ. Попадаются мужички нам навстречу, телеги в сторону сворачивают, шапки снимают.

Жандарм умиляется.

— Жил это я в Питере. Поверите, — семь лет не бывал, да вовсе неохота и побывать-то; не люблю этот край до бесконечности. Вот здесь сторона, так сторона! Людишки это на лошадишках на своих издиют, навстречу попадают, всякий тебе кланяется, честь отдает, одно слово — самая приятная сторона.

— Запуганы, говорю, очень.

— Нет, не то, что запуганы (не нравится ему это грубое объяснение), а только что народ уж такой, великодушной народ, вот что, великодушной народ здесь.

— Оттого это, — вмешивается полицейский, — что с колокольчиком едем, думают, не начальство ли.

— Зимой это мы ехали. Снегу страсть навалило; где она и дорога-то, — не узнать было, пра не узнать. Встретится обоз, так весь в сторону и сворачивает, в снег-ту; на, мол, родимой, проезжай себе с богом, мы тя не задерживаем. Эх, приятной народ, одно слово: нет этого народу-ту милые...

НА ПЕРЕЛОМЕ

Несколько слов от составителя

Надо заметить, что хотя Кострома и занимала достойное место в почетном ряду губернских центров России, она никогда не была особо крупным, густонаселенным городом. К началу XX в. население ее едва достигало 50 тысяч человек. Коренные костромичи селились компактно, преимущественно на старых улицах, и плохо или хорошо знали друг друга, а то и вообще находились в родстве. Наверное, поэтому обо всех примечных событиях в жизни города они, как правило, осведомлены были из первых уст, если не принимали в тех событиях участия сами.

В какой-то мере я ощутил это и на себе.

Мы жили почти в самом начале бывшей Царевской улицы (теперь проспект Текстильщиков) в двухэтажном деревянном доме, на воротах которого висела жестяная мемориальная доска. Она уведомляла прохожих, что здесь в 1905 г. черносотенцы учинили дикую расправу над прогрессивно настроенной молодежью. Старые жители из нашего и соседних дворов со всеми подробностями рассказывали, как все произошло.

Деятнадцатого октября невдалеке отсюда, на Сусанинской площади, состоялся молодежный митинг, проходивший под лозунгами борьбы с самодержавием. Полиция оттеснила его участников на Царевскую улицу, где на них и набросились мракобесы. Они загнали юношей и девушек в дом и устроили там настоящее побоище: зверски избивали их палками, выбрасывали из окон второго этажа.

Это было одним из событий, которые весьма наглядно отражали политическую жизнь Костромы того времени. В 1903—1904 гг. в городе произошло несколько стачек, которые заканчивались расстрелами рабочих; летом 1905 г. был создан Костромской комитет РСДРП, а в ноябре начал действовать Совет рабочих депутатов.

Помню, в городском краеведческом музее хранился под стеклом групповой снимок членов этого Совета. Школьные учителя во время экскурсий непременно обращали на него внимание ребят: еще бы, Костромской Совет рабочих депутатов был одним из первых в России!

И вот однажды я узнал, что сидящий в центре фотографии старый костромской рабочий Кузьма Марков — не кто иной, как отец моей матери.



*Памятник костромским рабочим,
расстрелянным жандармами в 1915 г.*

мой родной дед. И сразу многие рассказы о революционной борьбе рабочих, о стачках, маевках и боевых дружинах, не раз слышанные в доме деда и бабушки, приобрели для меня совсем иную окраску.

Я очень любил «гостить» у них в низеньком, вросшем почти по самые окна домике на Старотроицкой улице (ныне улица Юных Пионеров), и мне любопытно было теперь узнавать, что сюда частенько заходил видный костромской большевик, председатель Совета депутатов-стачечников С. В. Малышев, позднее ставший председателем Всесоюзной торговой палаты, что дед хорошо знал бесстрашного руководителя боевой дружины Костю Козуева, основателя и первого редактора нелегальной газеты «Северный рабочий» А. М. Стопани.

Дом
на улице
Ивана
Сусанина,
в котором
в 1907 г.
находилась
подпольная
типография
Костромской
организации
РСДРП



Во главе костромской большевистской организации тогда стояли такие выдающиеся деятели партии, как Я. М. Свердлов, А. И. Гастев, М. С. Кедров, А. М. Стопани, Ц. С. Бобровская (Зеликсон). Костромской комитет РСДРП имел свою подпольную типографию, распространял нелегальные издания не только в Костроме, но и в близлежащих районах, проводил значительную работу в воинских частях. Большой резонанс получила организованная в декабре 1905 г. всеобщая забастовка, которая продолжалась четыре дня.

В 1908 г. Костромская социал-демократическая организация по доносу провокатора была разгромлена полицией. Но с 1912 г. в Костроме начался новый подъем рабочего движения. Особенно часто вспоминали у Марковых о крупной забастовке рабочих-текстильщиков в самом начале лета 1915 г.

С ъ В Е Р Н Ы Й

РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
РАБОЧАЯ ПАРТИЯ.

Пролетарии всех стран, соединитесь!

Воскресенье 14 Января 1907 г.

РАБОЧИЙ

№ 1.

Орган Костромского Окружного Комитета Р. С. Д. Р. П.

Товарищи и граждане!

Российская Социально-демократическая Рабочая партия решила широко исполнить существующий избирательный закон, как и саму Думу, для борьбы за полновластное народное представительство, за землю и землю! С этой целью наша партия принимает в выборах самое горячее участие. Местный отдел РСДРП в Костром. Окр. Кн. Кон. как и все социал-демократы, стремится к тому, чтобы назначенные избирателями в Думские депутаты представляли народные массы, пролетариат, торговлю и сельскую бедноту в полной мере, под отмененным законодательным порядком!

Товарищи и граждане! Наша партия также неуклонно выражает интерес всех избирателей и избирательниц и избирательниц: пусть идет за землю и волю борьбу! Необходимо, чтобы все граждане, участвующие в борьбе пролетариата и народа, помогли провести эту кампанию возможными способами.

«Этот — наш закон, мы существуем не только на слова!»

«Живите вы своими именами в наш избирательный фонд!»

Велики заслуги за наших кандидатов!

ГЛОССИТЕ ЗА КАНДИДАТОВ РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ!

Газета «Северный рабочий»

5 июня рабочие вышли на демонстрацию и собрались недалеко от их дома, в Михинском сквере. Против демонстрантов были двинуты войска, началось кровавое побоище. Четверо рабочих были убиты, десятки ранены. Этот расстрел вызвал взрыв возмущения по всей России. В десятую годовщину Октябрьской социалистической революции на этом месте был поставлен обелиск, а в 1959 г. его заменили памятником по проекту скульптора Е. Поляковой. Михинский сквер с примыкающей к нему территорией стал называться площадью Борьбы.

Многим улицам Костромы присвоены имена видных революционеров: Свердлова, Симановского, Шагова, Козуева и других.

ВСЕВОЛОД Н. ИВАНОВ

Всеволод Никанорович Иванов (1888—1971) родился в г. Волковыске Гродненской области, но отроческие и юношеские годы его были тесно связаны с Костромой. Здесь он учился в гимназии, принимал активное участие в деятельности социал-демократических кружков. Эти впечатления впоследствии легли в основу романа-хроники «На Нижней Девре» (1958 г.). С 1922 по 1945 г. Вс. Н. Иванов жил в Китае. Последние годы жизни провел в Костроме. Его перу принадлежат книги «Путь к алмазной горе», «Тайфуны над Янцзы», «Черные люди», «Иван Третий», «Ночь царя Петра», «Императрица Фике» и другие.

НА НИЖНЕЙ ДЕВРЕ

(Главы из романа-хроники)

Мартовский вечер

Николай Прокшин поправил ремни у лыж, натянул плотнее варежки, повел плечами, чтобы чувствовать себя ловчее в гимназической шинели, по-спортивному подпоясанной ремнем с буквами на пряжке «ККГ» — «Костромская классическая гимназия», разобрал палки.

В ушах сейчас будет свист, будет ощущение почти полета, ветровые прыжки с подтаявших сугробин — через тропинки, деревянный стук лыж по льду промерзшего до дна ручья, грохот в туннеле под железнодорожной веткой, крутой поворот вправо у исковерканной ветрами зеленой елочки, а там снова все вниз и вниз, пока наконец лыжи не вынесут его на лед Волги, на дорогу в город. Эх, хорошо! Жаль только, что это, наверное, в последний раз.

Хотя сегодня гимназию и распустили на страстную и пасхальную недели, едва ли удастся еще раз сходить сюда на лыжах. Доходит март, снегу остается мало. Ушла зима!

Опершись на палки, Николай обвел глазами город, широко развернувшийся по левому берегу, и, как всегда, почувствовал при этом легкое волнение. Он родился здесь, вырос в этом городе, он связан с ним семьей, детством, школой, наконец, хорошей дружбой. Солнце закатывалось в неоглядные снежные поймы и дуга за Ипатьевским монастырем, низкие красные лучи его зажигали то одно, то другое окно в приземистых домах Костромы, разбросанных по холмам, излобьям, угорам, падам, долинам высокого городского бе-

рега. К городу со всех сторон — прямо, справа, слева — подступали синие леса, да в самом городе сплошь вздымались озаренные закатом купы больших, как рощи, садов и бульваров. Деревьев было так много, что в них пропадали и улицы и люди. Только по широкому въезду на Молочную гору мелкими кучками тянулись в синеватой дымке извозчики: надо быть, с вокзала — петербургский поезд пришел.

Сады, бульвары, дома от заката были одинакового розовобурого цвета, над ними в красных облаках победно горели купола. Среди мелочи домов десятками высоко стояли розовые, белые, красные великаны — колокольни церквей, церквушек, монастырей.

На самом высоком обрыве над Волгой, на месте древнего Кремля, уходила в небо высокая колокольня Успенского кафедрального собора, похожая на старинную модницу барыню. Купол ее только недавно был вызолочен воротилой из скобяного ряда купцом Колодезниковым и теперь горел, как факел.

Правее, среди домиков на Богословской горе, сияет купол розовой колокольни Ивана Богослова. В самом центре города с высокого холма блещет колокольня Покрова. Внизу, под горой, почти у реки, из чащи рослых яблонь да черемух Нижней Дебри поднялись разноцветные витые главы Воскресения-на-Дебре. Перед восточной окраиной города, у самой Татарской слободы, с ее зеленой сосновой рощей татарского кладбища, — Стефан Сурожский... Белокаменными высокими стенами грозит в центре города, на главной Русиной улице, Илья-пророк. За домами, за садами теплится вдали Алексей, божий человек, да храм Кузьмы-Демьяна-на-Гноище. Высокий шпиль уставил в багровое облако Спас-в-Рядах. А там еще и еще...

Отсюда, с Фроловой горы, ясно видно, что полон город Кострома великих заступников-молитвенников, каменных гигантов в золотых шапках с крестом. Колокольни, как великаны пастухи, грозно устремленные в вечернее небо, веками сторожат свое тихое стадо. Сейчас они молчат, но время от времени сотрясают город, небо, землю зыком и гулом медных голосов. Святость живет в этом тихом городе, боязнь греха, боязнь сатаны и его воинства видны всюду. Когда Николай Прокшин в молодом своем беспокойстве, не зная, куда бежать, что делать, куда девать силу, целыми вечерами бродит по темным улицам Костромы в свете керосиновых фонарей, под хриплый лай дворовых псов, над каждым глухими воротами поблескивают либо иконы, либо восьми-

конечные литые медные кресты. И нет дома, в котором из-за опущенной занавески либо из прорези сердечком на тяжелой ставне не сияла бы лампадка. Кострома до того набухла святыней, что вся соборная стенка, что выходит на Маленький бульвар над Волгой, расписана крылатыми ангелами в золотом сиянии; и когда по скоромным дням публика гуляет под музыку по бульвару и идет к тете Паше есть мороженое, то так и кажется, что ангелы тоже гуляют тут же, между высокогрудыми барынями в модных шляпах, тонкими офицерами, смешливыми гимназистами и гимназистками, круглыми усатыми чиновниками в фуражках с кокардами.

В закатном сиянии разлегся, лежит перед Николаем как на ладони он — «богоспасаемый град Кострома», как все семь лет поет на утренних чинных молитвах перед уроками гимназический хор из звонких мальчишеских дискантов, бархатных альтов и петушиных молодых теноров. Кострома разлеглась восьмисотлетняя, древняя, еще в притык рубившаяся с монголами Батыя, деревянная, темная, в искрах золота да цветных камней церковных, и над ней клубятся красные крутые облака. В ней, как и всюду в Российской империи, под черным двуглавым орлом тоже стоят, очевидно, гарнизоны небесных воинств, охраняя богохранимую, богом возлюбленную благочестивую Державу Российскую. На земле, как на небесах, одинаков порядок. На небесах — один всемогущий бог. На земле — один всемогущий царь...

От архиерея по всем церквам наставлены попы: то большие, брюхатые, в шубах, толстых шапках, тяжело ворочающие перед собой саженными посохами, громовобасистые, а то седенькие, благостные, ехидные, маленькие, как белозерский снеток, и все они — благочинные отцы протоиереи.

От губернатора на перекрестках костромских улиц стоят brave городовые, усатые, в медалях, в оранжевых жгутах, и тоже строго смотрят за благочинием губернского старого города, чтобы небесные веления безо всякого промедления воплощались бы здесь, на земле.

Гаснущий помаленьку тихий небесный свет заливал родной город, полный неясных мечтаний, прожигающий душу насквозь. В темных домиках ответно вспыхивали пыланием стекла, блестели на Волге льдины, и галки неслись через великую реку бочком, между двух гибко машущих крыльев...

Николай смотрел, и это молчание города угнетало его. Что-то да должен же сказать этот город!.. Должен! А что? Неужели, так промолчав века, будет молчать и впредь?

«Бом-м!» — перелетел Волгу первый удар тысячепудового соборного колокола.

И тревога заняла в Николае:

«Отец!.. Надо спешить домой...» Отец, верно, его ждет, чтобы идти ко всеобщей... А то опять будет ворчать.

Волга летела снизу ему навстречу. Вот юноша вылетел на лед, упруго побежал по снежной дороге через реку.

«Шорк-шорк! — мерно гремели его лыжи. — Шорк-шорк!»

Тень от высокого городского берега густела, наваливалась на Волгу, в пятиэтажном корпусе паровой мельницы «Бр. Аристовых» во всех окнах вспыхнуло электричество, из высоченной трубы повалил черный дым, запахло городом: чем-то горьким, кисловатым, горелым.

«Шорк-шорк!» — энергично шоркали лыжи. Николай проскочил между зимовавшими под берегом двумя буксирными пароходами, с трубами, обвязанными рогожей, вышел на берег, отвязал лыжи, бросил их и палки на плечо и побежал домой, на Нижнюю Дебрю, где Прокшины давно квартировали в доме Чечевицына. Сам Чечевицын, кривой, редкозубый, редкобородый, жил во флигельке рядом, где помещалась и его лавочка с вывеской

Торговля чаю, сахару и бакалеи

Николай с громом распахнул калитку, в углу двора отозвался, взлаял пес на цепи. Пробежав хрустящим ледком двор, Николай поднялся по щербатой лестнице в сени, ощупью за ухо оторвавшегося войлока отворил дверь, вошел в низенькую переднюю, вздохнул облегченно: в столовой было темно, значит, отца не было дома. Направо, в комнатке с лежанкой, с сундуками, периной, подушками, за зеленой настольной лампой читала «Русское слово» бабушка, Настасья Ивановна, старательно шевеля губами. Из ее комнатки несло теплом — любила старуха, чтобы потеплее. В комнате налево, где жил с братом Николай, сидел младший его брат Костя, выжигая что-то по дереву. Пшикала резиновая груша, из-под раскаленной иглы валил белый дым, Константин от едкой гари морщил свой круглый нос. На приход брата он не обратил никакого внимания — так был занят.

— Ты, Колюшка? — спросила бабушка, сдвигая очки на кончик носа и зорко смотря в темноту передней.

— Я самый! — отвечал Николай, расстегивая пояс и стаскивая шинель.

— Накатался, есть-то хочешь?

— Спасибо! Все постное, поди! Не хочу. А папа где? В церкви?

Николай вошел в ее комнату, уселся на любимом месте, на разделанном под орех сундуке старухи, хранившем все ее богатства.

— В церкви? Не-ет! — сказала бабушка с кривой улыбкой.

— Да он же мне говорил, что пойдет.

— Завей горе веревочкой, загни хвост колечком! — произнесла старуха, вздохнула и, щелкнув табакеркой, понюхала зеленого табачку. — Где же ему и быть? Т а м! Опять ухрял! Ай-ай, грех какой! Завтра ведь какой праздник-то!

— Так! — односложно ответил Николай. — Так.

Он хорошо знал, что значило это «т а м».

— Опять будет пить? — сказал он и нахмурился...

Пусть великаны в золотых шлемах несли великую сторожу над городом, но в маленьком домике на Нижней Девре мира не было. Николай рос с отцом, без матери, любил отца очень просто, как все просто принимал в жизни. Любил его добрый взгляд серых мечтательных глаз, мягкие пепельные волосы, остроконечную галантную бородку. Отец его был художник, кончил когда-то в Москве Строгановское училище, и от искусства, от Москвы у него оставалось внутреннее, легкое изящество. В местном реальном училище он преподавал рисование и чистописание, умел делать это так, что ученики любили его уроки и сами начинали рисовать, писать красками. Дослужившись до чина статского советника, он не перестал носить тонких белых галстуков «бабочкой», душить «вереском» и «софранором». Завзятый театрал, он и в Костроме не забыл Лентовского, его постановки и до удивления любил грозы именно за то, что молнии освещали деревья так же, как электричество освещало сад «Эрмитаж» в Каретном ряду. Он постоянно участвовал в любительских спектаклях, несмотря на выговоры и замечания директора как по поводу легкомысленных галстуков, так и по поводу увлечения сценой. Впрочем, получив немалый чин — «почти генерала», — он ни с того ни с сего начал носить синее пенсне, хотя глаза у него никогда не болели, стал говорить деланным растянутым басом. Широкоплечий, сильный, ладный, когда-то в молодости кулачный боец на Москве-реке, он легко катился своим путем в провинциальной жизни, ничего не требуя себе особенного, довольствуясь тем, что имел.

Николай понимал отца очень хорошо, однако в его нежной

любви к нему проглядывал чуть-чуть юмор, пусть в его полной покорности отцу было очень много искренней благодарности. Николай ведь никогда не знал того семейного гнета, которого немало таилось в домиках Костромы: Кольку Забенкина отец-купец порол почем зря, причем крепкого, рослого семиклассника держали дюжие дворник и кучер. Володю Краснопевцева его отец, протоиерей, пышноволосый ключарь кафедрального собора, ни на минуту не выпускал из дому без своего каждый раз на то благословения. А для Николая Прокшина отец был другом, старшим товарищем, заботливым опекуном.

И все-таки за последнее время в отношении отца проявилось два новых тревожных обстоятельства.

Во-первых, бас отца становился все гуще, что порой было просто смешно: очевидно, в этом отзывались события, все стремительнее набравшие ход. Недели две тому назад, в воскресенье, Николай как-то шел с отцом по Богоявленской улице к площади, к памятнику Сусанину. Отец молчал, был, очевидно, чем-то озабочен, хотя озабоченности он вообще не любил. На углу, между пожарной каланчой и гауптвахтой в ложноклассическом стиле, отец вдруг приостановился, взял сына под руку и прошептал ему в ухо:

— Коля, ты слышал, что было в Петербурге?

Николай насторожился, ответил нарочито легким тоном:

— Говорят, что-то было... В газетах-то ничего нет!

— Если слышал — молчи! Молчи! — вплотную надвинулся на него отец, и его серые большие глаза глядели тревожно и испуганно на сына из-под выцветшего синего околыша форменной фуражки. — Это очень, очень опасно!

Отец гудел басом, словно читал заклятье. Николай улыбнулся уголком рта. Ага! Как же тут замолчишь, когда уже по всей стране катилась глухая молва о 9-м января? Бедный отец! Должно быть, что-нибудь его сильно напугало.

Уже до этих слухов Федор Петрович был однажды сильно потрясен, о чем, однако, он не сказал сыну. В декабре, перед рождеством, в «Большой Московской» — так назывался самый большой ресторан в городе — состоялся банкет местной общественности, куда был приглашен и Прокшин-отец. То было выражением тогдашней «эры доверия», возглашенной министром внутренних дел князем Святополком-Мирским, двинувшимся было с радушной улыбкой на сближение с либералами и прогрессистами. В большом зале, где часто местным купечеством устраивались то грандиозные свадьбы, то очередные поминки по усопшим предкам,

пышные пьяные тризны с духовенством, с архиерейскими певчими, с протодияконской «вечной памятью», провозглашаемой так, что звенели хрустальные подвески у люстр, теперь люстры и канделябры сеяли зыбкий свет на подкрахмаленные скатерти, на серебро, хрусталь столов, на безконечные закуски, кокетливо убранные розами из свеклы с листьями из капусты... Собралось до двухсот человек — адвокатов, инженеров, докторов, купечества, учителей, старых и молодых, лысых, кудрявых, бритых, бородатых, большинство в черных сюртуках с золотыми часовыми цепочками по круглым и тощим животам. Было несколько прогрессивных дам. Была даже одна лиловая ряса местного либерального священника, отца Василия Соколова.

— Господа! — зазвенел высокий тенор председателя, присяжного поверенного Николая Елисеевича Огородникова, лысенького, вертлявого, в синем пенсне. — Прошу к столу! — сказал он, потирая руки и с удовлетворением оглядывая многочисленных собравшихся.

Публика долго усаживалась под оглушительную музыку ресторанной «машины» — духового органа, в котором от двухпудовой гири вертелся за стеклом толстый вал, усаженный медными шпеньками, гремел марш «Под двуглавым орлом». Зазвенели рюмки, зажевали рты. Отошли обильные, как осенние дожди, закуски, и «человеки» во фраках в высоко поднятых руках потащили к столу груды таявших во рту пирожков к бульону... Все это подлежало уничтожению в честь сорокалетнего юбилея судебных уставов блаженной памяти императора Александра Второго, что служило отличным предлогом для беседы на современные жгучие темы. По жесту Огородникова захлопали пробки, и председатель, чувствующий себя именинником, поднялся в центре сдвинутых покоем столов.

— Милостивые государыни и милостивые государи! — звенел его голос снова. — Господа! Внимание! Э-э-э! Сегодня вся наша костромская общественность отмечает тот памятный день, когда с высоты престола были произнесены великие слова: «Правда и милость да царствуют в судах!» С этими словами ушел в невозвратное прошлое дореформенный суд, этот свидетель мрачного прошлого, ушел, милостивые государи, провожаемый проклятьем русского народа, горьким смехом наших бессмертных сатириков — Гоголя и Щедрина... Взошла, таким образом, милостивые государыни и милостивые государи, заря нового общественного самосознания... Э-э-э... Народ, освобожденный от векового крепост-

ного рабства реформой 1861 года, выходит теперь на широкую дорогу новой, законом охраняемой, гражданственности... Э-э-э... Провозглашенная уставами 1864 года законность благодетельно сказала в быстром развитии нашего хозяйства. Одна за другой основывались железные дороги, э-э-э, открывались банки, частные и общественные, умножались фабрики и заводы. Благоденствовали и промышленники и рабочие. Наконец иностранный капитал благотворно и живоительно потек в нашу страну под покровительство этой новой законности!..

Оратор говорил пламенно, но недолго: накрытый стол, бокал, искрящийся в руке, и умоляющие взгляды метрдотеля не давали ему простора... Закончил оратор свою речь указанием на то, что костромская общественность в настоящее тяжелое время надеется по-прежнему на мудрое руководство с высоты престола, в знак чего он предложил послать министру внутренних дел князю Святополку-Мирскому для всеподданнейшего доклада государю императору телеграмму такого содержания...

Красноречивый златоуст, мигнув пенсне, судорожно порылся в одном кармане, потом в другом, в третьем и наконец извлек то, что искал:

— «Почтительнейше просим ваше сиятельство повергнуть к стопам его императорского величества верноподданические чувства более чем 200 русских интеллигентных людей и их непреклонную уверенность в том, что только он, государь, может вывести Россию из тяжелого положения, созданного небольшой группой внутренних врагов. По поручению собравшихся подписал председатель обеда верноподданный Николай Огородников».

Раздавшееся «ура» потрясло зал, медный вал машины опять завертелся, засверкал шпеньками, заиграл туш... Звон ножей и вилок дружно аккомпанировал ему.

Выступали и другие ораторы, хотя главное было уже сказано.

Выступал член земской управы Спасский, указывал на недостаточность использования государством земства, говорил председатель судебной палаты Жохов, указавший на недопустимость практики военных положений, когда и обыкновенные суды могли быть достаточно справедливо строги. Это все были уже детали. Выступила начальница частной женской прогимназии Александра Павловна Смольянинова, в горячих взволнованных словах просила облег-

чить положение до сих пор закабаленной русской женщины. Недаром «Гроза» Островского написана в Костроме!

От всех этих хороших, благонамеренных речей по кушающему и слушающему залу плыла сытая, умиротворенная оптимистическая ласковость, похожая на теплое масло из восхитительных киевских котлет. И Федор Петрович Прокшин чувствовал тоже, как его душа проникается самыми лучшими, теплыми надеждами... Паровая осетрина с каперсами была превосходна, и от нее становилось как-то очевидно, что и будущее, к которому звали речи, придет превосходным, сытым, обильным, мирным... Начальство должно же позаботиться об этом!

Хорошему настроению Федора Петровича содействовало и то, что он ощущал при этом всем телом, как ловко сидит на нем его новый сюртук, к которому он по своей собственной либеральной инициативе заказал неожиданно светло-серые брючки в полоску, что было тогда совершенным повешеством. И все же было тут и еще одно обстоятельство, которое как-то царапало, туманило возраставшее оптимистическое настроение пирующих.

Дело в том, что на дальнем конце огромного стола, у органа, сидела небольшая группа не в сюртуках, а в черных пиджаках, в студенческих серых тужурках, из-под которых выглядывали черные и вышитые косоворотки. Группа эта пела, ела, аплодировала слегка, только из приличия, больше молчала. В ней иногда мелькали иронические улыбки.

Кончился список записавшихся ораторов, и любезно зазвенел голос Огородникова:

— Господа! Список ораторов исчерпан. Кому угодно еще слово?

— Позвольте мне! — раздался с того конца стола звонкий, с металлом голос. Федор Петрович увидел, как поднимается небольшого роста молодой человек в пенсне, с буйной конной волос на голове, с черной бородкой.

— Кто это? Откуда? — проговорил кто-то.

— Товарищи! — заговорил новый оратор. — Я обращаюсь к вам с этим великим словом «товарищи»! Вы — костромская общественность! Адвокаты, учителя, судебные деятели, земцы, врачи, инженеры! Ведь вы все — в прошлом студенты. Вы — носители заветов народных демократов — Герцена, Чернышевского, Добролюбова, Некрасова! Зачем вы собрались здесь? Почему? Да потому, что уже не могли не собраться! Уже не то, что люди — камни вопиют о том, что творится в России! Идет никому не нужная, позорная война

с Японией, льется драгоценная кровь народа. Народ на фабриках, на заводах, на поле изнемогает от непосильного труда! Обескровленный, нищий, он голодает! Вы вспоминаете, что сорок лет тому назад были возглашены новые судебные уставы. Или вы не видите, что для народа эти уставы остались пустым местом, что он до сих пор остается бесправным и забитым? Вы говорите о народном образовании, но это образование лишь для ваших благополучных детей, а народ по-прежнему остается темным и безграмотным! Вы говорите об экономическом процветании страны. А разве вы не видите, что процветают только одни капиталисты, которые ради своих прибылей выжимают пот из рабочих! Вы говорите о земледелии, а мужики разбегаются с тощих полей! Почему вы собрались сюда? О, вы понимаете, что идет буря, та буря, о которой говорит писатель Максим Горький!..

— Вы собрались сюда, но что вы делаете? — продолжал оратор. — Вы обставили себя этими кушаньями, вы говорите о милостивом суде, вы посылаете низкопоклонную телеграмму! Почему? Потому, что вы боитесь, что идет народный суд, перед которым вам придется отвечать... Вы считаете себя либералами, даже демократами, а просите подачек у правительства! За этот стол, за это шампанское вы продали все, чему служили в вашей молодости! Вы изменили революции, для которой когда-то работали.

Вы говорите о будущем процветании России, а кто же будет работать для этого? Рабочие? Крестьяне? Нет, вы не заставите больше нас таскать для вас каштаны из огня! Близко время, когда встанет народ, когда он сметет вас с вашей презренной, жирной политикой! Подумайте, что вы делаете? Вы «припадаете к стопам» прогнившего насквозь самодержавия! А мы, социал-демократы, говорим: «Долой самодержавие! Только это спасет страну... Да здравствует Учредительное собрание, носитель воли народа!»

— Что это? Кто это? — раздавались крики со всех сторон. — Рабочие! Студенты! Как они сюда попали? Безобразие!

Председатель банкета стучал ножом о рюмку так, что разбил ее, и тогда забарабанил по тарелке.

— Господин оратор! — кричал он. — Господин Свердлов! Призываю вас к порядку! Лишаю вас слова! Вы обязаны говорить здесь в рамках приличия! Мы — конституционалисты! Говорить так — это же хулиганство! Да-с!

— Как это хулиганство? — загремели голоса с дальнего конца стола. — Это оскорбление! Товарищи! Мы уходим! Нам нечего тут делать!

Все собрание поднялось и стояло теперь на ногах. Против солидной плотной стены черных сюртуков и мундиров — маленькая кучка пиджаков и тужурок, но сильная, решительная.

Смело, товарищи, в ногу, —

запел чей-то баритон, —

Духом окрепнув в борьбе,
В царство свободы доро-о-гу
Грудью проложим себе!

— Орган! Давай скорей орган! — вскричал председатель, он очень волновался. — Орган!

И снова в машине закрутился толстый еж со шпёнками, в серебряные трубы пошел воздух, и вальс «Дунайские волны» поплыл в прокуренный досиня зал, колебля пламя оплывших свечей.

Группа молодежи и рабочих выходила теперь из дверей зала, бежала вниз вдоль бархатных красных перил, и скоро ночную тишину утонувшего в сугробах Сусанинского сквера вокруг памятника Сусанину огласила песня:

Вышли мы все из народа,
Дети семьи трудовой!

Вскоре в молчании морозной звездной ночи Федор Петрович шагал, подпираясь тросточкой, к себе на Нижнюю Дебрю. В желудке его была тяжесть, от водки и шампанского стучало в висках.

«Откуда они, откуда такие люди? — пугливо шевелились в нем неясные мысли. — Когда они выросли? Когда они научились так говорить? Кто их учит?»

Прошло время, впечатления эти потускнели, отступили, старая жизнь как будто брала свои права. Но тревога все-таки оставалась. А тут еще это 9-е января!

Вот почему Федор Петрович и шептал сыну на углу Богоявленской улицы и Сусанинской площади, под самой пожарной каланчой:

— Это опасно! Так опасно! Надо молчать, сынок!

Но почему — отец не говорил: он так и не рассказал сыну, что случилось тогда в «Большой Московской».

Федор Петрович очень тревожился за своих детей, но что делать, он не знал. Он только усиленно слал их в церковь, словно это могло от чего-то удержать их, спасти их от каких-то опасностей. И Николай отлично понимал, что отец делал это

панически, не по убеждению, а потому что это было неискренне, не хотелось подчиняться...

Часы из темной столовой пробили семь.

— Ну, бабушка, я пошел!

— Ко всенощной?

— Ну да, — с замедлением сказал Николай. — Куда же?

— В добрый час! Я сама-то завтра пораньше, к утрени! Иди! На улице-то хорошо как... Весна...

На улице действительно было очень хорошо. Николай быстро поднялся с Нижней Дебри по лестнице к розовому губернаторскому дому, где у парадного подъезда горело два фонаря и стояли полицейские, быстро зашагал по Верхней Муравьевке. На Кострому спустился весенний ясный-ясный вечер, какие бывают только в северной России. Синее над головой небо ниже переходило в зеленое, потом в палевое, в алое. Слева от вишневого заката повис тонкий серп месяца. Волга отсюда казалась сиреневой, с черными прожилками дорог. Заволжские угоры, Фролова гора, щетина лесов за ней были слабо подкрашены гаснущим светом. С Нижней Дебри против засыпающего заката чернью вставали пять куполов-луковиц храма Воскресения-на-Дебре, от крестов протянулись вниз суставчатые цепочки. Падали редкие удары колокола...

«Хорошо!» — подумал Николай, и это ощущение в нем уже не первый раз перелилось, обернулось в одно воспоминание детства. Он болен, лежит в scarлатине один в комнате, под портретом деда. Окно закрыто неплотно, и по стенам скользят тени — отражения прохожих. И тут приходит к нему какой-то памятный на всю жизнь бред. Неуловимая, необычайная сладость звуков, шелестят какие-то необыкновенные слова. Или, может быть, на него спускается воздух, или нежное, как детское дыхание, чье-то объятие, чистейшее насквозь. Словно его кто-то зовет тихо-тихо, ласково говорит ему прямо в его маленькую душу, кто-то хороший ходит около, непременно кто-то очень хороший...

И теперь на душе у него было бы так же по-молодому вдохновенно, хорошо, если бы в ней не чернело словно пятнышко. Вот ведь не смог же он напрямую сказать бабушке, что идет он вовсе не в собор. И ни к какой не всенощной! И другие товарищи все тоже сказали по домам, что идут ко всенощной, а всенощная только предлог, чтобы удрать и идти на собрание самообразовательного кружка... А почему он не сказал? Враг ли ему его славная бабка? Нет, не враг, а вот какая-то она другая, не такая, как он... И говорить ей про это нельзя... И хоть это пачкало душу, но в то же время

было совершенно необходимо... В самом деле, почему же они, юноши-семиклассники, не могли собираться открыто, чтобы заниматься тем, что их интересовало, а должны были вот прятаться, шептаться по углам? Почему?

«Бомм!» — мощно ударил прямо у него над головой большой колокол Всех Святых. Николай проходил вдоль синей церкви. Стрельчатые окна были озарены мерцающим светом, высокий альт звенел в приглушенном хоре, а из дверей уже пошли первые темные торопливые фигуры, с огоньками в руках, разнося их свет по темным своим домам. Огоньки уходили в дома, там от них зажигались лампы, там свечами накапчивали кресты на притолках дверей, над головой, чтобы дьявол не мог войти в тихую жизнь. Жизнь должна идти так, как всегда, без всяких перемен, без всяких волнений...

Запрудня

Осенними ночами над Костромой ретивее стучат колотушки ночных сторожей — ночи темные; с колотушками вперебой то тут, то там подымается собачий брех. В полночь запевают петухи и до утра поют еще раза два.

А утром встают над городом фабричные гудки. Истошно, дурным голосом ревет механический завод Шипова. Бархатно, вальяжно, по-богатому вступают гудки мануфактур. Тоненькой свистулькой свиристит колоколотейный завод Забенкина.

Подолгу гудят гудки, минут по пять, так, что уши тоскуют, и кажется, что гудки не гудят ровно, а переливаются на все лады, воют волками. И обыватели просыпаются — не могут никак к гудкам привыкнуть, чертыхаются, натягивают на головы душные одеяла, чтобы спать дольше, пока соборные либо стенные часы не отзвонят деликатно — время пить чай.

А пройти подалее, туда, где повыше Ипатьевского монастыря впадает в реку Кострому речка Запрудня — это в конце Мшанской и Власьевской улиц, — то можно увидеть, как этот рев гудков рвется белым паром из медных горл, прижавшихся к красным высоким трубам льняных мануфактур — Михинской, Зотовской, Кашинской... И рев так громок, так потрясающе властен, что кажется, ничего другого, кроме него, и на свете нет. Это голос хозяина, требующего

своих рабочих к машинам, к станкам, а не вышел на работу — голодуха, смерть.

Пять минут орет дурной хозяйский голос, и в домишках Запрудни (так звались рабочие кварталы в Костроме) — суетня. Домики малые, что грибы, куплены они на плотках, сплавлены по Костроме-реке из костромских, ветлужских лесов готовыми — даже стекла вставлены, только что печек нет. И собрать такой домик да поставить его на пусто-порожних запрудненских выгонах, выпасах, лужах, болотинах можно за три-четыре дня. В таких избушках подымается рабочий люд со своих постелей, моется наскоро у глиняных, на веревочке кувыркающихся рукомойников, а то и просто пуская воду изо рта фонтаном в пригоршни, хлебает в темноте, что наварила спозаранку поднявшаяся хозяйка, натягивает на себя пиджаки, пальто, чуйки, набрасывает на голову шапки, картузы, кепки-чеплашки, полушалки, платки и бежит по рассветным улицам.

Шесть утра!

Хлопают гулко калитки, люди на ходу здороваются, тут все знакомы, все соседи, все работают, бегут, бегут, стекаются на улицах в ручьи, в речки, чтобы наконец бодро, говорливым по-утреннему потоком проскочить железные ворота фабрик, разлиться по цехам, мастерским, встать за ткацкие, прядильные станки, включить вертящиеся трансмиссии и на одиннадцатый с половиной непрерывных часов погрузиться в верченье, в мельканье, пенье, постукиванье, снованье машин.

До вечернего гудка.

И под стальными пальцами машин, под живыми пальцами прях и прядильщиков, ткачей и ткачих целый день сходят со станков мотки пряжи, глянцевитые льняные полотна белее снега, скатерти, полотенца, салфетки, чтобы утирать рот после вкусных завтраков и ужинов, и целый день фабрики жрут кипы серого льна.

Целый день продукцию расфасовывают, пакуют, тюкуют, и толстоногие кони, покачивая зелеными, красными, синими фирменными дугами, с грохотом везут продукцию на телегах на волжские пристани, на склады железной дороги, чтобы по всей стране разбрасывать ласковую прохладу простынь, мягкость полотенец, красоту матово-серебряных узоров камчатных скатертей и салфеток.

А в конторах фабрик целый день трещат счеты, отсчитывают, записывают, чтобы в конце всех концов золотой поток тек в Волжско-Камский, в Азово-Донской банки, в Костром-

ское общество взаимного кредита, в Государственный банк, ложился там на текущие счета фабрикантов — Мухиной, Зотова, Кашиной.

Осенними прохладными днями бульвары светлеют от облетающих листьев, Волга синееет, прозрачно звонят колокола, по бульвару, по пятнам и теням, по переплетам от солнца идут на прогулки барыни с собачками; офицеры, гимназисты, чиновники, купцы спешат в еще не закрытый ресторан на бульваре. А на далекой Запрудне — знай дымят, работают фабрики.

Рабочие на этих фабриках трудятся так, как не работает никто в городе. К концу дня у них темнеет в глазах, звенит в ушах, они боятся, как бы не задремать, не шатнуться, не сделать неверного движения, не понасть бы рукой, ногой, волосами в сверкающие, неустанно снующие, скачущие, качающиеся, ползающие, крутящиеся рычаги, колеса машин. И ни о чем другом они не думают, как бы только ввалиться им в свою избушку, при свете керосиновой трехлинейной лампочки похлебать наскоро, чего наварила еще утром хозяйка, и завалиться спать, спать — на пол, на лавку, на койку, на полати, подстелив под себя то же пальтишко, пиджачишко, овчинную шубу, — пока снова на сереющем утре не обрушится с неба волнами медных звуков паровая хозяйская глотка:

— А-а-а-а!

Жизнь на Запрудне была очень бедна, трудна, грязна, многие рабочие не выдерживали, бросали работу, уходили — и их ловили другие фабрики. Многих калечило, убивало машинами. Быстро старились, жили на нищенском иждивении у детей, у внуков, заменивших их у машин. Наконец умирали, полнили собой кладбища Запруднинское, Успенское, Лазаревское. И из городских их никто не жалел, их бранили «фабричными», «пьяницами», «варнаками», «безбожниками».

Для жителей Костромы пойти работать на фабрику было последним делом. Позором.

И, несмотря ни на что, население Запрудни все увеличивалось.

Фабрики стояли на Запрудне, среди бедных домишек, монументальные, красные, величественные, как крепости, с высокими трубами под султанами черного дыма.

Их машины, сверкающие полированным металлом, элегантные, изумляющие своей продуктивностью, были сделаны в Бирмингеме, в Мангейме, в Лионе. Они явились в богоспа-

саемую древнюю Кострому в сиянии славы и прогресса Европы. Эти машины — чудо ума и расчета.

Каждое утро деревня, земля подавали к фабрикам тюки льна, конопли, хлопка. Сырье.

Каждое утро к железным воротам фабрики подходили люди, шли сюда, чтобы заменить собой у станков тех, кто искалечен, кто состарился, кто заболел, кто умер. Это шла рабочая сила.

«Рабочих рук» было более чем достаточно — земля и деревня гнали людей в Кострому, на Запрудню. Сорок лет тому назад царь освободил их от крепостного права и от земли, и, чтобы не умереть с голоду, они двинулись к железным воротам фабрик...

Силы Запрудни подкреплялись деревней.

Сознание Запрудни подкреплялось социал-демократической организацией здесь с 1898 года. Входящая до того в Северный Комитет РСДРП, связанная накрепко с Иваново-Вознесенском, Кострома в девятьсот пятом получила свою собственную партийную организацию. Образование в Костроме летом девятьсот пятого года Совета рабочих депутатов и затем победа в летней же забастовке внесли в ряды костромских пролетариев уверенность в своих силах. Выпущенная в то время листовка говорила, уже не обинуясь:

«Мы, костромские организованные рабочие, вслед за ивановскими, объявили стачку и протянули руку помощи всем товарищам нашим по судьбе и по оружию...

...Наша партия,— говорила далее листовка,— уже много лет сражается против наших угнетателей-капиталистов. Наша партия все растет, число бойцов в ее рядах все увеличивается. Нас ведет наша партия, она отстаивает интересы рабочего класса и всего честного народа».

Убогие, в два, в три окошка домишки Запрудни становились центром событий...

Декабрь

Лекция кончилась запоздно, Николай спешил домой. Какой ударил мороз! Черное небо сплошь было завалено звездами, большие сверкали, переливались разноцветно, мелкие сплывались в пыль, в облака, в кашу Млечного Пути. Русина улица, покрытая снегом, была в синей дымке звездного отсвета.

Не до звезд было Николаю — очень уж было холодно. Мороз, словно обваливаясь откуда-то, хватал за щеки, уши, надо было бежать, прятаться в тепло дома, отдохнуть.

В ушах еще отдавались речи ораторов. Сегодняшняя лекция была посвящена исполнявшемуся на днях восьмидесятилетию Декабрьского восстания на Сенатской площади в Петербурге. Красные, красивые билеты с пятью буквами «РСДРП» были распространены по всему городу, узкий и высокий под мрамор зал Общественного собрания был освещен лампами в белых шарах. Присутствовала вся интеллигенция, рассаживались по венским стульям — дамы в темных платьях, мужчины в длинных черных сюртуках, военные в сюртуках царского сукна при эполетах и оружии, студенты университета в тужурках — серых и черных, с голубыми петлицами, студенты институтов с разными наплечниками, гимназисты и реалисты, девочки в серых и зеленых платьях с черными передниками. Много было и рабочих в черных и синих косоворотках и в пиджаках, неловко сидевших на сильных плечах.

Был и Михаил Фомич, тоже в синей рубахе, в пиджаке, из-под которого виднелись кисти пояса, держался своих, запрудненских. Как было условлено, с ним участники кружка не здоровались по соображениям конспирации.

В темную толпу были вкраплены жандармские мундиры, блестели серебряные погоны. Пришел и прокурор Кошуро-Масальский, рыжеватый, с лисьим лицом, с длинным носом, оседланным золотым пенсне, с надменно выдвинутой вперед нижней губой.

Лекцию читал член губернской земской управы Спасский, широкоплечий, большой, из столбовых дворян Костромской губернии, обладавший странной манерой — во время речи держать неотрывно у плеч крепко, до судороги сжатые большие кулаки.

Доклад был очень подробным, Спасский очень вкусно повествовал, какой сильный мороз был в тот день в Петербурге, как на Сенатской площади пришлось разжечь костры, как сквозь их сизый дым маячили леса и купол строившегося Исаакиевского собора. Он рассказал, как на площадь подходили и подходили с барабанным боем за своими офицерами-заговорщиками гвардейские полки — Московский и Лейб-гренадерский, потом подошел Морской гвардейский экипаж, выстраиваясь в каре у намятника Петру Великому; как солдаты, несмотря на мороз, целый

день стояли в строю, только крича «ура» в честь Константина и конституции.

Все эти события были очень хорошо известны. О них было много написано книг, статей. Много раз все это изображалось на картинах, гравюрах. Лев Толстой даже хотел писать об этом роман...

Декабристы, можно сказать, шефствовали над интеллигенцией России, были первыми, выступившими открыто с заявлениями общественного, политического свойства.

В первом ряду кресел сидел директор гимназии Лебедев, а рядом — директор реального училища Жигарев, с большой бородой, которого все звали «Да-с». Рядом директор народных училищ, пергаментный, перегнутый пополам болезнью, но обаятельно улыбающийся дамам своим выразительным лицом. Елена Михеевна Михина тоже изволила присутствовать на этом докладе — рыжая, эффектная, в ярко-лиловом парижском платье, с крупными жемчугами на набеленной шее. Был и предводитель дворянства Павел Васильевич Шулепников — высокий, представительный, в золотых очках. Сидело здесь и несколько священников. Одним словом, весь цвет костромской интеллигенции.

Особенно полно была представлена адвокатура, с толстым Вармундом во главе, с громогласным, вальяжным и быстреньким Огородниковым со своей Анной Павловной.

Эта популярность восстания декабристов происходила из двух источников: либеральная интеллигенция видела в нем первое проявление своих идей о конституции. Это — первое, а вторым было то, что об этом восстании можно было говорить и писать свободно — цензура не мешала: ведь это выступление было подавлено, и гром, дым, огонь пушек 14 декабря и пять июньских виселиц навсегда остались грозными атрибутами российского самодержавия, этим внушающего страх перед собой всякой крамоле.

Николай Прокшин и раньше никак не мог понять, что же это произошло тогда, 14 декабря 1825 года, не понимал этого и теперь, после лекции. Был заговор, был задуман переворот, правительство должно было быть переменено...

А во что же вылилось фактически все выступление? Войска пассивно простояли на площади весь морозный день, дождались того, что их по наполеоновскому образцу разогнали пушками...

Да разве теперь не повторяется то же самое? Целый год бурлит, встает, демонстрирует страна, а в ответ на

это с 9-го января целый год трещат солдатские винтовки, грохочут пушки, расстреливаются люди. Прошла чудовищная Цусима — этот смертный приговор старому строю, который породил ее, и все же Петербургский Совет не решается рвануться вперед, на штурм.

Пусть народное революционное половодье захватывает в Петербурге Выборгскую сторону, Московскую и Невскую заставы, в Москве — Пресню, в Костроме — Запрудню, но Петербург оставался все еще столицей, цитаделью империи, сильной хотя бы своей исторической инерцией...

Скрипя по снегу, Николай шел по горе вниз, мимо Ивана Богослова. Высокая колокольня чернела на фоне роев звезд, под нею, в низкой широкой церкви, горел красный огонек, как глаз притаившегося чудовища. А холод из черного, сверкающего неба падал и падал на землю, стеклянный, безумный холод до слез жал юноше лоб под тонкой фуражкой.

— Домой, скорей бы домой!

Обжигая руки морозным железом замка, Николай долго возился у парадной двери, пока наконец не отпер его ключом, вошел в столовую, нащупал спички, зажег свечу. На столе, как всегда, — тарелка с гречневой кашей и накрытый ломтем черного хлеба стакан молока. Кот Семен, это единственное приданое Митревны, мягко прыгнул на пол с лежанки у печки, стал тереться у ног Николая, мурлыкая и взволнованно рассказывая что-то свое, кошачье.

Свеча в столовой боролась с темнотой, наплывавшей из всех дверей, а в промерзших углах, в толстом льду на стеклах окон в дом неотрывно с улицы смотрел мороз.

Николай сел боком на стул и, уставясь на клеенку стола, стал есть. Черная тень его упала в угол, оттуда перекинулась под потолок.

Легкий шорох заставил его поднять голову — перед ним стоял отец в байковом клетчатом халате, подпоясанном зеленым шнуром, и за ним тоже шевелилась ушедшая на потолок его огромная тень.

— Н-ну? — протянул он, смотря на сына в упор.

Это было привычным обращением в доме Прокшиных.

Тот, не отвечая, мотнул головой, сделал жест, обозначающий на семейном языке — «ничего особенного».

— Видал телеграмму? — спросил отец и вытянул из кармана экстренный выпуск «Костромского листка». — Прочти.

Отец не говорил, почти даже не шептал — его губы двигались беззвучно.

«Должно быть, и заснуть не мог, все меня ждал!» — зло подумал сын. И спросил:

— Чего там?

— Вот видишь: «арестован весь состав Петербургского Совета рабочих депутатов...»

И Федор Петрович решительно запахнул плотнее халат.

— Что скажешь? Чего другого было и ждать? — продолжал отец на молчание Николая. — Я тебе говорил. Так оно и должно было быть, — пророчески вытянул он руку вверх. — Каково — пошли против царя! Все равно что против бога... Ну, вот и начинается... Говорят, сегодня Власьевский, полицмейстер, целый день по городу метался. Губернатор — тоже... Хлопочут... Я волновался — вернешься ли ты...

Отец, видимо, подготавливал еще какую-то новость.

— Во вторник Николин день, — сказал он. — Царский день. Царь именинник. Говорят, готовят подарок царю — перехватать да перебить всю крамолу. В церквах открыто говорят об этом. Будут арестовывать, а больше — просто бить...

— Кого же бить?

— Студентов... Гимназистов... Чиновников... Всю интеллигенцию. Ну, конечно, и евреев... Всех забастовщиков. Что скажешь?

Николай молчал.

— Коля, очень страшно, — шептал беззвучно отец. — Очень. И ведь это не только у нас. В Москве... Союз русских людей теперь по всей России хозяйничает. В Москве на 6 декабря назначается общенародное молебствие на Красной площади.

«Ухх!» Гулкий удар потряс весь дом, ухнул, раскатился.

Оба вздрогнули.

— Ух и мороз, — шептал отец, поглядев на пушистые ото льда окна. — Страшный. Сколько градусов, интересно?

Взял свечку, пошел к окну, но оно было бело ото льда.

— А после этих молебствий?

— Что? Погромы, конечно! — шептал отец, разводя руками. — Избиения! Вот, смотри, что пишут в «Русском слове». Предупреждают...

— «От кого исходит инициатива этого собрания?» — шептал Федор Петрович. — От Союза русского народа. Союз этот по всей России. Для чего? Какая цель собрания? Борьба

с освободительным движением! Это — фанатики! Они этому молебствию придают монархический, кровожадный характер. И мы, пастыри, должны просить, убеждать молящихся не поднимать рук своих на братьев... Братие, не убивайте...»
Подписано: «Московский священник».

Очевидно, поник знает, что пишет!

Николаю захотелось вдруг странно, неудержимо — взять да и брякнуть, что все это ему давно известно, что Саша Стоюнии приказал всей боевой охране уже собираться к 8 часам во вторник, в царский день...

Накануне уже состоялось заседание Костромского Совета депутатов в связи с поступившими сведениями о готовящемся погроме в городе в царский день, 6 декабря. Было постановлено: 1) привести в готовность самооборону; 2) заготовить бомбы и 3) обратиться к солдатам с воззванием.

— Николай, я давно хотел с тобой поговорить, — шептал отец, оглядываясь на спальню. — Ты должен осторожнее относиться к твоему и к моему будущему... Твой дед был крепостным, бедняк. Попал под красную шанку, на военную службу. Трубил двадцать лет. Ходил в Венгрию усмирять мятеж в сорок девятом году... Был ранен, уволен вчистую. Служил кондуктором на Николаевской железной дороге, в крушении потерял ногу... Служил швейцаром в Московском окружном в Москве, где я и родился. А я — вот художник... Статский советник... Хе-хе! Личный дворянин. И вдруг потерять все это... Ты можешь подвести себя... Меня, если попадешь по политике... Я потеряю службу. Буду ошельмован.

«Ухх! Ух!» — снова раскатился гул от мороза по дому на Нижней Дебре. В спальне послышался кашель Митревны. Отец замолчал, прислушался.

— Нет, слава богу, спит, — шептал он. — Спит. И все, представь, пойдет прахом. А ты теперь можешь окончить университет, со всех сторон мне говорят, что ты способный парень... Туда не всех пускают. Хочешь на историко-филологический? Ну, что ж, иди! Будешь преподавателем... На худой конец. А то — профессором. От тебя зависит. Тебе открыта дорога. Свое детство и юношество ты прожил в квартире, а не в кремлевском подвале, как я... И я уже не подаю пальто, шубы и шинели, как подавал их мой отец, получал, бедняга, двугривенные, когда в Митрофаньевском зале шел какой-нибудь громкий процесс... Когда выступал Плевако. Я знаю, ты твердишь все

время одно — народ, народ... Конечно, это хорошо. Но я помню еще, как отец в детстве водил меня к своим бывшим господам, Лациным, когда они приезжали в Москву... Я помню, как он кланялся, целовал ручку. Народ — это рабство. Холопство! Только чиновники, дворяне, только благородные имеют право на жизнь! Ты не видел ничего этого, ты не понимаешь этого...

«Ух!» — раскатился удар мороза.

— Ты не осуждай меня, Николай. Но для меня нет назад пути... Я не могу терять, чего добился мой отец, выдравшись из подлого, ты слышишь старое слово, — из п о д л о г о сословия... Тсс!

Из спальни донесся кашель.

— Федор! — проговорила Митревна сонным голосом. — Чего ты там свечку зря жжешь? Иди сюда...

— Тсс! — сказал отец, подняв палец, и, задув свечу, ошупью ушел в спальню. — Тсс!

Николай в темноте сжевал хлеб, смотря на тусклые бельма окон. Страх! Всю жизнь страх! Страх за эту жизнь. За эту кашу, хлеб... Страх перед губернатором, перед царем... Перед святыми...

В темноте стало заметно, что в лампадке в углу чуть тлеет еще фитилек. Едва-едва. И вот жизнь, вроде этого, чуть заметного уголька. Нет, не может быть! Жизнь должна быть светлой... Светлой... Жизнь есть жизнь. И он-то, он, Николай, несмотря на свою молодость, все же видит куда дальше, чем отец. Он живет ведь после отца. Весь этот девятьсот пятый год разворачивается перед ним, как бурное половодье. Наш народ никогда не был рабом! Никогда не признавал крепостного права. Народ теперь стучится во все двери. Народ имеет уже людей, которые поведут его. И первое, что сделает народ, — самое первое, — он будет учиться, выберется из церковноприходского невежества, темного, теплого, душного, куда можно укрыться, когда на улице такой мороз.

«Ухх! Ухх!» — стукнуло в углах, раскатилось по всему дому.

Николай встал и, вытянув вперед руки, как слепой, осторожно шаря вокруг, пошел искать дверь в свою комнату...

В царский день, утром 6 декабря, во всех ротах, эскадронах, батареях и командах армии был прочитан на поверке приказ военного министра генерала Редигера, гласивший, что милостью царя «...увеличивается в армии ежедневная дача мяса с полуфунта до трех четвертей

фунта на человека. Приварочный оклад увеличивается с одной и трех четвертей копейки до двух с половиной копеек. Будет теперь выдаваться также чай и сахар — чаю по 0,48 золотника, сахару по 6 золотников на человека в суточную дачу».

Осчастливленные такой милостью войска по всей России собирались на парад, мучительный, морозный парад на Николу зимнего. Эти парады вместе с тем были местом собрания и черной сотни.

В Костроме в этот день мороз, на счастье, сдал — утра небо над городом было в серых тучах, сыпался снежок.

Бабушка вернулась только что от ранней обедни, принесла с собой просвирку, сияла от умиления. Над городом несся бархатный звон соборного колокола, мягкий, приглушенный снегом.

— Колюшка, ты куда? — спросила старуха. — И чаю не пил?

— Я к обедне? К поздней!

— Ну, тогда ладно, иди натошак. Потом попьешь. И пирог будет. Большой день сегодня.

Но Николай уже выбежал во двор, натягивая шинель, — собираться нужно было точно по графику, чтобы не явиться всем сразу слишком заметной толпой.

Дом, где собиралась боевая охрана отряда, в который входил и Николай, помещался в восточном конце Русиной улицы, неподалеку от губернского земства, во дворе. Большая, пятикомнатная квартира давно стояла пустой, от улицы ее прикрывал палисадник с высокими акациями и сиренями, нагнувшими свои ветки под грузом снега. Комнаты были натоплены, заботливые руки натащили туда лавок, табуреток, в углы набросали соломы. На кухне топились плиты, там возилось несколько девушек — кипятили два больших чайника.

Николай пришел одним из последних — его дорога пролегла безлюдными переулками, и можно было идти позднее. Комнаты были полны молодежи. Тут были все кружковцы, были из мужской гимназии, реального, технического училищ, из духовной семинарии — все учебные заведения Костромы были представлены довольно полно. Как всегда, похлопывали друг друга по спине, по плечам, отпускались шуточки насчет «симпатий». Все было, как в школе, и в то же время — совершенно по-иному. Значительнее. Серьезнее.

Как все далеко ушло от прошлогодних собраний у Вассы Алвиановны! Года не прошло, а как выросли эти юноши! Они собрались сюда, в эту пустую квартиру, на целый день, не сказав дома, куда ушли. Их отряд самообороны был слаб, неопытен, это правда. Но они добровольно взяли на себя моральное обязательство защищать и себя, и город, и своих единомышленников.

Все это, сливаясь в неясное, неразвернутое, но большое ощущение, поднимало настроение.

— Ну, что, голова, как дела?— спросил Михаил Прозоров Николая.— Опять мы с тобой вместе?

— Идти врозь, бить вместе!— отвечал в тон ему Николай формулой, имевшей большой оборот в те дни.— Ты знаешь, Миша, что мне все это напоминает?

— Хм?

— Запорожскую Сечь. Помнишь, как Бульба с сынами приехал туда? «Здорово, Густый! Здорово, Печерица! Что нам наши хаты? Мы все свободны от них!»

И вспомнил сонный дом на Нижней Дебре, и тревожный шепот отца, и гулкие удары мороза.

— Верно,— отвечал Михаил.— Все делает вот эта штука!— он вытащил блестящий револьвер.

— Прозоров!— раздался спокойный голос Саши Стоюнина.— Сколько раз говорить, что оружие обнажается лишь только для его употребления!

— Именно так!

— Доложите, в чем дело?

— Его вид должен убедить товарища Прокшина, что он, положась на оружие, может быть свободным...

— Обрати внимание на мое замечание!

И Саша перешел к другой группе, с интересом рассматривающей бутылку шустовского коньяку.

— Неужели ребята пить хотят? С ума сошли?— заметил Николай.

— Даже тебе, имениннику, нельзя?

— Я не именинник. Я — на Николу вешнего.

— Никто не пьет. Наш Совет договорился с губернатором, и сегодня в городе водки не продают нигде. Эти бутылки покрепче!

— Не понимаю!

— Да это наша же работа. Бомба. Из того динамита,— шентал Прозоров.— Эх, уронят — мало не будет...

— Тише!— крикнул голос из комнаты, выходящей на улицу.— Слушайте!

Все затихло. Из-за окон донесся мерный дробный бой барабанов. Из Мичуринских казарм на Русиной шли на парад роты 108-го пехотного Рославльского полка, выровненные, трудно держащие шаг и строй по мостовой, затаенные сеткой летящего снега. Впереди колыхалось свернутое в чехле знамя, которое нес унтер-офицер, георгиевский кавалер, между двумя ассистентами с обнаженными шашками. Впереди, отсвечивая медью и латуню, двигался молчащий пока оркестр.

Рычание и переливы барабанного боя были теми же, с которыми русские полки Чернышева входили в Берлин, те же самые, с которыми Суворов уходил от одних, бил других маршалов Наполеона... И солдаты были одеты все в те же плащи-шинели, широкие, расстежные, завернувшись в которые и уснуть можно, с длинными рукавами-обшлагами, чтобы, спустив с рук, сделать из них род рукавиц, и в замствовавших на Кавказе башлыках, поставленных, как воротники.

На проходившие картинно роты отрядники жадно выглядывали из окон: ведь это были их возможные враги!

А с той, другой стороны, с улицы, никто и не подозревал, что в старом одиноком доме за прорезным фигурным забором, за кустами опушенной снегом акации прорастает крохотное, ничтожное зернышко новой, другой армии, будущей, небывалой еще армии, которая завоеует целый мир, чтобы не заковывать его в цепи, а дать ему свободу.

Когда звон колоколов, гул пушечного салюта дали знать, что парад оканчивается, когда дружинники глотали весело горячий чай с черным хлебом, прибежавшая связная девушка принесла приказ: высылать по три человека — патрулировать улицы.

И скоро уже Николай не спеша шел в свою очередь по Русиной улице. Все было спокойно. Развевались трехцветные флаги, магазины открывались по-праздничному, как только отошла обедня, бойко торговали. День был нерабочий, народ был рад, что погода потеплела, сновал по снежным улицам, словно черные мухи по сахару.

Николай шел между Прозоровым и Писемским. Револьвер уже нагрелся у него под рукой в кармане. Вот встретилась, прошла Катя Летемина в беличьей шубке, румяная, белозубая, искоса искоркой взглянула на Николая. «Валю хотя бы встретить — тоже, верно, на параде», — думал он.

На углу Губернаторского переуллка, против трехэтажного

с колоннами дома Шарова, Николай постоял у большой кирпичной колонны, заклеенной сплошь цветными афишами. В театре сегодня труппой Панормова-Сокольского ставились «Разбойники» Шиллера с гастролирующими братьями Адельгейм. А в Дворянском собрании — и как это он забыл! — сегодня, 6 декабря, «с дозволения начальства», как писалось тогда, большой вечер-концерт костромского землячества при Московском университете в пользу недостаточных студентов. Из Москвы едут артисты императорских театров Нежданова и бас Петров. После концерта танцы под духовой оркестр. Наверное, и Валя будет. Эх, жаль, ведь неизвестно, сколько времени придется нести службу...

Три гимназиста шли по улице как разведчики, как соглядатаи армии, наступающей из будущего.

Разбрасывая снег, пролетели навстречу губернаторские сани, губернатор сидел в классической военной позе, — слегка подавшись вперед, захватив под подбородком обеими руками бобровый воротник черной шинели, в треуголке с белым плюмажем, с золотой кокардой.

— С парада! Значит, все благополучно...

Тройка дошла, как было указано, до Богословского переулка, затем вернулась назад. Старший тройки, Мишка Прозоров, доложил Саше, что все обстоит благополучно.

Много оживления внес рассказ одного патруля, посланного для связи на Запрудню. Там, в Михинском сквере, все время шли обычные рабочие митинги, на которых было немало крестьян. Выступивший позднее Алеша Дьяконов, тоже их гимназист, лишь в прошлом году окончивший гимназию, внес предложение идти в ближайшие районы и там, где вывешены флаги, обрывать у них синие и белые полосы, оставляя одни красные, что и было выполнено. На самой Запрудне национальных флагов вывешено не было.

Во второе или третье свое патрулирование Николай встретил Ряжева: тот как ни в чем не бывало прошел мимо и, только совсем поравнявшись, вдруг весело и лукаво подмигнул.

И Николай опять понял, что узы крепче стальных связывают его с этим простым, сильным человеком, что он, гимназист последнего класса, завтрашний студент, чувствует, признает превосходство этого человека, что по его жесту, по его слову он сделает все, что тот прикажет, несмотря на хотя бы смертельную опасность...

День нового общества в старом мире прошел быстро — в чаепитии, разговорах, отправках патрулей, возвращении их, в приказах и донесениях, посылаемых через девушек. Хотели было запеть песни, когда стали в окна наваливаться сумерки, но это не было разрешено, нельзя было и зажигать огня.

А в Москве в этот Николин день была хорошая погода — солнце так и сверкало на соборах, на дворцах, на красных стенах и башнях Кремля. Красная площадь была словно покрыта серебряной парчой. С утра к Василию Блаженному стал собираться народ, но немного. Зато на тротуарах, в галереях Верхних Рядов, у памятника Минину и Пожарскому стояло народу очень много. Смотрели, что будет. Ждали событий.

Целые две недели перед этим звонили в колокола московские «сорок сороков», говорились проповеди, как народ московский должен подняться, стать во всем своем старом великолении, выйти на Красную площадь, отслужить молебен на Лобном месте — одним словом, разыграть сцену из «Бориса Годунова». С Лобного места выступят бородатые, чреватые бояре, торговые, черные и разного звания люди, скажут патриотические горячие речи на манер Минина и Пожарского.

Однако говорившие принимали свои желания за действительность. Цари, князья, бояре, святые патриархи давно уже спали в своих могилах, кто в Архангельском соборе, кто в своем поместье, кто в склепах монастырей, кто на бранных полях Польши, Турции, Украины, а живой народ московский и жил и думал теперь совсем по-другому. Он шевелился, подымался, организовывался у себя вокруг Москвы, на Пресне, в домишках фабрикантов кушцов Прохоровых, в Орехово-Зуеве, на Сетуни, он готовился по-новому решать новые, живые вопросы.

И народ на Красную площадь не вышел.

На Красную площадь явились старички, старушки, бородачи с пылающими яростью глазами или, наоборот, охоторядские молодцы с глазами как оловянные пуговицы, гостинодворцы, какие-то персоны неопределенного звания, до подозрительности благопристойные, и личности, вид которых не оставлял никакого сомнения в их желании полностью использовать благоприятный момент общественного замешательства. Было всего тысяч до пяти. Со стороны Верхних Рядов их охраняли наряды полиции, а у Спасской башни стояли конные жандармы.

В полдень из Спасских ворот вышел под охраной полиции крестный ход. На Лобном месте отслужили молебен, выступил бородатый оратор, который призвал к прекращению смуты. Слово и не было ни 9-го января, ни Мукдена, ни Цусимы...

Затем крестный ход ушел в Кремль, а толпа двинулась по Тверской, к дому генерал-губернатора. Толпа по пути быстро таяла, но число любопытных на тротуарах росло.

Бледный генерал-губернатор адмирал Дубасов приказал наскоро открыть замазанные на зиму двери, вышел на балкон. И снова снизу заговорил тот же бородатый оратор. И в самый разгар речи со стороны гостиницы «Дрезден» выскочила стайка мальчишек.

— Боевая дружина!— кричали они.— Боевая дружина!

И толпа из-под балкона дома генерал-губернатора бросилась врассыпную при общем смехе.

Тени прошлого вдруг сразу же исчезли, растаяли в этот ясный декабрьский день.

И в Костроме, и в других городах готовая начаться братоубийственная война не состоялась.

В БОЮ И ТРУДЕ



3 марта 1917 г., узнав о восстании в Петрограде, костромские власти срочно созвали совещание в помещении городской управы (ныне один из корпусов технологического института — Советская пл., 2). В этот же день к управе двинулись революционно настроенные рабочие и солдаты. Состоялся бурный митинг, после чего были проведены выборы в Совет рабочих и солдатских депутатов. Председателем его стал большевик, позднее член Реввоенсовета республики, С. С. Данилов. На сторону большевиков перешли и войска костромского гарнизона.

Это предопределило ход дальнейших событий. В октябре 1917 г. Советская власть в Костроме была установлена по существу мирным путем. 29 октября объединенное заседание революционных организаций решило передать всю полноту власти в руки Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

В конце 1917 — начале 1918 г. в Костроме осуществляются первые социалистические преобразования. 24 января 1918 г. В. И. Ленин подписал декрет Совнаркома о национализации Костромского механического завода Пю (ныне экскаваторный завод «Рабочий металлист»), затем в руки народа перешли и другие промышленные предприятия. Одновременно были созданы органы управления народным хозяйством, муниципализированы наиболее крупные домовладения, куда переселились рабочие из хибар и подвалов. В зданиях дворянского собрания, консистории и других размещаются учреждения культуры: центральная библиотека, театр студийных постановок, выставки и музеи, молодежные и рабочие клубы.

Ветер перемен коснулся и костромской деревни. В 1920 г. В. И. Ленин подписал решение Совнаркома о том, чтобы на месте бывшей усадьбы Караваево, принадлежавшей костромской «салтычихе» генеральше Усовой, организовать совхоз и научить местных крестьян культурному ведению животноводства. Создавались первые коммун и товарищества по совместной обработке земли.

В начале 1925 г. промышленное производство достигло довоенного уровня. В годы социалистической индустриализации в Костроме построены ТЭЦ, новое здание фабрики обуви «X Октябрь», судовой верфь, фабрика «Ременная тесьма». В 1930 г. началось строительство крупнейшего, оснащенного новым оборудованием льнокомбината имени И. Д. Зворыкина. Были полностью реконструированы судомеханический завод и завод машиностроения имени Л. Б. Красина. Большой толчок развитию промышленности дало сооружение железнодорожного моста через Волгу.

Превращение Костромы в промышленный центр потребовало радикального разрешения жилищной проблемы. С 1923 г. стала широко применяться застройка на кооперативных началах. На окраинных пустырях строили поселки, которые впоследствии соединялись с городом. Первый такой поселок был создан жилищно-кооперативным товариществом «Начало»

в северо-восточной части Костромы. Позднее возникли поселки «Красная байдарка», «Новый быт», «Ребровка». Они явились как бы прообразом будущих микрорайонов: имели свои клубы, столовые, магазины, детские учреждения.

В годы Великой Отечественной войны костромские предприятия переключились на обслуживание нужд фронта: выпускали минометы и другое оружие, гимнастерки, маскировочные халаты... Был и особый заказ. Наркомат обороны поручил костромским льнящикам в кратчайший срок освоить производство армейских плащ-палаток: прочных, легких и удобных. Создавали особо прочную ткань на льнокомбинате имени В. И. Ленина. Времени было в обрез, но мастера постарались. Испытание проходило просто. Плащ-палатку растянули на стропах и вылили на нее два ведра воды. «Ни капли не должно пролиться!» — заверили мастера. Плащ-палатка висела с водой сутки — и ни капли не пропустила. Однако решили подождать еще. И лишь к исходу вторых суток приемочная комиссия вынесла приговор: «Годна!»

Тысячи костромичей проявили беспримерное мужество и отвагу на фронтах Великой Отечественной войны.

В августе 1944 г. образована Костромская область. До этого (с 1930 г.) Кострома была районным городом сначала Ивановской промышленной области, а с ее разукрупнением в 1936 г. — Ярославской.

После войны город быстро развивается. Выросли новые крупные предприятия. Расширен экскаваторный завод «Рабочий металлист», построены заводы железобетонных конструкций, «Строммашина», выпускающий дробильно-размольное оборудование, «Текстильмаш», «Мотордеталь», красильно-отделочного оборудования, деревообрабатывающих станков, автоматических линий, домостроительный комбинат и другие.

Сейчас область — развитой индустриальный центр, прежде всего льняной промышленности (комбинаты имени В. И. Ленина и И. Д. Звонковой относятся к числу крупнейших в стране) и машиностроения. Специалистов по разным отраслям знаний готовят три института (технологический, педагогический, сельскохозяйственный), шесть техникумов (химико-механический, автодорожный, лесомеханический и другие), медицинское, музыкальное и культурно-просветительное училища. Действует много учреждений культуры. Открытая в 1956 г. линия Кострома — Галич соединила Кострому с железнодорожной сетью страны. Усиливается роль области как центра туризма, входящего в «Золотое кольцо».

ЕВГЕНИЙ ГОЛУБЕВ ВПЕРЕДИ ОГНИ

В конце 1969 г., когда комсомольцы города Галича готовились отметить пятидесятилетие своей организации, пришла поздравительная телеграмма из Москвы. Прислала ее Екатерина Андреевна Круглова — организатор и первый секретарь Галичского укома РКСМ.

Я давно знал ее по старым, полувековой давности фотографиям. Теперь мне захотелось непременно встретиться с нею в Москве. И встреча состоялась.

Так родились эти записки. Пусть неполные и не очень стройные, они дают некоторое представление о тех далеких, овеянных революционной романтикой днях.

* * *

Снежным февральским днем 1918 г. Катя, радуясь жизни, шла по улицам Солигалича. Еще совсем недавно ее девичий мир был ограничен пределами родной деревушки, а теперь она жила в уездном городе. И — сбылась мечта! — училась в прогимназии. Пусть с трудом, пусть классом ниже, но приняли! Падал пушистый снежок, тихий город открывался девушке во всей своей многовековой красе.

А потом что-то случилось. Мимо нее торопливо пробегали люди, откуда-то доносились крики; на монастырской колокольне, распугивая ворон, тревожно ударил большой колокол.

Было 26 февраля. В этот день в Солигаличе вспыхнул контрреволюционный мятеж. Подстрекаемые офицерами и купеческими сыночками толпы пьяных солдат, торговцев и служителей культа заполнили площадь перед зданием Совета, требуя сдать власть «Комитету общественной безопасности».

— Долой Советы! Бей большевиков! — кричал длинноротый поп. — Монастырского хлеба им, голодранцам, захотелось! В своих амбарах шарьте, а нас ревизовать нечего... Монастырское что божье...

Несколько раз представители Совета выходили к разъяренной толпе и просили разойтись, не поддаваться на провокации. Но контрреволюционеры подливали масла в огонь. В окна полетели камни, поленья. Послышалась команда:

— Давай бочку с керосином... Поджигай!

Видя, что с вооруженной толпой не справиться, члены Совета, оставив револьверы, безоружными вышли на площадь, чтобы попробовать еще раз образумить горожан. Но все было тщетно.

— Бей-е-й! — пронеслось над площадью.

Катя закрыла руками лицо...

Членов Совета избивали безжалостно — кольями, прикладами, чем попало. Упавших топтали сапогами, поднявшихся вновь втапывали в снег. Контрреволюционеры праздновали кровавую тризну.

Уже дома Катя узнала, что среди зверски убитых был и председатель Совета, питерский рабочий-большевик Василий Алексеевич Вылузгин.

Через несколько дней Советская власть в Солигаличе была восстановлена. В город поспешили крестьяне окрестных волостей, прибыли вооруженные военные отряды из Вологды, Вятки и Буя. Похороны борца за народное дело В. А. Вылузгина вылились в широкую общенародную манифестацию — на погребение собрался весь уезд.

Многого в те вьюжные февральские дни крестьянская девочка Катя Круглова еще не осознавала. Но здесь, в Солигаличе, она впервые поняла, что в развернувшейся борьбе нельзя стоять с краю — надо решительно и твердо занять место по ту или иную сторону классовых баррикад.

Через несколько дней она получила письмо от старшего брата, Ивана Андреевича, солдата-фронтовика, который жил недалеко, в каких-нибудь ста верстах, в уездном городе Галиче.

«Приезжай, Катя, ко мне, — писал Иван. — Нечего тебе голодать там. Прокормимся и здесь. А учиться сможешь и в Галиче...»

Подумала и решила: «Еду!»

А спустя полгода ученицу Галичской школы второй ступени Екатерину Круглову приняли в члены партии.

Для Кати началась новая жизнь.

...В марте 1919 г. фракция коммунистов отдела народного образования Галичского Совета получила изве-

щение о том, что в Москве созывается Всероссийский съезд учащихся-коммунистов. На этот съезд приглашались и делегаты от Галича. Молодежного Коммунистического Союза в городе тогда еще не было. Тем не менее заместитель заведующего роно М. Н. Казанцева обратилась 26 марта 1919 г. в Галичский комитет партии с просьбой: «Командировать тов. Круглову от партии, как ученицу школы второй ступени». Уездный комитет партии одобрил это предложение и на следующий день дал директиву: «Отделу народного образования... приступить к организации Коммунистического Союза учащихся».

Еще до этого видные галичские большевики Д. И. Долматов, В. И. Говядин и другие вели большую политико-воспитательную работу среди молодежи, приглашали юношей и девушек на собрания, беседы, отвечали на волновавшие их вопросы. Теперь же они все чаще стали показываться в стенах учебных заведений.

Как-то раз в школу второй ступени пришел агитатор из укома РКП(б). Он агитировал за вступление наиболее сознательной, революционно настроенной молодежи в партию и под конец объявил, что первая ласточка в школе уже есть.

По актовому залу прокатился шумок. Все ждали, кого же назовет сейчас докладчик. А он, улыбнувшись, закончил: — Это молодая коммунистка Катя Круглова.

Катя сразу же почувствовала на себе удивленные взгляды учителей и учащихся.

Во время перемены к ней подошла учительница Кобылина. Взяв девушку под руку, зашипела на ухо:

— Что ты наделала? Куда ты пошла? Выходи скорее из партии!..

Катя высвободила руку, холодно отрезала:

— Я знаю, куда мне идти!

Через несколько дней в школьном коридоре ее остановил учившийся классом старше Павел Глинка, сын уездного агронома — выходца из Смоленской губернии.

— Правда, что ты в партии большевиков?

Катя смело глянула на парня, который был на две головы выше ее:

— Правда.

— Мо-ло-дец! — Павел уважительно посмотрел на ершистую девчонку. — Слушай, давай дружить? Я тоже ведь сочувствующий большевикам... Только ни с кем не знаком.

Теперь на митинги и собрания они стали ходить вместе.

Вместе думали и о том, как создать в городе молодежный революционный кружок.

В мае 1919 г. в Галич из Костромы приехал уполномоченный ВЦИК народный комиссар просвещения А. В. Луначарский — нужно было мобилизовать силы народа и партии на борьбу за молодую Республику Советов. Во время одного из митингов, проводившихся на центральной площади, Катя и Павел протиснулись к самой трибуне, на которую вела узенькая, наскоро сколоченная лесенка. Когда нарком поднимался на трибуну, Катя заметила, что подметки на ботинках у него совсем худые. Увидели это и другие.

Когда митинг окончился, редактор уездной газеты А. Н. Соловьев-Нелюдим, слегка подтрунивая, сказал Луначарскому:

— Хорошо сейчас вы, Анатолий Васильевич, рассказали нам о социальной революции в Европе и Азии, о революционной бодрости и сознательном отношении к моменту наших рабочих и крестьян. А мы вот хотим получить ответ еще на один вопрос...

— На какой именно? Спрашивайте, пожалуйста...

— Вот мы, галичане, стояли тут внизу и заспорили: «Куда едет от нас товарищ Луначарский, — на север или на юг?» Судя по шапке — на север, по подметкам — на юг...

Луначарский понял намек и громко рассмеялся.

Из Галича нарком уехал в крепких ботинках — об этом позаботились местные умельцы — галичские кожевенники.

А вскоре Галич провожал на Северный фронт маршевый батальон. В составе его уходили воевать против английских интервентов два Катиных брата — командир батальона Иван и четырнадцатилетний Саша, взятый братом с собой. Интересно, что Александр участвовал в боевых действиях до самого конца гражданской войны и был демобилизован из Красной Армии в начале 1921 г., как... несовершеннолетний.

После ухода красноармейского батальона Галич заметно опустел, поутих. Но рост партийных рядов продолжался. В августе на общем собрании галичской организации РКП (б) был принят в группу сочувствующих и Павел Глинка, а через полтора месяца он стал действительным членом ленинской партии.

Энергичного, делового Павла угнетала инертность

и пассивность, царившая среди местной молодежи. Теперь он задался целью во что бы то ни стало ее расшевелить. Вместе с Катей Павел взялся за создание первого в городе революционного кружка учащихся. Вел беседы и с пролетарской молодежью. В местной газете «Известия Галичского уездного исполкома» он поместил страстную статью «Проснись, молодежь!», в которой призывал:

«...К работе и творчеству! Общая работа успешней и продуктивней! Объединимся же, соединим в одно целое свои молодые и крепкие силы, пробудим светлые, чистые идеи молодости, всколыхнем наше болото мещанства и широкой дорогой пойдем к светлому Большому Будущему через участие в строительстве настоящего. К единению, молодежь!»

Затем Павел публикует в газете статью «Мещане», обращение «К учащимся», «Устав революционного кружка учащихся советской школы второй ступени».

В обращении, написанном горячо и взволнованно, говорилось: «К тебе, учащаяся молодежь, обращаемся мы с призывом к работе, горячей, немедленной. Настоящий революционный момент требует от нас этого... Пусть общее счастье, счастье трудящихся станет нашим идеалом...»

Ни в уставе, ни в призывных статьях Павла Глинки не было еще четких политических формулировок, они дышат революционным пафосом и порывом. О существовании комсомола, его уставе и программе, принятых на I Всероссийском съезде РКСМ в конце 1918 года, галичская молодежь тогда еще не знала.

Но вот как-то в Галич приехали родственники Глинки из Вологды и рассказали, что в их городе есть какой-то комсомол, в который организуются юноши и девушки.

«Надо съездить, разузнать», — тотчас же решил Павел и без билета, на товарняке укатил в Вологду. Вернулся через несколько дней радостный и возбужденный, с Программой и Уставом РКСМ, с ясным представлением о том, какой должна быть молодежная коммунистическая организация и как должна строиться ее работа.

Сразу же в Катиной квартире на Поклонной горе собрали всех членов революционного кружка учащихся. Решили повести широкую разъяснительную работу среди городской молодежи, сочувствующей коммунистическому

движению и принимающей новую жизнь с ее идеалами, задачами и стремлениями.

Павел выступил в местной газете со статьей «О коммунистических союзах молодежи». В ней уже говорилось, что РКСМ признает программу и тактику РКП(б) и, являясь организацией автономной, со своим уставом, работает при ближайшей помощи партии, под ее контролем.

Молодые коммунисты Павел Глинка и Катя Круглова образовали инициативную группу по созданию галичского комсомола. Они выступали с горячими речами на многочисленных молодежных собраниях в школе и клубе имени Карла Маркса, на станции и перед молодыми кожевниками, вели беседы с юношами и девушками. И к ним потянулась молодежь.

26 октября 1919 г. 20 молодых галичан собрались на свое первое организационное собрание членов Коммунистического Союза Молодежи. Председательствовал на собрании молодой коммунист Павел Глинка. Этот день стал днем рождения галичского комсомола.

Однако дружба дружбой, организация организацией, а молодость остается молодостью. Павел и Катя теперь часто бывали вдвоем, нередко вечерами, после собраний возвращались вместе. Обычно Павел провожал Катю на Поклонную гору и все более неохотно расставался с ней.

Катя тоже чувствовала, что связывает их не только работа. Но разве могла она признаться себе, а тем более Павлу, в том, что полюбила его. Разве сейчас, когда полыхает гражданская война, коммунисты могут думать о какой-то любви?

А юношеские чувства брали свое. Однажды, возвращаясь со своим спутником домой, Катя вдруг заметила, что Павел замедляет шаг. Наконец он остановился, бережно повернул Катю лицом к себе и попытался обнять. Но в следующий миг в грудь его уперлась девичья рука.

— Не смей...

Дальше шли молча: он впереди, она сзади. И хотя Катя мысленно ругала себя, что ни за что, собственно, обидела парня, дальнейших признаний и объяснений не последовало.

Так они молчком и дошли до станции и впервые за



Члены Костромского губкома РКСМ (апрель 1921 г.)

последние недели Павел не пошел провожать Катю к дому на Поклонной горе...

Помню, когда Е. А. Круглова рассказала мне об этом эпизоде, я спросил:

— А что, действительно тогдашние молодые коммунисты и комсомольцы любви не признавали?

Екатерина Андреевна улыбнулась:

— Почему же? Признавали. Была любовь, и еще какая! Только не скороспелая, а чистая и высокая, возвышающая человека.

И показала мне одну из своих фотографий.

— Это члены нашего Костромского губкома РКСМ, сразу после окончания гражданской войны. Это — я, рядом — вернувшийся с Северного фронта с орденом Красного Знамени Ванюшка Чистяков, в центре — с командирским значком на гимнастерке — первый секретарь губкома Павел Невский. Он с группой ребят-комсомольцев добровольно ушел на Польский фронт, там храбро воевал, вел большую пропагандистскую работу. В Костроме Павел дружил с комсомолкой, впоследствии первой

советской полярницей Ниной Демме, на фронт взял ее фотографию.

Однажды поляки выбили красных из деревни. При поспешном отходе Павел оставил фотографию любимой в какой-то избе среди своих вещей. Так ночью ради этой фотографии он отправился в тыл к полякам, проник в деревню и наутро радостный вернулся с дорогой ему фотографией в свою часть. Вот и решайте, была ли любовь!

— Ну, а у вас с Павлом?

— Что ж, и у нас была — чистая и прекрасная любовь. Она согревала наши сердца, помогала жить и бороться. Жаль, что ей не привелось расцвести. 26 октября 1919 г. Павел председательствовал на организационном собрании галичской комсомолки. В комитет вошли Коля Коротков, я и Коля Брезгин. А Павел не вошел, так как через день, 28 октября, он с группой галичских коммунистов уезжал на Деникинский фронт. Перед отъездом он сказал нам, членам только что созданного Союза:

— Мне жаль с вами расставаться, ребята. Но я не могу быть равнодушным, когда там, на юге, льется наша рабочая кровь, и все равно не сегодня, так завтра, уеду: мое место там. Вы же не забудьте Союза.

И уехал на Южный фронт. А затем в составе 491 полка сражался на Западном фронте против белополяков. В июне 1920 г. из комячейки полка в Галич пришло извещение: «Павел Николаевич Глинка^а убит в бою с поляками 28 мая с. г.»

Екатерина Андреевна восторгалась и что-то быстро стала искать среди альбомных фотографий. Наконец она протянула мне фотокартонку Павла. В расстегнутой солдатской шинели, в фуражке с красной звездой, со значком Ленина на гимнастерке смотрел на меня организатор галичской «комсы», простой русский парень, потомок (хоть родство и дальнее) великого создателя «Ивана Сусанина» М. И. Глинки. На обороте фотокартонки было написано:

«На память тов. Кате. Вспоминай по отъезде.

Красноармеец-коммунист П. Глинка. 28/X—1919 г.»

— Я горжусь, что в начале своего пути встретила такого замечательного человека, каким был молодой большевик Павел Глинка, — сказала Екатерина Андреевна.

Помолчав, стала рассказывать о себе, о своей дальнейшей жизни.

— Молодая галичская организация переживала тогда

*Комсомолец
Павел Глинка*



тяжелые дни. Наиболее активные ребята ушли в армию, в Союзе остались почти одни девушки. Пришлось, по сути, многое начинать сначала. Вовлекали в комсомол новых товарищей, оживили внутрисоюзную работу. Сначала каждый вечер собирались в клубе имени Карла Маркса, затем уком партии выделил для комсомольцев специальное двухэтажное здание бывшего заводчика Каликина. Керосин был дефицитный, и вот при свете чуть мерцающих трехлинейных ламп мы, полуголодные — большинство получало по полфунта хлеба с овсяной кострицей или жмыхом, — но не унывающие и бодрые, обсуждали наши дела, с подъемом и упоением пели революционные песни. Почти ежедневно проводили доклады — беседы по вопросам политической грамоты, политэкономии и естествознанию.

Докладчиками обычно были сами комсомольцы. Тут же давалось поручение: одному — проверить положение рабочих-подростков на кожзаводе в Шокше, другому — обследовать условия труда и оплаты девушек — нянь и домработниц, третьим поручались беседы с призывниками, громкие читки газет в проходящих через станцию Галич эшелонах с мобилизованными красноармейцами, участие в антирелигиозных диспутах. Дружно выходили на коммунистические субботники. Под музыку разгружали на вокзале дрова, убирали мусор, чистили и озеленяли город.

В сентябре 1920 г. в помещении укома партии (ныне музей) была созвана Галичская уездно-городская конференция РКСМ. Она подвела итоги работы Союза за 10 месяцев его существования, наметила пути дальнейшей деятельности.

А вскоре на губернском съезде Катю избрали в члены Костромского губкома РКСМ. Появились новые заботы и обязанности, теперь уже губернского масштаба. С мандатом губкома комсомола, на перекладных, она ездила по разным уездам, селам и городам — была в Кологриве, в Россолове, в Солигаличе — и всюду помогала организовывать комсомольские ячейки, подсказывала местной «комсе», как вести на собой молодежь, проверяла работу комитетов, оказывала конкретную помощь, выступала с докладами.

После одного из ее выступлений на станции Россолово к Кате подошли местные жители, заинтересовались:

— Где вы учились так выступать? Ясно, понятно, значительно?

Она улыбнулась. Учила ее всему жизнь, учили партия, комсомол.

В Костроме Катя долго не задержалась. Осенью 1921 г. комсомол дал ей командировку в Москву для поступления в университет. В тяжелые годы нэпа, учась и работая, она окончила факультет общественных наук. Занималась больше по ночам — днем была занята большой производственной, общественной и партийной работой.

Позднее, уже в 50-е годы, защитила диссертацию «Политика партии в деревне в конце восстановительного периода», стала читать курс лекций в МГУ.

Когда в 1961 г. Екатерина Андреевна уходила на пенсию, ей вручили волнующий адрес, который начинался так:

«Старшему преподавателю кафедры истории КПСС Кругловой Екатерине Андреевне от признательных геологов МГУ.

Дорогая Екатерина Андреевна!

Деканат и общественные организации геологического факультета Московского университета выражают Вам свою глубочайшую благодарность за отличную, долготлетнюю работу, проводившуюся Вами на факультете по воспитанию молодежи. Мы всегда считали Вас в числе самых активных членов нашего дружного коллектива...»

...Пожилая женщина перебирает дорогие ей фотографии. Вот открытка с репродукцией картины К. Е. Маковского «Ромео и Джульетта». Екатерина Андреевна переворачивает открытку и читает более полувека назад написанные и запавшие навсегда в ее душу слова:

«Тов. Кате! Мы на перепутье... Вдали мерцает светлый огонек нашего общего Коммунистического Будущего. К нему дорога... Дорога трудная, смелая, великая, и по ней пойдем мы в ногу, как, помнишь, шли по обыкновенной дороге, не сбиваясь, не расходясь...

Впереди огни... Они манят, зовут. И несчастливы те, кто не видит их. А мы увидели и пойдем к ним, будем бороться за них, творя идеи новой жизни.

Тов. Павел.

г. Галич, 3 августа 1949 г.»

ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ

О СОВЕТСКИХ ЧУДЕСАХ В КОСТРОМСКИХ ЛЕСАХ

(Из поэмы «Кострома»)

Шутка шуткой, а дело делом.
Много есть чудес на свете белом,
Теперь на них прямо полоса.
Но что все эти чудеса,
Сколь там они ни громки,
Перед чудом в селе Шунге на берегу Костромки!
Хотя тут покуда

Еще и нет чуда,
А лишь зерно размера малого,
Но зерно — чуда небывалого,
Чуда такого,
Что описать его толково,
Каким оно будет, достигнув зрелости,
Ни у кого не хватит смелости.
Может, это только по плечу
Одному Ильичу,
Чей образ был со мной неотступно.
Я же со всеми гостями купно
На новое электроздание
Глядел, затаив дыхание,
И, видя восторги местного населения,
Готов был заплакать от умиления.

**Буржуи! Интеллигентные книжники!
Смотрите: вот где подвижники!**

Сорок деревень
Изо дня в день,
Не три дня, а три года,
Погода — непогода,
Выбивались из сил,
Каждый рубил, и возил, и носил:
В черных дебрях дорогу прокладывал свету!
Серяки-мужики

Сорока деревень у Костромки-реки,
Описать ваш подвиг какому поэту?

Был великий у нас и развал, и разор.

Нам враги вопияли: позор!

Позор!

За Советскую власть вам расплата!—

«Советская власть во всем виновата!»

Нынче стали мы наши прорехи чинить.

А в Шунге уже вона какая «заплата»!

Что ж? По-прежнему ль будут враги нас винить?

— *Все Советская власть виновата?!*

Шунгенский герой и его завет —

Да будет свет!

«До-го-рай м-мо-я луч-чи-на!»

Не коптеть тебе в Шунге зимней порой! —

Крестьянин *Стругов*, коренастый мужчина,

Вот кто подлинный шунгенский герой!

Его слова — электросвечи.

Даю осколок из его удивительной речи:

«В 19-м годе всякий видел, что деется
в родной стране.

Надо становиться на крепкие ноги.

Сказал я советским властям:

«Устрою электрическую станцию».

«Трудно!» — говорят.

«Беру на себя ответ. Поддерживайте

ТОЛЬКО».

«Поддержим», — говорят.

Обратился я к народу:

«Братцы! Поддерживай!»

«Поддержим!»

А когда народ говорить и обещаить, ето все уже.

Поддерживали. Я народ забивал у кажную
цель.

Нужно в один день 30 000 пудов выгрузить, —
выгружали.

Лошадей запрягали, сами впрягались.

— Давай! Давай! Давай!

Видя теперь здесь усех людей, забываешь усе,
что было пережито.

Одначе, когда решаишьси на усе, усе делается
скорее и кончается спорее.

Сказали: да будет свет!

И вот: свет!»

Моя речь-импровизация — Всеобщая электризация

Настал мой черед — сказать приветствие.
Я его не повторю здесь, вследствие...
Вследствие того, что у хорошего стихотворения
Нет хорошего повторения.

Да и не мог я говорить дурно!
Все были наэлектризованы в электроизбе.
И если мне аплодировали бурно,
То аплодировали также себе,
Гордясь перед гостем из красной столицы
Редчайшим добром:

*Огненным, ярким пером
Электрической дивной Жар-птицы.*

Когда на полянке прибрежной
Любовался я молодостью нежной
Крестьянских ребяток, взметывавших руки
И показывавших всякие гимнастические штуки,
Вдруг походкой поспешной
Подошел ко мне поп, сновавший в толпе,
И внезапно к руке моей грешной
«Устами прильпе»,
Назвавшись «жрецом народного миропонимания».
Бедный, бедный отец Леонид!
До чего довел его вид
Засверкавшего электроздания!

После электростроя Чудо иного покроя

Тут же рядом
С ревнивым взглядом
Стояли послы из деревни иной.
А потом все ходили за мной
И твердили весьма настоятельно,
Чтоб приехал я к ним обязательно.
А тому их мотивы:
«В Шунге орудуют кооперативы.
Хоть в Шунге огороды и высокого качества,
Но в ней еще много кулачества.
А в Минском, селе,
Беднота вся сидит на земле.
Она нынче богаче.
Одначе

О делах ее дивных посольство не скажет,
А дела всё... на деле покажет».

Два работника местных, земотдельцы,
похоже, —

В оба уха мце стали гудеть:
«В Минском вам побывать надо тоже.
Есть на что поглядеть!»

**Вот это чудо, так чудо,
И другим деревням поучиться б не худо**

Через день поглядели.
Чудеса, в самом деле!
Не дошли мы до первого двора —
Навстречу с флажками детвора,
Румяная, курносая,
Звонкоголосая.
Солнце, кстати, не важничало,
За облаками не саботажничало.
Мужики и молодки приветливо щурились.
Старики тоже не хмурились.
Ну, прямо сказать, дорогая родня!
«Ждали, мил-лай, два дня,
Хлеб в других деревнях весь подмоченный,
хилый.

А у нас, погляди ты, каки зелена.
Рядовую все сеялкой сеяли, мил-лай!
Межи к черту! Засеяли все под одно,
Сортировкой выбрали семя-зерно.
Вон в 20-м году все кругом голодали:
Наказал, дескать, бог.
Знамо, глупость одна. Мы же весь продналог
Не натужившись сдали.
Ноне тоже не страшно. Не будет заминки.
А теперь погляди-ко на наши новинки!»

**Новые машины — урожаю надбавка,
«Сохе-матушке» — отставка!**

А новинок не счесть.
Все тут есть:
И плужки, и сеялки,
И особые веялки,
Борона к бороне на подбор —
Полон двор!



*Жилой дом
в новом квартале
Костромы*

Из всех других деревень мужики при-
бывали,

Головами кивали.

Деревенский парад — не парад, —

В оны годы сказал бы: «Это все маскарад!»

А теперь это явь была самая точная,

Быт советский, действительность прочная:

Мимо веялок,

Сеялок,

За плохую

Сохою,

Лохматый,

Горбатый,

Истомленный мужицкой истомою,

Подпоясанный желтой соломою,

В рваной шапке, в дырявых лаптях,

Измочаленных на невозвратных путях,

Шел, согнувшись, дед Хренов, седой комсомолец,

Из деревни Подолец.

Завязив свою соху умышленно в грязь,



Гостиница «Волга»

Дед ее топором сразу — хрясь!
Хрясь!

«Вот те, старая ты! Разледащая!
Соха-матушка ты распропащая!
Это ты мужиков превращала в калек!
Это ты меня гнула к земле весь мой век!
Это ты меня по миру даве пустила!
Это ты подвела мне живот!
Это ты, это ты мне мой горб нарастила!
Ну, так вот тебе! Вот!
Хрясь! Хрясь! Хрясь!»

До того это было замечательно,
Что я весь размяк окончательно
И стал целовать старикашку взапас
И в губы, и в нос!

**Последние речи —
До новой встречи**

Дальше было... Понятно, что было.
Я загнал себя в мыло.
Говорил, говорил, даже слов не хватало.



Мост через р. Волгу

А уехал — сказал, оказалось, мало,
Все сказать — не хватило бы целого дня.
Провожая меня,
Чуть не каждый ко мне подходил и справлялся:
«Как Ильич! Передай, чтоб скорей поправлялся!
И за то, что тебя к нам прислали, спасибо.
Расскажи там про нас, если спросит кто-либо.
За приезд к нам за твой —
Этот день будет праздник у нас годовой.
День церковный похерим.
Потому как тебе и всей власти мы верим,
Ее любим и с нею согласны во всем,
А кто тронет ее — мы его утрясем!»
Дальше провода к Волге. И свежая рыбка.

Кострома — это «город-улыбка»!
Уезжая, вздохнул я невольно:
«Расставаться, товарищи, больно.
Шутки-шутки, а вот я возьму
И махну навсегда из Москвы в Кострому!»

17 июня 1923 г.

АЛЕКСЕЙ КОЛОСОВ ТВОРЧЕСТВО

Это была своенравная, злая корова. Доярки ее побаивались. Ни с того ни с сего вдруг вскинется и так хватит по подойнику, что ведро летит в эту сторону, а молоко — в ту.

По стародеревенской пословице «бодливой корове бог рог не дает», а этой дал, да такие, что даже свирепые быки, правда, неохотно, а все же уступали ей дорогу.

Как-то в студеную, вьюжную ночь, когда дежурные скотницы задремали, корова (неофициальная кличка ее была Ведьма) выбралась из стойла, подошла к воротам, боднула их и ушла в метель. На заре скотницы всполошились: Ведьма убежала. Было около пятнадцати градусов мороза и сильно буранило, так что никаких следов на снегу не осталось. Скотницы, увязая в сугробах, долго кружились у коровника. Иным сквозь мглу мерещилось, что вон она, чертовка, стоит у ометов. И ласково или, лучше сказать, ласково-жалобно звали ее: «Красавушка!»... «Голубушка!»... Но отзывались им только волки: в том году их тут было много.

Сумрачно прошел по коровнику главный зоотехник Станислав Иванович Штейман. Всякое случалось в совхозе, но чтобы корова, да к тому же стельная, по собственному почину покинула теплое устланное стойло и ушла на мороз, в бурю, навстречу волкам, — такого здесь еще не бывало.

Четыре конника отправились на поиски — в чапыжники, в болота, в заснеженные поймы, — нет коровы, точно сгорела.

Только спустя неделю пришел лесник — фамилия его Херувимов, — сказал:

— Это не ваша корова на супрыкинской поляне? Краснопятенная!

— Краснопятенная? И рога вот так? Не враскидную, а торчком?

— Рога — не дай бог. Пырнет, и пропал ни за трынку.

— Наша!

— Телушка, значит, подле нее.

— Телушка? И жива?

— Прыгает.

Через час Станислав Иванович и его помощники уже приехали на супрыкинскую поляну. Мороз все крепчал, корова стояла у небольшого стога сена, а возле резвился прелестного вида теленок.

Как же так? Спокон веков новорожденного бычка или телушку несут в избу, а на артельных фермах и в совхозах — и отапливаемое помещение, и зоотехники разных времен и стран согласно указывают минимум тепла, которое должно быть в телятнике: двенадцать градусов. А тут в лесу — ярый морозище, ночевка в снегах, меж тем теленок — сама радость.

Молчаливо возвращался Станислав Иванович в совхоз и все думал: где тут разгадка; сильный мороз, пурга, снеговое ложе — и такая расчудесная телушка?

— Таисия Алексеевна, — сказал он телятнице Смирновой, — вот эта телушка... ее надо под особый контроль. Тут что-то очень важное.

— Понимаю. Все будет в порядке.

Не по случайности обратился Штейман к Таисии Алексеевне. В ней-то он был уверен, как в себе. За Костромой, в Судиславльском районе, есть деревня Лихачево. Земля там трудная, неродимая, и до коллективизации люди жили, как говорят старики, «маятно: случалось, мололи и желуди, и кору мешали с мучицей». А пожалуй, бедней всех жила семья Смирновых. В детстве своем Таисия Алексеевна испытала все горечи и муки голодной, студеной, непросветной лихачевской жизни. Да и в первоначальную колхозную пору в деревне этой дела как-то все не ладилось, партийной организации еще не было, политическое руководство осуществлял парень Санька, которого безосновательно называли комсомольцем. Если в Лихачеве возникали какие-нибудь новые задачи и никто не мог решить их, говорили:

— Надо Саньку-комсомольца позвать.

А Санька никогда не был комсомольцем; он всего-навсего гармонист, плясун и веселый парень, но на собраниях держал себя до изумления храбро, и не было вопроса, на который он не отвечал бы с подавляющей уверенностью. Потом все это, конечно, переменялось, — сложилась партийная организация, избрали новое правление, дела пошли совсем по-другому. Малограмотной была тогда Таисия Алексеевна, но пытлива и в высокой мере талантлива. Первые тракторы, дисковые машины, новая агротехника радостно изумили ее. «В душу мне как солнышком брызнуло». На полях и лугах труди-

лась она во всю свою молодую силу. Кто из женщин лучшая прицепщица? Тася... Кто это собрал столько золы? Смирнова.

Как-то — было это давно — в Лихачево приехал товарищ из совхоза «Караваево», сидел в комнате председателя, рассказывал: совхоз расширяется, это будет племенное хозяйство всесоюзного значения, нужны постоянные кадры, и не отпустит ли колхоз в «Караваево» пять-семь девушек или молодых женщин.

Председатель прервал товарища.

— Ты что, Смирнова?

— Да насчет новых граблей.

Через полуоткрытую дверь она слышала весь рассказ приезжего товарища и, войдя в комнату, устремила на него свои большущие горячие глаза.

— А скажите, товарищ, если женщина или там девушка очень малограмотная, возьмете или нет?

— Обучим. У нас систематическая учеба. Нам надо воспитать самых лучших животноводов, и на учебу мы не скудимся. И, конечно, сочетаем ее с практикой: учишься и работай, работай и учишься.

— Да? Я бы...

И — к председателю:

— Отпустите меня, пожалуйста. Я бы с радостью...

— Не, не, не... Ни в каком разе... А новые грабли сложены в сарае, подле кладовки. До свидания.

— Отпустите, пожалуйста. Я бы подучилась, получила специальность.

— Не, не, не... До свидания. Грабли в сарае.

Спустя неделю председатель беседовал с секретарем парторганизации:

— Что делать с этой Смирновой... с Тасей? Ну ж и напористая! По три раза в день приходит — чуть не плачет: в совхоз и в совхоз — учиться. Я уж так теперь думаю: голова у нее умная, характер самый крепкий, всем интересуется, и в совхозе для нее будет больше всяких этих возможностей.

Коротко говоря, через несколько дней Тася вошла в кабинет главного зоотехника совхоза Станислава Ивановича Штеймана.

Тут издавна установился порядок: каждый новый кандидат в животноводы совхоза прежде всего попадает в кабинет Станислава Ивановича. Пришел ли человек только ради «длинного рубля», интересуется ли он животноводством, что и как он делал в колхозе, есть ли у него подлинное же-

вание овладеть сложной техникой дела, пытливы ли, настойчивы ли — все это Станиславу Ивановичу надо знать обстоятельно.

— Малограмотная я, — сказала Тася Штейману. — Ничего не знаю. Могу только самую простую работу. А так хочется подучиться, понять все...

— Это не беда, что малограмотная, — отозвался Штейман. — У нас тут так: нынче малограмотная, а через два-три года, глядишь, — зоотехник.

Тася слушала тихую, теплую речь, и в душе все росла и росла светлая уверенность в себе, в чудесном и таком манящем будущем.

— Вот что, Тася, — заключил Станислав Иванович. — Вижу, что у нас с вами дело пойдет, хорошо пойдет. Мы здесь создаем новую, совсем новую породу молочного скота, какой нет нигде во всем мире. Особое внимание уделяем телятам. Это, Тася, очень трудное дело — выращивание, воспитание племенного молодняка. Без большой любви тут ничего сделать нельзя. Без любви и без знаний. Любовь у вас, вижу, будет, а знания получить мы вам поможем: у нас вечерние курсы, кружок, и я еще много буду беседовать с вами, я и другие товарищи. И постепенно вырастаете в хорошего, даже, может быть, замечательного животновода.

Была весна, до самых краев земли, до небосклона струилось, изливалось ласковое золото солнца. К конторе шли две нарядные девушки, их окликнул шофер грузовой машины:

— В отпуск?

— Угу.

— В Кострому?

— Вот еще! Чего мы там не видели.

— Куда ж?

— По Москве погулять.

Побежали мимо Таси в контору, раздумяившиеся, радостные.

Тася присела на крыльцо, вспомнила всю теплую, тихую, преисполненную душевного доверия речь, и бог весть почему повлажнели глаза, закрылась руками, заплакала.

Шофер покосился, слез, развалисто подошел к крыльцу:

— Ты что ж это? Что такое случилось?

Тася открыла лицо, вскинула голову, вздохнула и лучисто улыбнулась:

— Ничего. Так.

На другое утро она уже была в телятнике. Старшая сказала:

— Для начала тебе работа — самая легкая: поднести молоко, сменить подстилку, подмести пол. А главное: приглядывайся, что мы делаем, зачем. Чего не поймешь, спроси. А в кружок еще не записалась?.. Надо записаться, без этого нельзя. А со Станиславом Ивановичем говорила?.. Ты все запоминай, что он говорит. По нашей специальности он, может быть, самый первый человек во всем Союзе. Его Мичурин знает.

Кружок, курсы, беседы со Штейманом, с новыми подругами — сколько тут неведомого, глубокого, завлекательного открывалось перед Тасей.

Старшая внушала:

— Выкормить, выходить телушку — это не щи сварить. К каждой надо подойти особо: у этой — один аппетит, у той — другой, эта дает за сутки восемьсот граммов привеса, а та — всего четыреста. Почему? Потому что, к примеру, надоели ей обрат и отруби, ей морковку нужно, клеверок, такая у нее потребность... К каждой надо приглядываться, каждую знать. Из худой телушки не будет доброй коровушки.

Все здесь было удивительно Тасе, а удивительней всего — волнующее, дружеское и совершенное согласие в труде, общая глубокая забота о деле, общность всех радостей, и тревог, и надежд. Лишь поздней поняла она, что людьми этими владеет, чудесно одушевляя их, безукоризненно ясная цель, доведенная Станиславом Штейманом не только до сознания, но и до чувства, до самого сердца каждой работницы, каждого работника.

И вот минет с тех дней двадцать лет, и во всемирно прославленное «Каравеево» приедут иностранные зоотехники, и меж ними и Героем Социалистического Труда Таисией Алексеевной Смирновой будет такой разговор:

— Сколько вы за эти двадцать лет вырастили таких чудных телят?

— Больше двух тысяч.

— Были, конечно, и падежи?

— Ни одного.

— Как?

— У нас все случаи падежа строго регистрируются. У меня их не было. Я всех телят выращиваю холодным способом...

Возвратимся к началу письма... Так вот, когда своенравная, злая корова сбежала в лес и там, в снегах, на морозе

родила чудесного теленочка, не по случайности С. И. Штеймань обратился к Таисии Смирновой:

— Эта телушка... тут что-то очень важное.

В подневных записях Таисия Алексеевна отмечала:

...Привес — 900 граммов. Больше, чем у всех.

...Привес — 930. Когда открывают ворота и потягивает морозом, беспокоится, просится наружу.

...Выпустила ее на волю. Вернулась совсем веселая.

Ест — не напасешься. Привес — 1000.

А Станислав Иванович, вникая в жизнь телушки, заключал:

— ...Мороз уничтожает вреднейшие микробы... Чистота воздуха, кислородная насыщенность... Повышенный жизненный тонус... Увеличенный аппетит... Небывалая стойкость против простуды и всех других болезней... Не следует ли покончить с прежними представлениями об «идеальном воспитании молодняка»?.. Холод, холод, холод!.. Тепличное воспитание ведет к изнеженности телят (да разве одних только телят!), к ослаблению данных им природой собственных защитных средств. Холод, холодное воспитание!.. Мы — накануне большой разгадки...

— Как ты думаешь об этом, Таисия Алексеевна?

— Да и сама вижу, что тут у нас будет большой переворот.

Спустя три года о «холодном воспитании телят» узнает Иван Владимирович Мичурин. Узнает и скажет:

— У этого метода большое будущее. Наконец-то и в животноводстве появился человек, который повернет на новый путь это дело...

2

В тот год весна была редкостно холодной, в середине мая случались крепкие заморозки, дожди перемежались мокрыми снегопадами. А потом сразу все переменялось: из облачных проемов хлынуло солнце, повеяли тихоструйные южные ветры, и вот уже весь мир словно бы сделан из золота, лазури, изумрудов. Зорянки, пеночки, соловьи торопились наверстать упущенное, и еще долго после рассвета по всей долине Сендеги лился, перекачивался алмазный ветер пташечьих песен.

И каждое утро у дома Смирновых сходится ватага девчоночек — Люда, Маша, Тамара, Ляля, Валя, — их тут с десяток, все они только что перешли во второй класс.

Сойдутся, ждут, когда выйдет Ниночка Смирнова, чтобы пойти с нею в лес. Она — первая отличница и первая «заводила», то есть затейница всяких игр, походов, предприятий.

А какая она тогда была, скажем так: небольшого росточка (ниже всех подруг), в голубых глазах — сияющие шайтанчики, и жест — нетерпеливый, порывистый.

Пошли.

Бродят, бывало, по лесу почти до полудня, зайдут километров за семь от совхоза, но возвращаются непременно по тропкам, ведущим к большой луговине, где расположен летний телячий лагерь. Тем лагерем ведаёт Ниночкина мать Таисия Алексеевна.

Имя ее уже и тогда было знаменито. Под постоянным, методичным и талантливым руководством С. И. Штеймана и помощницы его, селекционера А. Д. Митропольской, Таисия Алексеевна в знаниях своих и в мастерстве поднялась вровень даже не просто с настоящим зоотехником, а зоотехником выдающимся.

С нею подолгу беседовали приезжавшие специалисты и знатные колхозные животноводы, и она с безукоризненной точностью отвечала на все множество вопросов.

Вопрос: «Что достигается холодным методом выращивания молодняка?»

Ответ: «Физическая закалка животного, исключительное его здоровье, необыкновенная сила сопротивляемости болезням. С тех пор как мы начали широко применять метод Штеймана, у нас телята совсем не болеют. А раньше были очень большие потери. Вместе с тем холодное выращивание развивает в животном способность перерабатывать громадное количество кормов: оттого-то вес наших телят уже к трехмесячному возрасту достигает ста двадцати и ста тридцати килограммов».

Вопрос: «А коровы?»

Ответ: «Шестьсот шестьдесят, семьсот, а есть и такие, что весят восемьсот сорок килограммов. Это, как знаете, вдвое больше, чем живой вес обыкновенной коровы. Путем отбора и подбора, правильного питания и холодного выращивания мы постепенно превратим все наше стадо вот в таких тяжеловесов. Ведь известно, что коровы крупного телосложения перерабатывают наибольшее количество кормов и дают наибольшие удои».

Вопрос: «Сколько же перерабатывает за сутки ваша корова?»

Ответ: «Вы будете, конечно, говорить с нашим директором и с товарищем Штейманом, с другими специалистами, они расскажут вам о коровах точнее, а я — только телятница. Впрочем, так... предварительно, могу вам сказать: если сложить корма всех видов, то наша корова перерабатывает за сутки около ста килограммов. И за это дает нам от пятидесяти до шестидесяти шести литров молока со средней жирностью в четыре процента».

Улыбнулась: «Неплохая отдача?»

Собеседники: «Еще бы! Но, значит, у вас богатая кормовая база?»

Смирнова: «С кормами у нас неплохо — два прифермских, два лугопастбищных севооборота: вико-овсянка, рожь, клевер с тимофеевкой, корнеплоды — словом, семнадцать видов кормов. Дирекция, парторганизация, весь коллектив очень много работают, чтобы сделать кормовую базу как можно крепче, богаче. Сами знаете: в животноводстве это ж самое главное — корма. Много ль из того толку, если отбирать, подбирать скот, выращивать его по холодному способу и тому подобное, а кормить кое-как. Приезжал тут как-то колхозник из другой области, говорит: «Пробовали мы растить телят на холоде, да бросили: уж очень жадные на поило, на корм: вдвойне жрут против обыкновенного теленка»... А как же! Если хочешь, чтобы корова давала тебе шесть или семь тысяч литров жирного молока, — корми. Вон в наших колхозах «Пятилетка», «Заря социализма», «12-й Октябрь» взялись как следует за кормовую базу, и теперь там — все: голова к голове подобранное стадо, холодное выращивание и удой уже почти как наши...»

Вопросов — уйма. Начнут с телят, перейдут к лугопастбищным севооборотам, заинтересуются тонкостями селекции... И это до тех пор, пока не подойдет С. И. Штейман либо А. Д. Митропольская...

* * *

Ну, а где же наши девчоночки?

Гляньте влево, вон на ту тропку: это спешат они. Их влечет сюда все: размеренная, точная работа скотниц, решетчатые домики, а в домиках — замечательной красоты снежно-белые бычки и телушки, пестрые группы наших и иностранных экскурсантов, живой горячий говор.

Ребятам запрещено подходить к домикам, хватать телят за мордочки, кормить их хлебом... Девчоночки садятся

поодаль, смотрят во все глаза, слушают и все жарче и светлей ощущают поэзию животноводческого труда.

Ничто не укроется от взора Станислава Штеймана. Он уже не раз видел: на лужке, чуть накренившись вперед, вытанув тонкие шейки, сидят девчоночки. Глаза горячие.

Подошел:

— Какого, девочки, класса?

— Перешли во второй.

— Ого! А про юннатов читали?

— Читали. Только у нас в школе нет юннатов.

— Это мы наладим. И вам надо... знаете что? Надо будет взять шефство над телятами. Скажем, по два теленка на каждую. Хорошо?

К тому времени руководимый Штейманом кружок юннатов увеличился почти втрое, и все девочки стали превосходными помощницами телятниц.

А лучше всех — Нина Смирнова.

Но однажды все пришли, а ее нет. В обеденный перерыв обеспокоенная мать поспешила домой. Перед дочерью — небольшой листок: в боях под Москвой пал смертью героя муж Таисии Алексеевны, отец Ниночки, Аполлинаруй Смирнов.

И было еще: Ниночка пришла в телятник в урочный час, но бесконечно печальная и как-то разом осунувшаяся.

— Ты плакала? — спросила подружка Валя.

— Не-ет.

— Плакала. Почему?

— Нет.

Очень дрожали руки, когда поила теленочка. Крепилась, крепилась, но где ж там! Опустила голову, вздрогнули плечи.

— Тетя Тася, — прошептала подружка. — Ниночка плачет.

Защемило в материнском сердце: «Неужели... Павел?»

Подбежала:

— Доченька... Что?.. Что?..

— Иди, мамочка, иди. Ничего.

Видно, хотела скрыть, что убит на фронте милый-милый братик Паша. Да разве скроешь!

На другое утро она вошла в кабинет Станислава Ивановича. Тот уже знал. Поднялся, обеими руками сжал руку девочки...

— Вот знаешь, Нина, в моем детстве, когда мне было...

Очень он любил Павла Смирнова, пытливого и всегда

радостного паренька и, взволновавшись, не договорил, смолк.

— Станислав Иванович, — глухо сказала Ниночка, — время теперь такое...

— Да?

— Хочу работать телятницей.

Училась она тогда в шестом классе.

— А школа?

— Нагону потом.

— Хорошо, — не сразу отозвался Штейман.

— С завтрашнего дня?

— Хорошо!..

...Она попросилась на труднейший участок, где выращивают телят старше трехмесячного возраста. Там уже надобен особо вдумчивый, подлинно творческий подход к делу. С трехмесячного возраста, как говорят здешние животноводы, начинается «самая ломка», то есть наитруднейшая пора в развитии молочного животного: из телушки может вырасти либо Гроза (корова с годовым удоем в 16 500 килограммов), либо какая-нибудь Веточка (3 500 килограммов).

Пусть первый период «холодного воспитания» завершен и создан организм совершенной силы, но все решается только теперь, когда теленку за три месяца: Гроза или Веточка?..

Тут все зависит от мастерства телятницы, и Нина Смирнова сразу же убедила Станислава Штеймана, что нет — Веточек у нее не будет, а будут коровы с годовым удоем в шесть, восемь, десять тысяч килограммов и больше.

* * *

Рядом стоят две телушки, у них — одинаковые корма, но одна уже все поела, немножко полежала и теперь развеселилась, кружится, ловит себя за хвост; а другая — не осилила и половины корма и, высунув голову, следит за Ниной, ждет чего-то.

Нина идет с тетрадю, осматривает кормушки, поилки, примечает и отмечает всякие тонкости и останавливается возле недовольной телушки.

— Так. Обрат, значит, вам не нравится. Сенцо тоже забраковали. Может быть, недовольны утренней нормой соли? Или мела побольше захотелось? А ну, попробуем...

Возвращается с махонькой дозой соли и мела, искусно опарашивает клок клевера, телушка ест его с удовольствием.

Испытание продолжается, И Нина уже знает, какой нужен теленку новый рацион: обрат заменить клевером, тертой морковью, сенным чаем, увеличить порцию соли.

На другой день у телушки расчудесное самочувствие: прыгает, кружится и все старается поймать себя за хвост.

3

Сколько голландок, симменталок, шортгорнов и какие стада красно-горбатовских, бестужевских, швицких и иных пород молочного скота перевидал я на веку своем, но чтобы корова больше чем двадцатилетнего возраста давала молоко, да притом до 5000 литров — это неправдоподобно, непостижимо. Редко-редко какая-нибудь голландка или симменталка на тринадцатом и уже совсем редко на четырнадцатом году своей жизни удивит всех надоем в 500 и, бывает, в 700 литров.

Это установлено испокон веков и было непререкаемо.

А тут пошло едва не сказочное. Вот корова Краса... Вот другая — Опытница... Вот третья, седьмая, десятая... За всю жизнь каждая уже дала 125 000 литров, и они все еще изумляют годовыми удоями от четырех до шести тысяч литров. ...Экскурсанты переходят в отделение первотелок, и тут — тоже свои новости. Конечно, и до советских новаторов были на Руси и в Западной Европе отличные молочные хозяйства, но то, что делается и уже сделано в «Каравееве», превосходит все рекорды и успехи. Так, бывало, если надой от первотелки достигнет трех тысяч литров, то редкостную такую корову помещают отдельно: ей — всяческое внимание, отборные корма, пышная и всегда свежая подстилка, старательно оборудованное стойло.

Это — событие, это — предел, 3000 литров от первотелки, а здесь, в «Каравееве», и... 8000 уже в привычку.

Понятно, что не все приезжие сразу же принимают эту цифру на веру. Придирчиво исследуют документы, присутствуют при доении, примериваются, считают: «А ведь и на самом деле! Ну, чудеса!..» Многие дивятся выращиванию телят на морозе; спрашивают Таисию Смирнову:

— Значит, в телятнике — ни одной печки?

— Ни одной.

— А если сильный мороз? Если, допустим, тридцать градусов?

— Если на улице тридцать градусов, то в телятнике —

около пятнадцати. Новорожденных, слабеньких покрываем легкими попонками, надеваем наушнички. Но это только до шестого дня жизни.

— А потом? После шести?

— Снимаем попонки, наушнички...

— Да ведь пятнадцать же градусов!

— А хотя бы и больше. Теленок уже освоился, привык к холоду.

— И вы не боитесь?

— Если б боялись, так у нас не было бы такой породы и таких удоев. Вот скажите: у вас в колхозе бывают падежи?

— От этого не убережешься.

— А мы уже давно забыли о них.

— Да, век живи, век учись. А вот эта женщина, с вами сейчас сидела, не дочка ваша?

— Дочка. Тоже телятница.

— Значит, она уже дважды Герой?

— Дважды.

— Обогнала, значит, мать?

— Обогнала. Теперь мне приходится у нее даже подучиваться.

— Вот так-то она, наша молодежь. Растет, не угонишься.

СЕРГЕЙ ПОДЕЛКОВ

НОЧНОЙ БОЙ

*Глава из поэмы «Героический триптих»,
посвященной памяти комсомольца,
Героя Советского Союза
Юрия Васильевича Смирнова*

Июньский лес —
он празднично уютен,
то в голубых,
то в красных лентах зорь,
тут новобрачный кружится витюлень,
в ладоши бьет, качая осокорь;
тут в камышах подскакивают рыбы,
травя — овчиной,
родники стучат;
тут отдохнуть товарищи могли бы
под кровлей благостных лесных палат.
Костры зажечь бы — пламя лопотало,
сушняк стрелял бы, бубен хохотал,
царила б песня жизни в ночь Купалы,
венки венку «люблю тебя» шептал.
Но жены и невесты только снятся,
а наяву приходится с врагом
огнем артиллерийским объясняться
и прочим убивающим огнем.

Присмотришься —
в кустах мелькают каски,
за шалашами — кухня, запах щей;
в гигантский чан,
что выбил взрыв фугаски,
впадает неожиданно ручей.
С хребтами перебитыми осины,
ольха с оторванной головой,
в воде солдаты
под кустом лещины
намыливают, трут друг другу спины
сухою прошлогоднею травой,
потом ныряют,
фыркают, всплывают,

*Герой
Советского
Союза
Юрий
Смирнов*



Дон поминают,
Волгу,
всяк свое...
Душа бойцу надеть повелевает
перед сраженьем чистое белье.

II

Проверено оружие.
Полны диски.
Все наготове — нож и пулемет...
Кто бреется,
кто пишет письма близким,
кто слушает соленый анекдот.
Я вижу их под хвойной тучей сосен,
они на пнях и на траве сидят.
— Газе-е-еты! Свежие! — шумит Карозин. —
Читай, Смирнов!
Начни-ка с «Правды», брат.



*Здание сельского профтехучилища,
в котором учился
Юрий Смирнов*

Как слушают бойцы благоговейно!
Дух захватила наступленья ширь.
— Разгромлена твердыня Маннергейма!
— И Выборг взят!
— Форсирована Свирь!
— Что там еще?
— Всего не перечесть...
Информбюро итоговое слово,
«Быль для детей» Сергея Михалкова...
— Давай для взрослых...
— Братцы, карта есть!



26 октября 1965г.
Совет Министров РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ № 1239
ПРИСВОИЛ МАКАРЬЕВСКОМУ
СЕЛЬСКОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОМУ УЧИЛИЩУ №1
ИМЯ ГЕРОЯ
Советского Союза
Юрия Васильевича
СМИРНОВА

— Раскладывай!

Взглянуть бы не мешало,
какой достигли мы в боях черты.

На пне дубовом вся страна лежала
(дуб, знать, времен Ивана Калиты) —
в кинжальных стрелах нашего Генштаба
живые фронты двигались, вились...

И, не смущаясь малостью масштаба,
дыша на трепетный газетный лист,
солдаты видели себя в сраженье.
Как и другие, Юрий отмечал
свой дом на карте — смутное виденье...
Как будто совершая поклоненье,
склонился каждый,
каждый помолчал.

Он, русский,
шел через леса глухие,
он, воин,
шел через поля нагие,

он, комсомолец, шел сквозь дни лихие,
не зная ни минуты забвения,
и повторял названья дорогие:
«Макарьев.
Кострома.
Москва.
Россия.
Союз Республик — Родина моя!»

III

Он принят в комсомол еще в апреле.
Тянулось ожидание...
И вот,
задумчивый, в шалаш под старой елью
он от комсорга медленно идет,
на ленинский спокойный силуэт
глядит,
читает вслух за словом слово...
Он комсомольский получил билет,
билет солдата Юрия Смирнова.
И — думы, думы...
Доброе и злое.
И окружает война былое...
И возникающее в смутной дымке
сначала просто чувства-невидимки,
потом воспоминания — они
мгновенно вспыхивают, как огни,
стремительно меняются, как снимки;
она — и улица, набитая сиренью,
она — и шумная над ней сосна,
она — и поле перед ней в цветенье,
и платье пестрое на ней... Она!

IV

Под лист письма подложена тетрадь.
«Жди, Дусенька!
Жди, милая Авдотья!
В таком отчаянном круговороте
тебя бы на минутку повидать.
Ты знаешь, не из робких я ребят,
страх из меня нигде не гнет полозьев,
все ж перед боем летний день морозен...

Но нервы тайной радостью горят,
и днем и ночью на врага охота...
Как говорит наш Зеленюк, комроты:
«Глаза бойца попеременно спят,
чтобы виделось вокруг всегда,
чтоб смелость
не уходила, как дожди в пески,
ежесекундно б ощущать хотелось
оружье продолжением руки.
И чтоб в пути — ни скорби и ни жалоб,
ни пуля, ни трясина, ни пурга —
ничто нигде бойца не задержало б,
глаза должны отыскивать врага».

V

Он тоже вызвался,
и так доволен,
от жуткой радости слегка продрог...
Гудит сраженье тыщей колоколен,
от орудийных залпов мир оглох.
Десантники в строю.
Слова летают.
И каблуков в трущобе ночи стук.
И Вячеслав Иванович Зеленюк
солдат поочередно обнимает.
Он — брат им, командир и комиссар.
— По танкам, хлопцы! —
Что их ожидает?
И тронулись, не зажигая фар,
через траншеи, проволоку,
через
бетон и сталь;
врываясь в дубняки,
сминая минометов «кулаки»,
метались залпов красные куски,
трещали доты «лошадиный череп» —
ощеренные бронеколпаки.
Дрожала ночь и ходуном ходила.
Десантники вокруг башен на броне.
Трясло.
Ракеты, как паникадила,
раскачивались в зыбкой вышине.

Термитными снарядами палили
фашисты...
Небосвод свистел и выл.
И «вал восточный» танки проломил
и прорвались под Оршей немцам в тыл...

VI

Команда:
— Пры-гай!—
Каждый осторожен.
Уходят танки, путь им вдаль положен,
во тьме кромешной лишь ревущий след.
Сзывает Зеленюк:
— Степанов! Прошин!—
Сошлись.
Сгрудились.
Все?
Смирнова нет!
Смирнова нет!
Ждать некогда. Найдется!
Вперед!
Пружинит под ногой болотце.
Идут опушкой.
Луг.
Ложатся в травы.
Ползут, нащупывают провода —
и режут, рвут...
И вновь встают.
Канавы,
на дне в воде колеблется звезда.
Ложись!
Чужая речь.
Чу, часовые!
Десант ползет по клеверу гужом.
Гнездо орудий. Тени стволовые.
Удар. Крик, перерезанный ножом.
Гранаты взрыв.
Еще. Огня блистанье.
И гневных автоматов клекотанье.
Обрушено неожиданное лавиной.
И тишина.

Почти неуловимый
неясный шорох. Встрепенулась птица
и сонная упала. Ночь дымитя.

И снова поиск.
Снова по земле
ползут по жилке провода во мгле,
ползут на стук копыт вблизи леска,
на запах сигаретного дымка,
ползут на тоненькую нитку света,
в ушко едва заметной щели вдетой.

Штабной блиндаж.
Здесь кряжей три наката,
перила даже,
пять ступенек, вход...
Рванули дверь.
Занесена граната.
Бросок — и взрыв.
И крик. И стон.
— Mein Gott.

VII

Уже проходит ночи половина,
сползают звезды медленно на юг.
Вдруг вспышка, грохот под ногами...
Мина!
Заскрежетал зубами Зеленюк:
— Конец...—
Все кинулись к нему.
— Отставить!
Товарищ Прошин, всем меня оставить...
Бинтов не надо... нету ног...
Вложите,
прошу вас, в руку пистолет... Идите!
И снова поиск.
Снова смертный бой
ночной железной группы штурмовой.
Штаб генерала Траута в ознобе.
Доносят: «Танки и десант в тылу...»
Разведка мечется.
И Траут злобен.

Растоптана сигара на полу.
Слышна истерика радиостанций,
в эфире молниями позывных
взывают: «Wo sind russische Panzer?»¹
В который раз: «Wohin begaben sie sich?»²
А танки шли вперед в тяжелых знаках —
броня в царапинах и кровь на траках,
ревела потрясающая сталь.
Светало.
Резко обнажалась даль.
И танки по хребту шоссе с разгона
рванулись на Борисов, в синеву...
И надвое
фашистов оборону
огнем распарывали, как по шву.

УШ

А где Смирнов?
Где Юрий, в самом деле?
Повествованье повернем назад.
Когда в ночи,
как будто в подземелье,
бойцы на танках яростных сидели,
когда Смирнов, сжимая автомат,
команды ждал, —
нечаянная пуля
ударила его в плечо в тот миг.
Он оборвался в неизвестность,
в гуле
крушенье звезд,
и — боль...
И он затих.
И больше ничего.
Лишь мирозданья
над ним слепое вечное сиянье.
Очнулся он.
В ушах чугунный звон.

¹ Где русские танки?

² Куда они направились?

В плече пульсировала боль,
и ныла
рука тревожно,
и в глазах рябило,
густой и терпкий запах чернобыла
душил его.
Лежал в бессилье он,
лежал на чем-то каменном спиной.
Он повернулся, автомат нащупал.
Плыл одуряющий по телу зной,
жар звездный тлел, дышал,
и неба купол
все вздрагивал зарницею сквозной.
Овечьей шерстью тьма висела плотно,
и вдаль глаза пробиться не могли,
но ткались исподволь зари полотна,
подспудно,
где-то за чертой земли,
и подымались...

Сдавленно и глухо
запел петух, откликнулся другой
совсем далеко..
А над самым ухом
комар звенел волосяной струной:
«Пи-ить, пить...»
И мысль пронзительная: «Где я?
А где ребята?
Ранен. Как же быть?»
Пытала жажда,
жгла сильней, лютее,
гортань ссыхалась, стягивалась.
Пить!
Немного б, чуточку,
глоток бы влаги.
В чехле гремят стекляшки вместо фляги.
Он пил росу по капле с чернобыла,
ловил губами,
пил..
Горька роса.
Горь-ка-а!
Рыдала дико вынь, трубила,
какие-то витали голоса...

Куда податься?
Всюду караулы.
Былинкой стать бы иль в нору залечь...
Он содрогнулся, сжался —
резанула
немецкая бряцающая речь.
Шли прямо на него,
шли слева,
справа,
шли бешено, стучали сапоги,
шумела, сквозь бурьян катясь, облава, —
по танковому следу шли враги.
Один.
Как быть?
Заледенело сердце.
Ползти!
Но искривились губы — нет!
Боль, боль...
И на руку не опереться.
Из мглы — за силуэтом силуэт.

Он жив еще.
Живые не сдаются.
Чужие каблуки кругом гремят,
землетрясением в сердце отдаются...
Встал на колени, стиснул автомат.
Как в призраков он бил — враги молчали, —
бил в шорох, в стук,
куда-то отступал...
Уж брезжило.
Грачи взвились, кричали.
Удар в затылок — и Смирнов упал.

IX

Блиндаж.
Дивизионная разведка.
Карбидной лампы раскаленный свет.
И в судорожных, бешеных отметках
лист карты на столе. На нем стилет.
Ромашки в банке из-под кофе тут,
рассыпались, цветут себе, цветут.
Упала с обожженными крылами
ночная бабочка, дрожит едва.

Повешен Гитлер на стене,
он в раме,
под перекладиною голова.
Под ним майор сопит — хорька обличье,
рыж, остроморд,
на пальце бриллиант,
закуривает обер-лейтенант,
над зажигалкой гнется шея бычья.

И перед ними
в логовище этом
избитый Юрий, молодой, живой.
Не знает он, что ждет его с рассветом,
что мук ему отмерено с лихвой.
Вся жизнь его была еще запевом,
и вот не в силах шевельнуть плечом,
кровь заеклась на рукаве на левом
тяжелым и горячим сургучом.
И Юрия досада душит, душит.
Фашист прищурился,
он сигарету тушит,
он привстает чуть-чуть...
Он — явь или бред?
Явь!
Руки в красных муравьях веснушек.
Враг поднял над столом его билет.
— Ты комсомол?
Ты очень правду любишь,
ты правду говоришь — себя не сгубишь.
Куда шли танки?
Знаешь направление?
Какой дивизией вышел в наступление?
Скажи! Германии ты будешь друг.

Но Юрий нем.
И лишь воображенье
зарниц грохочущих передвиженье,
и скрежет гусениц... шоссе... и луг...
И сотоварищей двоятся тени,
в бинтах они, в росе, в крови колени,
в туманной плащ-палатке Зеленюк...
И в гиблом, непролазном жабьем месте,
по зыбунам осиновских болот,

конечно, полк его с другими вместе
теперь под звездами идет в обход...

— Зольдат, расстреливаем за обман!—
майор свиреп,
от ненависти пьян.
Он вскакивает и Смирнова колет,
швыряет в иступлении стилет.
На все вопросы вписан в протоколе —
«Er schweigt»,
«Er schwiegt»,
«Er schweigt»¹ — один ответ.

X

Минута передышки.
Враг растерян.
Неведомого надвигался вал.
Стук. Возглас. Скрип.
Рассвет в раскрытой двери.
Влетает золоченый генерал.
За ним охрана, скопище чинов,
на рукавах гримасы черепов.

Лют генерал.
Из-под фуражки вкось
свисает гитлеровский клочок волос.
Шагнул к Смирнову, важен, одержим.
— Я сам поговорю по-русски с ним.
Скажи, где танки? Путь каков десанта?

Все повернулись.
Юрий как магнит.
И пунктуально обер-лейтенантом
ответ записан тот же: «Он молчит».
И генерал перчатку стиснул туже.
Глаза белы, как вымерзшие лужи,
в кровавых от бессонницы обводах.
Он разъярен, пружинит кадыком,
над грудью, подпирая подбородок,
как над могилой, крест стоит торчком.
— Молчишь?! — и матом, матом...
Черной бурей
осатанело генерал рычал.

¹ Он молчит.

Не выдержал и усмехнулся Юрий:
— В какой пивной язык наш изучал?—

Опешил генерал.

— Ива-ан! Я на арканах
таких вздымал...—

Смирнов ему:— Ты, тля,
знай, на Иванах, будто на титанах,
вся держится российская земля.—
Фашист солдатским мужеством задет.
Подлец с брезгливостью аристократа
перчаткою бьет по лицу солдата;
он угрожает,
вынул пистолет,
ко лбу приставил дуло:

— Скажешь?

— Нет!—

Смирнов стоял, пошатываясь, белый,
запекся рот, в глазах черным-черно.
— Ты убери, собака, парабеллум,—
трофеем нашим станет все равно.

И сунул Траут пистолет обратно.
На скулах жар, зашевелились пятна
и поползди багровые, дрожа.
Безмолвье.

— Kreuzigen!¹ — зазвенело слово.

— Распят!— со свистом повторил он снова
и выскочил во мглу из блиндажа.

XI

Фашисты кинулись на человека —
чудовищное горе, горе века,—
тяжелый крест сбивают из досок,
сшибают Юрия ударом резким,
и держат руки, и не сдвинуть ног...
Бьет аккуратно по гвоздям немецким
сработанный в Берлине молоток.

И подняли бойца на крестовине.
Открыл глаза —
и смутно увидал
в проеме двери небо сине-сине,

¹ Распятъ.

а на листе березы, на вершине,
горячий луч пылал и трепетал.
Он понял: солнце над землей всходило.
Летели птицы черные,
рябило,
деревья скорбно опускали руки,
и облако качалось в пустоте.
Он жил,
жил в пламени тягчайшей муки,
терял сознание,
бредил на кресте.
И чудился далекий день забытый:
шла мама с головою непокрытой,
плыл коршун, крылья бурые пластая,
и вдруг сорвался к жаворонкам в стаю...
Схватил, схватил... Взвился.
Деревьев купы.
Хвосты коней.
А он в дыму полей
бежит, кричит... Но только шепчут губы:
«Стрельни скорее, пап... Убей, убей...»
Летят — и снег и звезды...
Мать нема.
Вздохнул.
И сник.
И тишина.
И тьма.

ХИ

А в этот миг в семи верстах тряслась
земля. И в рост пехота поднялась.
Висели самолеты, дыма гривы,
светило солнце нам издалека.
Шел бой.
Гигантскими ежами взрывов,
толчками залпов двигались войска...
И не безумье, горе человечье —
в штыки шла радость.
Флаг мерцал.
И в лозняке в замшелом междуречье
самозабвенно соловей свистал.

Бежали гитлеровцы.

1954—1958

ВИКТОР МАРКОВ

ГЕРОИ

На родину Главного маршала авиации Александра Александровича Новикова я, в сущности, попал случайно. Надо было ознакомиться с постановкой военно-патриотического воспитания в какой-нибудь сельской школе, и секретарь Перехтского райкома партии посоветовал:

— Да поезжайте хотя бы в колхоз имени Максима Горького. И рядом и средняя школа там новая, и воспитательная работа поставлена ничего.

Наверное, прошло не более часа, а я в сопровождении председателя колхоза и директора школы уже ходил по светлым, залитым солнцем коридорам и классам просторного школьного здания. Мне показывали отлично оборудованные кабинеты физики и химии, мастерскую, спортивный зал и, наконец, привели в комнату Боевой славы.

— Наша пионерская дружина, — начал свой рассказ директор, остановившись перед портретом воина, — носит имя Героя Советского Союза Ивана Георгиевича Лапина. Не слышали о нем? До войны — тракторист, в войну — минометчик. Воевал истинно по-геройски, смелости был отчаянной. Погиб при освобождении Гомеля. Там и похоронен, на городской площади. А у нас, в деревне Пешево, где Иван Лапин родился, памятник ему поставлен. Пионеры за ним ухаживают, летом там всегда цветы... — Директор сделал небольшую паузу, ожидая вопросов, показал следующий портрет. — А это Павлин Александрович Люлин, танкист-разведчик. Рядом с ним Иван Михайлович Лобанов. Соседи — оба из деревни Лобаново, и оба Герои Советского Союза...

— Надо же, — удивился я, — три героя из одного колхоза!

— Еще Николай Павлович Тараканов был, летчик-штурмовик. О храбрости его подлинные чудеса рассказывали...

— Тоже здешний?!

— Ну конечно. Только он не из Лобанова, а из Крюкова.

— Из одной деревни с дважды Героем Советского Союза Александром Александровичем Новиковым.

Памятник
дважды
Герою
Советского
Союза
Главному
маршалу
авиации
А. А. Новикову



— Главным маршалом авиации?

— Точно. К слову сказать, Александр Александрович не забывал земляков. Приезжал сюда и в школе нашей бывал, с ребятами встречался.

— Ну, да ведь он и сам когда-то сельским учителем был. До службы в армии недалеко отсюда учительствовал, — снова уточнил председатель. И не то гордись, не то сожалея, сказал: — Только памятник ему не у нас, а в Костроме стоит.

Мне сразу вспомнилось торжественное открытие бронзового бюста дважды Героя Советского Союза А. А. Новикова. Состоялось оно в канун праздника Великой Октябрьской социалистической революции. На Комсомольской площади областного центра, где установили бюст, собралось много

народу. Приехали Главный маршал авиации А. А. Новиков и скульптор академик Е. В. Вучетич...

— А наш главный памятник, вот он, — после некоторого молчания промолвил директор школы, подойдя к окну, — памятник всем героям нашим.

Из окна видна была фигура солдата, стоящего на каменном постаменте в центре села. Директор пояснил, что колхоз поставил этот памятник землякам, не вернувшимся с поля брани, отдавшим свои жизни за честь и независимость Родины. В постамент замурована гильза с именами погибших. В списке 400 фамилий... Четыреста. Из одного колхоза, из нескольких российских деревень...

Я вдруг с необычайной остротой осознал весь драматизм и все значение этого факта. Здесь не проходила линия фронта, даже эхо сражений не залетало сюда. Но не было в колхозе семьи, которая не встала на защиту Отчизны, не было дома, который миновали «похоронки». Далеко от родных мест раскиданы могилы русских воинов из Пешева, Крюкова, Татарова, Лобанова, Андрейкова — на Украине и в Белоруссии, под Москвой и Ленинградом, в приволжских степях и на Курской дуге. А сколько их осталось лежать на берегах Вислы и Одера, в Польше и Чехословакии, под Софией и Будапештом!

На всех фронтах побывали здешние мужики. И, видно, храбро сражались — недаром же пятеро из них высшей воинской награды удостоены. И в числе их один из самых талантливых и мужественных полководцев Великой Отечественной войны Александр Александрович Новиков.

ЮРИЙ БОРОДКИН

КОЛОГРИВСКИЙ ВОЛОК

(Отрывок из романа)

Обнесенное двумя огородами Шумилино похоже на маленькую крепость. В центре на первый взгляд беспорядочно теснятся избы, между малым и большим кругом замкнуты все остальные хозяйственные постройки: сенные сараи, клетки, овины, риги. В деревне четыре прогона для скотины и четверо ворот на толстых столбах, соединенных поверху верями.

Стоит Шумилино на угоре. Торопливая река Пёсома обегает его излучкой, вызванивает по каменистым переборам, скатываясь в беспокойный омут. Вода в нем ходит кругами, как будто невидимая мутовка крутит ее. В водополь с подмытой осыпи рушатся комья, берег отодвигается. Еще недавно красовалась на нем белая береза — оступилась. Наверно, от омута и взялось название деревни.

Если перейти или переехать Каменным бродом (чаще его называют Портомоями, потому что бабы полощут в нем белье), начнется волок, дорога поведет через увалы, по-местному — гривы. Далеко-далеко в конце дороги встретится старинный городок Кологрив. Не будь этого Кологривского волока да хутора Мокруши, спрятавшегося за клюквенными болотами, можно было бы подумать, что дальше не пошла жизнь.

Здесь, на рубеже Песомы, остановились когда-то татарские конники. Может быть, вот с этого шумилинского косогора удивленно оглядывали они лесную даль заречья. На всем видимом пространстве не могли отыскать зоркие глаза сынов стеней хоть каких-нибудь признаков человеческого жилья, и тогда темник дал знак своему отряду поворачивать обратно...

Бор. Этим коротким словом определяют шумилинцы нескончаемые заречные леса, летом затушеванные синим маревом, осенью — туманом, зимой — морозным куревом. В таком лесу даже днем, когда над головой солнце, чувствуешь себя настороженно, а лишь спрячется оно за тучи,

подбирается страх, потому что сумеречная затаенность обступает со всех сторон, и кажется, сами деревья в немом заговоре против тебя.

Сейчас бор чернел. Деревья стряхнули с себя снег, стояли притихшие, еще усталые от зимней ноши. И дорога почернела, размякла. Лошади то и дело оступаются, проваливаются. Свечерело рано, потому что день был серый, изморосный. Снег под полозьями уже не скрипел, а шуршал податливым крошевом.

Сергея Карпухин с Федором Тарантиным возвращались домой на порожних подводах: последний раз отвезли сено на лесоучасток. Вдыхая запах талого снега, Сергей радовался, что кончилась еще одна голодная зима, что близко лето с ягодами, грибами, рыбалкой, с хлебными запахами... Он потянулся к передку саней, вытащил из-под сена мешок с двумя буханками настоящего ржаного хлеба. Были в мешочке и пряники для братишки с сестренкой, но хлеб, целых две буханки, — это праздник. Берегла мать свою пайку: одна забота у нее — о ребятах. Сергей сам так же экономил хлеб, когда заменял мать в лесу. Весь январь, пока болела сестренка, трубил на лесоповале.

Развязал мешочек, хотел отщипнуть уголок буханки, но только сглотнул слюну, снова сунул хлеб под сено. Дом был рядом, к Песоме выехали.

«Тру-ру-рух», — глухо треснул лед.

— Слышь? — окликнул Федор. — Зашевелилась Песома, елки зеленые! Тру-у! Стой! — остановил кобылу, побежал ко льду.

Непоседливый мужичонка, спокойно ходить совсем не умеет, все вприскок да вприпрыжку. Бабы зовут его Тарантой. А ведь он старик, можно сказать, старше Серегиного отца лет на двадцать, и на войну его не взяли по возрасту. Все выглядит смешно на Федоре — и «вечная» кожаная шапка-финка с пуговкой наверху, и квадратные, сшитые из овчины рукавицы, и высокие, без заворотов валенки.

Потоптался на закройке льда, потыкал кнутовищем наводопелый снег и вернулся.

— Нельзя вступитъ — вода сплошная, зачерпнул в галошу. — Тарантин поколотил носком сапога по полозу. — Рисково, Сережка, не закупаться бы. Зря поехали напрямик, лучше бы объездом, через мост. Давай кричать помочь?

— Да полно! Увидят, ежели что, прибегут. — Не мог Сергей переминуться тут на берегу, на виду у деревни. —

Ну-ка дай, дядя Федя, дорогу. Мы с Карькой прорвемся, и ты за нами шуруй!

Осторожно, как будто щупая копытами дорогу, Карька пошел по льду. Умница мерин, толковой иного человека. «Хлюп, хлюп», — чавкает под копытами. Середина реки, шаг, еще шаг... Трахнуло прямо под санями. Похолодел Серега, до хруста в пальцах сжал вожжи. Но все обошлось благополучно: выехал на взвоз, сыркнул на обтаявший бугорок и, торжествуя, крикнул:

— Эй, дядя Федя! Валяй смело, твоя кобыла легче Карьки, не оступится.

И уселся на розвальни, закинув ногу на ногу. Цигарку успел набить махоркой, добытой на лесоучастке, и высек искру из кремня осколком напильника, как вдруг затрещал, заходил ходуном под санями Тарантина лед. Майка визгливо заржала, съезжая задними ногами по вздыбившейся льдине. Федор выскочил из саней, окунувшись передком в воду, растерянно замахал большущими рукавицами, заматерился:

— Серега, топор давай живо, едрит твою так! Все из-за тебя, сукина сына...

Серега подбежал к Майке, не зная как подступиться поближе. Кобыла скоблила передними копытами лед, хранила: перевернувшийся хомут душил ее.

— Гужи руби! Быстро, быстро! — командовал Федор, суетясь около Сереги. — Еще разок! Осторожней, лошадь не тяни.

Едва дотягиваясь топором до гужей, Серега перерубил их. Майка встрепенулась, зафыркала, но не смогла вымахнуть из полыньи, хотя и мелко было.

— Погоди, сунюнь ослобоню, хомут надо скинуть.

Федор выхватил у Сереги топор, стал подбираться к сунюни сам соскользнул в полынью. Закричал благим матом.

Тут появился на берегу конюх Осип Репей с ватагой ребятишек, принялся бранить Федора с Серегой:

— Куда вас черт понес? Чистое наказание! И сам-то в полынью попал, Таранта и есть Таранта, истинная честь...

— Замолчи, балаболешник! Зуб на зуб не попадает, а ты тут со своей проповедью.

— Я те замолчу! Я те вожжами попереk спины! — пригрозил Осип, разматывая принесенные вожжи. — Потерпи маленько. Загнали тебя в леденицу зимогоры, — уговаривал он Майку. — Сей момент все изладим.

Пропихнул вожжи под ноги кобылы, роздал концы.

— Ну-ко, взяли-и! Ребята, подальше от полыньи! Серега, встань сюда... Так, так!

Ободряя Майку, Репей звонко запричмокивал. Она, послушная его голосу, рванулась, и выскочила из полыньи, и неуклюже, по-заячьи села, подрагивая всем телом. Федор хлестнул ее — с трудом поднялась, подобрала левую заднюю ногу. Конюх ощупал ее, определил перелом.

— Загубил лошадку, зимогор. Лучше бы у самого тебя нога отсохла, окаянная твоя сила! — продолжал он распекать Тарантина.

— Да что ты привязался ко мне? Верно сказано, что Репей, — огрызнулся Тарантин. — Может, я загнусь вот после этого купания? Али я маленькой, не понимаю, что худо, что добро? Креста на тебе, Ося, нет. Тьфу!

— Хватит вам базарить! — одернул Серега мужиков. — Ругайся не ругайся, а дело не поправишь. Поехали скорей, зачоченеешь, — поторопил он Тарантина и передал ему свою фуфайку.

Сани из полыньи вытащили с помощью Карьки, привязали к Серегиным. Майку Осип повел в поводу. Жалко было смотреть, как она куче прыгала по рыхлой дороге на трех ногах.

* * *

Дома сидели без огня. Ленька выскочил на мост, когда под Серегиными сапогами закрипели ступеньки, весело окрикнул:

— Братка, ты?

— Крыльцо-то надо запирасть, а то сидитё тут стар да мал.

— Мы тебя поджидали, думали, вот-вот...

Не успел Серега шагнуть через порог, подлетела, шлепая босыми ножонками, Верка и сразу спросила:

— Хлебца привез?

— Привез. И пряников вам, — обрадовался Серега. — Ты чего босиком скачешь? Простудиться захотела?

— Валенки она в мочок промочила, — доложил Ленька.

— А ты не выказывай, ябеда. — Верка подбежала к бабке Аграфене, заприплясывала. — Баба, Сережа хлебца привез и пряников!

— Ну и слава богу! Постой-ка, надо огонь вздуть. — Зажгла от горячего самовара серник, поставила на стол пятилинейную копилку: стекло берегли.

Ребята принялись тормошить мешок. Голубые Веркины

глазенки светились восторгом, Ленька степенно сопел, выкладывая на тарелку пряники, поджидал, когда соберут на стол. Бабка достала из своего сундучка мелко наколотый сахар. Началось чаепитие.

— А пряник можно? — спросила Верка.

— Можно. Ешьте досыта, — разрешил Серега.

Ему и самому хотелось позабыть хоть на один вечер о черных пыжаках, от которых только пучило живот. Вспомнилось, как в первую военную зиму мать ходила по дальним деревням менять вещи. Приносила домой мешок с кусками хлеба, с дурандой, горохом, ячневой крупой — полный соблазнительных съестных запахов. И тоже были «пирования».

— Матка-то как там? Скоро ли домой? — спрашивала бабка, прикладывая к дряблему уху ладонь: плохо слышала.

— Через неделю. Сапоги кожаные ко время привез ей, галошу она порубила.

— Новехоньки ведь были, только склеила Тимониха. Больше уж, поди, не поедете с сеном? Вешняя дорога — мучение.

— Сейчас Майка провалилась на переезде, едва вытащили. Нogu сломала.

— Ай-ай! — покачала головой бабка.

— Федя и сам выкупался.

— Этот везде совок. Теперь, ведомо, взыщут с вас?

— Насчет лошадей нынче строго. Нагорит Феде. А если разобраться по совести — оба в ответе.

— Баба, съешь пряник.

— Спасибо, милушка, я после.

Бабка погладила жиденькие русые волосы внучки. Она всегда так, поест малехонько и пьет чай. А что в нем толку? Одна вода: ни заварки, ни сладкого.

— А у меня нет галош, — пожаловалась Верка.

— Нечего тебе делать-то, дома посидишь, пока снег растает, — рассудил Ленька. Он был на четыре года старше сестры, ходил в школу.

Верка захныкала, прижалась к бабке. Серега уснокоил ее:

— Не реви, Веруха. Завтра попрошу Тимониху склеить и тебе галоши.

Тимониха своим новым ремеслом выручала всю деревню. Из города привезла она это умение — клеить галоши. Зимой хорошо в валенках, а сейчас куда сунешься в них. Серега стал думать, что отдать за галоши. Может быть, буханку?

И тут вспомнил, что у Феди Тарантина хлеб намок в санях, и решил отнести ему полбуханки.

Надел фуфайку, сунул под мышку хлеб.

— Ты куда?

— К Федору, замочил он свою буханку в Песоме.

И ребятам, и бабке жалко было хлеба, но все промолчали: дескать, ты хозяин, тебе лучше знать, что делать.

Дождь продолжал моросить. Пахло оттаявшим навозом. С крыш давно согнало снег, дома почернели, притихли, будто нежилые: редко у кого горел свет. Только у Катерины Назаровой сияли окна. Шумилинские беседы всю зиму собираются в ее большой избе. Скучно ей одной-то, баба молодая. А какая беседа без лампы-«молнии»? В лепешку разобьются девки, но керосину достанут у трактористов, принесут.

Сегодня беседы не было. Серега увидел в окне Катерину и придержал шаг. Стояла она против зеркала, повязывала серый пушистый платок. Потом пригладила пальцем темные брови, вроде как улыбнулась, и губы что-то прошептали. «Собирается куда-то, ухорашивается: городская привычка. Кому нынче покажешь красоту-то? И как она живет в такой хоромяне? Жутко, наверно».

Ни одной бабе не сравниться с Катериной. Все на ней ладно, статно: хоть фуфайка, туго перехваченная хлястиком, хоть короткополая рыжая шубейка. А белые сапоги с кожаными союзками! Видимо, они особенно нравились Катерине, потому что только сапоги да патефон остались от привезенных из города вещей, остальное променяли на хлеб.

От Соборновых в одной кофте, с пустой кринкой в руке вышла Танька Корепанова, дочка бригадира, поравнялась, хихикнула:

— Ой, Серега, что за тобой все собаки вереницей?

Собаки и в самом деле тянулись на запах хлеба.

— Валяй и ты присоединяйся к ним.

— Подумаешь, воображала! — обиделась Танька и козой проскакала по изломанной рыхлой тропке в переулочок.

«Носят тебя черти! — зло подумал Серега. — Может, даже заметила, как я пялил глаза на Катеринины окна?»

Около конюшни мигала «летучая мышь», галдели бабы, матюкался Осип. И у Тарантиных шла ругань, жена отчитывала Федю. Серега остановился, не решаясь зайти в избу. Выручил Вовка, лепивший у палисадника снежки.

— Отнеси это отцу.

Вовка поширкал мокрыми руками о пальтушку, схватил хлеб и проворно нырнул в дверь.

Тихо стало в избе.

После пасмурных дней в небе устоялась теплая голубизна, синие тени легли на подтаявшие снега, в ослепительных полях лоскутками обозначились проталины. У завалинок возле изб в полдень курился парок, и запах весны, резкий, еще не перебродивший, настаивался в молодом воздухе. Земля дышала, млела под солнцем, как приласканное материнской рукой дитя.

В такую пору не пройдешь, не проедешь через овраги, набухшие полой водой. Хорошо, что вовремя вернулись шумилинские из лесу. Теперь дома хозяйничала мать. Можно было и отдохнуть, пока бездорожица, но прибежала ни свет ни заря бригадир Наталья Корепанова, попросила:

— Повози, Сережа, клеверное семя. Всех баб нарядила засеять: подморозило, наст крепкий сковало. Не упустить бы момент.

Серега вышел на крыльцо, глубоко потянул в себя ядреный воздух, с горчинкой печного дыма. Яркой канвой рдела над бором заря. Прислушался. У Заполицы бормотали тетерева. А рядом, на крыше, самозабвенно картавила ворона, распушив хвост. «Тоже токует!» — усмехнулся Серега и побежал по хрусткому насту напрямки к конюшне.

Осип уже копошился около саней, привязывал завертку к оглобле. Поздоровался неохотно — буркнул себе под нос:

— Кого запрягать?

— Лютика.

Рядом с Лютиком было стойло Майки. Она стояла, подобрав завязанную толстой тряпкой ногу. Сено в задаче не тронута. Подрагивала кожей, будто отпугивала слепней, и показалось Сереге, слезились неподвижные фиолетовые глаза.

— Жар у нее, — пояснил Осип. — А ты думал как, только у людей может быть температура? Мерина береги, смотри, чтоб не ободрал бабки по насту.

И пока Серега запрягал мерина, конюх придиричиво следил за ним, моргая красными веками из-под нахлобученной шапки. Подошел, поправил войлок под седелкой.

— Вишь, какой боляток натерло на хришке. Поосторожней.

— Как будто первый раз на лошади еду! — обиделся Серега. — И чего ты толкаешься тут спозаранок? Дрыхнул бы на печке.

— Ах ты, муха зеленая! Это я толкаюсь зазря? — Осип кольнул Серегу желтыми глазками. — Сгинь сей момент! Не то, истинная честь, хвачу вдоль спины чересседельником.

— Завелся, как граммофон, теперь целый день не выключишь.

Серега завалился в розвальни. Конюх потрусил было за ним, пригрозил вдогонку:

— Ты у меня никуда не денешься: приедешь распрягать...

Это в лесу досталось Лютику на вывозке. Там сани да подсапки трещат, как навалят сосновые бревна. По сравнению с лесной работой подвезти клеверное семя — пустяк. Первый воз Серега разгрузил наполовину за гумнами, остальные мешки сбросил в конце поля, у шалаша Павла Евсеночкина. Из него Евсеночкин бомбит тетеревов. Смотришь, идет на своих широченных лыжах, за поясом краснобровый петух болтается, а то и два. Аж завидно: всегда у Павла дичина на столе. Было бы ружье, тоже можно бы поставить где-нибудь шалаш.

Сегодня бабы вспугнули ток. Серега забрался в шалаш, лег на льняные снопы, осмотрел в бойницу розоватое поле. Огромное, пылающее жаром солнышко катилось над бором. Вдалеке заметил на верхушке березы одинокого токуна. И березник и птица тоже казались розовыми. Зажмурил левый глаз, прицелился. Эх, жаль, нет ружья!.. Постой! Ведь у Никиты Парамоновича есть шомполка. Может быть, даст...

На проклетье лежали в рядок мешки с клеверными семенами. Старик Соборнов, ссутулившись в дверях, держал в трясущихся пальцах желтую бумажку, недоверчиво мотал головой, как будто не соглашался с чем-то. Большой деревянный совок валялся под порогом.

— Никита Парамонович... — Серега хотел попросить у кладовщика ружье, но почувствовал неладное, замаялся. — Дедко, что с тобой?

Соборнов поднял на него мутные от горя глаза, с трудом разлепил бескровные губы:

— Колюху моего... — повертел в руках похоронную, закашлялся, выплюнул на поздраватый снег черную от клеверной пыли слюну. — Извещение-то еще вчера с Клавка принесла, да побоялась отдавать Антонине. Пойду, худо мне, ты управляйся тут один...

В Шумилине уважали Никиту Соборнова. Много бурь прошумело над его белой головой — хоть и стар, не станет сидеть на завалинке, всегда вместе со всеми в любом деле. Высокий, величественный старик. Среди ододеревенцев он как вековая, замшелая ель в молодом лесу. На слово скуп, зря не молвит. И что главное — честнее человека не найдешь. Потому и поставили его кладовщиком: мякину будет есть, а на колхозный хлеб не позарится...

Сергея, как только выехал за гумна, увидел высоко пылающий костер — бабы подпалили шалаш Павла Евсеночкина, собрались около огня. Как будто проводы зимы устроили. Не видит Павел! Прискакал бы, загнусавил. Сергей подъехал к ним, пострадал:

— Вот Павел задаст вам!

— Ему, черту гнусавому, только с бабами и воевать! — ответила бригадир. — На фронте-то он не годен.

— Всех тетерок пострелял.

— Только с ружьем и шляется.

Катерина Назарова выдернула из-под Антонины последний сноп льна, опрокинула ее, сама упала и захохотала, обнажая белые зубы. Сноп швырнула в огонь.

— Хоть у костра погреться, коли мужиков нет!

Странно было видеть Сергею, что и Антонина смеется вместе со всеми, не зная о своей беде. Язык не поворачивается сказать ей про извещение.

Видимо, он слишком пристально смотрел на нее, потому что она заметила его взгляд.

— Ты чего, Сережа?

— Ничего. — Он подошел к саням, стал сбрасывать на снег мешки.

— Бежит кто-то!

Бабы как по команде повернулись к деревне, примолкли. Лишь потрескивал костер.

— Нинка моя, — угадала Антонина. — Неладно что-нибудь.

Подалась вперед, переминая тонкими пальцами конец полушалка. Кровь схлынула с лица. Нинка подбежала зареванная, повисла на руках у матери:

— Папу убили...

Бабы теснее сбились в кучу. Сноп прогорал, покрывался черным пеплом. Боясь пошевелиться, Антонина стояла как одеревенелая, уставившись на огонь, и вдруг повалилась на мешки, заголосила.

Ее посадили в сани. Раскручивая над головой вожжи,

Сергея погнало Лютика торопливой рысью, как будто еще можно было поправить горе, спасти дядю Колю Соборнова. Не верилось, что он погиб...

* * *

После обеда председатель колхоза Лопатин распорядился зарезать Майку. Бригадир просила Сергею помочь — отказался, не мог он участвовать в таком деле.

Развешивали и выдавали конину в пожарном сарае, недалеко от конюшни. Не взяли мяса только Павел Евсеночкин, Федор Тарантин да Осип. Ругая на чем свет стоит председателя, с конюшни Осип ушел раздосадованный, ключ швырнул прямо к воротам и пригрозил, что больше ноги его здесь не будет.

Мать принесла кусок конины и сразу принялась за стряпню, котлет нажарила на маленькой печке. Ленька с Веркой с превеликим удовольствием ели их, да еще нахваливали, а Сергей не прикоснулся.

Поеживаясь, в одной нательной рубашке вышел Сергей на поветь и услышал знакомую ледяную канонаду — река тронулась. Этого дня все ждали с нетерпением: жизнь начиналась как будто заново.

— Песома пошла! — объявил он, едва шагнув в избу.

И тотчас на полотах завозились ребята и суматошно пососкакивали на пол. словно ветром выдуло их из избы, помчались на бугор, к кузнице; оттуда лучше всего видно реку и большой разлив ниже Портомоев.

Сергею тоже хотелось побежать к реке, но не мог он равняться с малышкой и потому степенно посидел, облокотившись на подоконник и наблюдая, как Верка прискакивает за Ленькой в новых красных галошах, склеенных Тимонихой из автомобильной камеры. И Лапка с веселым гавканьем увязалась за ними. Лохматая черная лайка, любимица семьи.

Утро было теплое, кончились заморозки. У Павла Евсеночкина по задворью бродили куры. Сергей вдруг вспомнил, что пора бы открыть калитку Лысенке: целую зиму сидит, как в темнице. Взял топор и оторвал жерди от ворот двора; осоку, которой утепляли, отнес в задачу.

Лысенка подошла к решетчатой калитке, высоко задрала

голову, раздувая ноздри, как бы удивляясь чему-то незнакомому. Стареть стала кормилица: бока ввалились, шерсть клочьями, копыта заломило кверху, точно лыжи. Сыро бывает осенью на дворе. Серега почесал корове шею, вычистил сенную труху из вьюнка меж рогами.

— Перезимовали, Лысена! Скоро в поле, на травку, заживем на все сто. Дыши свежим воздухом, а я пойду на Песому погляжу.

На припеке у кузницы сухо. Ребятишки прискакивают. Колька Сизов выхваляется перед Зойкой Назаровой: набрал из свалки железяк, до разлива пытается добросить. «Велик ли хмырь, а с любой девкой умеет заговорить,— с некоторой досадой думал Серега.— Конечно, гармонист он теперь единственный в деревне, помогает гармонь-то в этом деле».

Серега сгреб из-под ног Кольки болты-гайки, отнес обратно к углу кузницы.

— Ты, Карпуха, не очень хозяйничай. Жалко, что ли, дерьма?

— Соображать надо.— Серега надернул на глаза Кольке тугую серую кепчонку и, не обращая внимания на них с Зойкой, сошел чуть ниже с бугра.

Казалось, не вода, а сплошная ледяная ломь ползет руслом Песомы, подминая прибрежные кусты. За Каменным бродом, в разлужье, образовалось целое озеро, голубая гладь его резала глаза. Лес затушевало сизой дымкой, как будто всю ночь там горели костры. А в нем не было сейчас ни души: люди, работавшие зимой на лесозаготовках, вернулись в деревни, и теперь у них была другая забота, их ждали поля.

— Здорово, женихи!— услышал Серега за спиной голос председателя.

Вид у Лопатина был какой-то бравый: ушанку сбил на затылок, полушубок — нараспашку, галифе широко пузырились над гладкими голенищами яловиков.

— Сергей, ты бы сбегал домой за ключом от кузницы.

— Он у меня с собой.

— Открой, посмотреть надо,— попросил Лопатин.

В распахнутые двери дохнуло холодом, сыростью, кислым запахом окалины и угля. На гладко утоптанном полу, там, где обычно стоял перед наковальней дед Яков, скопилась лужица. Инструмент был аккуратно разложен по верстаку, на наковальне — недоделанная поковка и щипцы, чан с темно-зеленой водой слева в углу,— словом,

все было на месте, как будто хозяин отлучился куда-то на минуту. Но не было в горне каленых углей и голубоватого огня над ними, не было запаха гари — кузница не жила.

Ребятишки торчали у порога не смея войти. Председатель поперебирал инструмент, звякнул молотком по наковальне. Серега качнул за веревку, обшарпанные мехи просипели, как простуженный человек, из горна — пыль столбом.

— Жаль, Яков Иванович слег. Сей момент он вот как нужен, — председатель чиркнул ладонью по красной, обветренной шее. — Двух подрезов на плугах практически не хватает. Чего у него в больнице определили?

— Язва, поди: как съест что, так выкатывает обратно.

Дед стал кузнецом, когда кузница отошла в колхоз. Наверно, он имел какую-то врожденную любовь к металлу, все получалось в его руках: ремонтировал плуги, бороны, ошиновывал колеса, подковывал лошадей, гнул из жести ковши и ведра, паял, чинил замки и даже часы. В детстве Серега целыми днями пропадал в кузнице, манила она резкими запахами окалины и припоя, голубым свечением над углями: кажется, ни на минуту не остывали угли в жаровне. Манила и сама дедова работа, то терпеливая, загадочно-колдовская, то молодецкая, если надо помахать кувалдой. Огневая работа.

Лопатин порывлся в железном хламе, достал ржавую полосу.

— Вот из этой можно сделать подрезы. А что, Сергей, не попробовать ли нам самим? — и подмигнул, словно замышлял какое-то озорство. Желтые, прокуренные усы смешно встопорщились под круглым носом. Передал спички. — Разводи огонь!

Серега быстро наломал лучины, зажег с первой спички. Огонь весело заплясал в жаровне. Ребята примолкли у порога, смотрели разинув рты, точно он собирался показать фокус, подсыпая помаленьку углей. И ожила кузница, завздохали мехи, загудело в горне синес пламя. Пыль искорками зашевелилась в солнечных лучах, проткнувших старую тесовую крышу. Лопатин уже обстукивал ржавую полосу, прикидывал, как выкроить из нее подрезы.

Когда поковка накалилась, он осторожно вынес ее в щипцах на наковальню.

— Бей, куда покажу! С потягом бей, немного на себя кувалду бери.

Только ударил первый раз ручником, щипцы вертух-

нулись в левой руке Лопатина, и железяка упала на землю. На ребятишек сгоряча цыкнул, дескать, нечего глазеть, только свет застите.

Но дальше дело пошло. И Серега приноровился бить кувалдой точно, куда показывал ручник, и Лопатин уже ловчее выхватывал поковку из огня и уверенней держал ее. «Динь-тинь-тинь...» — ударял он по мягкой, источающей жар полосе и сбрасывал молоток на звонкую наковальню. «Бом», — глухо опускалась кувалда, сыпались из-под нее белые искры. «Динь-тинь-тинь... бом», — вызванивала кузница знакомую шумилинцам музыку весны. Так же, как ледоход на Песоме, привыкли все ждать этот веселый перезвон молотков, обещающий близкую пахоту и горячее лето. И наверно, удивлялись люди: дед Яков в больнице, а кузница заиграла?

Раскраснелись оба, скинули фуфайки. Из-под кепки у Лопатина свесились мокрые косицы. Председатель казался сейчас совсем молодым парнем: с такой увлеченностью и азартом осваивал он новое для себя ремесло. В зеленых глазах его плясали живые огоньки — ответ от жаровни. Один подрез был почти готов, осталось обточить его на наждаке и закалить.

Когда Лопатин сунул его в чан, вода зарокотала, забулькала, извергая щекотливо-кислый пар.

— А получается, черт побери! Теперь не грех и покурить, — с каким-то ребячьим торжеством сказал он и достал из кармана фуфайки скрученный в трубочку тощий кисет. Свернули по сигарке, прикурили от угля и сели на порог, на солнышко.

Ребячий праздник на бугре был в разгаре: девчонки играли в скакалки, мальчишки пробовали бегать босиком береговой тропинкой, шалели, как телята во время первого сгона. Валенки стояли в рядок на срубе ошиновочного станка, будто бы на припечке сушились.

— Еще одну зиму пережили. Практически до победы недолго: этим летом, поди-ка, прикончат немца, — предположил Лопатин. — Полегче станет. Фронтвики вернутся, а то одни бабы да старики в деревне, окромя нас с тобой. Измотались люди.

Серега, щурясь, смотрел из-под козырька отцовской восьмиклинки на фиолетовый ольховник, на теплое курево над бором и светлую кромку разлива, и представлялась ему другая, исковерканная и сожженная взрывами, земля. Где-то по этой земле шагает вместе со всеми бойцами отец,

сержант саперного взвода Андрей Карпухин. Немцы наста-
вили мины на каждом шагу, и каждый шаг отца может быть
последним. У него самое ответственное дело: ищет мины,
оберегает землю от увечий.

— В этой кепке ты здорово похож на батьку,—
неожиданно сказал Лопатин.— Почудили мы с ним
в парнях... А то уж перед самой войной шли с гостьбы из
Клинова, закуривали на опушке, ну и подпалили нечаянно
сивун-траву. А сухо, трава как порох. Принялись пиджаками
сбивать огонь, видал, что получилось.

Лопатин отвернул полы, показывая заплаты на подкладке.
Добродушные морщинки лучиками сбегались к краешкам его
глаз, сигарку сосал с наслаждением, так, что табак потре-
скивал. Должно быть, пришло на память доброе довоенное
время, тот день, когда гуляли они с отцом на клинов-
ском празднике.

— Что пишет, где теперь?

— На Украине.

— Теплынь, наверно, там. Мы тоже скоро пахать начнем,
только бы весна не подкачала.

И оба посмотрели на остатки снега, прижавшегося
к обочинам, и на поле, сверкавшее слюдяными чешуйками
лужиц, словно хотели предугадать, как поведет себя
весна дальше.

ВАСИЛИЙ ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ

ДВА ДРУГА

Дрались по-геройски, по-русски
Два друга в пехоте морской.
Один паренек был калужский,
Другой паренек — костромской.

Они, точно братья, сроднились,
Делили и хлеб и табак.
И рядом их ленточки вились
В огне непрерывных атак.

В штыки ударяли два друга.
И смерть отступала сама.
— А ну-ка, дай жизни, Калуга!
— Ходи веселей, Кострома!

Но вот под осколком снаряда
Упал паренек костромской.
— Со мною возиться не надо...—
Он другу промолвил с тоской.

— Я знаю, что больше не встану,—
В глазах беспросветная тьма...
— О смерти задумал ты рано,
Ходи веселей, Кострома!

И бережно поднял он друга,
Но сам застонал и упал...



*Теплоходы
у пристани
Костромы*

— А ну-ка, дай жизни, Калуга...—
Товарищ чуть слышно сказал.

Теряя сознание от боли,
Себя подбодряли дружки,
И тихо по снежному полю
К своим поползли моряки...

Умолкла свинцовая вьюга,
Пропала смертельная тьма.
— А ну-ка, дай жизни, Калуга!
— Ходи веселей, Кострома!

1943

АЛЕКСАНДР ЖАРОВ

КОСТРОМА

Как возникла в памяти моей
Плащ-палатка, верный друг солдата?
Скромной меткой значилась на ней
Марка костромского комбината.

Повстречал я, братцы, за поход
И метелей и дождей немало.
Сколько раз меня от непогод
Полотно льняное укрывало.

Плащ-палатка превращалась в дом...
Под защитным кровом на привале
Братья боевые в доме том
Старый русский город вспоминали.

И в тревожном сумраке ночей
Добрым словом в дружеской беседе
Вспоминали костромских ткачей,
Помогавших нам идти к победе.

Где-то там, в далекой стороне,
На земле, войною раскаленной,
Перед майским днем приснился мне
Берег Волги, тихий и зеленый.

Красные фабричные дома,
Белые буксиры на причале.



Вечер на Волге

Говорят, что словом «кострома»
В старину весну обозначали...

Я с победою домой пришел
В дни начала мирной пятилетки.
Постелила мать на круглый стол
Скатерть сине-золотой расцветки.

Самовар кипящий принесла.
И утехой для меня, солдата,
На нарядной скатерти была
Марка костромского комбината.

1948

ЮРИЙ ГРИБОВ

КРЕСТЬЯНСКИЙ ТАЛАНТ

Очерк

Сухое выдалось в тот год лето. Последний дождь выпал, кажется, в середине мая, да и тот нельзя было назвать дождем: так, побрызгало малость, пыль только прибило. Яровые посевы, едва проклюнувшись, стали желтеть, не росли клевера, не поднимались на лугах травы. Где-то на северо-западе, за Ярославлем, вечерами тихо погромыхивало, вспыхивали на горизонте слабые молнии, и поговаривали, что там уже не один раз хорошо пролило, а над Костромой, над всеми ее районами, ну как напасть какая — ни капельки, ни дождинки...

— Как бы не того, не положить зубы на полку, — говорили старики в деревнях.

— До этого не дойдет, не старое, чай, время...

— Это понятно... я не о себе, я о скотине больше думаю. Сердце кровью обливается, когда на коров глядишь...

У нас в редакции областной газеты, где я тогда начинал работать, тоже все разговоры начинались и заканчивались засухой, кормами, животноводством. «Кривая по молоку», как тогда говорили, резко падала вниз, а был уже июнь на исходе, самое, как говорится, молочное время. В воскресный номер на первую полосу был запланирован репортаж о доярках, который поручили сделать мне. Помню я растерялся: куда ехать? Где выбрать передовое хозяйство? Выручил старый, опытный литсотрудник сельхозотдела.

— И не ломай голову, — сказал он мне. — Крой к Малининой... Там все нужное найдешь...

— Это к той самой Малининой?

— Ну да, в «12-й Октябрь», к Прасковье Андреевне Малининой. Вот она, сводка, только что передали... Смотри: ежедневно больше пуда на корову у них получается...

— Как это больше пуда? Кругом «кривая» падает, а там пуд?

— Так это же Малинина! Талант! Она, милый мой, посеяла раньше всех, вовремя влагу закрыла, удобрений

внесла сколько нужно, часть лугов у ней окультурена, то есть поливные, вико-овсяную смесь на зеленую подкормку косит, ночную пастьбу организовала...

О Прасковье Андреевне Малининой я уже много слышал. Приедешь, бывало, в Кострому в отпуск, и где-то обязательно назовут это имя. То по радио, то в местной газете, а чаще всего упоминали Малинину просто в быту: на рынке, в магазинах, на волжской переправе, заставленной возами с разной деревенской снедью.

— Где это вы такой лучок брали?— спросит у женщины матрос с дебаркадера, перебирая в корзине крупные золотисто-голубоватые луковицы.— Ты гляди-ко, как репа... Вот уж умело выбирала, видать...

— Не лук, а объедение,— охотно ответит женщина, поощренная похвалой.— Из Самети лучок-то, малининский. За час полон грузовик разобрали, еле досталось. Он, как яблоко, сочный. И сладкий...

Гонялись в Костроме и за малининской картошкой, такой рассыпчатой, крупной и запашистой, что когда ее сварят в чугушке, «в мундирах», то вкусный дух долго стоит в комнате. И молоко, привезенное из Самети, всегда брали нарасхват. Хозяйки, смотришь, дежурят у магазина, ждут, когда из колхоза «12-й Октябрь» машина придет. На полках полно и молока и кефира, а не берут, стоят в очереди за малининским.

А то как-то наша бабка пришла домой, запыхавшись, сказала от двери:

— Помогайте, не донести мне...

— А что нести-то?

— Вилки... вилки капусты... Малининскую капусту привезли, а вилки... не поднимешь их...

Вот с таких вкусных деревенских вещей и началось мое заочное знакомство с Малининой. Еще тогда подумалось: счастлив тот человек, которого добрым словом за обеденным столом вспоминают как поильца и кормильца щедрого...

А спустя некоторое время я стал видеть Прасковью Андреевну Малинину на различных совещаниях, которые проходили тогда в Костроме довольно часто. Мне очень нравилось, как она выступает. Еще только, бывало, ее фамилию назовут, а уже волнами катится одобрительный, заинтересованный шумок в зале, люди ищут ее взглядами, затихают, готовые слушать, а то и заранее, как артисту известному, начнут аплодировать. Есть еще в сельской местности ораторы, «работающие» под деда Щукаря,

их хлебом не корми, а дай только покрасоваться при народе, показать свою искусственную кондовость, «мудрость» стариковскую, которая держится на простоватости, на всяких там «кубыть», «чаво» и «надоть». Малинина тоже у любой аудитории одобрительную улыбку вызовет, бывает, что и весело посмеются, — умеет говорить с юморком, но делает она это не специально, у нее все как бы само собой получается, идет от таланта, от прирожденной, я бы сказал, народной хватки. Авторитет ее на конкретных делах держится, на центнерах, килограммах и литрах, на разных показателях, которым нет равных во всей округе. Она всегда говорит только дело. И даже юмор ее «работает» на это дело. Не медленно и не суетливо, а как-то степенно-просто поднимается Прасковья Андреевна на трибуну и, выждав несколько секунд, как бы что-то вспоминая или мысленно здороваясь с залом, начинает костромским своим окающим говорком рассказывать о делах, о людях колхоза, о последних решениях партии и правительства. Она именно рассказывает, а не читает по бумажке, и за кажущейся простотой ее улавливается ясный, глубокий ум, широта суждений, государственный подход. Как-то во время ее речи я услышал сзади себя тихий разговор:

— Хоть в министры выдвигай ее...

— А что? Подучить только...

Все это я вспомнил по дороге в колхоз «12-й Октябрь». Я немного волновался: застану ли Малинину на месте, будет ли она на полдневной дойке?..

Машина поворачивала направо, и мне пришлось сойти, добираться до Самети пешком. Стояло безветрие, и над дорогой подолгу висела серая пыль. И небо казалось каким-то пепельно-серым, не было в нем облачков, радующей глаз голубизны. За колдобинной, на перепаханной узкой полоске, раскрыв клюв, лениво ходили грачи, и ничем, кроме горькой сухой пыли, не пахло: ни землей, ни травой, ни деревьями...

За деревянным мостиком, на пологом взгорье показался столб с надписью на щите: «Колхоз «12-й Октябрь». И только тут я обратил внимание на поля по ту и по эту сторону «границы». Очень заметно они отличались друг от друга. Картофельные борозды на малининской стороне были ровны и глубоки, умело окучены, чисты, густо кустилась на всем участке зеленая, сочная, полнокровная ботва с венчиками беловатых цветков. И рожь уже местами колосилась, была такой сильной и густой, что руку меж стеблей не просунешь.

А сзади, по ту сторону «границы», та же картошка выглядела жалко, рахитично, по межам желтела сурепка, хвост и молочай глушили все поле. Я невольно залюбовался малининским участком, склонился над бороздой, чтобы потрогать растеньица рукой. Два связиста, разматывавшие провод невдалеке, заметили меня, и кто-то из них крикнул:

— В глаза бьет разница-то, верно? Из одной тучи на обоих хозяев капает, а по-разному попадает. Один хозяин капельки-то худым ртом, видно, ловит, а второй — пригоршнями, вот и разница!

В Самети, на ферме, Малининой не было. Молодой парень, сгружающий фляги с обратом для телят, посмотрел на часы и сказал удивленно:

— А почему она должна здесь быть? У нас распорядок. Прасковья Андреевна сейчас в летнем лагере, там сегодня третью доильную установку пробуют...

До летнего лагеря меня подвез механик на мотоцикле с коляской. Мы обогнули небольшое озерцо и покатали по кочковатой широкой тропке. Коляску так подбрасывало, что, казалось, она вот-вот отвалится. Но механик, кажется, не замечал этого, то и дело поворачивался ко мне и давал пояснения:

— Движок там у них смесь богатую засасывает и глохнет. И компрессор не отрегулирован... Прасковья Андреевна сама вчера доильные аппараты попробовала, говорит, что вакуума нет. Дайте, говорит, мне настоящий вакуум — и баста! Я, говорит, коров портить не позволю! Она у нас такая, понимаешь... Чтоб порядок во всем был... Новую технику, говорит, с первого дня дискредитировать не позволю!

Мы остановились у кустиков, за которыми начиналась луговина, и пошли пешком, чтобы не пугать стадо треском мотора. Здесь, в лугах, было попрохладнее. С Волги, с широкого ее плеса, дышало свежим ветерком. Одинокий чибис кружился над ивняком и жалобно кричал, как бы чего-то высматривая.

Дойка уже закончилась. Коровы ели кошенину, разложенную крупными охапками по всему лагерю, другие — их было с десятков — стояли еще в станках, и доярки в белых халатах хлопотали вокруг них, покрикивали, уносили аппараты и фляги с молоком. Одна коровенка, видно, первотелок, с отпиленным левым рогом, никак не хотела идти в станок, упиралась, поглядывала в сторону постре-



*Беседка А. Н. Островского
на набережной*

зурик? На асфальт кидаешь, как мусор какой! А знаешь, как он добывается, этот хлеб, а? Знаешь?

Прасковья Андреевна вышла из машины, лицо от волнения у нее покраснелось, пошло пятнами, распахнулось на ветру пальто, и шофер, увидя ордена и медали на ее темном мужском пиджаке, застыл как вкопанный и залепетал:

— Да извините... Я, знаете... Прошу прощения...

— За «деревенщину» простила бы, а за хлеб нет. Как твоя фамилия?..

Прасковья Андреевна пригласила нас к себе в дом пообедать. Живет она одна. Сын работает в Ленинграде. Он моряк. А дочь — костромская ткачиха. Три внука уже у нее...

В доме у Малининой часто ночуют приехавшие в Саметь люди. Придут к ней с жалобой, и она, если не решит вопроса сразу, оставляет человека у себя дома. Четверть века беспрерывно руководит колхозом...

Расстаемся мы с ней возле военного памятника. Памятник прост и впечатляющ: гранитный столб и солдат рядом прижимает к груди мальчонку. Часто приходит сюда Малинина. Сто двадцать человек не вернулись с войны в Саметь. Сто двадцать... И все, как родные, все свои, деревенские...

Долго стоим молча. Малинина поправляет платок и, выйдя на дорогу, снова начинает говорить о делах. Скажем, семьдесят четвертый год на погоду был неудачный в этих местах, весна опоздала, холода стояли, черемуха только в конце мая зацвела, но Саметь, как и всегда, поработала хорошо: зерновых взяли по тридцать пять центнеров на круг, картошки — по двести центнеров, молока надоили по четыре тысячи килограммов на корову. Капуста, огурцы, лук, морковь, свекла кормовая — все это шло первым сортом, нарасхват, радовало людей. Радовало и бухгалтера колхозного: Малинина всех приучила конейку считать...

Большие стройки намечаются в Самети. Есть хорошие заделы, виды на урожай радуют...

— Планов у нас много, — ударяя на «о», говорит Прасковья Андреевна. — Не оплошаем, чай, с таким-то народом. Удобства в Самети получше, чем в городе будут. И горячую воду пустим, бассейн плавательный построим. Пусть люди хорошо живут. Они заслужили это...

Прасковья Андреевна поднимает голову, поглядывая на летящих грачей, и синь неба отражается в ее умных, веселых глазах.



покойно, и радостно. Болота, весеннее и осеннее распутье больше чем на половину года начисто отрезали колхоз от города. А когда дороги вставали, в Кострому отправлялись обозом, рассчитывая положить на прямой и обратный путь не меньше чем неделю.

Вольный край! Трудный для хозяйствования край! Однако людей как-никак держал; и себя, и город, и армию в тяжкие години войны — вместе с другими такими же небольшими колхозами, разбросанными по костромской земле и по всей России, — кормил. И, как рядовой в бою, среди прочих долгие годы оставался в неизвестности.

О колхозе «Сандогорском» заговорили в начале семидесятых годов. Заговорили с удивлением, с некоторым даже недоверием. Как? Ржи тридцать два центнера с гектара? На лесной заболоченной земле? Да, тридцать два, на той самой бедной земле, которая десятилетиями больше сам-три не давала. А через год — озимой пшеницы по сорок восемь центнеров... А еще через год, в семьдесят пятом, уже по пятидесяти одному центнеру с гектара! Это, разумеется,

на лучших участках, но и по всем хлебным площадям колхоза средний урожай зерновых тогда составил двадцать шесть центнеров с гектара. Достоин стал колхоз «Сандогорский» и внимания и славы. И знамена ему вручали, и людей орденами награждали.

О том многие уже знали. Но больше всего другого хотелось узнать, как достигнута такая завидная высота, поразмыслить над трудной судьбой колхоза, рядового нечерноземной зоны, больше четырех десятков лет прожившего среди лесов и болот на землях, чуда от которых вроде бы никто уже не ждал.

Анатолия Александровича Андрианова, нынешнего председателя колхоза, впервые я увидел в суетный день начала уборки хлебов.

С утра задождило. Комбайны, поставленные в затылок друг другу по краю поля, и грузовые машины на обочине дороги, напротив широких ворот механических мастерских, стояли в молчании, поблескивая мокрым крашеным железом.

Небо будто поделилось ровно: одна половина, серая, лохматая, сыплющая моросью, повисла над Сандогорой, над полями и лесом до самой, казалось, Костромы; другая, северная, сторона от края до края светилась желтыми безобидными облаками, даже пропускала солнце в ясные окна. И не понять было, что пересиливает — то ли хмарь, то ли свет. Все, кто томился на дороге и у комбайнов, поглядывали в небо, каждый понимал, что дождь уже порушил тщательно продуманный и подготовленный зачин в жатве, и хорошее рабочее настроение людей могло вот-вот сломаться: водители уже вроде бы в безнадежности прикорнули в кбинах, кто-то побрел в мастерские, молодежь собралась под бункером позубоскалить в выдавшемся безделье.

Андрианов стоял тут же, на дороге, в намокшем распахнутом плаще, голубая рубашка расстегнута. Светлые волосы не темнели даже на дожде, упруго, в беспорядке вились на крупной голове. Упрямая сила чувствовалась в нем, и может быть, именно этой, исходящей от его широких движений и тяжелого взгляда упрямой силой он выделялся среди всех стоящих вокруг. Он чувствовал общее настроение, понимал, что надо тут же переключать десятки людей и машин на другие работы, но медлил — не легко сломать то,

впору ему широкий письменный стол с множеством бумажек под стеклом; сидит он ко мне боком, по привычке или из чувства противоречия не желая сидеть на стуле удобно и прочно. Такое впечатление, что он сел, чтобы тут же подняться и уйти из кабинета туда, где в синее небо плывут белые дымы деревень. Моя настойчивость ему по душе, но принять меня в откровенные собеседники он не спешит.

— Ну что вам до наших дел? О коровах, навозе, торфах поэм не напишешь. Роман разве? Да и тот не будет пахнуть ни потом, ни землей. Выветрится, пока пишете. Пот выветрится. Запах земли уйдет. Каким-нибудь одеколончиком от романа потянет... Ну-ну; не обижайтесь! Я к тому, что наша забота — крутая забота. Это издали может показаться, что у хлебороба вольная волюшка, что ему только и дела — ладонью от солнца прикрываясь, любоваться на хлебные колосья. А любованье это таково: петух крикнет, когда ты сапоги уже росой омоешь, а когда обратно домой притапаешь — куры на нашестах уже замолкнут. И за этот свой рабочий круг сто забот одолеешь да с сотню еще на другой день оставишь, и конца этим заботам никто не припас. Точно дело наше по кругу идет: весна-лето-осень, а там, после зимы, заново весна. И так год за годом — пятнадцать уже заходов, если говорить обо мне. А может, и не по кругу. Даже определено не по кругу: год с годом не схожи, высотой не схожи. Как в школе: десять лет по одной дорожке от дома до школы бегаешь, но класс десятый — не первый! Вот суть всех председательских годов одна — хлеб дать, молоко дать, мясо дать. Голодному-то человеку книга не в радость, и музыка не веселит, и телевизор только раздражает...

Как в председатели попал? Как нередко у нас попадают — по необходимости. В пятьдесят девятом, когда было сокращение Вооруженных Сил, сдал я свою офицерскую должность, вернулся сюда, к матери. Тут и выглядел меня тогдашний секретарь райкома Борис Семенович Архипов да объехал на вороных. Всех, и меня в том числе, убедил, что бедствующему от бесперспективности колхозу «Сандогорскому» впору как раз такой вот председатель — в силе, с характером, сандогорской крестьянкой рожденный. Доводы-то какие — весят! Откажись попробуй! К тому еще за плечами у меня не только армейская служба, но и сельхозтехникум и два года работы агрономом — это еще до армии. Словом, нажал секретарь, убедил. Избрали.

Некоторое время Андрианов молчит. Я терпеливо жду, знаю, что прошлое всегда живет в человеке. И очень важно оно, это прошлое. Прошлое — мера. Чем измеришь то, что есть, как не мерой того, что было?

Он повернулся ко мне, сдвинул лежащие на столе руки.

— Так, как будто бы просто, решила судьба. Ходил я теперь по полям уже не сторонним человеком и не как в пацанах беззаботных. И беспокойство во мне росло, прямее сказать — отчаянье. Что за земля! — леса в перехлест с топями, поля в обнимку с болотами. Дождь пройдет, не то чтобы комбайн — коня не выпустишь, все четыре его ноги на буграх разъезжаются, в низинах по брюхо вязнут. Хлеб убираем — с гектара центнера на три больше возьмем, чем посеяли. Выжатая, одичавшая, оголодавшая земля! Знал, что все начинается с земли. А начинать пришлось с беды. Весна. Половодье. Луга и леса затопило. Пустынскую ферму река со всех сторон обошла, не ферма — корабль среди моря! И с этого корабля голодный рев на всю округу, такой рев, что волосы на голове шевелятся. Что делать? И корм был бы — лодками все одно не навозишь. Собрал мужиков, посидели, пораскинули житейским опытом. Решили все стадо вплавь гнать на остров, с прошлого лета не кошенный. С трудом, но перетянули всех. Вышли коровы на остров, а их ветром шатает! Все же стадо спасли. На летошней траве перебились до молодой зелени. О молоке какой уж разговор, от всех коров — одну флягу на лодке возили! Так начали. А думы все о земле. Земля, она без голоса живет. И рождает вроде бы без боли: крика, мук от нее не слышать. А все ее боли вот тут, в сердце хлебоборбском. Тощий колос в поле шепочет, а у тебя, как от голодного коровьего рева, волосы на голове шевелятся. Что делать? Как помочь?..

Привыкли мы от земли только брать и ничего не давать взамен. В лучшем случае бросим ей скудную подкормочку и ждем щедрости. Человек, тот по сознательности своей и в голоде может щедрость души проявить. А земля — нет. Земле многое надо дать, озаботиться ее заботами, чтобы отдала она скрытым своим богатством!

Наперво, что надо было, — землю накормить. Чтобы накормить, нужны навоз, торф, минералка разная. А чтобы торф выбрать из болота да тысячи тонн на поля перебросить, нужно было не восемь тракторов и не две машины. Да и минеральные удобрения, если бы даже вдоволь их давали, подтянешь ли за семьдесят километров по нашим болотам без дорог? Да и не было их тогда, удобрений. Глянешь на то,

что колхозу выделяют, — у кота слез больше. Люди за полгода не получили аванс. На сто восемьдесят тысяч годового дохода — триста двадцать тысяч долгов. Не на что медикаментов купить, чтобы больной скот лечить. Доход нужен! А где взять его колхозу? Только от хлеба, мяса, молока... Опять от той же земли, которой вроде бы и много, да вся без сил. Вот и закрутилось все в цепочку. За что ни потяни — все надо, все главное. А всю-то цепь поднять — хоть надорвись, не поднимешь! Вот с такой отчаянности начинать и пришлось...

Разговор второй

— Так вот, о той неподъемной цепи, что на сандогорских полях лежала. Видели — не по силам, а подымать надо, жить надо! Снатужимся, этот конец подыдем — другой вглубь уходит. Так бы крутились-бегали, поднять не подняли, если бы не взялись сразу за всю цепь всем миром. А мир тот велик оказался — вся страна, никак не меньше.

Первое, в чем помогли нам по решению партии и правительства, — удобрения. Пока строились заводы по производству земной пищи в количествах прежде немислимых, мы сумели правдами и неправдами, своими и не своими силами насыпать через наши неодолимые болота хоть и плохую, но все же проезжую дорогу. По дороге повезли удобрения. За десять лет вложили в землю тысячи тонн доломитки, аммиачной селитры, калийной соли, сто восемьдесят тысяч тонн органики. Да не просто везли и сыпали — вносили с умом, по картам, имея перед глазами химический анализ почвы каждого поля, сделанный нам сельхозинститутом «Караваево». Ныне земля наша похожа на землю, а была — не в обиду людям сказано — как известный по войне блокадный дистрофик.

Землю напитали. Но это одна сторона дела. Вторая — мелиорация. Вначале мы поминали о поэмах и романах, так вот, об этой самой мелиорации стихами говорить надо. Жалко, слово неудобное, в стих не лезет. А то сочинил бы!.. Говорят вам что-нибудь такие названия наших земель:

«Елошники», «Лесные участки», «Коптевый бугор», «Кочкара»? У людей глаз точный, слово меткое. Назовут — так оно, слово, и прирастет, будто век было!

В самом деле: у нас две тысячи гектаров лугов, а на дугах этих не столько травы, сколько кустарников да кочек. Полей не счесть, да каждое рукавицей накроешь. Комбайну на таком поле — как в тесной улочке среди домов: загнали — не шевелись. А когда по-толковому разглядели почвенную карту, оказалось, что худшие по своему естественному плодородию земли пользовали под пашню, лучшие — под луга да пастбища. И все эти пастбища прямо на глазах заболачивались, становились «елошниками» да «кочкарами».

В тяжелых думах о том, как возратить колхозу главное, утраченное с годами земное богатство, ходили мы с агрономом да бригадирами по нашим уголкам вдоль и поперек, каждый клочок ощупывали чуть ли не руками, отправляли пробы в агрохимлабораторию на анализы, стояли над старыми заросшими канавами, рассекавшими поля. Канавы эти — следы былых, еще с тридцатых годов! — попыток вручную, своими силами подсушить заболоченные поля. И тогда думали верно, сил не достало!

Глядели мы на эти бывшие робкие попытки обсушить и облагородить сандогорскую землю и не видели другого пути, кроме мелиорации. А что, если и в другой раз попробовать? Год шестьдесят второй — не тридцатый!..

Через год, с помощью шефов — Мисковского торфопредприятия — разработали небольшие участки в тех же «елошниках» и «кочкарах». Засеяли и — что же? Взяли зеленой массы гороха с овсом на силос по триста пятьдесят центнеров с гектара, а яровой пшеницы, правда, на малом участке, — тридцать центнеров с га. Это после наших-то прежних урожаев сам-два, сам-три!.. Сама земля нас вразумила. Тут же заказали экспедиции «Росгипроводхоз» проекты мелиорации массивов «Колгора» и «Сандогорский» на полтыщи га...

К концу восьмой пятилетки приняли мы от мелиораторов первые четыреста тринадцать гектаров отвоеванных у леса отличных окультуренных полей. К нынешнему времени мелиораторы облагородили уже свыше двух тысяч гектаров «мертвых» и неудобных сандогорских земель. И все земли пущены в оборот.

Вопрос, выгодна ли колхозу подобная широкая мелио-

рация? Давайте поглядим. Затратили мы на все работы шестьсот тысяч рублей. За три с половиной года облагороженные земли окупили себя полностью. В натуре это выглядит так — я тут маленько цифрами пошумлю, вы уж не очень обижайтесь!

Вот что мы получили с осушенных земель в 1973 г.: в бригаде А. М. Молоткова на тридцати гектарах взяли яровой пшеницы по сорок центнеров, в бригаде М. А. Емельянова — больше сорока восьми центнеров. Ячменя в бригаде Н. Г. Светцова на сорокагектарном поле взято по сорок одному центнеру. Богатырский ячень! А картофеля у Емельянова — по 234 центнера с гектара. В среднем с осушенных земель колхоз взял по 33,6 центнера зерна, по 205 центнеров картофеля с гектара. Кстати, сеяных трав теперь, после мелиорации, мы получаем по тридцать пять — сорок центнеров с гектара...

Андрианов, тяжело нависнув над столом, смотрит с хитрецей, как будто хочет убедиться, что цифры оценены по достоинству, и тут же, отодвинув ребром тяжелой ладони бумаги, которые положил перед ним незаметно вошедший в кабинет секретарь, сказал:

— Но... везде есть свое «но». Не думайте, что мелиорация сама по себе уже урожай. Мелиорация не самоцель. Средство, только средство, только первый шаг в оживлении земли. Любая земля, а облагороженная — особо, требует ума и рук.

Встречал людей, которые считают: раз мелиорацию провел — подставляй мешок под урожай. А телка-то лишь родилась, молочко погоди пить!..

Как мы поступаем после мелиорации? В первый год земля еще влажная, хоть и каналы рядом. Трактор пускаем на нее рано, когда почва оттает еще не на полную глубину или, как говорят у нас, пока череп еще не отойдет. Дискуем, бороним, высеем с некоторым количеством удобрений силосные культуры. В первый год, понимая землю, даем ей как бы в себя прийти, но и пользу посильную для колхоза дать. Осенью уже пашем под зябь, еще раз дискуем, профилируем для лучшего стока паводковых вод, вносим торфяной компост, известь, удобрения. На второй год высаживаем картофель с полной нормой органики. Так делаем и на третий год, выравнивая плодородие почвы. И только после этого вводим шести-деятипольный севооборот с разным чередованием культур в зависимости от состава почвы. И на каждый

оборот — своя система удобрений. Вот как подходишь, если хочешь иметь щедрую, богатую землю!

Очень по душе мне пришлось недавнее выступление Терентия Семеновича Мальцева по телевидению. Он как сказал? С землей без любви нельзя. О другом забудь, а о ней, о земле, каждый час помни. В самом деле: для каждого настоящего хлебороба земля — его жизнь...

Вот что мы получили взамен неустанных забот от прежних наших «елошников», «кочкар», «лесных участков» за последние пять лет. По зерну самый низкий урожай был в 25,4 центнера с гектара — это в трудный для нас 1972 год. В другие годы брали по 32-33-34,4 центнера! По травам от 30 до 41 центнера. По картофелю от 110 до 205 центнеров с гектара. Вы уж извините, нашумел тут цифрами, зато картина теперь зримая. И если осталось у нас еще 4200 гектаров «елошников» да «кочкар», то проекты их благоустройства мы уже имеем и новые отряды мелиораторов поджидаем, как самых лучших друзей.

Не так, как надо бы, — сухо рассказал про хймию и мелиорацию. А ведь была настоящая многолетняя битва за плодородие и богатство бедных, почти пустых земель. Битва науки, государственной силы и крестьянского опыта за то, чтобы северные земли с каким-то обидным названием «Нечерноземье» одаривали хлебороба столь же щедро, как и благодатные черноземы юга...

Разговор третий

— ... Говорили мы о земле, об удобрениях, о мелиорации. Боюсь, не сложилось бы у вас впечатления, что все это наиглавнейшая сила, поднимающая колхоз. Конечно, не накорми мы оголодавшую землю, не облагородь ее — не видать бы нам таких урожаев, которые впору, пожалуй, только черноземам Кубани да Украины. Больше скажу: без участия государства, без крупных кредитов вывести наш колхоз на миллионный рубеж годового дохода мы не смогли бы. Все так. Все верно: на счетах отложено — ни костяшки не скинешь. Однако обстоятельства и возможности — это еще не хлеб, не картофель, не молоко...

Председатель, не вставая, поглядел в широкое, распахнутое в жаркий летний полдень окно. Увидел то, что искал его взгляд, и удовлетворенно договорил:

— Вон сосна на косогоре: видна отовсюду, всяк любит — под небо закинула вершину. А вершину и саму сосну, как известно, держат и питают корни. Вот о них, о корнях, сказать хочу, о людях, которые живут по нашим пока еще неприметным деревням, о тех рядовых полях и ферм, без чьих каждодневных забот ни трактор в поле не выйдет, ни зерно в пашню не упадет, капли молока не сольется от коровы в подойник. Люди эти, как те солдаты «святые и грешные», которых в свое время воспел поэт Твардовский. Все разные, и по виду, и по нраву: этот готов сгоряча нагрубить, тот любит свою независимость от колхоза показать, покуражиться, как у нас говорят. А дойдет до дела, до земли — не узнаешь, вроде другой мужик явился. Откуда что! Работу, отведенную на неделю, за день свернет. И сделает в лучшем виде, как себе.

Правда, и колхоз не обходит вниманием тех, кто работает на совесть. Здесь принцип у нас твердый. И все же почти в каждом нашем человеке есть то, что посильнее денежных выгод: никакими тягостями не закрытая, не убитая, живущая в глубине души любовь к земле. Не любованье — любовь! Та, которая покоя не знает, рукам заботы ищет, неотступно держит у земли с тех самых дней, когда капель еще бьет сугробы под крышами, и до поздней поры, когда на вывернутую голую зябь уже сыплют снежную крупу низкие тучи.

Что говорить, не сразу я разобрался в людях, не сразу приноровился, хотя почти всех с детства знал по именам. Председательская высота дает иной взгляд, вроде бы по-другому оцениваешь то, что раньше тебя не задевало. Непонимание да нетерпение было подвели меня на первых порах. За что ни возьмешься — все не то, все не так, и, что хуже всего, показалось мне: люди в том виноваты. Приглядываюсь к одному, другому, думаю: этого надо менять, того. Человек десять в уме наметил сменить, и больше тех, кто в руководстве. Как бывает в таких случаях — загорячился, заговорил о том на партбюро. Ни секретарь Яков Васильевич Гладышко, ни бессменный председатель сельсовета Александра Павловна Чугунова, ни другие члены партбюро меня не поддержали. Ладно, думаю, повременю, все одно — от своего не отступлю. И не отступил бы — характер не дал бы отступить. Да убедили меня в обратном. Кто убедил?

Жизнь убедила. Как перешли всем колхозом от разговоров к делу: землей всерьез занялись, семеноводством, откормочники начали строить, молочный комплекс — так люди себя и пораскрывали... Каждый засветился, ну, ну будто цвет на лугу в хороший день! Не примечали: поутру в лугах одна зелень в росе? Пригреет солнце, росу обсушит, и враз будто брызнет по зелени цвет. Так вот и дело, если оно общее, большое, да поверят в него люди — каждого раскроет! И что думаете? Ни единого не сменил их тех, кто на первых горячих порах мне не показался. Все на своих местах. И дело ведут с умом, с душой, да так, что иной раз меня подхлестнут — подхватишься с рыси на галоп!

Люди в колхозе отличные. Золотой народ. По-другому сказать не могу. Преданы колхозу, душой преданы. Возьмите Михаила Андреевича Молоткова, бригадира Починковской бригады. С войны вернулся избитый осколками и пулями и в первый же год, как пришел, принял колхозную бригаду, да так вот до нынешнего года с этой должности не сошел. Вместе с бригадой бедовал, одолевал лихости, землю подымал, мечтой о большом хлебе жил. И пришел, одним из первых к большому хлебу пришел! В 1973 г. в его бригаде взяли с тридцатигектарного поля по сорок центнеров яровой пшеницы!

А прошлым летом застал его у реки, на поле, где по своему разумению, по глубокому своему убеждению высеял он озимую пшеницу, не очень-то жалованную в наших краях. Застал его у той пшенички, а она ему, коренастому, чуть не в рост! Гляжу, понимаю его озабоченность: колос на глаз взвешивает. На лице, сухом, темном от вольного ветра и солнца, такая радость, будто сына ему жданного народили! Увидал меня, нахмурился от того, что подглядел ненароком. Кепчонку приподнял, ладонью волосы придавил, сказал по-будничному, будто даже без интереса, будто не здесь дело его жизни: «Что, Анатолий Александрович, не меньше полста центнеров с гектара возьмем...» И что думаете? Взял! Точно на глаз взвесил — по пятидесяти одному центнеру с этого поля взял! И на будущий широкий посев семена этой пшеницы отобрал. Орден Ленина, теперь уже за хлеб, к его боевым орденам и медалям прикрепили. Ныне на пенсию проводили — плохо со здоровьем у Михаила Андреевича, еще с войны плохо. Но теперь скажу: какую бы работу он себе ни выбрал, — золотой человек, государственного ума человек!

Двадцать лет бессленно бригадирствует в Новопочинковской бригаде Михаил Арсеньевич Емельянов. Опыт и характер соединились в этом земледельце. Крут и тверд, но справедлив. Уважают его все, от пацанов до стариков. С Молотковым он из года в год в негласном соперничестве. Правда, по зерновым Емельянов не поднялся выше сорока восьми центнеров с гектара. Но вот по картофелю соседа превзошел — брал по 234 центнера. Орден Трудового Красного Знамени на груди Михаила Арсеньевича за умный и неотступный его труд на земле.

Не умолчу и про Евдокию Давыдовну Абрамову, нашего главного агронома. Вот уж про кого скажешь: земля сандогорская ей как мать родная. Здесь родилась, и никуда от родных мест, только на учебу отъезжала. Каждое наше поле обласкано и взглядом ее и руками, а если еще точнее — сердцем ее. Как любящая дочь, она и беспокоится, и следит, и строжит каждого, кто к земле с плугом или комбайном подступает. Силу каждого участка, как себя, знает, будь он под Орловом или под Пустынью. И чем болеет — как накормить землю, где как урожаи уберечь, — ответит тебе хоть в ночь, хоть за полночь. А семена, от которых родятся все? Только что не дышит на них да на груди не носит! Вот эта-то ее любовь да великое беспокойство за землю поддерживали наши надежды и заботы, помогали колхозу сделать, казалось бы, невозможное. Самоотреченный в работе человек Евдокия Давыдовна, и нет ей жизни без земли, без забот о колхозном урожае. И два ордена — «Знак Почета» и Октябрьской Революции, думается, не в полной еще мере отметили ее труд.

Сейчас у нас в колхозе еще три агронома с высшим образованием, среди них агроном-мелиоратор Николай Николаевич Белов. Но всему этому агрономическому созвездию голова — Евдокия Давыдовна Абрамова. Голова и душа всей нашей научной службы!

А наши механизаторы, которые обращают силу машин в силу земли? Теперь у нас к моторам привыкли, как раньше к лошадям, даже ребяташки в школу пешком не ходят! А ведь у каждого мотора — человек! Среди трактористов, комбайнеров, водителей люди тоже разные, но технику любят все и владеют техникой до завидности! Возьмите Виктора Красовского, лучшего нашего тракториста. За трудолюбие, умение, отличную работу он награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Есть и своя династия механизаторов: Николай Сергеевич

Соколов и два его сына — трактористы. Втроем работают, и как работают! В прошлом году с поля, которое они взяли под свою опеку, собрали урожай картофеля до двухсот двадцати центнеров с гектара.

Без похвалы не скажешь про умельцев наших — братьев Зайцевых, механизаторов широкого профиля. Или про вчерашних учеников Сашу Гущина, Леню Соколова. Со всей ответственностью, с душой служат они своему делу.

Понятно, не у каждого согласие между характером и работой. Вот, к слову сказать, тракторист и бульдозерист Александр Николаевич Егоров, ветеран, больше двадцати лет на машинах. Могучий, большой физической силы человек, но по характеру мягкий, совестливый. Было дело, имел слабинку, которая мешала ему держаться на высоте. Строжили, совестили его — поднялся человек над своей слабостью! По выработке Егоров держит сейчас первое место. Работает безотказно, мастерски, трактор в сотню лошадиных сил в его руках как швейная машина у опытного портного. Шить не шьет, но борозду положит как строчку, а если бульдозером дорогу загладит — хоть детскую колясочку кати! Научил мастеровитости своего друга Сашу Волкова. Хотя какой он Саша, тоже Александр Николаевич — семья есть, дочка. Человек обидчивый, со срывами, не просто поладить с ним, но опять-таки, поглядишь в работе — шанку скинешь! На своем Э-153 — «Беларусь» с экскаватором — ковш кирпичика в окно подаст, тем же ковшом гвоздь в табуретку заколотит!

В колхозе тридцать тракторов, двенадцать комбайнов, восемнадцать автомашин — шестьдесят единиц только основных механизмов. И ни одна ведь с места не стронется без человека...

Скупно сказал я о людях, лишь о некоторых сказал, и теряюсь — много у нас других таких же, достойных благодарности и самого высокого внимания. Не сказал о Якове Васильевиче Гладышко, нашем секретаре партбюро, О Павле Ивановиче Смирнове, бессменном моем заместителе, — а ведь бок о бок с ними в одной, так сказать, упряжке идем все пятнадцать лет нелегкими дорогами колхозного хозяйствования. Да о каждой из четырехсот семей, что составляют наш колхоз, говорить можно с превеликим уважением, потому что нельзя не уважать хлеборобский труд, который испокон веку меряется целой человеческой жизнью, от малолетства до седины, труд, проникнутый

великой любовью к земле, рождающей и кормящей все живое...

Не сказал Анатолий Александрович и о том, что за свои председательские заботы и успехи, достигнутые колхозом, он тоже отмечен высшей наградой страны — орденом Ленина.

Разговор четвертый

По длинной, широко раздвигающей дома улице, под отцветающими тополями, пух от которых как будто заснеживал дорожную колею, мимо магазинов, старой, с палисадником, школы, каменного здания Дома культуры шел я, разыскивая для последнего, завершающего разговора Анатолия Александровича Андрианова. И куда ни смотрел, всюду замечал с какой-то неутомимой горячностью идущее обновление — рабочие обихаживали старую больницу на берегу реки, меняли печное отопление на водяное, батарейное; вороха свежей щены окружали интернат для школьников из дальних деревень — окна сверкали только что вставленными стеклами; за огородами, около окружной дороги, горами дыбилась взрытая земля — там от центральной котельной прокладывались теплотрасса и водопровод для учебно-бытового комплекса. Детский сад, для которого выбрали новейший проект, уже красовался в законченном виде. Рядом, среди кирпича, бетонных плит и железных конструкций, выросал второй этаж здания новой средней школы.

Куда ни глянь — экскаваторы, краны и даже ковшовый канавокопатель, прорезающий узкую траншею для водопровода от школы к селу. Прошел отряд тяжелых колесных тракторов, расцветив дорогу оранжевыми кабинами; на низких прицепах — экскаваторы и бульдозеры со стальными, отполированными работой, отблескивающими на солнце клыками, — это мелиораторы перебрасывали свою технику на починковские «кочкары».

Где уж тут сельская тишь да усыпляющий шелест трав! Здесь, как на промышленной стройке, — все в движении, в рокоте машин, позвякивании металла, в гуле строительного созидания!

Андрианова я нашел на животноводческом комплексе,

что чуть ли не городом раскинулся по бывшему лугу. В распахнутом пиджаке, в невысоких запыленных сапогах он стоял на бугре, широкой ладонью прижимая волосы, — сухой горячий ветер вырывал из-под пальцев пряди, накидывал на глаза. Ладонью он сдвигал их с лица, озабоченно наблюдал, как работали медлительные бульдозеры.

Животноводческий комплекс — сложное сооружение, которое, однажды запустив, остановить уже нельзя. В нем свой необратимый цикл с кормлением, поением, механической дойкой, при которой молоко само сливается в цистерны. У каждой из четырехсот коров и у каждого из двухсот телят не только свое место, но и общий строгий ритм, который никому не дано остановить. Жизнь комплексу дает электричество, все замрет, если где-то оборвутся провода, не поступит ток. Вот почему в отдельном кирпичном здании всегда в готовности резервная электростанция, и при ней — люди. Комплекс как само неостановимое движение жизни. В нем и сейчас пышущие жаром машины готовят травяную витаминную муку, и рабочие кладут последние кирпичи в еще одно, вытянутое в длину, овощехранилище, соединенное с кормоцехом, — оттуда готовый корм пойдет прямо в корпуса. Сейчас внимание председателя занимали только бульдозеры, но было такое впечатление, что и голубые «Беларуси», подвозившие к комплексу тележки со свеженакошенной травой, и рабочие, кладущие кирпичи наверху хранилища, и сам напористый ритмичный гул работающего на полную силу комплекса — все незримо, но крепко связано с этим стоящим на бугре человеком.

— Вот она, наша проза, — сказал Андрианов. — Проза пока — здесь, пока не попадет на поля. Ляжет в землю — песню запоет в том же колосе!.. Аварийное положение сложилось. Пришлось вмешаться. Жаль того вои чистого озера. Погубить могли. — Он хмурился, оправдывался, ему как будто было неловко, что застал я его не за председательским делом. А мне было до крайности любопытно видеть его в этой необычной работе. Свесив с широко расставленных колен руки, не отрывая взгляда с работающих бульдозеров, он спросил уже по-деловому:

— Ну о чем у нас сегодня разговор? О перспективах, будущих заботах? Да вот она, первая забота, перед нами, — он кивнул на комплекс. — Строили, казался велик; построили — мал. Расширять будем еще на 400 голов. Наше дело теперь — животноводство и картофель, хотя

зерно, как и прежде, впереди всех дел. К концу пятилетки под зерновые — больше половины пашни. С каждого гектара — не меньше тридцати центнеров. Но зерно, в основном, на корм. Без зерна не доведем надой до трех с половиной тысяч килограммов на корову. И сдаточный вес скота не поднимем...

Говорил он отрывисто, сухо, вроде бы по обязанности. И хотя цифры ближайшего будущего колхоза были велики в сравнении с общими, областными, которые планировались на пятилетие, мне казалось, эти цифры не волновали его, как не волнует то, что уже достигнуто, что надо лишь утвердить как обычную норму для всего хозяйства. Я не сразу понял, почему наш разговор сегодня так сух. И только когда Андрианов вдруг сказал: «Хороший урожай по валу для колхоза уже не проблема. Качество продукции, точнее, качество труда — вот проблема. А чтобы подняться в качестве труда, надо многое поменять», — я понял, что беспокойство его — уже не центнеры и килограммы. Как только он начал говорить о новых заботах, с его лица враз ушла несвойственная ему сухость; он загорячился, даже стал запинаться в словах от торопливого желания высказать то, чем сейчас жил.

— Вот смотрите, к чему мы пришли. Основная наша производственная единица — бригада. Сорок лет колхозы живут бригадами. До какой-то поры и нам казалось, что так оно и должно быть. И вроде бы не замечали, что появились надбригадные службы — те же механизаторы, электрики, слесари-монтажники, мелиоративная служба, снабжение, сбыт. Работы они ведут по всему колхозу. Какой-то одной бригаде их не придашь. Вот и полезла усложнившаяся хозяйственная жизнь колхоза из тесной бригадной кватирки, как перестоявшая опара! И ни мои руки, ни руки заместителей и бригадиров охватить руководством все эти новые службы не могут. При всем желании не могут!

На совете наших колхозных умов мы и стали искать форму, соответствующую изменившемуся содержанию. И нашли. Создали в колхозе семь хозрасчетных участков. Три из них производственных, на основе прежних бригад, но укрупненных: за ними закрепили большие площади земли, технику, животноводческие фермы, по каждому виду производства — постоянных специалистов, начиная с агронома, механика, зоотехника и кончая счетоводом. Все соединилось в участке: наука, практика, хозрасчет и полная

ответственность за труд, за количество и качество продукции.

Участок ремонта и эксплуатации обеспечивает внедрение комплексной механизации по колхозу, ремонт ферм, механических токов, кормоцехов, ему же придана электрическая служба и газовое хозяйство.

Далее, участок снабжения и сбыта. Особо хочу сказать — на него возложен контроль за качеством продукции. Если принимают, например, бычка на мясо, то только по установленному сдаточному весу, принимают картофель, но только сортовой. Важнейшая эта служба теперь в колхозе — сбыт и снабжение! В отдельные участки выделили строительство, автопарк и механические мастерские.

Начальниками всех трех производственных участков мы поставили агрономов с высшим образованием — Татьяну Маслову, Валентину Шарову, Татьяну Соловьеву, молодых агрономов, у которых, кроме знаний, и чуткость на новое, и желание утвердить колхозную новь. Понятно, за главным агрономом, Абрамовой Евдокией Давыдовной, остается общий надзор за всей колхозной землей и агротехнической деятельностью начальников участков. Свои участки контроля и у каждого из заместителей председателя...

Вроде бы ничего особенного, так, что ли? — Андрианов смотрит на меня с настороженной усмешкой. — А вы разберитесь, что стоит за всем этим! Мы не просто меняем форму организации труда — даем новые возможности производству! Укрупнение севооборотов на участках открывает дорогу комплексной механизации, а это, в свою очередь, ведет к сокращению затрат труда. Уже подсчитано: к концу пятилетки прямые затраты труда на центнер зерна снизятся у нас с 3,02 до 2,0 человеко-часов, по картофелю — с 2,82 до 1,8, по молоку — с 19,3 до 12,0. Это сократит потребность в работающих с 443 до 380 человек. Вот результат наших размышлений — давать больше качественной продукции меньшими силами! Во многих колхозах сейчас нехватка рабочих рук, а мы высвобождаем людей. И они найдут себе занятие в других сферах усложняющейся колхозной жизни. Нам, например, только в этой пятилетке потребуется еще тридцать три специалиста с высшим и средним образованием: агрономы, зоотехники, инженеры-строители, агроmeliораторы, инженеры-электрики. Уже начали готовить их на средства колхоза. Понять надо, что стоит за всеми этими цифрами!.. Андрианов

разволновался, почувствовал, что горячится, сдерживая себя, улыбнулся почти в детском смущении.

— Опять я вас арифметикой... Что поделаешь: сплю в обнимку с цифрами...

Я знал, что Андрианов в будущем году заканчивает Высшую партийную школу, читал его работы по экономике и организации колхозного труда, понимал его увлечение расчетами.

— А все же подумайте, на какую высоту взбирается нынешнее колхозное производство. Помните, рассказывал, как пятнадцать лет назад собирал первый совет колхозных умов? О чем думали-решали? Как спасти от воды да бескормицы стадо на Пустынской ферме. А теперь? Не соразмерить...

Автору около семидесяти лет, и тридцать пять из них создавал он свое детище, вдохновенно и кропотливо, то радуясь удачам, то огорчаясь промахам, но не падая духом — снова за поиск! За эти годы можно было разлюбить свое творение и забросить его. Он не разлюбил и не забросил. Но... и не закончил еще. Как год, так новая глава. С годами это стало привычкой.

Итак — ода русскому льну. Сейчас мы будем знакомиться с ее главами. Давайте пройдем (вы ждете, что я скажу: в дом поэта или в его библиотеку, а вместо этого...) в один из центральных складов Костромского льнообрабатывающего комбината имени Ленина. (Значит, автор корпит над своим произведением в глубокой тайне, догадываетесь вы.) Ничего подобного!

На чердаке склада (уже романтика!), или, лучше сказать, чтобы не обижать ни автора, ни его творения, на втором этаже склада во всю стену — это метров этак сто — сто двадцать — стеллаж. Высота стеллажа три с половиной метра. Внушительно! Стеллаж разделен на ящички-ячейки, которые закрываются и до единого пронумерованы... И в каждой ящичке — главы его творения.

Автор, как и положено авторам, выступающим перед новым читателем, волнуется. Он высок, прям, даром что за плечами семь десятков годов, глаза цвета волжской воды — темно-сини и ласковы, а волосы (сейчас на голове шапка, и я их разглядел раньше) мягки и седы — ни дать ни взять лен высокого номера. И светятся чисто, как ленок.

Стоим у стеллажа, в складе полусумрак и холодно, окошко у противоположной стены, свет скупой, зимний — на дворе уже с неделю не бывало солнышко.

— Начнем,— говорит автор негромко и торжественно, или это, может, показалось мне.

— Владимир Сергеевич, минуточку, а где ж тут у вас



*Экскаваторы завода
«Красный металлист»*

включают электричество? Что мы так-то увидим? — конфузливо спрашиваю я.

— Не положено. Не положено и электричество, и отопление... Иначе... иначе сразу же возможен обман, — он кашляет, и на щеках выступает красинка... — Ну, так начнем, пожалуй, — открывает ящик, запускает руку, шарит в глубине и вынимает... пучок льна, перевязанный шпагатом, с фанерной бирочкой. — Видите? Светится! Не видите? А-яй... Подойдем к окошку.

Подшли к окошку. Он распушил лен, раскинул прядки



*В литейном
цехе
завода
«Мотордеталь»*

на широкой ладони и то поднимал руку вверх, то опускал вниз.

— Теперь-то видите?

Я был зачарован и минуту молчал от неожиданности: ленок светился, светился таинственно, серебристо, заманчиво. Было в этом свечении что-то от родниковой воды, и от луны, и от солнца. И в то же время свечение было мягким, притягательно-приятным. И каждое волоконец отделялось от волокнца. Тут и я не выдержал, дотронулся пальцами — скользкий, шелковистый, нежный ленок.

— Чей же он?

Владимир Сергеевич, не глядя на бирочку, а все так же повертывая пучочек, поглаживая длинными пальцами, отвечал:

— Вологодский. А ежели говорить точнее, то Сухонский. По Сухоне-речке выращен, на ее приветном берегу стелен... Еще в довоенном году... Ну, как ленок рождения 1935 года?

— Тридцать пятого? Хорош!

— Только-то?

— Да мировой лен. Ми-ро-во-ой!..

— Ага-а, теперь слышу то слово.

Мы возвращаемся к стеллажу молча. Владимир Сергеевич о чем-то задумался. Может, виделись ему приречные всхолмленные сухонские поля, васильковая льняная кипень, речка Сухона — прохладная, приходящая из лесу и уходящая в лес, с водою родниковой чистоты, женские руки, обивающие костру, может, слышалась протяжная старая русская песня... Как знать?

— Теперь давайте возьмем для сравнения наш и иноземный.— Владимир Сергеевич открыл ящик, и мне вдруг почудилось, что в руке он держал лебедя — вот какой чистоты был Бежецкий трепаный лен. А в другой руке он нес к окошку тоненький пучочек, как бы сложенный из жгутиков. Стали всматриваться, сравнивать, не забывая о высшей мерке — правде. Тот, лебединый, Бежецкий, нес двадцать шестой номер, а его сосед, чужеземец, вырос в долине Нила, в Египте, был оценен на два номера выше, волокно тонкое, мягкое, отливающее чуть-чуть желтинкой, словно переняло цвет песков пустыни. И хочешь не хочешь, а признавай: красивое.

Владимир Сергеевич поглядел на меня испытывающе, и я понял его немой вопрос. Ответил:

— А все-таки наш, Бежецкий, лучше, приглядней, даром что его обделили двумя номерами.

Старый льянщик встрепенулся:

— Чем же? Говори, говори: лучше — чем?

— Не могу объяснить...

— Ну и ну! Да тут и объяснять нечего. Снежный Север чувствуется, чистота русская, дожди наши. Во-от он какой.— И встрепенулся: — Лен... Лен! Звучит-то как! А уж служит он человеку незнамо с каких пор. Киевский князь Олег праздновал победу над Византией и — от радости, что ли — повелел на своих кораблях поставить паруса вместо льняных шелковые. Команду тут же исполнили. Вдруг начался шторм. И как же пожалел князь Олег, что поторопился с командой — все шелковые паруса истрепались сразу же... Пришлось заменять прежними — льняными... Уже не единожды было замечено, что если у полярников белье и одежда льняные, они не так мерзнут. А его дружба с художниками: веками служит! Полотна Рафаэля, Леонардо да Винчи живы и сегодня. Заметим себе, что ленок есть и в костюмах космонавтов. А медики

уже давно убедились в том, что если повязка на ране из льна, то рана быстрее заживает. Извини за это лирическое отступление.

И мы опять читали его оду с увлечением, открыто выражая свою радость, и я видел, что автору это было приятно. Вот он выхватил из ящика, подкинул и на лету поймал Лычковский чесаный лен, и я, не задумываясь, назвал его батистовым.

— Батистовый и есть! — одобрил мое стихийное сравнение Владимир Сергеевич. — Из такого батист без примеси выходит.

Иные льны были похожи не на волокно, а на речные, разделенные струи, перехваченные шпагатом, так они были чисты, звучны, веселы, призывны. Глядишь и глядеть хочется. И каждый драгоценный экспонат мы носили к оконцу, к естественному свету, потому что лен нельзя глядеть при электричестве — сразу обманет, будет казаться красивее, освещивать не своим природным светом, а пойманым, заимствованным. И тут выяснилось, что и все сортировщики льна, работающие на комбинате, определяют его качество не каким-то прибором, — нет такого прибора! — а на глаз, на ощупь, при свете дня — зимнего или летнего.

Коллекция, которую собрал Владимир Сергеевич Григоров, начальник сырьевого отдела льнообрабатывающего комбината имени Ленина, была большой, красивой, впечатляющей. И чего скрывать — здорово нравилась мне. Здесь, на чердаке, виноват, на втором этаже склада, русский лен как бы глава за главой, год за годом рассказывал нам поэтическое народное сказание.

И тут мы должны, хотя бы бегло, рассказать об авторе. Вот уже сорок один год служит русскому льну Владимир Сергеевич Григоров. Служит верно, истово, нянчит и нестует его, поднимает славу, совсем не считаясь ни с личным временем, ни со здоровьем. Ведь зимой здесь морозец дерет что надо, а какие сквозняки разгуливают. Но ода звала к себе, и он забывал обо всем.

В биографию Владимира Сергеевича лен вошел в далеком 1924 г. Что он знал о нем тогда? То, что и все: лен цветет голубым, из него выходят отличные рубашки, скатерти, полотенца да холсты. Мало знал. Но вот поездил-помытарил ридовым заготовителем по Верхней Волге, Унже, поглядел, как нестуют, как теребят и расстилают льны в старинных русских местах Городце и Юрьевце, как привычно и трудно обрабатывают их, и навсегда проникся ува-

жением к этому крестьянскому труду, благодарым, глубоким уважением. Учился на специальных курсах, и не один раз, а потом закинула его судьба в исконные русские льняные места — на Смоленщину. Езжено было, пережито было вволю. Принимал ленок и вел долгие беседы со стариками о льне же, о всех тонкостях: когда и где лучше сеять, земельку чем удобрять, чтобы волокно выходило и долго, и крепко, и красно — заглядисто... И песни слушал про него же, своего дружка — про лен...

В 1934 г. Григорова назначили начальником сырьевого отдела на Костромской льнообрабатывающий комбинат имени Ленина. Владимир Сергеевич уже слыл к тому времени знатоком льна. С тех пор в этой должности и служит человек — до сего дня, — другого такого примера нет на комбинате: раз по двадцать сменялись начальники цехов, директора. А он как работал, так и работает. И не старится. И все так же неутомим «профессор по льну», как его уважительно называют сортировщики.

Тонкое это дело: без какого бы то ни было прибора определить номер льна. Бе-зо-ши-боч-но! А он поглядит, выдернет горстку из кучи, пальцами погладит, нюхнет крепенько в себя и скажет, какой лен: сланец, моченец, паренец, беленец, скажет, где рос, сколь ден был в обработке, и выдаст номер: шестнадцатый — так шестнадцатый, двадцать второй — так двадцать второй. Без промаха. Самый высокий номер трепаного льна (не нужно смешивать с чесаным, колхозы сдают только трепаный лен) тридцать второй. Это, если хотите, заветный лебедь. Так вот такого лебеда доводилось Владимиру Сергеевичу держать в своих руках. Течет ленок тридцать второго номера из пальцев, ровно бы вода, горсть руку гнет к земле — до того тяжел. А красив, красив безмерно! Или светло-серого, серебристого, или воскового, светло-желтого цвета.

— У нас много работает славных сортировщиц, — рассказывает Владимир Сергеевич. — Сотни килограммов переберет за смену каждая и не ошибется.

— А бывает и ошибаются?

— Бывает. Видите ли, на определение номера льна влияет даже настроение человека. Не шучу! Бывает даже такое: поспорят бабы меж собою, останется гнев в глазах и пойдут промашки... Тонкая работа! Одно слово, да-а...

Еще в тридцать четвертом году Владимир Сергеевич возлеял мечту — создать коллекцию русского льна, спеть ему свою звонкую и достойную песнь, «Люди собирают

марки, открытки, пластинки с голосами певцов, а я буду собирать лен», — так решил.

Обшарил все склады, списался со льнозаводами. Нашлись даже дореволюционные образцы льна. Удивили его своей чистотой чесанные льны графини Борятиной. Они поднимались до восьмидесятого номера! До заветного зенита. Только не хотелось ставить на фанерной бирочке фамилию графини — вот крестьянке поставил бы. Крестьянскими руками поднимались чудо-льны, диво ненаглядное, а графиня тут сбоку припека.

Начиная с 1935 года Владимир Сергеевич отбирал образцы льна, хранил, доставал все новые и новые, радуясь. Прослышали про то сортировщики, сами приносили лучшее:

— Возьмите, Владимир Сергеевич, вот этот и этот на память добрую.

И с льнозаводов везли.

Так создавалась эта уникальная коллекция. Каких тут только образцов льна не встретишь сегодня! Костромской — с родимой сторонки — и украинский, вологодский и псковский, смоленский и белорусский, новгородский и калининский, сибирский и уральский... Всех и не перечислишь!

Мы идем вдоль стеллажа из некрашеного дерева, и я все спрашиваю и спрашиваю, а Владимир Сергеевич отвечает. Лен... Лен... Лен... Даже само слово это ощущается как чистый летящий звук... Вдруг Григоров ткнул пальцем в ящик. В один, другой, пятый...

— Тут «иностранцы» у меня. Есть в коллекции льна бельгийские, очень хорошие, — выше всех заграничных, почитай, однако нашим уступают, — и льны голландские, и египетские, и даже из Перу — индейцы выращивали. Есть и другие диковинки...

И он показал мне китайскую крапиву рами и пакистанский джут. На вид красивы, но волокно грубое и дальше чем на мешковину не идет.

И с каждой новой минутой передо мной раскрывался этот удивительный человек: по горсти льна он мог рассказать историю отечественного или зарубежного земледелия. С ним встречались ученые-льнянщики, выслушивая его мнение и советы; он участвовал в комиссиях по созданию союзных стандартов и эталонов. Нет здесь только военных образцов льна. На мой вопрос Григоров ответил просто:

— Война — она и меня мобилизовала. Так что на эти годы приходится пропуск в моей коллекции.

Стоит ли говорить о том, как дорожит своей коллекцией Владимир Сергеевич, но это отнюдь не скупой рыцарь. На льнах своих учит молодых сортировщиков, а больше того пользу приносят они вот кому — людям со льнозаводов. Со всей страны съезжаются раз в год на Костромской комбинат люди, занятые первичной обработкой льна. Уже много лет подряд Владимир Сергеевич ведет на курсах этих одну и ту же дисциплину: «Определение трепаного льна». Вот тут коллекция и годится. Льны покидают свои стеллажи и «выходят» на «люди». Изумление и восторг — вот два слова, которые кратко могут выразить душевное состояние курсантов, перед которыми год за годом встают то серебряные, то золотистые русские льны. Может, тех, кто их вырастил, уже и в живых нет, а вот дело рук осталось. Иные из курсантов просят пучочек-другой, чтобы показать своим на льнозаводе, и «профессор льна» не отказывает, иные радостно ахают: «Братцы, да ведь это же наш, наш Бежецкий леноч урожай 1946 года! Чудеса!»

В такие часы Григоров чувствует себя как бы именинником, как бы одаренным неожиданным праздником. Люди видят его коллекцию, записывают памятное или просто запоминают, чтобы потом можно было другим рассказать про эту великолепную оду русскому льну.

Однажды на льнокомбинат пришло письмо на имя начальника сырьевого отдела В. С. Григорова.

Писали ребята: «Здравствуй, уважаемый Владимир Сергеевич! Примите привет и наилучшие пожелания в Вашей кропотливой трудовой жизни от пионеров Щербединской средней школы. Мы прочитали статью в газете «Сельская жизнь» о Вашей коллекции русского льна и очень заинтересовались Вашей коллекцией. Мы учимся, и хочется многое знать. Поэтому просим Вас прислать нам из Вашей коллекции разные сорта льна. Мы будем очень благодарны Вам». На конверте был обратный адрес: «Саратовская область, Романовский район, Щербединская средняя школа № 21».

Долго в этот вечер не уходил с работы Григоров.

Солнечным весенним деньком в Щербединскую среднюю школу зашел почтальон и вручил объемистую бандероль. Собрались ребята (бандероль была адресована пионерам школы) и вскрыли ее. Бережно выкладывали на стол подарки: льняную соломку, тресту, трепаный лен, чесаный лен, очес, льняную ленту, ровницу, пряжу, нитки... Сыпались возгласы, глаза разбегались! А это — образцы тканей, какие

выпускает комбинат изо льна. В глубокой тишине была прочитана записка: «Очень хорошо, ребята, что вы хотите много знать. Будьте такими до конца жизни. Желаю успеха в вашей учебе. Знание начинается с нее. Григоров».

* * *

Мы уходим из тихого сумеречного склада, где хранится удивительная, может, единственная у нас, коллекция. Потирая озябшие руки, хозяин говорит:

— Я думал, что так всю жизнь и проработаю на льне. Но пришло новое время, принесло перемены и в мою работу. Сначала появилось вискозное волокно, потом лавсан, потом капрон, а вот сейчас работаем над тем, чтобы подружить лен с виолом — тоже химическим волокном. И мой старый добрый лен, братаясь с этими химволокнами, как бы помолодел. Да, да! Молодчага лен — везде годится. Недаром же зовется он — русский лен!

Если бы вы слышали, с какой гордостью было сказано это!

ИНЕССА БУРКОВА

ЛЮДЯМ НАВСТРЕЧУ

Очерк

Мое знакомство с Валентиной Плетневой состоялось несколько лет назад.

Помню, двери мне открыла женщина в простеньком платьице. Лицо ее было усталым, распаренным, руки мокрыми, набухшими: за стиркой застала ее, за обычным женским занятием. Просто не верилось, что это о ней писали газеты, что это ее почин ширился по стране: соревнование за личный экономический счет, что это она глядела с плакатов на улицах Костромы, что это ее имя крупными буквами выведено повсюду. И такая обычная, будничная, каких миллионы.

Впрочем, по-иному и быть не могло: хотя и Герой Труда Валентина Плетнева, а все равно женщина, мать, жена. Положено и ей стирать, готовить, убирать.

Увидев, что явилась некстати, я собралась было повернуть обратно, прийти в другой раз. Но Валентина Николаевна, поймав меня за руку, потянула в комнату, уверяя, что все равно надо прервать стирку (некуда больше вешать белье), и я поддалась ее настояниям. Много позже я поняла, отчего она не отпустила меня. Сама добросовестная к своим обязанностям, она с уважением относится к делам других. И уж если к ней обратился какой-то человек, свои личные дела немедленно отложит, время отдаст ему.

Мы сразу же разговорились. С первой минуты кажется, словно бы давным-давно знакомы с ней, только разлучались и вот опять встретились. Я-то в самом деле знала о ней уже многое: людей расспросила, читала в газетах. Знала о ее детстве: матери лишилась Валя, когда ей было всего пять лет, воспитала их с братом бабушка. В первый год войны и отца у них не стало: погиб в Подмосковье. Выучилась Валя в ФЗО на ткачиху, вышла потом замуж за Леонида Алексеевича Плетнева. Растила двух сыновей. И о комбинатских делах передовой ткачихи Плетневой

*Герой
Социалистического
Труда
В. Н. Плетнева*



я имела уже представление. Но, конечно, интересно было от нее самой услышать подробности о почине. И когда Валентина Николаевна отвечала на мои расспросы, ко мне вернулось прежнее ощущение: знатный ведь человек, на всю страну известна, по ней равняются, за ней тянутся, ее стремятся догнать, а она как о чем-то обычном, будничном рассказывала, как обдумывала, считала, проверяла с экономистами и потом решила дать перед народом обещание: закончить пятилетку за 4 года 3 месяца.

Но, просматривая ее записную книжку, стараясь усвоить смысл немых для меня столбиков цифр, я вглядывалась иногда в глаза Валентины Николаевны и пыталась прочесть в них, уверена ли она, что выполнит обязательство. Мало ли что может случиться! Хотя бы те же

частые в производстве перебои с сырьем. И что тогда? Какая ответственность — на всю страну объявить о своих целях, намерениях. Это не молчком, про себя пометчать: провалишься, так только сама и будешь знать, чтохватила лишку, много на себя взяла. Тут остудишься — всенародный стыд и позор. Не укроешься от людей.

Но потом я подумала, что уж кого-кого, а Плетневу, инициатора Всесоюзного почина, наверное, бесперебойно обеспечивают сырьем, да еще и лучшего качества, и станочки у нее тоже лучшие, наверное.

За разговорами мы с Валентиной Николаевной не заметили, как пролетело время.

— Ой, мне в смену пора,— спохватилась хозяйка.

Я решила сопровождать ее.

К станкам мы тогда успели вовремя. Их было в тот год у Плетневой шесть (теперь семь). Переодевшись в рабочий халат, повязав голову платком, она приняла смену. И тут произошло удивившее меня превращение. Уже не прежняя Валентина Николаевна, не домашняя, двигалась между станками. Совсем другая, новая. Вся начеку. Лицо сосредоточенное: ничего, кроме работы.

В жизни всегда так: если с сердцем трудится человек, достигший мастерства в своем деле, лицо его за работой преобразается, становится красивым, особенным, будь он художником, рабочим или ученым.

Движения ткачихи были отточены, экономны, четки. Глаза цепко держали в поле зрения все шесть станков. Заправляла шнулями один из них, не выключая. И успевала заметить, что на дальнем — обрыв нити. Мгновение, и она уже там — выдернула из связки нитку, ловко привязала к обрыву, крючком продернула. Рядом станок застопорил. Что там? Ага, уток перестал заряжаться автоматически. Красный флажок наверх — сигнал помастеру, но станок не выключила, пока вручную будет его заряжать. Опять обрыв на одном из станков — сразу три нити...

И так всю смену. Подсчитано — тридцать пять километров промеряет ногами ткачиха возле станков. И все восемь часов — напряжение, внимание, собранность. Секунды экономии на любой операции. На этом Плетнева дает тысячи дополнительных метров. Изо дня в день все новые и новые метры сверх того, что ждут от нее. Лен, лен, лен — знаменитый истари, русский, который в моду опять вошел и у нас, и за рубежом.

Там, у комплекта Плетневой, я увидела, что неторопкая работа, чтоб только в норму укладываться, не для нее. У нее — чтоб горело все под руками. Когда хорошую основу в цех дадут — обрывов меньше, улучит минуту-другую — спешит помогать молодым. Стремится передать им свое умение, чтоб больше женщин нарядить в наш «северный шелк», больше товаров дать. И других за собой повела — целую армию лучших из лучших: шестьсот тысяч человек соревновались по ее почину.

Наблюдая работу Плетневой, я поняла тогда: опасаться за смелость ее обещаний излишне. Virtuoz, мастер своего дела, она сделает все, что возможно и сверх того. Обязательство свое Валентина Плетнева выполнила. Даже раньше обещанного: закончила пятилетку не за 4 года 3 месяца, а за 3 года 8 месяцев.

Удивила меня в тот год, помнится, одна девушка в цехе Плетневой. Когда проходили мы с Валентиной Николаевной мимо нее, провожала нас всегда недобрый, холодным взглядом. Я спросила однажды девушку, чем мы ей так не пришлись?

— Вас не знаю. Вы ни при чем, — ответила. — А Плетневу не люблю. Подумаешь, героиня! И станочки ее — не то что у нас. И основа, уток — не как у людей. Особенности. Этак любая геройские проценты даст.

И еще про Пучкову, Шальнову припомнила: в соревновании по комбинату иногда оказывались они впереди Плетневой.

Об этом я уже знала. Цифры раздобыла в отделе организации труда. И Валентина Николаевна говорила, что случилось такое. Зависти не слышала в ее голосе. Напротив, радовалась она за ткачих, обгонявших ее на какое-то время. Сама нажимала, но не завидовала. В одну ведь копилку, в народную.

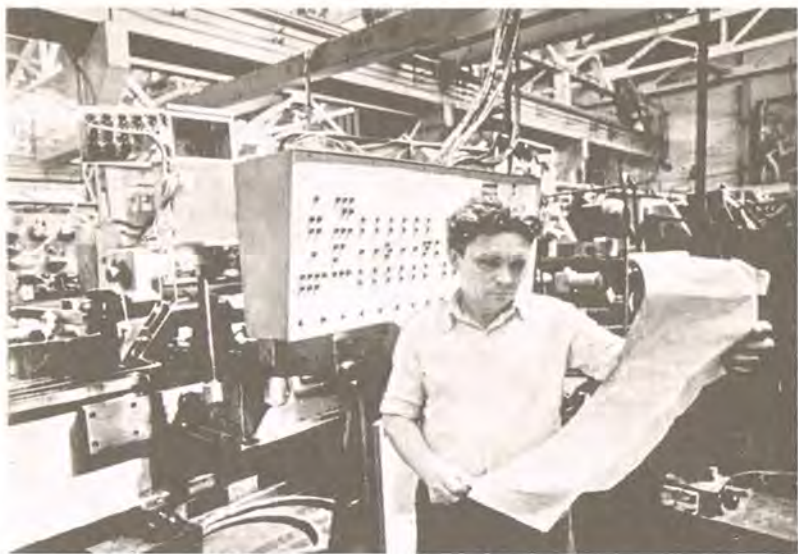
Девушке той я призналась, что поначалу тоже думала, будто у Плетневой станки и сырье лучше, чем у всех, даже пыталась оправдать это неравенство. Но, проведя немало смен в ткацком цехе, убедилась, что никаких особых условий героине не создают. Она бы и не позволила. Такой человек. Больше того, ей потрудней приходилось, чем многим. Хотя бы с Пучковой я сравнивала. Та работала на пяти станках, скорость их была выше. Производила Пучкова лен с лавсаном — нити прочнее, обрывы были реже. Как

рвалась у Плетневой льняная пряжа, я сама много дней с болью в сердце наблюдала.

Девушке я посоветовала: пошла бы и поглядела, как у Плетневой, ведь недалеко ходить — комплект рядом. Она согласилась. Да не просто посмотрела — поработала за станками Плетневой целую смену, когда у той был выходной, а сменщица заболела. И сдалась:

— Виновата. Простите, Валентина Николаевна. Я б на таких станках не смогла работать. Поизношенной моих.

Плетнева по сей день работает на тех же станках. Добавила себе еще один такой же. Считает, что она, избранник рабочих, не должна искать себе облегчений. А то не ровен час, очерствеет, перестанет понимать нужды рабочих. По себе знает, как трудно работать льнянщикам на устаревших ткацких станках. И не устает биться за их замену. Выступает на партконференции города, на бюро обкома, на заседании коллегии своего министерства, на пленумах ЦК профсоюза текстильщиков. Критикует машиностроителей, конструкторов, ученых. В Костроме и научно-исследовательский институт и завод есть, призванные совершенствовать технику и технологию текстильной промышленности. И они на костромской-то земле почему-то для льнянщиков делают очень мало. Все больше пекутся о шерстяном производстве. И Плетнева — депутат — любую возможность использует, чтобы напоминать: пора в эпоху технической революции быстрее, решительнее, по-революционному менять технику и в льняной промышленности, как это делается в производстве синтетическом, шерстяном, шелковом. Ведь потребность в русском льне не падает, а растет: от синтетики люди стали опять возвращаться к натуральным тканям. Костромской лен раскупается на внутреннем рынке, много просят его зарубежные торговые фирмы. Валентина Николаевна сама убедилась в этом, когда была в Финляндии с профсоюзной делегацией. Зашла в одном маленьком городке в универсальный магазин купить сувениры — и увидела на прилавке, к своей радости, простынное полотно с ярлыком: «Сделано в СССР». Поинтересовалась, откуда, с какого предприятия. С костромского, оказалось, с комбината имени И. Д. Зворыкина. Засуетились, засияли улыбками продавцы, узнав, что перед ними русская костромичка ткачиха. Позвали хозяина. Благодарили костромичей за хорошее полотно, просили больше посылать. Зворыкинцы простынное полотно и в Канаду, и в Австралию поставляют,



*На заводе
автоматических линий*

комбинат В. И. Ленина свою костюмно-плательную ткань продает на Кубу, покрывалами фабрики «Октябрьская революция» торгуют в Монголии. За океаны отправляется лен костромской. И свой, русский покупатель по магазинам ищет, спрашивает его. Увеличивать надо производство льняных тканей, а оно, увы, сокращается в Костроме, традиционной льнянице России. Тревожит, беспокоит это костромичей, и Плетневу, конечно, тоже.

Много думала она, искала причины.

Уходят рабочие. Валентина Николаевна видит это сама. Умолкают станки соседних комплектов: некому работать. Порой не дождешься ремонта станка: поммастера на части рвут, заменяет ушедших.

Что же случилось, с чего начался отток рабочих из льнопромышленности?

В ее городе молоденькие работницы переходят в магазины, ателье, кафе, парикмахерские, рестораны, буфеты — в сферу обслуживания, которая стала бурно развиваться в Костроме. Молоденьким боязно застрять в ткачихах, прядильницах: «бабье» производство, не засидеться бы

в «девках». В сфере обслуживания все время на людях: и самой выбрать парня легче, и себя есть кому показать. Дело молодое, никуда не денешься.

Текстильщики постарше, семейные, особенно мужчины: механики, электрики, поммастера — подались на новые предприятия. Кострома стала крупным центром тяжелой промышленности. За последние годы возникли заводы автоматических линий, деревообрабатывающих станков, полимерного машиностроения, железобетонных конструкций, красиво-отделочного оборудования, «Текстильмаш», «Строммашина», «Мотордеталь». Зарплата там выше: тяжелая индустрия. Квартиры можно получить быстрее. Кто-кто, а Плетнева, как депутат, знает это лучше других.

Для подъема лннной промышленности нужны решительные, государственного масштаба меры.

Но и на местах надо использовать все возможности. Бывает, проворонят за текучкой, за суетой сегодняшнего дня, что уже появилась новая машина. А были случаи — прибегали к Плетневой работницы: «Иди, разберись, Валентина: новые станочки пришли, да что-то долго не видим их в цехе». И шла она, встревоженная, на склад — да, стоят станки. Прямиком оттуда к начальству. Однажды даже узнала, что передали новые станки на другой комбинат: сочли, что осваивать их хлопотно. Ну как тут промолчать? Плетнева критикует виновных — открыто и прямо, как принято в рабочей среде. Со зворькинцами сравнивает. Они не дремлют, не ленятся. За год столько новых машин внедрили: уточно-перемоточные, прядильные, чесальную, узловязательную, транспортирующие устройства, модернизировали оборудование. Вот у них и с планом получше, и народ от них не уходит.

В любых условиях каждый должен честно выполнять свое дело, не кивать на дядю, на верх, дожидаясь золотого века. Толку будет больше.

Лицо ее с каким-то секретом. Оно способно меняться до неузнаваемости. Совершенно иная Валентина Николаевна сидела в вагоне, отправляясь в соседнюю область на совещание. Начальство потребовало: именно ей, Герою и депутату, победительнице соревнования, надо быть представителем от Костромы. Сидела в вагоне Плетнева ссутулившаяся, поблекшая. Ей, натуре работающей, подвижной, неугомонной, в тягость бездействие. Пришлось из-за этого совещания взять выходной. Поднялась по привычке в четыре утра, в выходной-то. Уборку сделала, перегладила гору белья,

обед приготовила на два дня. Витюху, младшего, в школу отправила. Депутатские дела привела в порядок: письма, куда надо, послала.

Приемный день у нее: первый четверг месяца. Принимать ей положено до часу дня, но она продолжала, пока шли люди: не откажешь ведь им, дескать, время кончилось.

Сегодняшний вечер собирались провести с Леонидом. Скоро ведь начнется навигация — надолго расстанутся. Может, последняя навигация? Поговаривают, что сплавконттору закроют. Лес в кругляках плотами гонят по Волге все меньше и меньше с каждым годом. Леспромхозы на местах стали перерабатывать древесину: экономичней, и реки не так загрязняются. «Закроют сплавконттору... Ну и бог с ней, — улыбнулась Валентина Николаевна. — Видеться будем чаще. А он-то без работы не останется. Куда угодно устроится». Рабочие везде нужны. Леонид — капитан-механик буксирного катера, мастер на все руки: и шофер хороший, и электромонтер, и механик. За что ни берется, все делает на совесть. Недаром одним из первых среди сплавщиков Костромы был награжден орденом Трудового Красного Знамени за досрочное выполнение плана.

Хорошо бы ей завтра вернуться из этой поездки до прихода Леонида с работы. Приятно ведь, когда тебя жена встречает после разлуки, пусть небольшой. Жаль, что впопыхах книгу не захватила. Почитала бы. Мало у нее свободного времени. Не может, как сыновья, всласть, безотрывно почитать книгу. И в театр, кино удается попасть теперь не часто. Выбирают во все комитеты, в президиумах сидеть, выступать приглашают.

Все смены теперь переместились из-за этой командировки. И удастся ли побывать в той школе, куда обещала прийти в четверг — рассказать о поездке в Японию. Сейчас можно подумать, о чем говорить ребятам. Ее, например, поразило, что японские женщины интересовались, есть ли у нас проституция, как живут одинокие, незамужние. Словом, обездоленные их волновали, потому что у самих много женщин, судьбой обиженных. Об этом школьникам, конечно, не расскажешь. А вот такой пример: девушка японская, поступая на работу, подписывает обязательство, что, если выйдет замуж, должна в ожидании ребенка уволиться без звука, — об этом, пожалуй, можно сказать детям. В Японии повсеместный страх перед безработицей. Плетнева много раз раньше слышала, читала, что при капитализме технический прогресс несет безработицу. В Токио на молочном

заводе убедилась в этом сама. Автоматика там — просто фантастическая. Но один из рабочих признался ей, что ему совестно тут работать, когда его старинный друг из-за внедрения автоматов оказался без работы. Она и сейчас видит виновато-грустные глаза наладчика.

Выступать Валентине Николаевне приходится часто, и в самых разных аудиториях: на предприятиях, в учреждениях, в деревнях, перед депутатами, учащимися, студентами, научными работниками, перед иностранцами, в Костроме и за рубежом. И неизменно она располагает к себе слушателей. У нее просто дар — подчинять своей власти зал. Если вышла говорить, равнодушных, безучастных не будет. Вроде и слов красивых, вычурных не произносит, и проблемных открытий не делает, и не играет голосом, мимикой, жестами, как это принято у ораторов. Она не знает никаких таких приемов, но берет людей за живое искренностью, доверительностью, неподдельной, святой верой в правоту того, о чем говорит. По обязанности, мол, «надо», на трибуну ни за что не выйдет, поэтому так душевно и убежденно звучит каждое ее слово.

ВИКТОР ПОЛТОРАЦКИЙ
ГОВОРIT КОСТРОМА

Утром, в четверть восьмого,
На длинной волне
Кострома заявляется
В гости ко мне.

Поначалу звучит
Музыкальный мотив,
А потом и слова:
Чухлома,
Кологрив,

Молоко, околот,
Умолот...
— Хорошо! —
Как горошина, катится
Круглое «о».

И, как будто любуясь
Тем звуком сама,
Еще раз повторит:
— Говорит Кострома...

Про колхозную жизнь,
Про поля и про лес.
И наскажет еще
Сорок верст до небес.

А отсюда и знамо,
И ведомо мне,
Что творится
На той стороне,
в Костроме.

...Говорят, что одна
Голова не бедна,



*Главный вход
завода «Мотордеталь»*

А когда и бедна,
Так опять же — одна.

Я такое присловье
В пример не беру.
Голова — голова,
Коль она на миру.

И богаче она,
И умней, и сильнее,
Если добрые люди
Беседуют с ней,

Если вместе с московским
Подчеркнутым «а»,
Упирая на «о»,
Говорит Кострома.

КОНСТАНТИН АБАТУРОВ

ЧЕЛОВЕК В ЛЕСУ¹

Поезд, нырнув в синь перелеска, поднялся на насыпь, откуда стали видны поназыревские леса. Зыбкие волны сосняков и ельников, кудрявясь, катились вдаль; и лес, и край неба были ярко подсвечены поднимающимся утренним весенним солнцем. Анна Степановна Денисова, глядя на эту зеленую ширь, думала о том, что где-то там работает ее муж, Геннадий, и ждет, конечно, ждет ее.

Давненько пришлось ему сменить место работы, уехать из старого поселка Киселево в центральный Поназыревский. Впрочем, поначалу дирекция леспромхоза вызвала его на короткое время — вот, мол, ты, опытный вальщик леса, подучишь здесь молодых, новичков, и снова вернешься домой. Но так не получилось. Похоже, прочно закрепился там. Пришлось и жене с ребятней думать о переезде. Хватит жить порознь! Но пока она поехала к нему одна — надо еще поглядеть, прочно ли он стоит на поназыревской земле.

Поезд набирал ход, разматывая пряжу дыма, постукивая колесами на стыках рельс. После густых ельников показалось поле, еще не вспаханное, только освободившееся из-под снега, а за ним крыши, раскиданные на большом пространстве, — серые, желтые, зеленые, коричневые — едва ли не всех цветов и оттенков, они, ширясь, наплывали навстречу. И вот уже видны стали улицы поселка с деревянными домами, вытянувшиеся рядами, с огородами, колодезными журавлями, скворешнями.

Пассажиры теснились к выходу, но Анна Степановна все еще глядела в окно. Заметила она кучу опилок, горбившуюся за линией дороги, и множество луж на крайней, низкой улице, и поваленные каким-то неаккуратным

¹ Из одноименной документальной повести о Герое Социалистического Труда Геннадии Владимировиче Денисове.

автомобилистом молодые липки с содранной корой. Не порадовал ее этот вид.

К лесовику, у которого Геннадий квартировал, пошла главной улицей. Эта была покрыта гравием, по бокам — дощатые тротуары. От дома к дому тянулся низкий решетчатый забор. Тут дома все, как на подбор, опрятные, с большими окнами и резными наличниками, от тротуара к крылечкам проложены тесовые настилы, у дверей — свежие еловые лапы, от которых еще пахло хвоей. В глубине некоторых дворов виднелись очаги-печки, уже побеленные. «А тут чистенько», — отметила про себя Анна Степановна. Уличным очагам она не удивилась: Геннадий как-то рассказывал, что в Поназыреве живет несколько украинских и белорусских семей.

Дом знакомого лесовика небольшой, в три окошка по лицу, стоял в конце улицы. От него рукой подать до нижнего склада, где шумели лебедки и звенели пилы. Анна Степановна поспела как раз к утреннему чаю. Усадив гостью за стол, хозяйка справилась:

— Соскучала по муженьку?

— За работой-то некогда скучать, — не призналась Анна Степановна. — Я все в шпальном цехе. А как он тут?

— Заработался, милая. Эту неделю без выходного остался — опять новичков обучал пилить. А на душе, видать, не больно тепло. Жена, говорит, не едет, один как перст. Ты что же это? — строго поглядела хозяйка на гостью.

— Да ведь как скоро-то? У Галинки еще не кончился учебный год. Дела. Вот погляжу и уж тогда...

— Погляди, погляди. Поселок у нас большой. Разрастается.

— Грязновато только.

— Не везде. В прошлом году вон как облагородили главную улицу. А нынче за остальные примемся. Да ты чтой-то: испугалась?

— Я ничего... просто гляжу: низкие места больно здесь.

— Ну и что, что низкие? Питер тоже строили на болоте. Да подожди, привыкнешь и к нашему поселку. Приезжай только с душой.

— Было бы куда. У вас не проживешь — самим тесно.

— Дадут казенную. Новой улицей не проходила? Тогда загляни. Там три дома стоят. Геннадий сказывал — в одном вам обещают квартиру.

— Обещают? — подхватила Анна Степановна.

— А-а, обрадовалась! — улыбнулась хозяйка и шутливо погрозила: — Не забудь потом на новоселье пригласить. Да ты закусывай. И чай с вареньем откушай. Свое. Морошку-то в нашем лесу собирала.

На улице было ветрено, облака закрыли солнце, накрапывал мелкий дождь. Анна Степановна подняла воротник плаща, потуже стянула концы платка. От нижнего склада донесся паровозный гудок: по узкоколейке подходил первый утренний состав с лесом. Посмотрела на поезд: не Геннадий ли прислал? И вдруг пожалела: ой, достанется ему сегодня, вымокнет.

* * *

Этот день у Геннадия Владимировича Денисова разломился на две неодинаковые половинки. Утром, как всегда, он пилил лес с корня. Дерево за деревом с грохотом валилось на землю, поднимая в воздух залежалые прелые листья, бурю хвою. Своего помощника, коренастого Мишу Уралеца, послал в дорожную телефонную будку позвонить диспетчеру, чтобы тот поскорее прислал порожняк. На Уралеца он надеялся: этот, в случае чего, и ругнется для пущей убедительности, тогда как сам он стеснялся новыситься голос.

Когда вернулся Уралец, сказав, что сцены уже на подходе, Денисов передал ему пилу.

— Пили, а я пойду на погрузку.

— Покури сначала, — протягивая пачку «Звездочки», откликнулся помощник.

— Потом. Ты не забудь валить деревья на какую-нибудь подкладку — вон сколько тут валежника. Я пробовал, и, понимаешь, трактор легче брал воз, да и чокеровщикам удобнее зацеплять деревья.

— Ладно, спытаю, — согласился помощник.

Михаил включил мотор, и пила запела. В работе он всегда подражал бригадиру. Так же, как Денисов, быстро вскидывал взгляд на деревья, оценивая, в какой очередности их валить; так же, по-бригадирски, делал надпил, а затем с легким нажимом посылал острую цепь в твердое тело ствола, огибая его слева направо, стараясь не прозевать, когда дерево в последний раз качнет в синей вышине своей вершиной.

Незаметно к Михаилу подошел бригадир соседней

бригады Василий Гагечко, высокий, чубатый украинец. Он грузно встал на кучу сучков, широко расставив ноги, и, по обыкновению усмехнувшись, спросил:

— Слышно, вы на три сцены дали сегодня заявку. Верно?

— Верно, Василий Яковлевич. Сейчас должны прийти. Денисов уже там, на складе.

— Та-ак,— протянул Гагечко.— А лес приготовили?

— Хватит и на завтрашнее утро.

— Обтяпали. Это треба разжуваты,— озадаченно пробасил Гагечко.

Посмотрев, как искусно валил денисовский помощник деревья, как потом подъехал трактор и быстро набрал воз, Гагечко промолвил:

— Дельно у вас получается. Пойду погуютору со своими.

Он увидел Алика, самого молодого лесоруба денисовской бригады, и позвал к себе.

— Слышь, землячок, почаще докладывай о Геннадьевой затее.

— Мы, Василь Яковлевич, скоро всей бригадой придем к вам с докладом. Готовь вареники,— лукаво подмигнул Алик.

— О чем доклад? — свел брови Гагечко.

— Известно: обставим вас, как пить дать.

— Это еще не известно, кто кого обставит. Не говори, хлонец, гоц, пока не перепрыгнешь...

По-матросски покачиваясь, Гагечко пошел в свою бригаду.

«Ну, теперь подсыплет ребятам перца»,— решил Алик.

Все знали, что Гагечко равнодушен был к денисовцам. И был повод к тому: еще в конце минувшего года договорился он с Геннадием Владимировичем о соревновании. Договора, правда, никакого не заключали, но это не меняло сути.

На работу обе бригады нередко ехали в одном вагоне. Гагечко обычно садился в сторонку, молча курил. Когда заядлые игроки в домино Алик и Уралец приглашали его «отстукать партию», отказывался. Мог он промолчать всю дорогу. Но когда подсаживался к нему Денисов, Гагечко начинал любопытствовать, что новенького готовится «у соперника».

— В соперники меня не зачисляй,— замечал Геннадий.— Мы ведь одно дело делаем.

— И то верно,— соглашался Гагечко.— Вместе рубим. Открыто. Без утайки. Чем больше, тем лучше.

Говорил он короткими фразами, отрывисто, словно рубил.

Порывист, упорен, горяч был Гагечко и в работе. В это время он только что получил новый трактор ТДТ-60. На сильной «шестидесятке» всегда на полном ходу ехал в делянку за хлыстами, а оттуда — на погрузочную площадку. Сам спешил и бригаду торопил.

Иначе и нельзя было. Если вначале его бригада шла впереди, то теперь нередко стала вырываться вперед денисовская, хоть и оставалась она еще самой молодой в поназыревском лесу.

* * *

Который уже день беспрерывно лили дожди. Широко разлились все речки, прибрежные леса затопило, на некоторые делянки нельзя было въехать. Давно такой ненастной весны не бывало в лесном Поназыреве. И хоть начальство областного лесопромышленного комбината по-прежнему бомбило леспромхоз телеграммами, требуя «не ослаблять темпы лесозаготовок», на затопленных делянках пришлось повременить с рубкой.

Зато ни дня не могли пропустить без дела лесоводы. Любая весна для них такая же страдная пора, как для крестьянина уборка урожая. Весной лесоводы в хлопотах, заняты восстановлением лесов. Но ни людских сил, ни техники у них не доставало, а площади вырубок увеличивались из года в год. У лесорубов — и моторные пилы, и сильнейшие тракторы, и лесовозы. А у поназыревских лесоводов какие орудия?

Заблаговременно старый лесничий Иван Иванович Кобешев обходил все вырубки, обдумывая, где, в каком порядке начинать работу. Облачившись в шинельку, оставшуюся еще после минувшей войны, забрав с собой кирзовую сумку, сохранившуюся тоже с военных времен, он обычно рано поутру отправлялся в лес. Завидев его, рабочие перешептывались:

— Иван Иваныч вышел — жди драчки!

Не жаловал старый лесничий человека с топором. А все началось с того, как однажды ему пришлось быть свидетелем опустошительной рубки великолепного соснового бора, который сначала выращивал его предшественник, а потом он сам. Бору, по расчетам Ивана Ивановича, еще

можно было жить да жить, он любовался им, втайне гордясь, что это его детище, что это он охранял его от пожаров, от нашествия лесных вредителей, лично расставлял тут скворечни, чтобы не облетели лес стороны птицы. Но вдруг появились люди с пилами и топорами и начисто снесли бор. Подпиленные сосны при падении ломали молодь, а гусеницы тракторов довершали дело — кромсали, давили, смешивали с землей все живое.

— Варвары! — только и сказал лесничий.

Лесорубы увидели, как дрожали у этого пожилого человека руки, как по морщинистой щеке поползла слеза, как затем он смахнул ее и, сторбившись, пошел прочь. Так и жили недругами лесоруб и лесовод, и никто из них не верил в примирение.

Как-то в субботу Кобешев особенно долго задержался в лесу. Выдался ведренный день, было тепло, над землей курился парок, терпко пахло прелью, хвоей, березовым соком. И пока осматривал вырубку на сухмени, где еще осенью были сожжены сучки и куда можно было присылать лесных сеятелей, настроение у него было хорошим. Но, как только перешел на зимние вырубку, увидел там оцетинившиеся завалы сучков и вершин, лесничий сразу посуровел. Зима эти скопища «порубочных остатков» — так именуются на языке лесорубов сучки, порушенные деревья — скрывала от глаз, а весна обнажила во всей неприглядности.

— Ух, работнички, забыли даже убрать после себя. Где уж тут сеять, до земли не доберешься.

Выход оставался один: сначала отряжать всех лесорубов на очистку делянок, а потом уже и за сев браться. Но даст ли директор людей?

На закате лесничий осмотрел последнюю вырубку. Свернул в сторону леса. Днем оттуда доносился гул трактора, но сейчас было тихо. За этим лесом начинается совхозное поле. Оттуда рукой подать и до дороги.

Вдруг у первых же деревьев он увидел Денисова. Иван Иванович подошел, спросил, что тут заинтересовало бригадира.

Денисов обернулся на голос лесничего, ответил:

— Да вот елочки. Вон их тут сколько, сплошь усеяно. Ну, как щетка. В питомниках едва ли так бывает. Подарок природы.

— Да, хорош подрост, — оценил лесничий.

— Хорош, — подтвердил Геннадий. — Но скоро будем

здесь рубить...— Он бросил на лесничего обнадеживающий взгляд.— Я хочу спросить вас: эти елочки, если их оставить, не погибнут, вырастут?

— Думаю, что вырастут. Разве жаркое лето будет... Но нет, и жара не должна помешать,— ответил Иван Иванович, настороженно посмотрев на Денисова.— А как ты можешь оставить подрост? По воздуху, что ли, будете трелевать деревья?

— Надо как-то придумать, чтобы трактор не кромсал гусеницами молодняк.

— Ого, пожалел! Первого такого жалостливого вижу,— усомнился лесничий.— И что уж говорить о тракторе, самими деревьями рушите молодь. Даже землю сдираете, бесы. Вас бы вот!— вскипев, сжал он кулаки.

— Деревьями-то можно не ломать, ежели не прямо на землю валить,— возразил Денисов.— Я замечал: положить под комли что-нибудь, махонькие елки тут сохраняются. Но как быть с трактором? Он по всей делянке ездит. Никак не додумаюсь, что бы такое сделать... Может, ему особые дорожки отводить?

Лесничий приподнял голову, покосился на Геннадия.

— А ты, кажись, всерьез?

— А вы совсем потеряли веру в лесорубов?

Лесничий молчал. Потом обернулся к Денисову и тронул его за руку.

— Насчет трелевки я не знаю, что посоветовать тебе, не лесоруб. А вот относительно посева лесных культур есть у меня соображение — попросить тебя и твоих ребят помочь нам. Сначала надо расчистить вырубку. Сделай-ка начин, а? Подключи всю бригаду к этому делу. А?

— Подумаю и об этом,— пообещал Денисов.— Поговорю со своими, авось воскресничек устроим.

И верно, в воскресенье приехала в лес вся бригада Денисова. А Кобешев привел своих лесников с семьями.

Весь день очищали вырубку, жгли завалы сучков. Обломки вершин, сухостойные деревья бригада пилила на дрова — к вечеру выстроилось несколько полениц вдоль трелевочных волоков.

Придя принимать работу, Иван Иванович заулыбался в прокуренные уголки губ.

— Спасибочко вам, ребятки. Картинка, а не вырубка. Теперь вся стать сеять. Может, сами и засеете свое-то, а?

— Сами?— переспросил Денисов. Сеять лес ему еще не приходилось.— Сумеем ли?

можно было жить да жить, он любовался им, втайне гордясь, что это его детище, что это он охранял его от пожаров, от нашествия лесных вредителей, лично расставлял тут скворечни, чтобы не облетели лес стороной птицы. Но вдруг появились люди с пилами и топорами и начисто снесли бор. Подпиленные сосны при падении ломали молодь, а гусеницы тракторов довершали дело — кромсали, давили, смешивали с землей все живое.

— Варвары! — только и сказал лесничий.

Лесорубы увидели, как дрожали у этого пожилого человека руки, как по морщинистой щеке поползла слеза, как затем он смахнул ее и, сгорбившись, пошел прочь. Так и жили недругами лесоруб и лесовод, и никто из них не верил в примирение.

Как-то в субботу Кобешев особенно долго задержался в лесу. Выдался ведренный день, было тепло, над землей курился парок, терпко пахло прелью, хвоей, березовым соком. И пока осматривал вырубку на сухмени, где еще осенью были сожжены сучки и куда можно было присылать лесных сеятелей, настроение у него было хорошим. Но, как только перешел на зимние рубки, увидел там оцетинившиеся завалы сучков и вершин, лесничий сразу посуровел. Зима эти скопища «порубочных остатков» — так именуются на языке лесорубов сучки, порушенные деревья — скрывала от глаз, а весна обнажила во всей неприглядности.

— Ух, работнички, забыли даже убрать после себя. Где уж тут сеять, до земли не доберешься.

Выход оставался один: сначала отрягать всех лесорубов на очистку делянок, а потом уже и за сев браться. Но даст ли директор людей?

На закате лесничий осмотрел последнюю рубку. Свернул в сторону леса. Днем оттуда доносился гул трактора, но сейчас было тихо. За этим лесом начинается совхозное поле. Оттуда рукой подать и до дороги.

Вдруг у первых же деревьев он увидел Денисова. Иван Иванович подошел, спросил, что тут заинтересовало бригадира.

Денисов обернулся на голос лесничего, ответил:

— Да вот елочки. Вон их тут сколько, сплошь усеяно. Ну, как щетка. В питомниках едва ли так бывает. Подарок природы.

— Да, хорош подрост, — оценил лесничий.

— Хорош, — подтвердил Геннадий. — Но скоро будем

здесь рубить... — Он бросил на лесничего обнадеживающий взгляд. — Я хочу спросить вас: эти елочки, если их оставить, не погибнут, вырастут?

— Думаю, что вырастут. Разве жаркое лето будет... Но нет, и жара не должна помешать, — ответил Иван Иванович, настороженно посмотрев на Денисова. — А как ты можешь оставить подрост? По воздуху, что ли, будете трелевать деревья?

— Надо как-то придумать, чтобы трактор не кромсал гусеницами молодняк.

— Ого, пожалел! Первого такого жалостливого вижу, — усомнился лесничий. — И что уж говорить о тракторе, самими деревьями рушите молодь. Даже землю сдираете, бесы. Вас бы вот! — вскипев, сжал он кулаки.

— Деревьями-то можно не ломать, ежели не прямо на землю валить, — возразил Денисов. — Я замечал: положить под комли что-нибудь, махонькие елки тут сохраняются. Но как быть с трактором? Он по всей делянке ездит. Никак не додумаюсь, что бы такое сделать... Может, ему особые дорожки отводить?

Лесничий приподнял голову, покосился на Геннадия.

— А ты, кажись, всерьез?

— А вы совсем потеряли веру в лесорубов?

Лесничий молчал. Потом обернулся к Денисову и тронул его за руку.

— Насчет трелевки я не знаю, что посоветовать тебе, не лесоруб. А вот относительно посева лесных культур есть у меня соображение — попросить тебя и твоих ребят помочь нам. Сначала надо расчистить вырубку. Сделай-ка начин, а? Подключи всю бригаду к этому делу. А?

— Подумаю и об этом, — пообещал Денисов. — Поговорю со своими, авось воскресничек устроим.

И верно, в воскресенье приехала в лес вся бригада Денисова. А Кобешев привел своих лесников с семьями.

Весь день очищали вырубку, жгли завалы сучков. Обломки вершин, сухостойные деревья бригада пилила на дрова — к вечеру выстроилось несколько поленниц вдоль трелевочных волоков.

Придя принимать работу, Иван Иванович заулыбался в прокуренные уголки губ.

— Спасибочко вам, ребятки. Картинка, а не вырубка. Теперь вся стать сеять. Может, сами и засеете свое-то, а?

— Сами? — переспросил Денисов. Сеять лес ему еще не приходилось. — Сумеем ли?

— Сумеете, Генаша. Ей-богу, выйдет у вас! — зачастил лесничий, с надеждой глядя на бригадира. — А то смотри, какой план нынче — без малого полтысячи гектаров надо осилить. Небывалая цифра. А народу мало. И с посевной техникой не жирно. Чуешь? — Он передохнул: — Так как — ждатель?

— Если директор отпустит...

— Я схожу к нему, упрощу. А тебе семена занесу. Договорились?

— От прицепился, — недовольно буркнул Алик.

— Что ты сказал? — повернулся к нему лесничий.

— Да я так... Хотел спросить, сколько вам лет.

— Скоро шестьдесят стукнет. А что?

— Живой, як парубок.

— Ну, это ты хватил. А вообще — что ж, на здоровье не жалуясь. В лесу живу, чистый воздух, фитонциды.

— А це шо таке фитонциды?

— Как объяснить? Не приходилось тебе замечать, как в лесу, особенно сосновом, легко дышится?

— Мне везде хорошо дышится.

— Согласен. Тут главный аргумент — молодость. А возьмем, к примеру, старого человека. Бывает, он едва тащится по городской улице, задыхается, но придет в лес — и вся одышка побоку. Помню, в Кисловодске было. Лечили-лечили одного больного, никак не поправляется. Не хватает воздуха. Что сделали врачи? Вынесли его на сосновую гору — есть там такая. Кроватьку поставили, положили на нее, а лекарств никаких. Там он дневал и почевал. И ведь оклемался. Фитонциды — это выделяемые деревьями вещества, которые очищают воздух от вредных бактерий. Врачают человека, по-другому говоря.

— Иван Иванович, а сколько живет дерево?

— Смотри какое. В Англии есть тис, которому три тысячи лет. Еще при Юлии Цезаре, когда тот рвался в Британию, он был могучим, старым деревом. Окружность ствола этого тиса восемнадцать метров.

— Це да-а! — удивился Алик.

— Есть экземпляры и побольше. В Индии растет фикус, его еще боньяном называют. Высота его шестьдесят метров. Чудо, да? В тени этого чуда может поместиться семь тысяч человек.

Сейчас Алик от удивления даже в ладоши хлопнул, да так громко, что на него оглянулись. Подошел Уралец.

— Что развеселился? Небось Иван Иванович забавляет?

— Про лес он говорит дивно,— ответил и снова к Ивану Ивановичу: — А у нас, здесь, есть большие деревья?

— Найдутся. Как-нибудь покажу одну елочку. В пять или шесть обхватов будет. Если спилить и разделать с сучьями, то как раз дневная норма выйдет вашей бригаде. Но,— погрозил лесничий,— пилить ее я никому не дам. А вообще здешний лес ровный, без особых гигантов. Признаться, мне он тем и дорог, что весь хорош.

В вагоне ребята подсели к лесничему.

— Вы сильно любите лес?

— Как же его не любить?— вопросом на вопрос ответил Иван Иванович.

— Любит у нас и бригадир, тильки не бачу — зачем в таком разе рубает? — развел руками Алик.

— Зеленый ты, Алька, как есть натуральная зелень,— напустился на него Уралец.— Ты в каком доме живешь? В деревянном. За каким столом обедаешь? За деревянным. А стулья, шкафы или, скажем, эта рубашка твоя?.. Не делай большие глаза, рубашка тоже из дерева. Не веришь?

— Нехай будет деревянная,— не совсем уверенно согласился Алик.

— То-то. Да что много говорить. Возьмем такую мелочь, как спички,— закуривая, сказал Уралец.— Что это?

— Смекаю: натуральная осина. И что же?

— А то, что наш бригадир с головой, понимает, для чего пилит лес. И ты это, как говаривал наш старшина, заруби себе на курносом носу.

Алик обернулся к Ивану Ивановичу:

— Бачили?

— По-моему, молодой человек вполне популярно объяснил,— сказал, улыбаясь, лесничий.

Но теперь Уралец стал осаждать старого лесничего, засыпая его вопросами. Его интересовало все: и почему лес смягчает климат, и верно ли, что лес поглощает солнечную радиацию, и чем объяснить, что здесь, на севере, растет ель, а на Украине, в степи, ее нет. Или, продолжал он, почему такая разница: у одной березы шершавый лист, а у другой гладкий, как шелковый, у одного клена листья махонькие, у другого широкие, хоть кастрюлю покрывай.

— Не так уж велики,— заметил Иван Иванович.— Вот у пальм в Бразилии листочки повнушительнее: иные достигают двадцати двух метров в длину и двенадцати в ширину. Такого листочка достаточно не только кастрюлю накрыть, человек десять от дождя спрячется.

— Не может быть, — усомнился Уралец.

— А ты съезди, проверь, — в свою очередь, съязвил Алик. — Как, Иван Иванович, дотопают наш Миша?

— Ой, ребятки-ребятки! Нравится вы мне. Так и быть — прочитаю вам лекцию. В клуб позову. Приводите с собой и всех других любознательных. — Он поглядел в окно, где замелькали огни. — Кажись, приехали. Стал-быть и на твои вопросы отвечу в клубе, досконально, как следует, — похлопал он по тугим плечам Уральца и уже совсем по-родительски повторил: — Ребятки, ребятки! — Потом оглянулся: — А бригадир где?

— В другом вагоне.

— Забыл передать ему: из комбината главный инженер приезжает к нам. Насчет подростка. Так вы скажите Геннадию. Может, вместе-то скорее найдете отгадку. Смекаете?

* * *

На другой день поезд отправился раньше обычного. Добился-таки своего Иван Иванович. И в лес он повез не только денисовскую бригаду и своих лесников. Собрал еще чуть не всех поселковых домохозяек и сам сел с ними, молодежато застегнув на все пуговицы шинельку и довольно ухмыляясь.

Денисовцы ехали в соседнем вагоне. Когда приехали на место, Геннадий Владимирович указал на чернеющую, обрамленную мелколесьем большую вырубку и сказал:

— Мертво-то как!.. Страшно посмотреть. А сколько таких вырубков по всему леспромхозу!..

Помолчав, он вскинул голову:

— На лесоруба привыкли глядеть как на истребителя лесов. Хватит! Вчера эти руки держали топор, а сегодня пусть привыкают к посадочному инструменту.

Он быстро отдал распоряжения и первый, размахнувшись, ударил в землю мотыгой, выворотил на поверхность большой ком перегноя, от которого терпко запахло прелью. Края ямки сочно чернели, с корешка, свесившегося в нее, упала крупная капля влаги. Денисов бережно положил несколько семечек и присыпал их перегноем. Все видели, как по его лицу пробежала радостная улыбка. Это была радость сеятеля, который вышел на работу с глубокой верой в результат своего труда.

Замелькали лопаты и грабли в руках лесорубов. Шеренга шаг за шагом двигалась вперед вдоль вырубki по направ-

лению к мелкоколесью, испятнанному тенями быстро редющих облаков.

За один день бригада засеяла пять гектаров. Верно, все устали, с непривычки «нахватали» руки, побаливало в плечах, но зато сделано хорошее дело. Еще дня четыре поработать, и будет засеяна вся двадцатигектарная вырубка. А это значит, что на ней будут расти не сорняки, как на многих других вырубках, а лес, молодой еловый лес.

Денисов посмотрел на товарищей: а у них какое настроение? Алик улыбнулся бригадиру, дескать, все в порядке. Рядом с Аликом сидел Крутиков и задумчиво смотрел в окно. На что он загляделся? Может быть, при виде молодых елочек, подступивших к полотну узкоколейки, размышляет, через сколько лет зашумит молодой лес на вырубке?

«Ну, продолжай считать», — мысленно разрешил Геннадий и представил будущий лес, который станет добрым подарком новому поколению. Небось порадуетса и сынишка Санька, когда вырастет и узнает, что этот лес сажал его отец. Хорошо, очень хорошо было на душе Денисова.

Но впереди было самое главное — непременно найти способ сохранения подроста. Ведь если его при рубке не губить, то отпадет нужда тратить семена, силы и средства на посев немалых площадей, богатых этой молодью, бесплатным даром природы.

Немало ушло времени на поиски. И вот наступил момент, когда бригада выехала в лес с новой картой работ. С помощью инженеров были устроены волоки — только по ним должны теперь двигаться тракторы. А лес решено было валить веерным порядком в сторону волоков на крупные подкладочные деревья, чтобы сохранить драгоценный подрост.

С волнением ехали лесорубы в лесосеку. Что-то покажет опробование нового способа работы.

Утро было тихое, будто тоже чего-то ждало, не смея шелхнуть листвой, потревожить ветви. На земле, на лапах ельника, на листве берез и осин еще блестела мелкая россыпь росы.

Волок сначала шел под уклон, в низину, затем стал взбираться на взгорок и там уперся в стену леса. Тут и остановился бригадир. Инженер показал, под каким углом валить деревья, и, выбрав толстую ель, стоящую у края волока, приказал:

— На подклад!

Денисов начал подпиливать ее, желтоватая струйка

растений, обитает сорок видов животных и до ста восьмидесяти видов гнездящихся птиц. Есть у нас, сказал он, и лоси, и бурые медведи, и целые колонии бобров.

— Я уже не говорю о наших водоемах,— поднял голову Денисов.— Все вы знаете нашу Волгу, нашу Унжу, Ветлугу, наши рыбные озера. Но самым ценным богатством у нас является лес.— Он заглянул в блокнот.— Без малого две трети территории покрыто лесами. Мы, лесорубы, даем стране около одиннадцати миллионов кубометров древесины ежегодно. Думаем, что это немало. Считали мы с ребятами: не один десяток городов можно построить. Но надо не только рубить, но и выращивать лес. Нельзя только брать из лесной кладовой, надо и пополнять ее. В народе не зря говорят: «Много леса — не губи, мало леса — береги, нет леса — посади!» Лес ведь не трава, растет не скоро. Чтобы вырастить дерево, требуется лет восемьдесят — сто. А спилить его можно за одну минуту. Вот тут-то вся загвоздка.

— Погромче! — попросили из зала.

«Ага, слушают», — обрадовался Денисов и ответил:

— Ладно, сейчас.

Он опять заглянул в блокнот и сказал, что за последние пять лет в костромских лесах вырублено двести сорок тысяч гектаров, а восстановлено покамест только пятьдесят тысяч. Нормально ли это? Нет!

Он стал с осуждением говорить о таких лесозаготовителях, которым все нипочем, лишь бы побольше «кубиков» выставить.

— Им что? Знают: лес голоса не имеет, не осудит. Лес и вправду доверчив. В одной умной книге сказано про него так: «Лес является единственным открытым для всех источником благоденствий, куда по доброте или коварству природа не повесила своего пудового замка. Она как бы вверяет это сокровище благоразумию человека, чтобы он осуществил здесь тот справедливо-плановый порядок, который сама она осуществить не может».

Раздались аплодисменты. А Денисов, переживая их, думал, морща лоб, что же дальше? Ах да, о своей бригаде.

— И вот товарищи депутаты, в этих условиях и подумали мы о восстановлении леса. С помощью инженеров комбината «Костромалес» и леспромхоза наша бригада стала работать по новому способу, при котором сохраняется до семидесяти процентов молодого подроста на вырубаемых площадях.

И он рассказал, что по новой технологии деревья валят не прямо на землю, а на подкладочное дерево, вершинами на трелевочный волок. Поскольку трактор не ходит по делянке, сохраняется почвенный покров и весь молодой лес.

— Вы спросите: а какая денежная выгода? Скажу. Мы и это подсчитали. Новый порядок рубки с сохранением подроста позволит сократить срок восстановления леса на десять — пятнадцать лет. Только по нашей области годовая экономия от этого дела составит несколько миллионов рублей... Вот мы и думаем, что есть за что побороться. Вот так, обеими руками! — поднял он свои крупные, рабочие руки.

Вспомнив, как весной лесорубы впервые взялись за сев леса, Денисов сказал и об этом. На двадцати гектарах, где сеяла бригада, уже появились всходы. Не напрасно потрудились. А если все-то примутся!..

— Судьба «зеленого золота» в наших руках. Мы предлагаем развернуть социалистическое соревнование, которое подняло бы всю лесную армию на бережное использование лесов и их восстановление. Пусть каждый город и поселок станет зеленым и пусть шумят по всей великой Родине молодые леса!

Эти слова зал покрыл дружными аплодисментами. Денисов тоже принялся азартно бить в ладоши. Смущение, которое сковывало его вначале, прошло.

В заключение он сказал, какой помощи ждут работники леса. Помня, как весной приходилось большие площади засеивать вручную, он заявил, что нужны и тут добротные машины. Еще от московских гостей узнал Денисов, что проекты лесокультурных машин и орудий есть, что они разработаны научно-исследовательскими институтами. Так не пора ли пустить их в дело? Пусть в каждом лесном хозяйстве в ближайшие годы побольше появится новых лесохозяйственных машин, тогда веселее пойдет работа. После выступления чувствовал себя так, словно пришлось ему везти большой воз. Идя и вытирая вспотевшее лицо, он думал: все ли и так ли сказал?

На месте, когда все волнения улеглись, он вдруг спохватился: ай-ай, ребят-то и не назвал, никого — ни Тропина, ни Уральца, ни Гагечко...

Успокоился, только когда собрался домой. Дома его ждали новые большие дела. А ребята необидчивые — простят оплошку.

АЛЕКСАНДР ЧАСОВНИКОВ

ПЛОТЫ ПЛЫВУТ

Солнце выставило рамы,
Поднимает птичий гам,
Посевные телеграммы
Рассылает по полям.

Отсырели на делянке
Черно-бурые хлысты.
Елки снежные ушанки
Побросали на кусты.

На кусты, на пень смоленый,
На лесные бугорки.
В картузах стоят зеленых
Сосняки-молодняки.

Дуб звенит на перекрестке
Прошлогоднею листвою.
Две подружки, две березки
Размечтались над рекой.

В снег осколки золотые
Просмоленные летят.
Пилы, жаром налитые,
С вешним солнцем говорят.

Солнцу утреннему рады,—
Здесь за совесть, не за страх
Соревнуются бригады
На ветлужских берегах.

* * *

В луговине караваны
Приготовились в поход.
Говорят, что утром рано
На Ветлуге треснет лед.

Из оврагов прибывает
Голосистая вода,
По-весеннему играют
С теплым ветром провода.

Закачались грузно соймы
На поемной стороне,
Ветер свежий, беспокойный
Открывает путь весне.

Затопило луговину,
Караван сигнала ждет.
Вдруг подвинулась лавина —
И открылся ледоход.

Ударяет в берег льдины,
Оттолкнутся, уплывут
На широкую стремнину —
К Волге, в Каспий курс берут.

Под луной вода клокочет,
Словно на море прибой.
Лед ломает, берег точит
Зверь косматый, голубой.

Ой, водица забурлила,
Подняла спиной плоты,
Плоскодонку утопила,
Напирает на мосты.

Раскидала жерди, сваи,
Нажимает на паром,
Наступает, пробивает
Путь в заторе ледяном.

Ночь прошла, уплыли льдины,
В русло вклинились плоты,
Встали прямо в горловину
Стометровые хвосты.

Зацепились друг за дружку
Великаны сосняки.
На плотах стоят избушки,
А в избушках — сплавщики.

Загудел буксир «Панфилов» —
Скрылась из виду Шарья.
До свиданья, город милый,
Едем в дальние края.
Взял парнишка кировчанку,
Знаменитую гармонь...
Понеслась в степях тачанка,
Поскакал буланый конь.

Льется песня о Катюше,
Что ходила у реки...
До рассвета рады слушать
Гармониста сплавщики.

На бревенчатую площадь
Утро бросило лучи.
Подпевают парням рощи,
Трактора, гудки, грачи...

А буксир пыхтит, торопит,
Дело знает капитан.
Сплавщики на повороте
Выправляют караван.

Рулевые воду роют,
В ход идут багры, шесты.
И плывут покорным строем
Сометровые плоты.

* * *

Вечер — бакенщик бывалый
Ставит звезды на пути.
В небе отмелей немало,
Тучам-баржам не пройти.

Ширь прибрежная наволгла,
Даль огнями расцвела.
Сплавщиков встречает Волга
У Покровского села.

На воде огонь зеленый:
— Проплывайте — путь открыт!
Груз серьезный, миллионный, —
Гордо лоцман говорит.

Ты, вода, моя водица,
Озорной волны разбег,
Волга-мать в свои светлицы
Принимает триста рек.

Волга с севера до юга
Принимает дочерей.
Здравствуй, бойкая Ветлуга,
Друг лесных богатырей!..

Сплавщики размяли плечи,
В Волгу вводят грузоплот.
Их встречает добрый вечер,
Песню волжскую поет...

ВИКТОР ХОХЛОВ

ТРИ ВСТРЕЧИ

Очерк

Был первый день областной выставки. Не в полном смысле слова первый день — выставочный городок, уютно разместившийся на живописной окраине Костромы, существует уже много лет, — но в нынешнем году она только открывалась, и, как в минувшие лета, в этот день с утра все вокруг наполнилось ощущением веселого и красочного праздника. От автобусной остановки шли и шли нарядные люди, громко играла музыка, на открытой эстраде выступали участники художественной самодеятельности, торговые палатки манили веселым разноцветьем витрин.

Мне нравится этот чудесный уголок города, созданный природой и людьми, я бывал здесь не однажды и в нынешний свой приезд не упустил случая прийти на открытие. В павильоне «Земледелие» почти сразу увидел стенд, посвященный колхозу имени 50-летия СССР Костромского района. Не потому, что он как-то особо выделялся, просто я давно знаю этот колхоз, люблю бывать в старинном русском селе Сущево, где расположена центральная усадьба хозяйства. Ну и, естественно, войдя в павильон, первым делом поискал глазами — «есть ли Сущево?». Нашел и тотчас обнаружил, что колхоз, как победитель Всесоюзного социалистического соревнования, награжден переходящим Красным знаменем. На стенде выделялись показатели роста посевных площадей, валовых сборов продукции, урожаев. Цифры были внушительные: зерновых собирают до сорока и более центнеров с гектара, а картофеля — свыше двухсот. Славные результаты для здешних мест!

Перейдя в павильон «Животноводство», я опять на красочном стенде встретил знакомое название. Под броским лозунгом «Будущее за двухциклическим распорядком дня!» сообщалось о том, что сущевский колхоз внедрил на животноводческих комплексах новую, прогрессивную форму организации труда с восьмичасовым рабочим днем и одним выходным. Далее следовало подробное описание, как все

это делается на практике и какие отличные дает результаты: возросла производительность труда, увеличились надой, валовое производство и продажа молока государству, лучше стал оплачиваться труд доярок.

Не обошлось без участия Сущева и в павильоне «Кормопроизводство» — здесь отведен уголок показу работы его кормоцеха, оснащенного новейшей техникой.

— Не многовато внимания одному колхозу? — осторожно спросил я организаторов выставки, хотя в глубине души и порадовался столь обширным успехам сущевских колхозников. — Другие не обидятся?

— Чего же обижаться, хороший опыт всем полезен... Кстати, а вы в павильоне «Картофель и овощи» были?

— Нет еще. А что?

— Главная-то экспозиция по этому хозяйству там...

В тот же день я отправился в Сущево.

Сколько раз за свою жизнь проехал я по этой дороге, знал тут каждый спуск и подъем, малейший поворот, и все-таки теперь видел ее словно бы впервые. Белая полоса, строго разделившая асфальтовое полотно на две части, стремительно летела навстречу, чистый ветер полей свистел за открытым стеклом.

Шофер, загорелый худощавый говорун, небрежно положив руки на баранку, рассказывал о здешней природе, несело любопытствовал:

— Как вам у нас?.. Красивые места, верно?

А узнав, что я тут не новичок, приходилось бывать и раньше, спросил с улыбочкой:

— Небось в первый-то раз когда ехали, другое впечатление осталось. Потрясло на ухабинах, верно?

Я тоже улыбнулся. Вряд ли представлял себе парень, как давно это было. Пожалуй, лет сорок назад... Нет, побольше...

Мы жили в Костроме, и в базарные дни к нам домой частенько заезжали две пожилые женщины из Сущева, не то дальние родственницы, не то знакомые. Были они сестры, староверки, и звали их Марья и Дарья. Перед тем как отправиться на базар, сестры заходили отдохнуть и погреться с дороги. Втаскивали на кухню связанные попарно скрипучие корзины с большими бутылками-четвертями, в которых беззвучно плескалось и пузырилось молоко, и сразу вся квартира наполнялась смешанным запахом овчины, сена, печеного хлеба. Маша и Даша истоиво крестились у порога и лишь после этого начинали разматывать замухрившиеся

от инея серые в крупную клетку платки и расстегивать старенькие полушубки. Потом, порывшись в пестрядинных тряпицах между бутылками, доставали деревенские гостинцы, радушно оделяли ими нас, ребяташек, и только после этого садились пить чай. Пили степенно, неторопливо, громко откусывая сахар и звучно прихлебывая. А говорили — словно песню пели, так у них выходило складно да певуче, такие округленные, словно колобочки, были слова; с оживленным интересом выспрашивали городские новости, поминутно удивляясь: «Да неужто? Ну-ко, ну!..»

Как-то летом сестры взяли меня к себе в гости. «На Сущево наше наглядишься, по ягоды походишь, парного молочка от Звездки попьешь», — ласково приговаривали они, собираясь в обратную дорогу.

Ехали мы долго, и мне показалось, что Сущево находится где-то за тридевять земель, за дремучими лесами. Впрочем, я согласился бы ехать сколько угодно, хоть месяц, так хорошо было лежать в телеге, вдыхая запах скошенной травы и нагретых сосен, сквозь дрему наблюдая, как медленно проплывают мимо казавшиеся вековыми леса. Телегу неимоверно трясло, и разговор получался забавным: «Тё-тё-тё — Ма-ма-ма-ша-ша...» Время от времени тетя Маша, пошевелив толстыми вожжами и почмокав, заставляла лошадь свернуть с мощеной части дороги на обочину, и тогда наступали сладостное спокойствие и тишина — колеса, глубоко погружаясь в мягкую пыль, катились словно по перине, тихо поскрипывала старенькая телега, и певуче лился убаюкивающий тети Дашии рассказ:

— Эта дорога называется Вологодский тракт. Есть Молвитинской тракт, есть Кинешемской, а это значит, Вологодской, самый главной. Прежде возили по нему купцы товары от волжских пристаней до Вологды, а оттуда, по северной реке, аж до самого города Архангельска. Ездили только зимой, в другое время дороги не было, непроходимые болота лежали кругом. И творилось тут чудес всяких множество. По чащам лесные разбойники да беглые каторжники прятались, на обозы нападали, богатых купцов убивали, а деньги-то награбленные в землю хоронили, и теперь еще в лесах тутошних кладов зарытых лежит видимо-невидимо. В одном лесу беглые люди Стеньки Разина укрывались; одеты не по-нашему, в диковинные какие-то наряды, будто скоморохи, почему и прозвали тот лес Скомороховским, так и досель он зовется — Скомороховской лес. А гора, что напротив Сущева, Мясничихой прозывалась, потому как

больше всего тутотки разбойнички озоровали — мясничали...

— А почему Сущево так назвали? — допытывался я и за-
таивал дыхание, слушая удивительную, похожую на сказку,
историю:

— Землицей-то здешней в старопрежние времена разные
хозяева владели: по одну сторону дороги — Апраксинской
монастырь, а по другую, стало быть, помещик. И вот власти
решили, что тут, на тракте, коренное торговое село должно
стоять — с чайной, с трактиром, ну и, само собой, с церковью.
Потому как без божьего храма какое же село? Оглядели все
вокруг и надумали, что лучше, чем гора Мясничиха, места
не найти. Ну, пошли на ту гору, поп-батюшка землю освятил,
икону поставил и сказал: «Здесь церкви быть». А ночью... —
в этом месте рассказа тетя Даша понизила голос и испуганно
округлила глаза, — ночью икона-то и исчезни. Как сквозь
землю провалилась. Полдня ее всем миром искали и нашли
аж по другую сторону дороги, в болоте. Подивились люди
и снова святой образ на гору отнесли, да только и на другую
ночь икона опять в болото ушла. Видно, столь тяжких грехов
на той горе содеяно было, что не захотела она тамоди стоять.
Ну и сказал тогда батюшка: «Сущих здесь господь бог
благословляет, значит, тут и храму стоять». Так и построили
церковь внизу — сперва деревянную, а опосля, когда она
стореда, каменную, что и по сей день стоит».

— А что значит «сущих»?

— Это слово такое, церковное, — терпеливо объясняла
тетя Даша, — оно людей обозначает. От этого слова и назва-
ние пошло — Сущево...

Много всяких былей и небылиц наслушался я в то не-
забываемое лето. Впрочем, неторопливые рассказы о старине
то и дело оттеснялись другими впечатлениями. Вечерами,
сидя на бревнах около нашего дома, мужики степенно толко-
вали о конной молотилке, купленной жителями села сообща,
о Шунгенской гидростанции, о загадочных коммунах и кол-
хозах. Маша и Даша по причине своей неграмотности участия
в этих разговорах не принимали, однако тоже с любопытством
прислушивались к ним...

* * *

Снова судьба привела меня сюда лишь много лет спустя,
в середине пятидесятых годов. Случилось это опять в чудес-
ную летнюю пору, в разгар сенокоса. Председатель колхоза
Леонид Михайлович Малков спешно собирался «за море»,
на дальние пожни, и я напросился в попутчики.

Здесь надо кое-что пояснить. В те годы только что закончилось строительство Горьковской ГЭС. Грандиозное сооружение это внесло немалые перемены в жизнь верхневолжья: поднялся уровень воды в Волге и притоках, обширные территории были затоплены, возводились дамбы, плотины. Перегороженная земляной перемычкой, по новому руслу потекла река Кострома. Образовалось Костромское море, и Сущево стало «приморским» селом.

Когда Малков принял колхоз, он первым делом подумал о заморских заливных лугах. Сколько помнил себя, росли там густые, сочные травы и не было лучших сенокосов окрест. Правда, в былые годы, до образования моря, ездили в те луга запряжено, на телегах да на тракторах, теперь же требовалось хорошенько поразмыслить, как организовать дело.

На чем доставлять в луга косарей? Ежедневно возить их туда и обратно или же поселять за морем на весь сезон? Если второе, то, значит, надо строить временное жилье, организовать быт, обеспечить культурное обслуживание... Короче говоря, вопросов возникало много, и яснее всего вырисовывался один: «приморскому» колхозу нужен был свой флот. Может быть, это звучало несколько громковато и речь, по существу, шла пока всего лишь о двух моторных катерах и барже, но так или иначе вопрос «о приобретении флота» был поставлен на правлении колхоза. Ну и, конечно же, не обошлось без сомнений, жарких споров: уж больно необычной поначалу представилась постановка вопроса, да и денег в колхозной кассе было не густо.

«Разве других забот у колхоза мало?» — пытался урезонить Малкова бывший председатель Федор Васильевич Будкин.

«А это что, не важная забота? — не сдавался Малков и горячо доказывал: — Я уже не говорю о прямой выгоде и о том, что катера окупятся в один год. Просто надо о людях подумать. Мы отправляем на сенокос семейных. Один старенький катерок не справляется. Чуть что случилось — мотор сломался или еще какая-нибудь осечка вышла — и людям приходится загорать за морем иногда до полуночи. А дома детишки...»

Так он убеждал членов правления долго и горячо и не на шутку сердился на тех, кто уперствовал в решении столь ясного вопроса. Да, денег у колхоза было в обрез, и пускать их они могли только на такое дело, которое нельзя откладывать на завтра. Так вот, покупка катеров в то время и была

Для их колхоза именно таким делом. Может, немного непривычно для понимания — катер не сеялка, — но ошибки не было никакой!

В конце концов с Малковым все же согласились, и вскоре у колхоза появился собственный флот.

Подготовка к первому заморскому сенокосу началась погоды. Старательно оборудовали причал, осматривали и приводили в «боевую готовность» палатки, готовили кухонное снаряжение... Неделю над деревьями висел малиновый шпон: отбивали косы.

И вот пришла она, та незабываемая сенокосная страда.

Леонид Михайлович не поэт. Однако всякий раз, когда приезжал он на дальние пожни, в душе его рождалось какое-то необыкновенное чувство. Дни стояли безоблачные, жаркие, все вокруг буйно зеленело, и трава росла выше носа. Прибрежный луг с палаточным городком, загорелые косари, женщины в разноцветных платочках, словно в зеркале, отражались в спокойной, чисто-голубой воде. А в воздухе далеко вокруг плыли запахи, которые не сравнить ни с чем и лучше которых нет на свете, — опьяняюще пахло недавно скошенной, подвялившейся на полуденном солнце травой.

Впрочем, поскольку Леонид Михайлович не поэт, а хозяйственник, то он, полюбовавшись увиденной картиной, начинал прикидывать в уме, сколько примерно запасут здесь сена и во что это обойдется колхозу. И хотя цифры получались в общем-то вполне отрадные, в голову председателя закрадывалась беспокойная мысль. «То, что обзавелись своим флотом, конечно, хорошо, — размышлял он, — однако незамедлительно надо подумать о механизации сенокоса, вести дело таким дедовским способом по нынешним временам не годится. Да и невыгодно. Надо покупать технику».

Тогда это были только мечты и раздумья. Теперь в сенокосную пору на заморских лугах вместе с косарями работали машины: пресс-подборщики, волокуши, стогометатель. Необходимость ежедневно возить на сенокос женщин почти отпала. Получилась большая экономия в рабочей силе, резко снизилась себестоимость сена: если раньше тонна обходилась колхозу в семнадцать рублей, то теперь — не больше девяти. Ежегодно заготавливалось сена по две тысячи тонн — это гораздо больше, чем накашивали раньше.

Обо всем этом Малков рассказывал взволнованно и горячо, как бы заново переживая в мельчайших подробностях все минувшие события, приключения, радости, неудачи. Слушать его было прелюбопытно. Внешний вид

Леонида Михайловича — внушительная, грузноватая фигура, полное, с крупными чертами лицо — скорее заставлял предположить в нем степенность, медлительность в речах или даже склонность к молчанию. Однако, познакомясь с ним, довольно скоро можно было заметить и непоседливость, и быструю смену настроений, и природную живость ума.

Собеседник мой стоял у борта катера, крепко обхватив сильными пальцами железные поручни, и, чуть наклонясь вперед, подставляя лицо влажному упругому ветру. Голубой искрящийся простор мчался навстречу, миллионы солнечных зайчиков прыгали по воде, слепили глаза, еще более усиливая ощущение зноя. Под ногами мелко дрожала раскаленная палуба.

Леонид Михайлович вдруг отцепился от поручней и, не говоря ни слова, стал раздеваться. С усилием стащил через голову прилипшую к телу рубаху, расшнуровал туфли, и не успев я глазом моргнуть, как председатель колхоза остался в одних трусах. «Что это он, — удивленно подумал я, — купаться надумал? Но как же на ходу?» Между тем Малков, обжигая о горячее железо пятки и смешно подпрыгивая, пробежал на корму, чем-то загромыхал, вытащил ведро на длинной веревке и швырнул его за борт. Ведро шлепнулось о воду, утонуло, захлебнувшись, и в следующее мгновение повисло над волной, звучно роняя серебристые капли. Быстро перебирая руками мокрую веревку, Леонид Михайлович подтянул его к себе, перехватил, поднял и, радостно ухнув, опрокинул на голову. Так он проделал несколько раз. Весело хохотал, прыгал, как мальчишка, и, наконец, уgomонившись, весь мокрый, с прилипшими ко лбу редкими волосами, страшно довольный, протянул ведро мне:

— Давай!..

А я смотрел... на его ноги, изуродованные шрамами. Может, и не к месту было, спросил:

— На фронте покорябало?

— В разведке... Держи бадью-то, окатись, не пожалеешь...

Не в тот раз, много позднее разузнал я, где и как воевал Малков, при каких обстоятельствах настигли его вражеские пули.

...Повестку из военкомата он получил в самом начале 1943 года. Мечтал сразу попасть на передовую, а угодил в саперное училище. И воевать бы ему в составе инженерных войск, если б во время формирования части не приглянулся молодой сапер командиру разведроты. Ве-

белый курносый лейтенант с белокурым чубчиком подошел к Малкову после построения. Будто старый знакомый, ткнул кулаком в плечо, дружелюбно спросил:

«Ярославский?»

«Из-под Костромы, товарищ лейтенант», — слегка оробев, отвечал Леонид.

«Все равно — волгарь! Люблю костромских ребят. — И вдруг предложил: — Разведчиком стать хочешь?»

Малков растерялся: разве в армии профессию выбирают? Куда пошлют, туда и пойдешь. К тому же разведчики всегда казались ему людьми особенными, недоступными воображению. Поэтому ответил неуверенно:

«Не знаю... Не погожусь, чай».

Но лейтенанту такой ответ, должно быть, пришлось по душе, весело успокоил:

«Погодишься, у меня на людей глаз верный. А с начальством я договарюсь».

Так нежданно-негаданно попал Леонид Малков в дивизионную разведку. Был он физически силен и вынослив, в любую погоду отлично ориентировался на местности, и потому дело сразу пошло. Старые разведчики полюбили его за храбрость и удачливость, и самой популярной песней у них стала: «А ну-ка, дай жизни, Калуга, ходи веселей, Кострома!»

Однажды февральской ночью младший сержант Малков во главе небольшой группы отправился в очередной рейд за «языком». Было это в Белоруссии, недалеко от Витебска. Ночь выдалась ветреная и мгlistая, сильно пуржило, и Малков, почти вслепую различая известные ему приметы, радовался этой выюге и темноте. Он был уверен в себе и в ребятах, не сомневался, что удастся незаметно для неприятеля подползти к самым окопам, а там — «дело техники».

Им повезло: взяли унтер-офицера. Шел по ходу сообщения один, осторожно посвечивая из-под полы карманным фонариком, видимо, отправился проверять посты. Обратали молниеносно, пикнуть не успел; быстро, без шума пустились в обратный путь.

А потом произошло непредвиденное: на нейтральной полосе столкнулись с вражеской разведкой. Взорвалась ночная метельная тишина, испуганно и зло хлестнули из темноты автоматные очереди, три ракеты взвились в небо. В бледном мерцающем свете успел заметить Малков, что

гитлеровцев гораздо больше, чем их, скомандовал ребятам:

«В бой не вступать! Не останавливаться! Я прикрою...»

Плюхнулся за какую-то кочку, чтобы не настигла шальная пуля, выпустил несколько длинных очередей по возникшим впереди силуэтам в немецких касках. Послышались стоны, ругательства, и в тот же миг его сильно ударило по ногам и в плечо. Падая, Леонид увидел прямо перед собой долговязого гитлеровца и успел выстрелить в упор.

С перебитыми ногами и руками, истекая кровью, часто теряя сознание от невыносимой жажды и боли, он провалялся в кустах около суток. Рядом с ним лежал убитый фашист, и Леонид притворялся мертвым, стараясь ни малейшим движением, ни стоном не выдать себя. На следующую ночь за ним пришли товарищи...

Обо всем этом, повторяю, узнал я позднее, а тогда Леонид Михайлович не склонен был предаваться столь далеким воспоминаниям, его занимали сегодняшние дела.

Издали завидев берег, где работала сенокосная бригада, он быстро натянул на необсохшее тело одежду, причесался и занял прежнее место у борта, вновь обретя облик строгого, озабоченного руководителя.

У косарей Малков пробыл часа два. Придирчиво осмотрел свежие стога, посидел с окружившими его женщинами, шутливо отбиваясь от каких-то их претензий и в то же время делая пометочки у себя в блокноте, пожурил повариху, отдал необходимые распоряжения бригадирю. Возвращаясь к причалу, опять заговорил о том, что беспокоило его, по-видимому, больше всего:

— Техники маловато, вот в чем беда. По делу-то надо бы все сено прессовать и сразу вывозить на понтонах, а оно пока не выходит.

Когда поднялись на катер, подумал о чем-то и коротко приказал мотористу:

— Давай к Пантелееву!..

Александр Федорович Пантелеев — пастух, «начальник отгонных гуртов», проживающий тут с весны до осени почти полным отшельником.

Идея пасти здесь телят родилась вскоре после того, как колхоз обзавелся собственным флотом. Навещая заморские владения, объезжая и зорко осматривая их вдоль и поперек, прикидывал Малков: а нельзя ли извлечь

еще какой выгоды из этих подсобных земель? Почему бы, скажем, в тех местах, куда с косилкой не сунешься, не пасти молодняк? Травы отличные, заросли кустарника укроют животных от жары и спасут от слепней, и охраны никакой не надо — кругом вода. Как говорится, дешево и сердито.

Задумано — сделано. Ранней весной подобрали место поживописнее, с красавицами ветлами на берегу, поставили в тени их вагончик для пастуха, а в мае переправили на пароме более сотни телят. Пасти их вызвался Пантелеев. Соорудил он стол и скамеечки под ветлами, сделал изгородь, привел в порядок рыболовные снасти и поселился тут на все лето. Время от времени его навещала жена. Привозила продукты, чистое белье, наводила порядок в его неприхотливом жилище.

Первый же год показал, что опыт вполне удался. К октябрю телята нагуляли хороший вес, откорм их обошелся колхозу намного дешевле, чем ожидалось.

С той поры каждый год, как только зазеленеет трава, собирал Александр Федорович новый гурт, грузил шарахающихся от воды «пассажиров» на паромы и отправлялся с ними в плавание...

Пантелеев, худой, обветренный и веселый, встретил нас радушно, сразу принялся показывать свое хозяйство, одновременно расспрашивая председателя о колхозных новостях: как, мол, там, на «большой земле»? Интересовало его, в частности, строительство животноводческого комплекса. Тогда, как мне помнится, эта стройка была на языке у всех сущевских колхозников, а у работников животноводства в особенности. Малков, который тоже, что называется, спал и видел этот комплекс — современный, механизированный, с высокой культурой производства, — заговорил о нем охотно. Правда, радоваться, по его словам, пока было нечему — работы разворачивались медленней, чем хотелось бы, к тому же не хватало строительных материалов.

— Что я тебе скажу, Михайлыч, — вдруг перебил Малкова Пантелеев. — Я все смотрю вокруг и думаю: сколько леса зря пропадает. И перестоя много, и зарослей непригодных. Поставить бы нам тут пилораму, да и давай, крути, Гаврила! Вот тебе и будет стройматериал — свой, некупленный. Конечно, это не выход и не спасение, но все же кой-какая подмога. Мало ли тесу понадо-

биться: для полов, для стропил, для дверей и окон, для переборок разных...

Леонид Михайлович слушал внимательно. Задумчиво рассматривая доброе, оживленное лицо Пантелеева, золотистые, выбеленные солнцем кудри, которые выбивались из-под старенькой кепчонки, кажется, думал: «А ведь дело говорит Александр. Определенно, стоящее дело. Надо попробовать».

Спустя некоторое время, за море будет переправлена новенькая, только что приобретенная колхозом пилорама. И опять кое-кто выскажет сомнение: дескать, не пустячная ли это затея и тем ли, чем нужно, занимается колхоз? Но когда в колхозную «гавань» придут первые паромы, груженные свеженьким тесом, все сомнения развеются в прах. Тотчас и выгоду подсчитают: если раньше тес покупали по пятьдесят рублей за кубометр, то теперь он будет доставаться колхозу в семь-восемь раз дешевле, да к тому же без всяких хлопот.

Обратно мы возвращались уже к вечеру. Море было спокойное, ласковое, голубая с красноватой подсветкой вода мягко расступалась перед катером, и волны плавно, длинными шелковистыми складками расходились к далеким берегам. Кусты, деревья, стога черными силуэтами опрокинулись в прибрежную глубину.

Леонид Михайлович, видимо, поустал — вдвоем с Пантелеевым они долго где-то пропадали: осматривали пастбища, лазали по зарослям ольховника, выбирали место для будущей пилорамы. Теперь он молча сидел на корме, о чем-то размышляя и сосредоточенно всматриваясь в темнеющую даль.

Море, море... Ведь и невелико вроде бы, и морем-то его называют условно, — кроме костромичей да ярославских рыбаков, никто, пожалуй, и не знает, что есть такое на свете, но вот существует! Раздольное, красивое — может быть, красоты такой и не сыщешь нигде. И коварное тоже, особенно в непогоду. Как в песне поется: «В роковом его просторе много бед погребено». Слышал я, что и сам Леонид Михайлович однажды чудом спасся от верной гибели. Не о том ли вспомнил он теперь?

...Случилось это хмурым ноябрьским днем.

Почти всю неделю, как сквозь сито, сеял мелкий занудливый дождь. Приехавший «из-за моря» гуртоправ сказал, что часть стогов сена, которые были поставлены на самом берегу, подмыло волной, как бы не унесло

совсем. Малков (тогда он был заместителем председателя колхоза) встревожился не на шутку: год выдался нелегкий, кормов запасли в обрез, надо спасти сено во что бы то ни стало. Только кого же послать? Кому захочется плыть в такую непогоду? И председателя, как на грех, не было на месте, в город уехал. Хочешь не хочешь, а принимай, заместитель, срочное решение. И он сказал:

«Поеду сам».

Поглядел в окно на сырое, набухшее дождем небо, окинул вопросительным взглядом мужиков, которые собрались по этому случаю в конторе, спросил с запинкой:

«Кто со мной? Есть желающие с ветерком по морю прогуляться?»

Некоторое время в комнате царил молчание. Мусолили сомокрутки, негромко покашливали, вздыхали.

«Меня возьмешь? — подал голос Николай Куделин. Вид у него был беззаботный, улыбка от уха до уха, будто и в самом деле речь шла о весьма приятной прогулке. — Не забракуют?»

«Может, и забраковал бы, — в тон ему отвечал Леонид, благодарно улыбнувшись шурина, — да боюсь, Лида обидится: не по-родственному, скажет. Мол, сам гулять, а родню побоку?»

«Ну, раз так, тогда и я с вами», — заявил другой брат жены, Василий.

«Хорошая компания подбирается, семейная, — продолжал Леонид. — С такой бригадой не то что за море — за океан махнуть одно удовольствие».

«А что? Можно и за океан. Только пива с собой захватить поболее, иначе пропадешь. В тех океанах вода, говорят, жутко соленая, для питья не годится: как глотнешь — глаза на лоб, и соль на пузе выступает, горстями собирать можно».

«Много пива тоже нельзя, с курса собьешься. По бочке на брата — в самый раз».

«Значит, берем три бочки?»

«Ага. И мешок воблы... А может, еще кто желает?»

Братья продолжали балагурить, и к ним присоединялись новые добровольцы.

«Пожалуй, хватит, — решил Малков. — Запись окончена. Кто опоздал — в следующий раз. Вне всякой очереди!»

Эх, не надо бы тогда смеяться, не добром все эти шуточки обернулись...

На тот берег доплыли без приключений. За работу взялись с азартом, ни единой передышки себе не дали, пока не переметали все стога и не поставили их в безопасной зоне. Только тогда сели покурить. Запыленные, потные, уставшие до предела, расположились в сторонке от стогов, кто на чем — на поваленной березе, на старом пеньке, на сложенной вдвое фуфайке. Курили и улыбались друг дружке, крайне довольные, что так ладно поработали, а главное — вовремя управились с важным делом. Молчали, балагурить не было сил, лишь изредка кто-нибудь бросал два-три ничего не значащих слова, вроде:

«Большую гору своротили».

«Успели в самый раз. Того и гляди, уплыло бы колхозное сенцо...»

Разгоряченные работой вовсе не ощущали холода, к тому же сидели в затишке, на маленькой полянке, укрытой от ветров густыми зарослями ольховника.

Между тем погода все ухудшалась, серые клочья облаков едва не задевали верхушки деревьев, на море появились предвестники шторма — злоеющие буруны.

Первым спохватился Василий Денисов.

«Однако, братцы, что-то зябко стало, — поежился он и понюхал воздух, — вроде как зимой запахло. Должно, ветер переменялся. Не пора ли нам, пора...»

«...Что мы делали вчера, — подхватил было Николай Куделин и осекся. Поднявшись на ноги, он озабоченно смотрел в сторону моря. — Эй, гляньте-ка, что на море-то делается. Мать честная!»

В голосе его прозвучала такая тревога, что все вскочили.

Малков сразу оценил серьезность положения. Спокойно, насколько мог, приказал:

«Быстро к лодке! Только без паники».

Но когда подбежали к берегу и стали суматошно прыгать в лодку, он понял, что при такой буре плыть крайне опасно. Большая завозня плясала на волнах, словно байдарка, рвалась в море, уходила из под ног, так что Василий едва не свалился за борт. Скрежетала старая цепь, волны с тяжелым шумом обрушивались на размытый глинистый берег.

«Опасно. И не ехать нельзя, — торопливо соображал Малков. — В деревне, поди, уже переполох, — вот-вот выедут спасать на легких лодках. В такую-то бучу...» И он принял решение:

«Стойте! Все назад, на берег! Если перегрузим лодку,

ее запросто может захлестнуть. Сделаем так: двое-трое поедут со мной сейчас, остальные будут ждать здесь. Сразу, как поутихнет, пришьем катер. Женам скажем, чтобы не волновались».

Однако оставаться никому не хотелось. Пришлось уговаривать и даже кричать. Некоторые обиделись и считали себя чуть ли не брошенными на произвол судьбы. Он не стал никого успокаивать. Сам отвязал тяжелую, мокрую цепь, с трудом оттолкнулся от берега и, больно ударившись ногой, упал в лодку. Надо было спешить, пока не раздуялось по-настоящему.

Только и ветер, кажется, спешил. Все сильнее раскачивал он море, такое мирное, уютное в тихую погоду, совсем не похожее на настоящее море — и такое неукротимое, дикое теперь. Тяжелую завозню мотало из стороны в сторону, водяные брызги носились в воздухе, поминутно осыпая до нитки промокших людей. Малков напрягал зрение, пытаясь разглядеть в тумане зыбкие очертания ближнего берега, прикидывал в уме, сколько километров прошли.

«Ничего, братцы, как-нибудь доплывем, — успокаивал себя и друзей. — Уже меньше половины осталось».

Если бы он знал, если бы мог предвидеть...

Грязно-зеленая волна с огромным¹ пенистым гребнем налетела справа. Лодка сильно накренилась, ледяной поток окатил Малкова.

«Держись крепче!» — успел крикнуть он во весь голос.

Но в это время новая лавина воды обрушилась откуда-то сверху. Завозню швырнуло, будто щепку, раздался треск, и Леонид почувствовал, что летит в бездну...

Полузадохшийся, оглушенный, он с трудом преодолел бесконечную толщу воды и, вынырнув на поверхность, увидел, что случилось непоправимое: лодка перевернулась. Мрачное, просмоленное днище беспомощно прыгало среди бесновавшихся волн. Возле, с посиневшими, искаженными от страха лицами плавали его друзья. Малков кричал им, чтобы хватались за борта, до берега не доплывешь, надо ждать помощи.

«За нами приедут. Не может быть, чтобы никто не догадался, — подбадривал он себя и товарищей, с трудом уцепившись окоченевшей рукой за расщелину борта. — Главное не ослабеть... И не удариться головой о лодку... Надо все время следить за волной...»

Более двух часов, показавшихся целой вечностью, боролся он со стихией. Ледяная вода сковала ноги и руки,

адский холод проник в кости, в кровь, в мозг. Временами казалось, что нет уже мочи сопротивляться, и Малков со страхом следил за стремительно набегающим водяным валом. Но побелевшие пальцы еще крепче, мертвой хваткой впились в бортовую обшивку, а сам он на мгновение погружался в воду, спасаясь от беспощадного удара волны.

Все, что было после, вспоминалось очень смутно, словно это было давным-давно и не с ним вовсе, а с кем-то другим.

Когда подоспела помощь, на воде держались только двое: Николай Куделин и он. Их с трудом оторвали от перевернутой лодки и после долго откачивали на берегу... Помнит Малков, как привели его, закутанного в чей-то тулуп, домой и как испуганно отшатнулась жена, до такой степени он изменился. Ему помогли забраться на печь, и Леонид Михайлович лежал там прямо в тулупе, не чувствуя жара кирпичей. Все тело бил жестокий озноб, зубы колотились о кружку с горячим чаем, и он не мог сделать ни одного глотка.

Пережитое потрясение повергло Малкова в болезненный сон, который длился более пяти суток. И странно было, проснувшись, услышать почти те же слова, как когда-то во фронтовом госпитале:

«Поздравьте себя со вторым рождением!»

«Теперь уже с третьим», — горько подумал Леонид Михайлович.

«Встанете вы еще не скоро, — продолжал врач. — Однако самое страшное позади...»

Он ободряюще говорил что-то о богатырском здоровье и великой воле к жизни, а перед глазами Малкова опять бушевало море, прыгало черное днище перевернутой лодки, мелькали испуганные лица друзей.

«Что такое? Вы плачете? — услышал он. — Дорогой мой, надо взять себя в руки...»

«Да, да, надо взять себя в руки, — мысленно соглашался с врачом Леонид Михайлович. — Надо жить». И вместе с неодолимой горечью сильнее и сильнее овладевало им сознание ответственности за всех и за все.

Я не решался отвлечь Малкова от раздумий, хотя молчание, признаться, несколько меня тяготило. Солнце совсем почти скрылось за деревьями; какое-то время прощальный свет его пробивался сквозь переплетение ветвей, но

вскоре лес потемнел и словно бы уплотнился, слившись в сплошной непроницаемый массив. Стало заметно прохладней. Легкая, перевозданная тишина легла на окрестности, лишь монотонный стук мотора летел и летел над водой, замирая в прибрежных чащобах.

Старая колокольня показалась на далеком берегу, несколько домов рядом, а вокруг — ни огонька.

— Село Мисково, — подал вдруг голос Леонид Михайлович, очевидно заметив, с каким любопытством стараюсь я хоть что-нибудь рассмотреть. — А там вон — бывшие деревни Шода, Вежи... Так сказать, земля деда Мазая.

Взволнованно вглядывался я в еле различимые берега, живыми картинами воскресали в памяти знакомые с детства стихи:

В августе около Малых Вежей
С старым Мазаем я бил дупелей...

И сама деревенька Малые Вежи, от которой ныне осталось одно лишь воспоминание, будто из сказки, чудесным видением вставала:

Вся она тонет в зеленых садах,
Домики в ней на высоких столбах
(Всю эту местность вода поднимает,
Так что деревня весною всплывает,
Словно Венеция). Старый Мазай
Любит до страсти свой измененный край.

Думалось о том, что поэт тоже «до страсти» был предан этому краю, любил здешних обитателей, трудолюбивых и доверчивых, талантливых и чистых душой, многие из которых стали прообразами его бессмертных произведений. Где-то здесь услышал Некрасов и рассказ о злодейском убийстве двух коробейников, что свершилось, наверно, вон в том лесу, недалеко от Мискова. «Другу-приятелю Гавриле Яковлевичу (крестьянину деревни Шоды, Костромской губернии)» — такое посвящение сделал он под заглавием поэмы «Коробейники». Не какому-либо выдающемуся деятелю, а простому мужику. Знать, незаурядным человеком был крестьянин Гаврила Яковлевич Захаров, если поэт, прямо адресуясь к нему, писал: «Почитай-ка! Не прославиться, угодить тебе хочу. Буду рад, коли понравится, не понравится — смолчу...»

— Деревни у нас старинные,— продолжал Леонид Михайлович,— ровесницы Москвы. Когда в Мискове и Жарках перед затоплением ломали дома, то в углах находили деньги времен Ивана Грозного. А занимались тут испокон веков хмелеводством. Бывало, как с хмельников потянет ветерком — запах такой... ни с чем не сравнить,— Малков pokrутил головой. Помолчав немного, задумчиво произнес:— Хоть и не больно удобные это земли, а если разобраться, так они, может, самые наилучшие, к тому же по крайней мере лет шестьсот хорошо удобрялись. Кусты раскорчевать да насадить овощей, озолотиться можно.— Он засмеялся.— Чем не подспорье?

Неудобные земли, «неудобья» — их много в здешних низменных краях, таково Нечерноземье. Заболоченные, закочкаренные, заросшие мелколесьем, разрезанные на мелкие участки быстротечной водой. Не сразу подступиться к ним, и кое-где сотни гектаров подобных земель пребывают в полном забвении. Красиво, а пользы нет. И не всегда в бесполезности их природа виновата. В этом твердо убежден Малков.

Леонид Михайлович окончательно вышел из несвойственного ему состояния задумчивости, оживился, заговорил о больших планах на будущее — мечтал он значительно поднять урожайность полей, перестроить на современный лад работу в животноводстве, всерьез заняться строительством жилья и благоустройством сел.

Впоследствии, наведываясь в Сущево, я с удивлением и радостью наблюдал, как быстро, буквально на глазах воплощались замыслы его в конкретные, живые дела. В связи с этим расскажу еще об одной встрече.

* * *

Как сейчас помню, стоял знойный, сухой июль. Душная желтоватая пыль висела над проселками, толстым горячим слоем покрывала стоявшие наготове комбайны, каноты и крылья автомашин.

Ждали дождя. От весенних грозových ливней дружно принялись травы, а вот яровые не успели набрать силы, остановились в росте и теперь, чахлые, худосочные, сгорали на глазах.

Отправляясь после обеда в ближние бригады, Малков хотел еще раз взглянуть на поля. Особенно его беспокоил ячмень.

— Если в ближайшие дни не помочит хоть немного,—

ошибочно говорил он, — считай, что посеы пропали — не возьмешь ни зерна, ни соломы. Сейчас еще можно скосить ячмень на зеленую подкормку, превратить его в молоко, а через два дня и эта возможность будет упущена...

Косить или ждать? И в том и в другом был риск. Словно в сказке: направо поедешь — коня потеряешь, налево — сам пропадешь. Какое принять решение? Скосить — значит, только коня потерять. В вдруг завтра или послезавтра — ливень, «по закону подлости»? Будешь тогда себе локти кусать. Никто не даст ответа, никто не подскажет, как поступить, но за любую ошибку придется расплачиваться, это уж как пить дать. Решайся на что-то, председатель. Сегодня. На раздумье больше времени нет...

Он заглянул в кабинет главного агронома, окликнул:

— Ирина! Не очень занята?

— Нет, а что? — выгоревшие брови Ирины Петровны настороженно взлетели.

— Съездим-ка вместе, посмотрим ячменя.

Видно было, что Глиницу охватило беспокойство. Суетливо прибирая на столе, она то и дело искоса поглядывала на председателя, словно ожидая от него какой-то недоброй вести. О сомнениях Малкова Ирина Петровна догадывалась. Она знала также, что не сегодня-завтра председатель твердо, как о деле решенном, скажет: «Ячмень косить на зеленку. Быстро! Больше ждать нельзя». Ждала и боялась этого приказа.

В машине было, как в печке: дверцы, стекла, дужки — все раскалено, кожаное сиденье обжигало руку. Душно нахло горячей пылью.

— Вот жарница, прямо спасу нет, — досадовал Малков. — А вокруг — дожди. В Сандогоре вчера опять помочило.

— Может, к вечеру и до нас очередь дойдет.

— Жди!..

Вид ячменного поля подействовал на Леонида Михайловича удручающе. Председатель и главный агроном молча шли в руках щуплые, пустые колосья, с надеждой поглядывали на запад, где над самой кромкой земли слабым миражем курчавились облака.

— Ну, что будем делать? — прервал тягостное молчание Леонид Михайлович. — Думай — не думай, а надо решать.

— Подождем еще немного, — робко, почти просительно отвечала Глинина, — вдруг ночью соберется...

Конечно, это был не разговор. Во всякое другое время

он так, бы без обиняков, и припечатал: «Ирина, это не разговор», но сейчас что-то удержало его от резкого слова. Малков прекрасно понимал состояние Глининой. Каких-нибудь две недели назад они вот так же стояли здесь, радовались густым, ровным всходам, и Глинина счастливым голосом заверяла его, что вполне можно рассчитывать на урожай в тридцать пять центнеров с гектара.

Поле принадлежало крутиковской бригаде, которая в недавнем прошлом была самой отстающей в колхозе. Условия для хлебопашества здесь всегда считались крайне неблагоприятными: местность холмистая, поля мелкоконтурные с замысловатой конфигурацией, почва бедная, супесчаная. И получали крутиковские земледельцы урожаи прямо-таки смехотворные: по пять центнеров зерна с гектара. Как говорится, надо бы ниже, да некуда. А главное, люди вроде смирились с таким положением, покорно считая с давних пор, что большего эта земля и дать не может.

Не одно — много подобных полей числилось в колхозе. И не так-то легко было доказать, что на них можно выращивать высокие урожаи, причем не от случая к случаю, не в силу благоприятно сложившихся обстоятельств, а каждый год. Для этого требовалось время. До 1960 года — года рождения хозяйства в современных его границах — на здешних землях размещалось четыре колхоза: «Сущевский», «Заветы Ленина», имени Жданова, «Восход». Уровень механизации был невысок, участки пашни за отдельными бригадами не закреплялись, что приводило к обезличиванию земли, порождало равнодушие к судьбе урожая. А самое главное — почва была истощена. Поля ждали удобрений. Ничто иное, никакие организационные меры не могли бы без этого помочь хозяйству двинуться вперед.

Агрономы сразу же заговорили о торфе, тем более что некоторый опыт его заготовки и использования в одном из бывших колхозов (а именно в «Сущевском») уже был. Без трудностей, однако, не обошлось: часть колхозников не очень-то верила в свойства торфа как удобрения; не хватало машин для заготовки и вывозки; многое еще следовало уточнить в оплате этих работ. Горячо разъясняли. Укрепляли техникой и кадрами механизированные отряды. Устанавливали контакты с наукой.

Но все это — лишь половина, а может, даже и еще меньшая часть той большой, перспективной работы,

которую усердно и настойчиво вел коллектив. Сколько усилий было приложено, чтобы улучшить семеноводство, освоить севообороты, разработать на научной основе систему внесения минеральных удобрений и систему обработки почвы, наконец, организовать обучение людей работе по-новому в колхозном университете сельскохозяйственных знаний.

К концу шестидесятих годов урожай зерновых достиг двадцати центнеров с гектара, затем — двадцати пяти... Теперь колхоз, как никогда, близок был к тому, чтобы получить по меньшей мере тридцать. На всех полях. Все, решительно все было сделано для этого, а главное — в возможность получения таких урожаев поверили люди.

Председатель с агрономом стояли возле одного из наиболее «трудных» полей, может быть, самого трудного. Ирина Петровна знала всю его «биографию» и молча боролась за него, мысленно спорила с Малковым. Молча потому, что сама испытывала неуверенность, не знала, как лучше поступить.

Почти всю обратную дорогу молчали. Он никуда больше не заезжал, гнал машину быстро, ожесточенно о чем-то размышляя.

Когда уже были в Сущеве, Малков, перед тем как выйти из машины, обернул к ней сердитое лицо, отчетливо произнес:

— Завтра с утра начнем косить. Ждать больше нельзя.

Ирине Петровне показалось, что она слишком долго собиралась с мыслями, на самом же деле ответ вырвался почти сразу, короткий и резкий:

— Не дам!

Малков поглядел на нее удивленно.

— Не дам косить ячмень! — жестко повторила она. — У нас еще есть время. Ждать можно четыре дня.

Ирина Петровна хлопнула дверцей и, не оглядываясь, пошла в правление, громко стуча стоптанными, пропыленными туфлями по каменно твердой земле.

Дождь пошел на третьи сутки. Тучи начали собираться с утра. Заходили то с запада, то с юга, грозно клубились, закрывая солнце. Однако что-то там у них не получалось, видно, не хватало чего-то, чтобы пролиться дождем. И когда после полудня опять проглянуло солнце, люди отчаялись ждать: так было не раз. Но часов около семи из-за лесочка донеслось негромкое, добродушное ворчанье. Погода немного, слегка громынуло среди наступившей тишины, затем

еще... Гроза приближалась медленно, издали подавая предупредительные сигналы, и такая силища угадывалась в этой спокойной неторопливости, что все на земле замерло и притаилось в тревожно-радостном ожидании...

Весь вечер и всю ночь бушевали стихии. Потоки воды обрушивались на иссохшую землю. А утро встало такое тихое, розовое, безоблачное, что Ирина Петровна, выглянув в окно, с замиранием сердца подумала: «Да уж не приснилось ли мне, что гроза была?» Нет, не приснилось! От крыш поднимался легкий парок, солнечные зайчики прыгали по лужам, капли воды сверкали на распрямившейся траве. Она засмеялась от нахлынувшей радости и торопливо стала собираться в поле.

Массовую жатву начали с небольшим опозданием. Некоторые участки пострадали все-таки от июльского пекла, правда, не сильно, в основном посевы выправились, и можно было надеяться, что урожай в среднем получится неплохой. Теперь все или почти все зависело от четкой организации работ.

У Малкова сразу поднялось настроение. Колхозники заметили это, и один из сущевских стариков пошутил:

— На тебя, Михайлыч, погода, как на огуречный куст, влияет — сразу расцвел. Верно сказано, «был бы дождь, был бы гром и не нужен агроном».

Леонид Михайлович, что редко с ним бывает, не отозвался шуткой на веселое слово.

— Дождичек, конечно, очень кстати прошел, только... — задумчиво произнес он, — только отныне мы *будем брать хорошие урожаи всегда, независимо от того, какая сложится погода: может получиться лучше или хуже, год на год не приходится, но резких спадов не будет.

Все последующие дни я был рядом с Малковым. Вместе с ним вставал на рассвете, шел в правление, присутствовал на утренних планерках, ездил по бригадам; наблюдал, как разговаривает он с людьми, распоряжается техникой, принимает оперативные решения. Час за часом, в будничных, казалось бы, незначительных эпизодах открывался мне хлеборобский талант этого человека, простое и великое искусство сотворения хлеба. Порой его работа походила на творчество испытателя, не раз заключала в себе определенную степень риска, но никогда не была она работой на «авось», каждое испытание, любой риск подкреплялись глубокими знаниями.

Как-то первый секретарь Костромского райкома партии Владимир Григорьевич Назаров сказал:

— На фронте Малков в разведку ходил, и по сию пору в характере его что-то от разведчика осталось. За многие дела — и в полеводстве, и в животноводстве — он берется первым, берется смело, не ожидая дополнительных указаний и не боясь набить шишек. Одно слово — разведчик. Потому и колхоз его всегда впереди идет.

Подмечено точно. Одним из первых в области взялся Малков за переустройство животноводства. В колхозе сооружались современные крупные фермы, коренным образом менялась технология производства, улучшалась культура труда животноводов. Многого делалось впервые, порой ощупью, без квалифицированной помощи и умной подсказки «сверху». Теперь все это позади. Две новые животноводческие фермы успешно действуют, год от года растут надой и валовое производство молока. А главное — намного лучше стали условия труда доярок. Изменилось лицо профессии! Теперь, используя опыт сущевцев, уверенно проводят эту работу животноводы других хозяйств.

Примерно то же происходит в борьбе за наивысшие урожаи. Колхоз перешагнул сорокацентнеровый рубеж. Леонид Михайлович радушно принимает гостей, отовсюду приезжающих поучиться культурному хозяйствованию на земле, — пожалуйста, смотрите, никаких секретов, может нечернозем такие урожаи давать! А сам уже о большем помышляет.

* * *

— Подъезжаем, — весело промолвил шофер, возвращая меня в день сегодняшний.

Я увидел знакомое село с высокими, раскидистыми берегами и тополями при въезде, белыми зданиями больничного городка, Домом культуры, целой улицей новых многоквартирных домов и прямо-таки индустриальной окраиной, где выстроились внушительные корпуса сущевской животноводческой фермы и машинного двора.

И вот вместе с Леонидом Михайловичем я вновь шагаю по главной улице Сущева, с пристрастием всматриваясь в знакомые очертания и стараясь не пропустить ничего. Улица заасфальтирована — этого не было раньше... Расширяется здание школы-десятилетки, строится еще один шестнадцатиквартирный дом...

Леонид Михайлович, беспокойно поглядывая на небо — похоже, что скоро соберется дождь, — рассказывает, как

происходило сселение мелких деревень, на память называет солидные суммы ассигнований на культурно-бытовые нужды, перечисляет новостройки последних лет. Их много. Это и механизированные зерносклады, и кормоцех, и жилые дома, и торговый центр, и ателье бытового обслуживания... Кстати, я обратил внимание на длинный перечень бытовых услуг, предлагаемых жителям села: ремонт стиральных машин, холодильников, электрических бритв, музыкальных инструментов, лодочных моторов, трансформаторов, стабилизаторов и т. д. и т. п. Вспомнилось вдруг, как в первое мое сущевское лето у соседней тети Даши распаялся самовар. Несчастье было ужасное, хозяйка рыдала так, словно у нее сгорел дом.

— Вы чему улыбаетесь? — настороженно спрашивает Малков. — Что-нибудь напутано?

— Нет-нет, — поспешно успокаиваю я и, заметив, что Леонид Михайлович бросает взгляд на часы, прошу его без церемоний заниматься своими делами.

Ливень обрушивается на село, едва мы успеваем вбежать в помещение кормоцеха. В небе раскатисто гроыхает, потоки воды хлещут по крыше, а здесь люди спокойно и деловито занимаются заготовкой кормов. Две женщины сноровисто подают на транспортер силосорезки только что доставленную с луга лоснящуюся от избытка влаги, сочную траву; гудит, отсверкивая бело-оранжевым пламенем, печь; огромный агрегат перерабатывает в своем жарком чреве зеленую массу в гранулы. Управляет этой машиной Василий Андреевич Скороход. Пожилой, кряжистый, привычно покуривая, он зорко наблюдает за приборным щитом. Раньше Василий Андреевич работал в полеводческой бригаде, потом кочегаром в котельной, а когда колхоз получил агрегат витаминной муки, его послали на краткосрочные курсы, и вот — будто всегда тут был.

Ровно горят зеленые и красные лампочки, мелко подрагивают стрелки приборов. Потомственный крестьянин Василий Скороход заготавливает корм для общественного скота. Я невольно люблю его уверенными действиями и вспоминаю других сущевских знакомых — великолепного мастера машинного доения Марию Ивановну Шабашову, электромонтера-самоучку, который «на ты» с автоматикой и электроникой, Алексея Николаевича Сорочкина, многих других односельчан, во всей жизни которых — в труде, в быту, внешнем облике — произошли такие разительные перемены.

РИЧАРД БЛАНК

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Они пришли сюда в августе 1963 г.— геологи, гидрологи и буровики, рослые, шумные, уверенные в себе; явились, чтобы отыскать строительную площадку на правом, крутом берегу Волги. Высадившись неподалеку от села Сидоровского, место присмотрели сразу, хотя оно и не всем пришлось по душе. Это была достаточно ровная надпойменная терраса, правда, изрезанная ручьями, зато вдаль от берега переходящая в крутолобый склон. Поставив несколько домиков в излучине, образованной при впадении в Волгу вертлявой речушки Шачи, проектно-изыскательская партия Горьковского филиала Всесоюзного проектного института «Теплоэлектропроект» определяла скорость и направление течения, промеряла дно, брала пробы грунта — собирала исходные данные для строительства крупной электростанции. Варианты этого проекта в институте отвергали один за другим, пока не остановились... на пятнадцатом. По нему из малоприспособных для посевов земель отвели около 800 гектаров под будущую электростанцию и жилой поселок, вбили на площадке символический «первый колышек».

С весны следующего года сюда пришла железнодорожная колея, а затем здесь появился и целый городок из 17 вагончиков. Начали сооружать стройбазу, подготавливать нулевые циклы под промышленные объекты и временные дома. Лишь весной 1965 г. был заложен фундамент пятиэтажного жилого дома, с коммунальными удобствами и балконами, — тогда-то и появился поселок Волгореченск, не обозначенный ни на одной карте, хотя уже действовал поселковый Совет, имелись магазины, школа, столовая, здравпункт. Правда, не было еще дорог, и продукты в магазины и столовую возили на мощных тракторах, а то и доставляли вертолетом. В Кострому зимой (летом выручала Волга) добирались «на перекладных»: пешком по льду до знаменитого поселка Красное и лишь оттуда — автобусом.

Да, начиналась стройка так, хотя и обосновалась всего

лишь в сорока километрах от областного центра, отсчитывавшего девятое столетие.

Бригадир Михаил Мартус, приехавший одним из первых с Назаровской ГРЭС, жил в общежитии почти год, пока услышал от прораба:

— Поезжай за семьей, даем тебе, вагончик...

Шоферы брата Михаил и Геннадий Колесовы, электросварщики Олег Николаевич Симонов и Станислав Юнацкий, бригадир Анатолий Лишнов и многие другие приехали сюда, что называется, к первому колышку. Со всеми этими людьми мне довелось познакомиться в 1969 г., памятным тем, что стал он годом рождения новой электростанции.

Одиннадцатого июня зажгли факел на первом котлоагрегате, тридцатого — была пущена и стала набирать проектные обороты турбина. Но еще раньше, в апреле, бюро Костромского горкома КПСС поставило задачу, подобную которой не приходилось решать энергетикам: за год пустить два энергоблока. А два блока — это все равно что ДнепроГЭС. Задача была дерзкой и заманчивой, за решение ее взялись охотно и горячо.

На глазах рос Волгореченск, с Костромой его соединило добротное шоссе.

Второй энергоблок пустили 20 декабря. В 1970 и 1972 гг. в строй действующих также вводили по два блока. Лишь в 1971 г., когда поступил котлоагрегат новой конструкции, был допущен «сбой», а в 1973 г. восьмым энергоблоком была завершена вторая очередь Костромской ГРЭС, достигшей мощности 2400 тысяч киловатт.

В те годы мне часто приходилось бывать на строительстве Костромской ГРЭС. Почему-то особенно запечатлелся в памяти пуск шестого блока. Вот как это было.

Дежурная смена, заступив на вахту в шесть часов утра, записала на 191-й странице оперативного журнала: «Блок в стадии растопки». И уже через полчаса над строительной площадкой возник характерный, с присвистом, гул. Он был очень громким и властным, словно имел право на всеобщее внимание, его заметили все, кто находился неподалеку, подняли головы и остановили взгляды на белом султানে пара над крайней секцией котельного цеха.

До конца смены было проведено множество пуска-наладочных операций и сделано записей в оперативном журнале. В 18 часов состоялось третье за день заседание штаба стройки. Участники его заслушали информацию о готовности объектов и записали решение: «Толчок турбины разрешить».



*В машинном зале
Костромской ГРЭС*

В турбинном зале многолюдно: электрики, монтажники, наладчики, руководители стройки и дирекции ГРЭС. Все «держат эмоции в кулаке», но именно по тому, как у этих бывалых людей угадывается стремление быть подчеркнуто спокойными, чувствуется: у каждого нервы натянуты до предела.

А тут что-то не ладится на траверсе перед генератором частоты. Но вот главный инженер управления «Электроцентромонтаж» Дубин дает команду опустить и закрепить крышку. Все готово!

К управляющему механизму подходит шеф-инженер Ленинградского металлического завода имени XXII съезда КПСС Валентин Николаевич Колесниченко, в шестой раз приехавший в Волгореченск — пускать очередной блок.

Никому не дано увидеть, что происходит за толстыми металлическими стенками турбогенератора. Ясна технология: пар под давлением в 240 атмосфер ударил в лопатки турбины, массивное тело машины повернулось и сделало первые, «тихие» обороты — до восьмидесяти в минуту. Шеф-инженер вращает рукоятку за своим небольшим штурвалом, и соответственно тем режимам, которые он устанавливает, турбина набирает обороты, пока стрелка на приборе-определителе не остановилась в двух делениях от тысячи. Это означает: восемьсот вращений в минуту.

Многие приходили и уходили. Последние ушли в десятом часу, договорившись собраться утром к семи, а потом из дома

или из гостиницы не раз еще ночью звонили на щит управления:

— Как шестая?

Утром собрались раньше, чем договаривались. Напряженно тянулось время. Казалось, стрелка на циферблате не движется. Неужели неудача? Но уныния не обнаружил никто, словно шло негласное соревнование на выдержку. Это были люди, прекрасно разбиравшиеся в своем деле, и по каким-то неуловимым признакам к полудню почувствовалась перемена: все как-то враз заторопились, дружным косяком стали протискиваться поближе к турбине. А к ней было не так-то просто подступиться. Опять в главной роли ленинградский шеф-инженер: «нагоняет» обороты. Есть тысяча!

Никто не шелохнется, не обмолвится словом. Глаза прикованы к стрелке, которая чуть заметно подвигается вправо вперед.

Две тысячи оборотов! Напряжение присутствующих растет. Кто-то не выдерживает и спешит на блочный щит управления — взглянуть на показания приборов-автоматов, регистрирующих состояние турбины. Стрелка неукоснительно, без остановок и обратных рывков, движется к заданной цифре. Еще мгновение — есть три тысячи! Турбина на полных оборотах.

Тишину будто смяли, смахнули. Все улыбаются, энергично трясут друг другу руки.

Не расходились долго. словно спохватившись, вдруг опять шли на щит управления, обходили панели с приборами и возвращались к турбине, смотрели на стрелку, застывшую острием на цифре «3000»...

* * *

Директор станции Николай Александрович Ремезов время от времени ставит на свой рабочий стол стакан, обыкновенный стеклянный стакан, хорошо знакомый каждому; кто частенько заходит в этот кабинет. В стакане на треть налита черная маслянистая жидкость — высокосернистый мазут, которого в горелках котлов ГРЭС ежедневно сжигается около 15 тысяч тонн. Столбик мазута постоянно растет, сейчас его в стакане 65 граммов — на столько *снизился* расход топлива на отпущенный киловатт-час за время, прошедшее с момента пуска первого энергоблока.

Директором Николай Александрович стал незадолго перед пуском второго блока. К тому времени на станции сложился

дружный коллектив единомышленников, в котором тон задавал главный инженер Анатолий Яковлевич Кроль. Он приехал на ГРЭС с определенной, четко осознанной целью: сделать ее лучшей станцией в стране, самой надежной и экономичной в эксплуатации, самой удобной в обслуживании, наконец, самой красивой. Такой, какая ему была бы по душе...

Задумать легче, чем сделать. Много, очень много зависит от тех, с кем доведется шагать в одной упряжке. С электростанций, где уже эксплуатировались энергоблоки по 200 и 300 тысяч киловатт, пригласили опытных специалистов, обладающих организаторскими способностями, склонных к творческому поиску. С Беловской, Конаковской, Черепетской и других ГРЭС приехали Иван Васильевич Зубов, ставший заместителем главного инженера по ремонту, Олег Викторович Бритвин, Нина Евгеньевна Зубенцова, Владимир Петрович Мизинцев, Олег Евгеньевич Таран, назначенные начальниками цехов, и многие другие одаренные инженеры, толковые машинисты турбин, обходчики котлов. Они штудировали документацию на прибывающее от поставщиков оборудование, проверяли его, старались предусмотреть все, выбирали наилучший вариант. Нелегко согласиться с тем, что кто-то нашел лучшее решение, что всего за какие-нибудь три-четыре года что-то в твоём проекте устарело. К тому же и строителям, и эксплуатационникам тоже нелегко решиться на нововведения: они сбивают с отлаженного ритма, требуют сверхлимитных затрат, а ведь никто не даст гарантии, как они покажут себя в деле. В общем, проблем здесь много, и каждая в любой момент, того и гляди, может вывести на подводные камни. Не проще ли делать, как предписывает проект, не гоняться за журавлем в небе, а жить спокойно?..

Одни это настойчивое, неукротимое стремление к совершенству воспринимали скрепя сердце, а другие сами предлагали сотрудничество.

Всесоюзный теплотехнический институт имени Ф. Э. Дзержинского, искавший оптимальный вариант проточной части турбины, тоже стал здесь достойным партнером. Совместными усилиями была создана схема, обеспечившая более экономичную работу блоков. Теперь она применяется Ленинградским металлическим заводом при изготовлении мощных турбин.

— К нам обращаются многие научные организации с предложениями модернизировать тот или иной узел,— подтверждает заместитель главного инженера Ю. Н. Богач-



Водометный катер

ко. — Причем нередко начинают именно с Костромской ГРЭС, поскольку убедились, что нам по душе творческий поиск, смелый эксперимент. И делаем быстро: то, что другие «проталкивают» пять-шесть лет, мы успеваем за год.

Характерная черта энергетиков: найденное в содружестве с учеными они стремятся использовать не только у себя, но и передать другим. Например, костромские энергетики и специалисты ВНИИ по защите металлов от коррозии, изучая причины разрушения газоходов, разработали новый материал — силикатополимербетон. Он показал абсолютную устойчивость к разрушению агрессивными продуктами сгорания сернистого мазута и сейчас широко применяется на большинстве мазутных электростанций страны.

На первых порах схемы упрощали в целях более надежной работы оборудования: ведь чем меньше уязвимых мест, тем реже поломки, ошибки в эксплуатации. Искали все, без чего можно обойтись.

— Уйму лишних конструкций, трубопроводов убрали, — рассказывает заместитель главного инженера В. Д. Смирнов. — Не меньше десяти процентов металла изъяли на другие цели, а ведь это сотни и сотни тонн. Трубы коммуникаций везде, где возможно, собрали в более плотные «пучки», более экономно распределили часть оборудования — за счет этого улучшили условия труда, которые теперь позволяют каждому труженику полнее раскрывать себя, подготовили возмож-

ность поставить перед коллективом новую задачу — экономить топливо.

По надежности и экономичности Костромская ГРЭС прочно заняла место среди лучших тепловых станций страны. Побывав в Волгореченске в 1978 г., А. Н. Косыгин высоко оценил работу энергетиков.

Как говорится, роли переменялись. Если раньше, в период становления коллектива, волгореченских «ходовков» можно было увидеть на тепловых электростанциях во всех уголках страны, то теперь за опытом со многих ГРЭС приезжают в Волгореченск.

А поучиться здесь можно многому: умелой эксплуатации оборудования и опыту партийной работы, организации обслуживания и удивительной чистоте помещений.

Специалисты из США, не очень склонные расшаркиваться перед достижениями Страны Советов, здесь, в Волгореченске, записали в книге гостей: «Мы поражены как внешним видом, так и работой Костромской ГРЭС. Восхищаемся тем, кто разработал, создал ее и трудится здесь. Такой впечатляющей электростанции нам еще не приходилось видеть».

...Сооружен энергоблок мощностью 1200 тысяч киловатт. Это агрегат, равный по мощности всем электростанциям России в 1913 г. Его создание — крупнейшее событие научно-технической революции, блистательная победа советского энергомашиностроения, открывающая новую эру в мировой энергетике.

Трудно сказать, что в нем поражает больше: исполинские размеры и богатырская сила или конструкторские, технологические решения, которые потребовалось найти, чтобы создать главный энергоблок пятилетки, машину завтрашнего дня.

Машинный зал достигает 84 м. На высоте пятиэтажного дома здесь установлен турбогенератор, весом более 4,7 тысячи тонн. Чтобы его установить, потребовалось два фундамента, один из которых протяженностью 74 м, шириной 28 м. Вес котла превышает 16 тысяч тонн. На 320 м поднялась дымоотводная труба, диаметр которой достигает 26 м.

Тысячи и тысячи кубометров, тысячи и тысячи тонн, то уложенные на глубине восьмиэтажного дома, то подвешенные на уровне крыши высотного здания... Казалось бы, невероятная картина! Еще недавно это было мечтой, пока не стало реальностью сегодняшнего дня.

Около сорока научно-исследовательских и учебных институтов проектировали третью очередь Костромской ГРЭС.



На машиностроительных заводах сотни высококвалифицированных специалистов отгадывали свои загадки. Больше всех их досталось ленинградцам. На Металлическом заводе имени XXII съезда КПСС, пока создавалась турбина, было получено более двадцати авторских свидетельств об изобретениях. Лопаткам турбины (их длина 1200 миллиметров) при вращении со скоростью 3000 оборотов в минуту предстояло за секунду пробегать по окружности 640 м — это почти вдвое выше скорости звука. Обычный металл не способен выдерживать такие колоссальные скорости (и это при огромных аэродинамических усилиях и тепловых нагрузках!). Учеными и конструкторами на основе титана был создан новый сплав, обеспечивший надежность лопаток. Новые материалы потребовались и для других деталей, были

проведены специальные испытания, при которых имитировалась работа конструкций в течении 600 тысяч часов, что равняется... 100 годам.

Сердце турбины — ротор. «Чистый вес» его — сто тонн, в заготовка весила в два с лишним раза больше. Она была сделана на Ижорском заводе. Чтобы получить слиток в 225 тонн, в мартиновском цехе создали уникальную электропечь, разработали технологию плавки. Бригады кузнецов на самом крупном прессе усилием в 12 тысяч тонн в течение двух недель вели обработку будущего ротора.

На объединении «Электросила» более шестисот конструкторов и технологов занимались исследованиями и разработкой проекта и технологии изготовления турбогенератора — самой крупной в мире электрической машины.

Пока его создавали, было получено пятнадцать авторских свидетельств, решена не одна сложнейшая теоретическая проблема. Зачастую в этом участвовали коллективы других предприятий.

На строительстве блока 1200 тысяч киловатт работали замечательные люди. Монтировала турбогенератор бригада Анатолия Игнатьевича Пальчикова. Коллектив известный, славно потрудившийся на строительстве первых блоков станции. Без суеты работает бригадир, дело свое он знает до самых тонкостей. Хорошо известна принципиальность коммуниста Пальчикова, не случайно в бригаде не бывает нарушений трудовой дисциплины. На Рязанской ГРЭС коллектив показал себя с наилучшей стороны, на Курской атомной вел монтаж новой турбины. Вернулись в Волгоград — почти у каждого шестой разряд. Сделали бригаду комплексной, собрали в нее около восьмидесяти слесарей-монтажников — фактически четыре бригады. Но здесь одна организация труда, одна общая ответственность. Это способствует лучшей работе, и эта перестройка тоже помогала не просто монтировать «миллионник», а вести монтаж, исключив всякую случайность, малейшую оплошность. Да и могло ли быть иначе, если турбина и генератор не только монтировались, но и одновременно проходили необходимые вибрационные, тепловые и другие испытания?

Начальник турбинного цеха и шеф-инженер довольны бригадой. Взять хотя бы установку на основание почти 500-тонного статора генератора. На эту сложнейшую работу по расчетам было отведено девять дней. Сделали — за двое суток.

С каждым днем приближались пусконаладочные работы,



*В сувенирном цехе
Макарьевского паркетно-щитового завода*

а затем и пуск турбины. За плечами у монтажников десятки смонтированных энергоблоков, но этот-то — первый! А уж знали: новое всегда связано с риском, и степень риска прямо пропорциональна сложности проблемы. Когда-то испытывали «пятисотки», «восьмисотки», агрегаты атомных станций. Теперь создавалась первая, головная машина нового класса турбогенераторов. За ней — очередь великанов в 1,6–2 миллиона киловатт. Блок 1200 тысяч киловатт — шаг в завтрашний день энергетики.

...В машинном зале мне встретился Борис Васильевич Чудов. Он внимательно наблюдал, как с помощью оптических приборов бригада ведет центровку вала турбогенератора, добиваясь абсолютной точности.

— Ювелирная работа! — восхищался Чудов.

Сорок пять лет назад, восемнадцатилетним, с дипломом теплотехника, он пришел на должность мастера электроцеха на ветхий костромской мельзавод, а через два года был назначен техноруком Шунгенской электростанции, той самой, пуску которой посвятил свою поэму Демьян

Бедный. Первая в республике, она была построена из кустарного кирпича и дерева, ее мощность составляла всего 368 киловатт. Но благодаря ей в сорока деревнях Шунгенской волости вспыхнули лампочки Ильича, а по полю, разворачивая пласты земли, пошел электроплуг.

От старинного села Шунга до юного поселка Волго-реченска около 60 километров. От Шунгенской электростанции до Костромской ГРЭС — 60 лет. Строителям кооперативной электростанции то, что создается сейчас на Костромской ГРЭС, показалось бы фантастикой. Для нас это — воплощение в жизнь гениальной ленинской мечты, которая неузнаваемо преобразила нашу Родину, открыла перед ней необозримые горизонты.

АРКАДИЙ ПРЖИАЛКОВСКИЙ

НЕТ НИЧЕГО ДОРОЖЕ ХЛЕБА

Хорошо помню, как светлым днем бабьего лета ехал в совхоз «Матвеевский». Золотая и тихая пора, когда березы нарядны, словно девочки на выданье, когда клены до того огнисты, что хоть пожарную команду вызывай. И были парфеньевские места сказочно красивы. Дорога, что вела в Матвеево, то ныряла в лесные коридоры, то вымахивала на простор, перебегала через деревянные мостики над глубокими оврагами да речушками. Названия здесь у речек диковинные: Нея, Печерда, Тотомица. И ласковость в них и рокот. Вода чистая, холодная до ломоты зубов. Изопьешь такой водицы, ополоснешь лицо — и сил вроде бы прибавится. В этих глухоманных речонках до сей поры водится редкая рыба — хариус, любитель родниковой воды. Попробуй отыщи его, привереду, в других водоемах, где в соседи набилась заводы да комбинаты.

Проезжая деревеньки, невольно перебираю в памяти странички истории удивительного северного уголка России. Всякое бывало здесь за долгие годы, и если углубиться в историю, премногие тома можно написать. Но — не летопись веду. Кстати, у Парфеньева есть свой летописец, уроженец здешних мест, краевед и историк Дмитрий Федорович Белоруков. Он настоящий кладезь событий и фактов из жизни посада. Из года в год его исторические очерки печатаются в местной газете.

Но мое «сказание» — о сегодняшнем парфеньевском дне, о юных и чистых сердцем, о тех, кто остается на земле прадедов, чтобы приумножать ее богатства. И все-таки несколько слов о прошлом.

Люди посада Парфеньевского издавна были людьми могутными, одним дыханием с Россией жили. И от ворогов Русь спасали. И возвеличивали талантами своими.

Есть на центральной улице Парфеньева старый особняк с древними березами у крыльца. Теперь здесь школа. Ходил я там по классам, а сам все пытался предста-

вить, как по этим же самым половицам много лет назад хаживал мальчик Сережа Максимов — будущий писатель-этнограф, автор удивительных и познавательных книг о жизни российских окраин... А еще припомнилось, что Жуковский, Пушкин и Глинка восторгались некогда ценим «московского соловья» — так любовно называли Прасковью Бартеневу, дочь парфеньевского дворянина.

Многих, очень многих славных и достойных людей подарила России дальняя лесная да полевая сторона. Недавно ушел из жизни путешественник, историк, поэт Сергей Николаевич Марков. Еще мальчишкой я прочитал его роман «Юконский ворон». И не знал — не ведал, что когда-то на родине автора буду ходить по его дорогам и тропкам, встречусь с его земляками. Есть у Сергея Маркова стихотворение «Прадеды» — о том, как пришли люди на эту землю:

И завели починок
они в стороне глухой,
перепахали суглинок
березовую сохой.

Все начинается с починок. И до сей поры некоторые деревни носят здесь имена починок с прибавлением — Иванов, Федоров, Петров...

А вспомнил я Сергея Маркова неспроста: исподволь подхожу к стихам, потому что в Матвееве тогда встретился с молодым агрономом Таней Иноземцевой. В райкоме партии посоветовали побывать у недавней выпускницы техникума. Очень, говорили, смелая девчонка, в работу быстро вошла, с утра до позднего вечера в полях пропадает, с людьми ладит и еще успевает писать стихи, но не спешит их показывать кому-либо. Так вот и сказали: «Поинтересуйтесь, вдруг у нее настоящий талант...»

Я ждал Таню в маленькой комнатухе — кабинете главного агронома совхоза «Матвеевский». В уголке стояли высохшие льняные снопы, а на столе под толстым канцелярским стеклом лежал огромный багряный кленовый лист. И эта деталь сразу сказала многое о девочке, которая взвалила на свои хрупкие плечи немалую ответственность.

И вот она пришла. И смутилась. И разговор наш поначалу все не мог никак склеиться.

— Ну что рассказать о себе? Экий агроном! Только-только отучилась в Галичском сельскохозяйственном техникуме. Распределили сюда. Год всего проработала —

и главным назначили. Артачилась: да что вы, товарищи, мне ведь всего двадцать, механизаторы, пожалуй, смеяться будут. Кто же слушаться станет меня? Они все землю знают как свои пять пальцев, а я?..

Все это она проговорила быстренько, втайне надеясь, что не стану больше приставать с расспросами. Но я тут немножко схитрил: мол, не станешь рассказывать и не надо. О делах совхоза могу и у директора все выведать, да и про твою работу он все выложит. А вообще-то вот на дворе осень стоит такая светлая — только бы стихи о ней писать. Помнишь, как у Есенина? «Отговорила роща золотая»... Прочел четыре строчки, а продолжила Таня. А потом достала из походной куртки солидный потрепанный блокнот. И я услышал стихотворение Тани, которое позднее открывало ее первую подборку стихов в областной газете:

Я пришла от земли
От морщинистой, древней.
Я оттуда пришла,
Где дождями пахнут деревни,
Где всегда мне светло
От мозолистых рук загорелых,
Где земное тепло
Бродит соком в колосьях неспелых.

Там кунаются куры в пыли,
Там в березах луна заблудилась.
Я пришла от земли,
Где жила, и живу, и родилась.

И народ там совсем другой —
Проще, чище, добрее, что ли.
Там ласкает сухой рукой
Ветер хлебное мое поле.

Мне любить его суждено,
С журавлями, хлебами, с солью.
Здесь взошло не одно зерно
Моей радостью, моей болью.

Много я в тот раз услышал стихов из этого блокнота. А на следующий день вместе с Таней побывал в полях, где заканчивали уборку хлебов матвеевские механизаторы. Видел, как они встречают агронома, советуются и гордятся, что вот такая девчонка очень даже прекрасно разбирается в трудном хлеборобском деле.

О себе Таня рассказывала скупо. Я узнал, что отец ее проработал долгое время в лесной промышленности, был мастером на все руки... Но как же все-таки получилось, что Таня почувствовала тягу к земле, как произошло, что выбрала агрономическую науку? Тут все непросто.

Были мечтания иные: то учительницей себя представляла, то врачом. Но что-то тревожило душу, воспоминания наплывали ветерком с поля, с того самого, где работала мама. В отличие от отца, она всю жизнь была связана с крестьянским трудом. Во время войны трактор водила и славилась как отличный механизатор. Конечно, трудно приходилось, но не ронтала. Поднимала детей... После войны не сменила работу. И трактор был ей подвластен, как прежде, и комбайн водила по полям. Может быть, и приискала бы что-то полегче, да отец прихварывал все чаще, не мог уже теперь валить лес и в поле стал помощник невеликий. А детей четверо. Каждому хотелось определить добрый путь, чтобы образование получили. Так оно и случилось, как мать загадывала. Поднялись детки, как славный лесной подрост, выучились и зашагали каждый по своей тропке.

— У меня как-то так получается,— чуть-чуть усмехаясь, говорила Таия,— всюду со мной рядом лес — костромской, наповедный, дремучий. Вот в Малой Якшанге, где детство провела, такие боры, такие рощи — чистое Берендеево царство. Потом в Галиче училась в сельскохозяйственном техникуме — там тоже вокруг леса, леса, леса... А где леса — недалеко и поле. Близки они, неразлучны. В этом, пожалуй, есть какой-то мудрый смысл. В Парфеньеве приехала — аж ахнула: красотища-то! И все незнакомое и... все, ну, вроде бы родное. Иногда грезилось, не здесь ли родилась и только потом уехала в Малую Якшангу? Но это так... из области лирических отступлений. А лирикой мне заниматься сейчас противопоказано — уборка! Принимаюсь в четыре, когда солнышко только-только краешек из-за леса покажет, и встречаю зорьку с Зорькой — это лошадку мою так зовут. Скачу по полям. А как иначе? Надо везде поспеть. Можно бы и на машине, и мотоциклом овладела бы, да только люблю лошадей. И стихи им посвящаю, умницам и добрым помощницам. Жаль, что все меньше их остается. Уходит такая краса!..

А потом в жизни Татьяны произошли немалые перемены. Она уехала из Матвеева — вернее, увез ее муж, Валерий Смирнов, недавний студент сельхозинститута «Караваново», назначенный в совхоз «Дружба».

Вскоре я встретил их вместе.

Мы приехали в совхоз с первым секретарем райкома КПСС Владимиром Павловичем Матросом. Он с большим удовольствием рассказывал о молодых руководителях хозяйства, о том, как долго пришлось уговаривать



*Село Ильинское —
центральная усадьба
совхоза «Заволжский»*

Валерия Смирнова принять совхоз.

— Надо доверять молодым!— говорил Владимир Павлович, сам еще довольно молодой, недавний комсомолец.— На них вся надежда. Пусть вначале и не все гладко пойдет, так это ничего, опыт приходит с годами.

Не застав Валерия и Татьяну в конторе, мы направились в поле. Побывали у льноводов, встречались с комбайнерами. И только к обеду на одном из дальних полей заметили, как размашисто шагают по бровке двое — он и она. Идут от комбайнов. Тanya в желтом платье, в руках колосок. Валерий — в свитере, ладный, крепкий, улыбчивый.

Заговорили о кадрах — эта тема, по всей видимости, больше всего волновала секретаря райкома, да и не только его.

— А ты расскажи, Валера, о тех, кто возвращается после долгой отлучки к нам в совхоз,— говорит Татьяна.— Это ведь тоже добрый знак.

— Верно,— Валерий с улыбкой взглянул на жену.— Приезжают, приезжают... Вернулся инженер Алексей Геннадьевич Зиновьев. Как-то у него с моими предшественниками не ладилось все, а директоров тут сменилось

порядочно. Может быть, и этот калейдоскоп нервировал специалиста. Расстался с совхозом, но забыть не смог! Каждое лето в отпуск наведывался сюда. Так вот мы и встретились с ним, поговорили — и Алексей Геннадьевич вернулся. Недавно еще две семьи возвратились. С радостью приняли, жилье предоставили. Довольны люди, работают замечательно. Не всех сразу мы можем обеспечить жильем, есть тут свои проблемы, но строим. Вот и недавно справили новоселье в типовых домах наши трактористы. Продолжается новая совхозная улица...

Тут и секретарь райкома подтвердил, что когда совхоз возглавил Смирнов, потянулись сюда люди и охотнее остаются выпускники местной школы. И те, кто служил в армии, начали письма присылать: дескать, скоро думаем вернуться в родные места, как, примете? Валерий сам сажился за письмо: приезжайте, парни. Златых гор не обещал, чтобы потом обиды не было, но заверял твердо, что и жилье будет, и зарплата приличная, и, вообще, скучать не придется.

Нынче комсомольская организация совхоза «Дружба» насчитывает пятьдесят человек. Сила!

Я смотрел на этих молодых и славных людей и думал: да, они родились на этой земле, торили свои первые тропки, усваивали учиться и вот — вернулись, чтобы отдать ей свои знания, силы, трепет сердца.

* * *

...Пролетело еще несколько лет. Таня окончила заочно сельскохозяйственный институт «Каравеево», выпустила в издательстве Верхней Волги свой первый сборник стихов «Любовь и хлеб», была участницей Всесоюзного совещания молодых писателей.

— Действительно, — говорила Татьяна, — в моей жизни все пополам — и любовь и хлеб. Агрономия и поэзия в чем-то близки, созвучны, родственны, что ли. Кто-то из поэтов сказал, что он «проверяет стихи на всхожесть, как зерна». А мне делать это сам бог велел... И все-таки главная моя книга — это поле. Ради этого стоит жить.

Из книги стихов Татьяны Иноземцевой

Измотавшись вконец
После долгого дня,
Когда звезд
Чуть затемятся свечи,
Прихожу в кабинет свой,



На пастбище

И снова меня
Неуют обнимает за плечи.
Покосившийся гвоздь
Принимает из рук
И с готовностью
Держит фуфайку.
Золотые колосья
Усами качнут,
Сбившись в легкую
Желтую стайку.
А барометр со старческой грустью
Опять
В неизменную цифру
Упрется.
Без меня вам все лето,
Наверно, скучать
За закрытой дверью
Придется.
Поздно я ухожу
На усталых ногах.
И коня отвязав у забора,
По холодной росе
Увожу на луга,
Где рассвет уж поднимется скоро.
Снова будет весь день
Светел мой кабинет.



В полях

Но не тот, что под крышею дома,
А вот этот, рабочий,
Где отдыха нет,
Мне от неба до неба знакомый.

* * *

Агрономом быть не просто,
Агрономом — это значит
На колосьях видеть росы
Не как все, а чуть иначе.

По-иному ждать погоды,
Ждать дождя не как другие,
Все бояться — как бы всходы
Не погибли озимые.

Это значит — на рассвете
Заседлать коня в загоне.
И пускай весенний ветер
За тобой летит в погоню.

Мне коньят привычно пенье.
Знаю, некоторым прочим

*Уборка
сена
в совхозе*



Скучно видеть удобрения,
Видеть пашню скучно очень.

Ну а я полей раздолье
Назвала своей судьбою.
Сколько их, колосьев в поле!
Каждый вынынчен тобою.

Пить и есть он просит, колос.
Он укор мой и награда.
У земли зовущий голос,
Только сердцем слушать надо.

* * *

Нет ничего дешевле хлеба.
Буханка за три пятака!
Несу, размахивая сеткой,
Сама дивлюсь тому слегка:
Буханка за три пятака.

А я-то в поле, словно клуша,
Тряслась над каждым колоском,



Костромские крестьянки

А я выматывала душу,
Грозил небу кулаком,
И с трактористами ругалась,
С начальством чуть ли не дралась,
И снега раннего пугалась,
И совестью своей клялась.

А я уверовала крепко,
И вера та — в моей крови.
Нет ничего дороже Хлеба,
Нет ничего дороже Хлеба,
С заглавной буквы Хлеб зови!

* * *

Много сел есть на земле,
мне одно лишь снилось.
Пол-России в том селе
для меня вместилось.
Что ни встречный здесь,
то друг,
что ни друг, то лучший,

Я касаюсь добрых рук,
свел нас снова случай.
И жалею, что обнять
не могу всех сразу.
Все пытаюсь досказать
радостную фразу.
И сбиваюсь, и смеюсь
с земляками тоже.
Вся моя большая Русь
в тех глазах хороших.
Уверюсь снова в том:
мне их не покинуть.
Мне расстаться с тем селом
словно сердце вынуть.

РОДНЫЕ ПЕНАТЫ



Кто хочет понять поэта,
должен отправиться на его Родину.

И.-В. Гете.

Костромская земля стала родиной замечательных мастеров, работавших в художественной литературе и критике. Выдающиеся русские писатели использовали в своем творчестве костромской материал, вдохновлялись картинами природы, изучали экономику и быт здешнего края.

В последней трети XVIII в. в отечественной литературе усиливаются демократические, обличительные тенденции. К этому времени относится жизнь и творчество галичанина Александра Онисимовича Аблесимова (1742—1783), комическая опера которого «Мельник — колдун, обманщик и сват» в свое время пользовалась огромным успехом.

Литература дворянских революционеров-декабристов имела в Костромской губернии яркого представителя в лице Павла Александровича Катенина (1792—1853). А следующий период в истории русского освободительного движения, период разночинский или буржуазно-демократический, нашел отражение в творчестве таких писателей, как А. Н. Плещеев, А. Н. Островский, Ю. В. Жадовская, В. А. Зайцев.

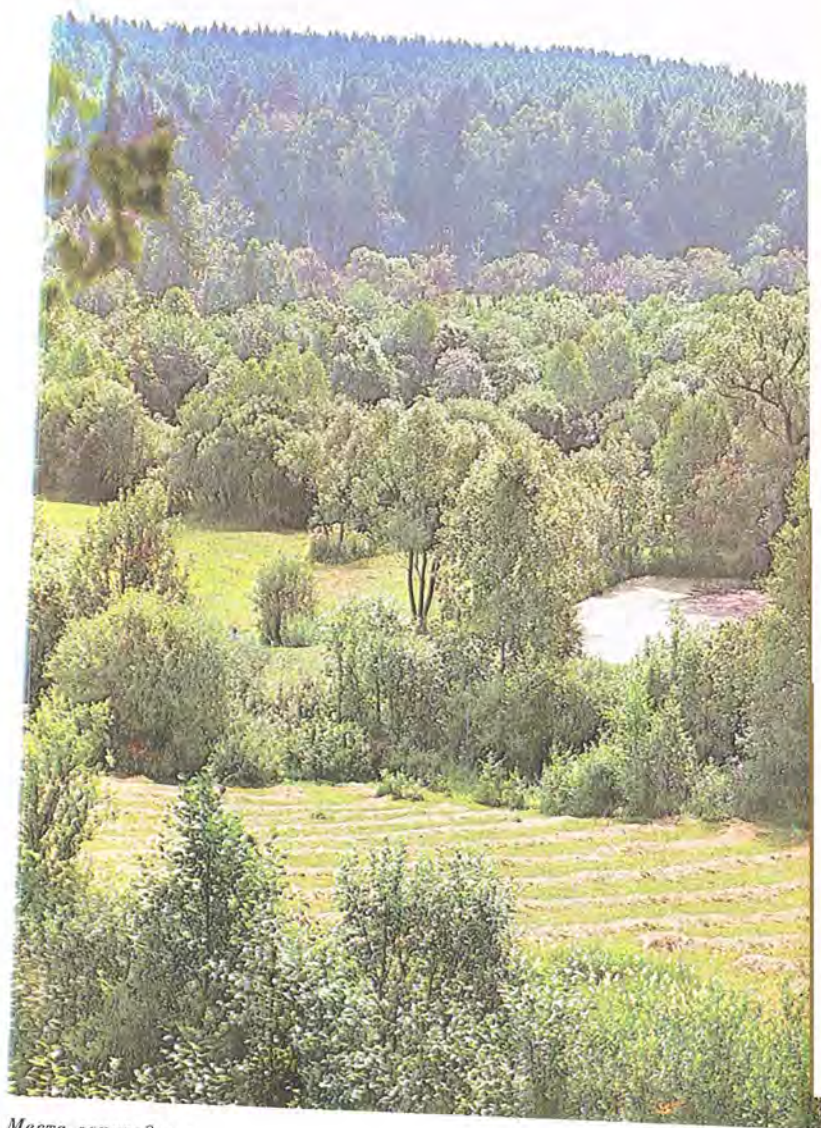
Алексей Николаевич Плещеев родился в 1825 г. в Костроме, в старинной дворянской семье, которая впоследствии переехала в Нижний Новгород, и жизнь костромского края не нашла непосредственного отражения в творчестве Плещеева. Но имя соратника Некрасова, поэта-петрашевца, сыгравшего столь важную роль в истории русской литературы, особенно близко и дорого костромичам, и они по праву гордятся своим земляком.

Боевым публицистом, талантливым литературным критиком был костромич Варфоломей Александрович Зайцев (1842—1882), последователь и товарищ Д. И. Писарева. Большую популярность принесли ему статьи и рецензии, публиковавшиеся в журнале «Русское слово». В 1866 г., после покушения Каракозова на царя Александра II, он был арестован и заключен в Петропавловскую крепость по обвинению в «развращающем» влиянии его статей на молодежь. Впоследствии Зайцев вынужден был эмигрировать за границу. Там он вступил в I Интернационал, позднее стал одним из главных сотрудников издававшегося в Женеве русского журнала «Общее дело», в котором помещал резкие статьи против царского самодержавия.

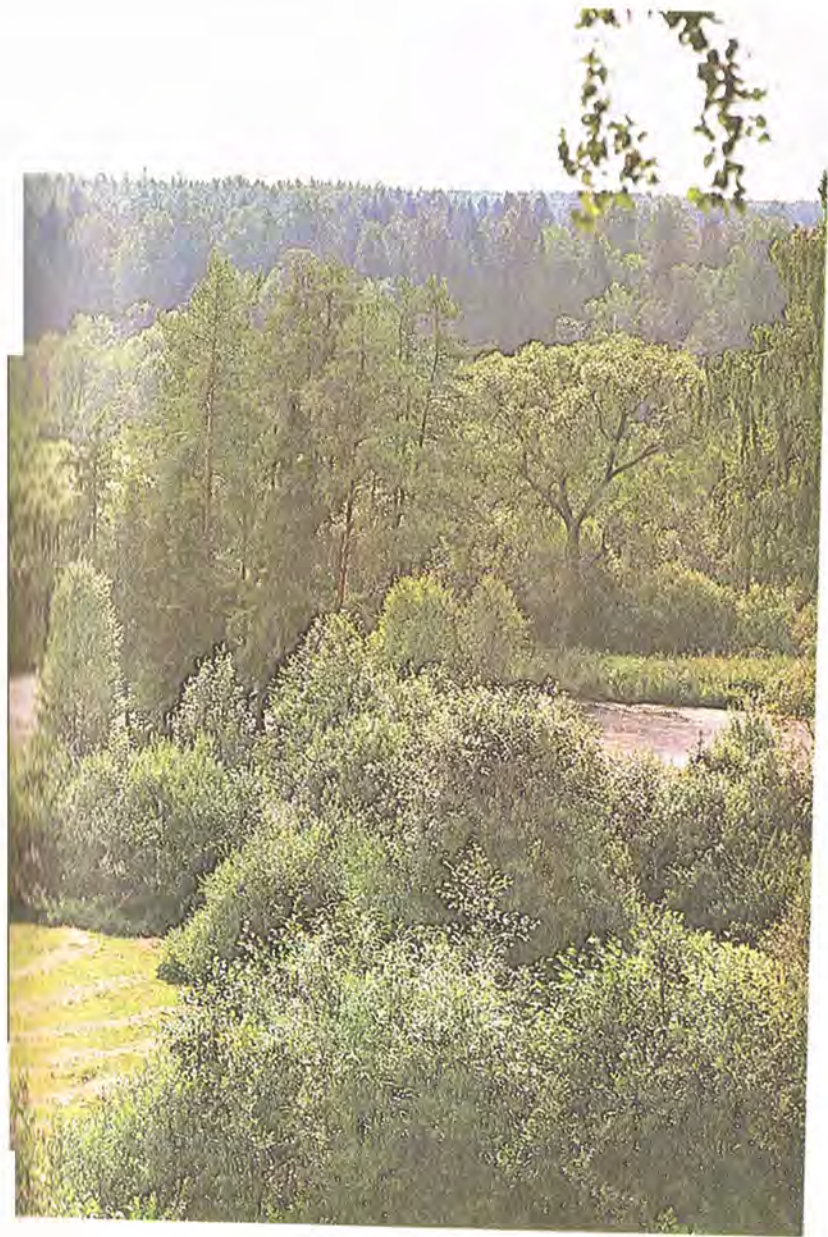
Особое место среди писателей-костромичей второй половины XIX в. занимают Алексей Феофилактович Писемский и Сергей Васильевич Максимов. В своих произведениях они дали яркие и правдивые картины жизни народных масс Костромской губернии.

Это же в известной степени относится и к Алексею Антиповичу Потехину (1829—1908), имя которого принадлежит к числу несправедливо забытых. Он служил в Костроме чиновником особых поручений при губернаторе, где познакомился с А. Ф. Писемским. По делам ему часто приходилось выезжать в уезды, сталкиваясь с жизнью различных слоев населения. В «Московских ведомостях» были напечатаны его этнографические очерки, содержащие интересное описание Костромы и быта приволжского населения, в них запечатлены самобытные типы волгарей, картины природы. Позднее он написал несколько пьес, которые были напечатаны в «Современнике» и имели большой успех в театрах, однако навлекли на автора гонения со стороны цензуры, так как носили обличительный характер. Драма «Шуба овечья — душа человечья» находилась под запретом 12 лет, а пьеса «Вакантное место» вовсе не была разрешена к печати. Перу А. А. Потехина принадлежит также ряд рассказов, повестей и романов, в них автор показал жизнь костромской деревни, проникновение в нее капитализма, разорение крестьян.

В начале XIX в. получает определенную известность творчество галичанина Павла Петровича Свиньина (1788—1839). Писатель, историк, этнограф, публицист, археолог, художник, он много путешествовал, результатом



Места заповедные



чего явилось несколько книг, в том числе сборник очерков «Картины России и быт разноплеменных ея народов». В очерке «Галич» Свиньин дал подробное описание жизни своего родного города в первой четверти XIX в., снабдив материал рисунками. На галичском материале написан также один из его исторических романов — «Шемякин суд». Заслугой П. П. Свиньи́на перед русской литературой было основание им в 1818 г. журнала «Отечественные записки».

Из костромских писателей того времени следует упомянуть Николая Федоровича Грамматина (1786—1827). Стихи его печатались в «Вестнике Европы», «Сыне отечества», «Цветнике». Вскоре после окончания Московского университета Н. Ф. Грамматин получил степень магистра словесных наук и был назначен директором училищ Костромской губернии. Существенным вкладом в историю русской литературы является опубликованный в 1823 г. его перевод «Слова о полку Игореве» с критическими и историческими примечаниями. Изучению «Слова» он посвятил более пятнадцати лет.

Кровными узами связан был с костромской землей великий русский поэт Лермонтов. Предок М. Ю. Лермонтова Георг (Юрий) Лермант, перешедший в начале XVII в. на русскую службу, был пожалован помещьем в Галичском уезде. Лермонтовым принадлежало здесь несколько деревень, в том числе Острожниково, в котором расположена была их родовая усадьба. Сыновья владельца Острожниково — Н. П. Лермонтова, — жившие в Петербурге, были очень дружны с Михаилом Юрьевичем, и, по преданию, один из них сопровождал прах убитого поэта из Пятигорска в Тарханы.

В Кологривском уезде находилось одно из поместий матери Грибоедова Настасьи Федоровны.

Существует немало сведений о «костромской ветви» Пушкиных, начало которой положено было одним из родственников поэта — Александром Юрьевичем Пушкиным. Получив в наследство усадьбы Новинки и Давыдково под Костромой, он вскоре поселился в одной из них. Бывая в Москве, А. Ю. Пушкин гостил обычно у родителей поэта. Как сообщает в своих публикациях писатель Виталий Пашин, Александр Юрьевич собрал в Новинках богатейшую библиотеку. Он выписывал из столиц многие журналы, книги и сам пробовал писать. За два года до смерти Александр Юрьевич опубликовал в журнале «Москвитянин» статью

«К биографии Пушкина» — очень ценный документ, открывший пушкинистам важные подробности, касающиеся родителей поэта, его бабушки М. А. Ганнибал и няни Арины Родионовны.

С костромским краем неразрывно связаны жизнь и творчество великого русского поэта Н. А. Некрасова. Жизнь костромских крестьян нашла широкое и яркое отражение во многих его стихах и поэмах, в том числе и поэме «Кому на Руси жить хорошо?».

Источником вдохновения костромская земля, ее природа и люди были и для многих русских художников: А. К. Саврасова, И. И. Левитана, Б. М. Кустодиева, Н. И. Шлеина и других. Здесь родились и творили Григорий Островский и Ефим Честняков.

ВАСИЛИЙ ОСОКИН

ОНИСИМЫЧ

Сержанта Аблесимова и сиятельного поэта графа Александра Петровича Сумарокова свел курьезный случай. Однако курьез этот сыграл в жизни будущего писателя немаловажную роль.

Шел 1759 год. Александр Аблесимов, незадолго до того поступивший на военную службу, числился копиистом лейб-кампанской канцелярии. Канцелярия находилась в Санкт-Петербурге. Переписывая надоевшие до одури канцелярские бумаги, Аблесимов иногда отводил душу тайной перепиской стихов. Пользуясь отсутствием начальника, он потихоньку доставал заранее запрятанный в стол журнал и подкладывал его под бумаги. Потом, делая вид, будто переписывает циркуляр, списывал нравившиеся ему стихи.

За таким занятием и застал увлекшегося юношу строгий воинский начальник. Аблесимов с удовольствием списывал тогда басню Сумарокова «Жуки и пчелы». Особенно нравилось ему начало:

Прибаску
Сложу
И сказку
Скажу.
Невежи Жуки
Вползли в Науки.

Но тут на бумагу и впрямь вполз... нет, отнюдь не жук, а грозный, хорошо знакомый кулак. Аблесимов онешил. На него глядело и орало свирепое начальство, красное от гнева.

Несдобровать бы копиисту, не миновать холодной, а может, и арестантских рот, не приключись одна случайность. Дожидаясь наказания, вспомнил он про лежащее в его сундучке письмо от батюшки, захудалого галичского дворянина. Наставляя, как держать себя сыну в Питер-

бурхе, батюшка просил навестить своего одноклассника, графа Сумарокова, ныне достославного пииту. «Александрешко, — писал родитель, — он ведь приезжал ко мне к твоему рождению, крестить тебя соизволил. Напомни ему смиренно, что роды Сумароковых и Аблесимовых — издревле костромские и что прабабушка его доводится двоюродной тетушкой моей матушки».

Конечно, робкий Александрешко и помыслить не мог войти к своему кумиру, слава которого, как ему казалось, облетела весь свет. Однако теперь другого заступничества искать было негде.

Как же хохотал сиятельный пиит! Едва дослушав рассказ, он хлопнул себя по животу и закатился так громко, что в кабинет тотчас прибежала жена. Аблесимов, еще не оправившись от робости, струхнул не на шутку. Сумароков же только и смог произнести членораздельно:

— Ну, крестничек приехал!.. — и снова закатывался.

За обедом Александр Петрович требовал снова и снова пересказывать историю. Аблесимов заметил — да это бросалось в глаза и каждому, — что крестный был тщеславен. Ему явно льстило, что юноша пострадал именно из-за его, сумароковских, творений. Послав слугу к строгому начальнику копииста, он весь вечер читал Аблесимову свои стихи, доказывая при этом, что пишет не хуже Ломоносова, и называя Третьяковского завистником и невежей.

С тех пор в занятиях копииста лейб-кампанской канцелярии произошли изменения: строгий начальник угодничал перед ним и всегда отпускал к его сиятельству графу Александру Петровичу. У Сумарокова Аблесимов выполнял секретарские обязанности, но больше всего занимался перепиской его стихов. Почерк графа был не ахти разборчивый, но Александр Онисимович не жалел ни времени, ни трудов и успешно разбирал витиеватые строки. А между делом пробовал и сам силы свои в поэзии.

Однажды, застав крестника за усердной работой, Сумароков весело сказал жене:

— Ну, что я тебе говорил: сочиняет! Я давно за ним примечаю: будет и в Онисимыче свой толк. Да как же подле такого витии, как сам Сумароков, не будет стихотворцем и он?! Доставай-ка, брат любезный, свои вирши и чти. Вот и женушка послушает. Она у меня большая искусница толк в нашем ремесле разбирать.

Порозовевший от застенчивости Аблесимов начал было отнекиваться, но крестный и слушать не хотел. Делать нечего:

волнуясь и запинаясь, прочел юноша элегию об измене любимой — «Сокрылись мои дражайшие утехи» и сатиру «Подьячий здесь зарыт».

Сумарокову стихи понравились, особенно потому, что явно походили на его сочинения. Вскоре он их напечатал в своем журнале «Трудолюбивая пчела». Но только вышел журнал, как лейб-кампанская канцелярия двинулась с победоносным маршем в Пруссию...

Еще несколько лет тянул Аблесимов армейскую лямку. В полку прослыл он беспрекословно исполнительным, неподкупно честным, простым и душевным человеком. Может быть, поэтому, выходя в отставку в конце 1766 г., был он выбран от своего полка делегатом в комиссию по составлению так называемого нового Уложения.

В этом Уложении Россия испытывала неотложную необходимость. Жизнь в стране текла по соборному Уложению более чем столетней давности. Десятки и сотни царских указов накопились с тех времен — чиновники сами не могли в них разобраться. Канцелярии обросли паутиной плутней, взяток и волокиты. Десятилетиями лежали неразобранные дела, ходатаи разорялись, умирали, а дело не двигалось. Доходило до смешного — вновь назначенные сенатом воеводы не знали, как ехать в указанный им на воеводство город...

Александр Онисимович был счастлив, что ему выпала доля в какой-то степени создавать государственный закон. Скромный, безвестный человек, приехал он в Москву и был допущен в Грановитую палату Кремля, где начались заседания по выработке Уложения.

Однако поданный им проект вовсе не зачитывался и не обсуждался: он как в воду канул. Разочарованный, слушал Александр Онисимович длинейшие чтения написанного Екатериной «Наказа». Как и ожидал Александр Онисимович, заседания комиссии вскоре сошли на нет, благо предлог появился: война с Турцией, отъезд многих депутатов в армию.

Комиссия все же просуществовала и в следующем, 1768 г. Деньги и харч, хотя и скудные, выдавались. Но Аблесимова, привыкшего к труду, тяготило безделье. Потому он был необычайно обрадован, когда узнал о переезде в Москву Сумарокова. Дела для него у Александра Петровича найдутся.

Сумароков переменился. Снятие с должности директора Российского театра заметно расстроило его. Он обрюзг и постарел. Но по временам тускнеющий взор его оживлялся: поэт остался любителем крепкого словца. Сказывалась желчь

много пережившего человека. Троекратно расцеловавшись с Онисимычем, он оживленно заговорил:

— Ты знаешь, кто попался под указ? Федор Хитрово, что разглашал марьяжную тайну царицы и Гришки Орлова. Ну что, ты уже не смеешься? Постой, постой, да ты, брат, никак, и поседел?..

Опять поступил Онисимыч к Сумарокову перебелять его неразборчивые бумаги. Была у него и тайная цель. Если раньше смотрел Аблесимов на собственные стихи как на развлечения, безделки и сознательно подражал Сумарокову, то теперь отношение к своему творчеству стало у него иное. Не удалось содействовать появлению на свет благородного государственного закона, надо было бороться с пороками другим путем. Он выбрал самый едкий вид поэзии — басни, или, как тогда их называли, сказки. А сюжеты повсюду находились в изобилии.

Аблесимов много читал. По-прежнему восхищаясь гением Ломоносова, поэзией Тредиаковского, Сумарокова, Хераскова, он стал размышлять о том, что надо писать как можно проще и выпуклее, тогда и простолюдин, не только грамотный человек, поймет.

В урывках от службы Аблесимов одну за другой сочиняет одиннадцать басен. Судя по дальнейшему его творчеству, можно предположить, что они не совсем удовлетворяли самого автора, но свидетельствовали о безусловном сдвиге в его мировоззрении. Главное, они доказывают не случайность его литературных занятий, а их систематичность и целенаправленную осознанность. Басни эти отдельной книжечкой автору удалось опубликовать в 1769 г.

В том же году начинает он сотрудничать в журнале известного просветителя Николая Ивановича Новикова «Трутенъ». Познакомил их, по-видимому, Сумароков. Новиков ценит Александра Петровича и взял эпиграфом для своего журнала строчку из той самой сумароковской басни «Жуки и пчелы», с которой произошел у Аблесимова казус. Строчка звучала так: «Они работают, а вы их труд ядите».

Аблесимов еле зарабатывал на хлеб. Беспokoила его зависимость от Сумарокова, который и сам теперь жил не в пример скромнее прежнего. Просуществовать только литературным трудом в те годы было немислимо, гонораров не платили. Поэты либо занимали государственные должности, как Ломоносов, Сумароков, Тредиаковский, либо состояли на военной службе, как Державин, Дмитриев. Александр Онисимович, несмотря на отговорки Сумарокова.

снова поступает на службу. И только обеспечив себе более чем скромное, но постоянное место экзекутора (мелкого чиновника хозяйственного управления) под начальством генерал-майора Архарова, он отчисляется от армии.

Жалованье Аблесимов получает грошовое. Впрочем, один он еще как-нибудь прокормился бы, но у Онисимыча появляется семья: жена и ребенок. На ком и когда он женился, как сложилась судьба его жены и дочери, почти ничего не известно. Мы знаем лишь, что популярный в начале прошлого века писатель Николай Полевой написал пьесу, в сюжетную основу которой положена была драматическая история этой женитьбы. Полевой рассказывает, как из поединка за обладание девичьей рукой между Аблесимовым и напыщенным секретарем Сумарокова — Жуковым выходит победителем наш Онисимыч. Правдиво и трогательно выписан в пьесе высокий нравственный облик героя.

Современники упоминают также о том, что все свои скромные средства Аблесимов употреблял на воспитание единственной дочери, которую прямо-таки обожал. Самому ему приходилось сносить унижения, лишь бы одета и сыта была семья, образованна дочь.

В 1777 г. умер Сумароков. Несколько позднее Новиков выпустил полное собрание всех его сочинений. К изданию был приложен сумароковский портрет со стихотворной подписью Хераскова:

Изображается потомству Сумароков,
Парящий, пламенный и нежный сей творец,
Который сам собой достиг Пермесских токов,
Ему Расин поднес и Лафонтен венец.

Хотя великие писатели Франции — драматург Расин и баснописец Лафонтен, выражаясь по-херасковски, и «поднесли» Сумарокову «венец», Аблесимов сознавал истинную цену творений «парящего, пламенного и нежного» певца. Одетые в ниспадающие складками тоги древних римлян, по сценам театров медлительно и торжественно передвигались русские князья и воины сумароковских драм. Произносили они напыщенные речи. Александр Онисимович прекрасно понимал, что все это останется для потомства лишь памятником прошлого, а не живым отражением действительности. Все больше размышлял он о необходимости создания истинно русской, истинно народной пьесы. Без прикрас поведать о жизни и быте, чувствах и заботах простых людей, прежде всего крестьян. — вот огромной

важности задача! Именно так: не вельможи да чиновники, а простые мужики будут героями его пьесы! Шестнадцать лет жизни в убогой костромской деревеньке отца оставили неизгладимый след в памяти. Уж кто-кто, а Онисимыч-то знает, как солон крестьянский пот на полях, как горек подчас хлеб. Но он напишет комическую пьесу, вернее оперу, в которой будет много забавных песенок и прибауток. Он расскажет о веселых, неунывающих, нигде не теряющихся русских мужиках. А вот и сюжет. Филимон и Анюта полюбили друг друга, но мать девушки, Фетинья, затрапезная дворянка, хочет видеть дочку только за помещиком. Отец же ее, Анкудин, желает зятя-крестьянина. Все улаживает продувной, хитроумный мельник Фаддей, он же колдун, он же и сват. С шутками, прибаутками, изрядно поживившись приношениями, обтяпал он дельце — и все остались довольны.

Так возник у Аблесимова несложный замысел пьесы-оперы «Мельник — колдун, обманщик и сват». Он наполнил «Мельника» знакомыми с детства костромскими песнями: «Вы, реченьки, реченьки», «Земляничка-ягодка», «Кабы знала, кабы ведала», насытил его словечками костромского говора. Получилось произведение, которое так и просится на пехитрую, но звучную и по-своему мелодическую народную музыку.

Как, в самом деле, не запеть, читая эту пьесу, когда мотив напрашивается то и дело? Онисимыч указал скрипачу Соколовскому мелодии, которые тот и положил на ноты, явившись, таким образом, первым и далеко не последним композитором «Мельника».

Язык пьесы простонародный. Все герои ее говорят подобно Анкудину, отцу Анюты, — «Што, барян-то! Рай-жить, хоть раз бы пожил так, как они». Аблесимов высмеивает суеверие и в то же время симпатизирует продувному мельнику, который хитро надувает простаков:

«Смешно, право, как я вздумаю: говорят, будто мельница без колдуна стоять не может, и уж-де мельник всякой не прост: они-де знаются с домовыми и домовые-то у них на мельницах как черти ворочают... Ха! ха! ха! Какой сумбур мелют! А я, кажется, сам коренной мельник: родился, вырос и состарился на мельнице, а ни одного домового сроду в глаза не видел. А коли молвит матку-правду, то кто смышлен и горазд обманывать, так вот и все колдовство тут».

... Опера готовилась к постановке. Нет сомнения, что Онисимыч принимал самое деятельное участие во всех

приготовлениях — еще в тульском имени Сумарокова заведовал он театральной частью и имел, следовательно, режиссерский опыт.

20 января 1779 г. взвился занавес, дрогнуло сердце Онисимыча, и образы, рожденные им в творческих радостях и муках, ожили наконец в игре актеров. Комическая опера «Мельник — колдун, обманщик и сват» так понравилась публике, что ставилась в Москве 22 раза подряд, в Петербурге — 27 раз. Еще бы она не понравилась после холодных, риторических трагедий, которые хотя и выказывали «безумные страсти», но оставляли зрителя равнодушным своей искусственностью...

«Мельник» оказался первой по-настоящему русской, народной пьесой-оперой о жизни, всем хорошо известной. Трогательна любовь Филимона и Аниюты, глубоки и серьезные их чувства. На сцене подмигивал и приплясывал славный мельник (такой нигде не пропадет и всех выручит), Филимон пел свою песенку про то, как ходил под вечерок на Пресню из Всехсвятского села, Аниута простодушно мечтала, Фетинья и Анкудин прекомично препирались. Всей этой удивительной живости и натуральности раньше не было на театре — первая русская комическая опера Попова «Аниута» хотя и появилась на семь лет раньше, но не обладала главными достоинствами «Мельника» — поэзией самой обыденной и настоящей, без прикрас, народной жизни. Высокая правда искусства, художественный реализм — сила, которая стояла за «Мельником» и обеспечила ему бессмертие.

Драматический словарь за 1787 г. писал: «Мельник» явился едва ли не первой русской оперой, имевшей столько восхитившихся зрителей (зрителей) и плескания (аплодисментов)».

Сам Аблесимов поначалу был растерян, он не ожидал подобного успеха. «Да ты ли это, Онисимыч?» — спрашивали его. «Я-с», — отвечал он скромно и потупившись...

Казалось, «Мельник» никого не задевал и никто ни на него, ни на автора не ополчится... Может быть, так казалось и Аблесимову, который мечтал поправить свое житье-бытье процентами с сборов — по всей вероятности, у него была какая-то договоренность с владельцами театров. Мечты эти вскоре развеялись в прах. «Мельник» вдруг начал идти все реже, а потом совсем сошел со сцены. Придворные круги, так называемое высшее общество, состоявшее едва ли не наполовину из иностранцев или онемечившихся, офранцузившихся русских помещиков, вскоре стали нападать на

оперу и ее автора. Пьесу называли мужицкой, созданной в нарушение законов, будто бы неизменных для настоящего искусства. Кипятились иные из писателей и критиков, приверженцев классической школы. Они прекрасно сознавали, что «Мельник» может ознаменовать появление подобных ему пьес, а это губительно для их собственной ветхонравной риторики.

Аблесимов, напротив, был абсолютно убежден в правильности своего пути; первоначальный успех «Мельника» воодушевил его на новые вещи. В 1780 г. он написал «Счастье по жребью» и «Странники». Последняя пьеса была приурочена к открытию в Москве Большого Петровского театра. Потом последовали «Подъяческая пирушка» и «Поход с неизменных квартир». Они обладали большой обличительной силой. Опера «Поход с неизменных квартир» была поставлена и пользовалась успехом, но вскоре также была снята с репертуара. По всей вероятности, из-за своей сатирической направленности оба произведения остались ненапечатанными. Это потеря для нашей литературы. Об опере один из зрителей писал: «Сочинитель показал... подробно все солдатские нужды, как искусившийся по сей части».

В 1781 г. Аблесимов по примеру новиковского «Трутня» и не без помощи самого Николая Ивановича начал издавать журнал «Разскащик забавных басен, служащих к чтению и скучное время; или когда кому делать нечего». Вот оно, это редкое издание. Подзаголовок его гласит: «Стихами и прозою. В Москве, в Университетской типографии у Н. Новикова, 1781». Это маленького размера книжица — вдвое меньше «Трутня». Она, конечно, не может сравниться с журналом Новикова. Содержание ее в основном безобидно. Высмеиваются щеголи, моты, кокетки, ветрогоны, картежники. Но нет-нет да и промелькнет в «Разскащике» сатира на суд, на высокопоставленных обманщиков и крючкотворов.

Как ни крепился писатель, а и он начал сдавать. Тайные и явные недоброжелатели не давали ему покоя. «Этот Аблесимов надоел своими мужиками», — поговаривал кто-то. А крапивное семя судейских крючкотворов, заклеянных в «Подъяческой пирушке», форменным образом неистовствовало и поклялось загубить беззащитного драматурга.

Приблизительно к 1782 г. относится единственно известный нам его портрет: молодое лицо, печальные глаза, совсем

седые волосы. Жил он тогда в совершенной нищете. Писателю, на которого бросали косые взгляды вельможи, вряд ли кто решался по-настоящему помочь. От голода, от непрерывных огорчений и разочарований Онисимыч скончался в начале 1783 г., едва достигнув сорока одного года. Скоро забылась и потерялась среди бесчисленных кладбищенских холмиков и его могила.

...Цари сменяли царей. Падали и возникали министерства и министры. Менялся лик страны. А «Мельник» продолжал жить. И в жестокий век Николая Палкина неистовый Виссарион Белинский заявляет: «Аблесимов написал прекрасный народный водевиль «Мельник», произведение столь любимое нашими дедами и еще и теперь не потерявшее своего достоинства».

Он и теперь живет, нестареющий «Мельник — колдун, обманщик и сват». Мы от души веселимся, слушая эту оперу — грациозную, остроумную, брызжущую неистребимым оптимизмом. И мысленно благодарим Онисимыча за живое обаяние «Мельника», пришедшего к нам через туманную мглу столетий.

АЛЕКСЕЙ МИРОНОВ

ТАМ, ГДЕ РОДИЛАСЬ СНЕГУРОЧКА

Среди многих звезд русской драматургии Александр Николаевич Островский — самая большая, самая яркая звезда. С его именем связано возрождение русского театра, как театра национального и народного. А в творчестве драматурга нашла отражение его кровная связь с костромской землей.

Отец Островского — Николай Федорович — коренной костромич. Здесь он родился, провел детство, юность, а также и последние годы своей жизни. Около двадцати лет прожил на костромской земле и Александр Николаевич Островский.

Жизнь отца знаменательна тем, что он поломал многолетнюю традицию рода Островских. И отец, и дяди, и деды Николая Федоровича были священнослужителями. К этой же деятельности готовился и сам Николай Федорович: закончил Костромскую духовную семинарию, потом Московскую духовную академию, но... стать священником не захотел. Выйдя в гражданское сословие, Николай Федорович приобщился к судебному ведомству. Дела велись им квалифицированно и с должной справедливостью, однако без достаточного, как ему казалось, вознаграждения. Поэтому он начал совмещать с основной службой частную адвокатскую практику. А спустя некоторое время Николай Федорович совсем оставляет службу. Авторитет знающего и честного адвоката привлек к дому его постоянно увеличивающийся поток клиентов. Николай Федорович становился состоятельным человеком.

Летом 1847 г. Николай Федорович прочитал в газетах о продаже в Кинешемском уезде Костромской губернии помещичьего имения Щельково. И потянуло его в родные места. Без промедления едет он в то селенье, осматривает и, вернувшись в Москву, покупает его в опекуновом совете по сходной цене. А весной 1848 г., когда еще не просохли дороги, переезжает со всей семьей в Щельково на постоянное жительство.

Александр Николаевич ехал на север от Москвы впервые.

И всю дорогу не переставал удивляться. «С Переяславля, — записывал он в дневнике, — начинается Меря — земля, обильная горами и водами».

От Ярославля до Костромы ехали по луговой стороне. Виды здесь показались молодому писателю еще более восхитительными: «...что за села, что за строения, точно как едешь не по России, а по какой-нибудь обетованной земле». Эту дорогу, думал Островский, не забудешь до самой смерти. Вот, например, Овсянники, в которых только что побывали. Эта деревня так построена, что можно специально съездить из Москвы, чтобы только полюбоваться на нее. А люди здесь — что за красавцы! И словоохотливы, и добры. И — удалцы. И в то же время — скромны. Ведь вот Сусанин-то не шумел: выбрал время к ночи, завел врагов в самую лесную глушь, там и погиб с ними вместе. Вот он какой, здешний народ!

В Костроме прожили четыре дня. Отдыхали с дороги, гостили у брата Николая Федоровича — Павла, который постоянно жил здесь и по давней традиции Островских служил священником. Гуляли по городу, осматривали его примечательности. Александр Николаевич отделился от семьи, ходил по городу один, наполненный еще тем любопытством к загадкам края, которые так неожиданно и приятно полонили его во время путешествия.

От городского центра пошел он к Волге. Миновал величественные постройки гостиного двора, старинный собор, который во всем своем великолении возвышался над рекой, погулял по аллеям парка. Узенький, протянувшийся по высокой насыпи бульвар привел его к беседке, откуда открывался великодушный вид. Он долго стоял здесь, любуясь великой русской рекой, слушая унылую песню бурлаков. Впоследствии, когда бы ни приезжал Островский в Кострому, он непременно приходил сюда, к этой беседке. И благодарные костромичи называли ее «беседкой Островского».

Из Костромы Островские выехали в середине мая. До Щелыкова добрались в тот же день к вечеру. Александру Николаевичу здесь понравилось все. «Что за реки, что за горы, что за леса! — писал он. — У нас (уже — у нас, все это уже его, Островского. — А. М.) все реки текут в оврагах — так высоко это место. Наш дом стоит на высокой горе, побольше нашей Воробинской (т. е. Московской)... На юг от нас, верстах в пяти, есть деревня Высоково, из той виден весь Кинешемский уезд... Если бы этот уезд был подле Москвы или Петербурга, он бы давно превратился в беско-

печный парк, его бы сравнивали с лучшими местами Швейцарии и Италии...»

Приобретая Щельково, отец намеревался прожить в нем остаток своей жизни. В год переезда ему исполнилось пятьдесят два года, до старости было еще далеко, а планы окрыляли и молодили.

Став владельцем приличного помещичьего имения, он решил занять достойное место среди губернского дворянства. И достиг этого: в 1850 г. имя его внесено было в «Родословную книгу дворянства Костромской губернии». Хозяйственная смекалка, трезвый расчет, знание юридической стороны предпринимательства позволили новому владельцу усадьбы добиться немалых успехов. Уже через два-три года усадьба из запущенной и нерентабельной превратилась в доходную. Были отремонтированы строения, улучшены земли, взята под контроль эксплуатация лесов. Николай Федорович из судебного чиновника превратился в заядлого земледельца. Он выписывал «Земледельческую газету», «Журнал сельского хозяйства и овцеводства», изучал научные основы землепользования, засеивал земли, которые считались бросовыми, обновлял леса.

При таком умелом и энергичном ведении дела поместье могло только расти и укрепляться. Но дни нового помещика были сочтены. В конце 1852 г. с Николаем Федоровичем случился приступ, а пятнадцатого февраля следующего года его похоронили у стен церкви Николы в сельце Березки.

По завещанию Николая Федоровича детям от первого брака — Александру, Михаилу и Сергею — определялось маленькое поместье в тридцать душ в Солигаличском уезде Костромской губернии, а также два небольших домика в Москве. В одном из них и прожил значительную часть своей жизни Александр Николаевич. Усадьба Щельково со всеми ее лесными и земельными угодьями передавалась Эмилии Андреевне Островской, вдове Николая Федоровича. И — детям от брака с нею. Почти пятнадцать лет прожила Эмилия Андреевна здесь после смерти мужа. И в течение всех этих лет Щельково постепенно приходило в упадок. У Эмилии Андреевны не оказалось ни опыта, ни способностей, чтобы вести хозяйство, да не было и интереса к нему. Старшие братья, особенно Александр и Михаил, видели все это и в конце концов решили купить Щельково у Эмилии Андреевны. Летом 1867 г. сделка была совершена.



*Щельково.
Мемориальный дом-усадьба
А. Н. Островского*

* * *

К тому времени, когда Александр Николаевич стал владельцем Щелькова, он был уже семейным человеком, и потому усадьба для него была не только местом отдыха, но и поддерживала его материально. Он определяет себе расписание жизни: зимой жить в Москве, летом — в Щелькове; в Москве — писать, в Щелькове — хозяйствовать. И — обдумывать сюжеты для новых пьес.

Островский чувствует себя заправским помещиком. И одевается под стать деревенскому деловому человеку: ходит по имению в рубашке навыпуск, в широких шароварах, в сапогах с высокими голенищами, в серенькой коротенькой поддевке и в шляпе с широкими полями. Ходит крупно и дела задумывает тоже крупные. Ремонтируется дом, строятся новые хозяйственные помещения, расширяется сад, с по-

мощью удобрений улучшаются земли. И добрые дела приносят заметные результаты.

Успехи в хозяйстве радуют Александра Николаевича. «Погода и у нас была плоха в мае месяце, — пишет он в Петербурге артисту Федору Алексеевичу Бурдину, — но теперь давно поправилось; травы и хлеба очень обильны, земляники послыханно много и необыкновенно крупной... Приезжай! И тебя поют таким салатом, какого ты не только не едал, но и не видывал».

Из Щелькова Островский уезжал, как правило, или в конце сентября, или даже в октябре. Но уже с марта, а иногда и с февраля начинал думать о возвращении в усадьбу. В особенности в последние годы жизни, когда здоровье начало заметно сдавать. Щельково для него было «символом» здоровья, а здешний воздух почитал он целебнее всяких лекарств. В марте 1878 г., например, Александр Николаевич пишет из Москвы Ф. А. Бурдину: «Здоровье мое из рук вон плохо; жду не дождусь возможности уехать в деревню». Через три месяца ему же, но уже из Щелькова, сообщает: «У меня были постоянные головокружения, так что я не мог пройти десяти шагов, не держась за что-нибудь. Теперь, благодаря хорошему воздуху, а главное, купанию, и чувствую себя свежее».

Самым любимым занятием для него было — сидеть на речке с удочкой. Тот, кто бывал в окрестностях Щелькова и видел Куекшу, Сендегу, Меру, знает, какие это реки: самая большая из них, Мера, в тех местах не превышает двадцати метров ширины, Куекша же, извилисто протекающая прямо под холмом, на котором стоит дом Островского, и того меньше — в четыре-пять шагов. Однако реки эти — лесные, с заводями, омутами, и рыба в них водилась. А по сему увлечение Александра Николаевича оплачивалось, как правило, хорошими уловами. «У нас нет ни форелей, ни хариусов; но зато весенняя охота на живца интересна обилием улова. Круйная хищная рыба: щука, большие окуни, голавли, жереха (шерешпера) хватают беспрестанно». Александр Николаевич рыбу ловить не только любил, но и умел — научился от местных рыболовов.

Любил Островский народные праздники, троицын день, когда устраивались крестьянские гулянья на ключе в Ярильной долине. Сюда стекались люди от мала до велика со всех окрестных деревень. Девушки и парни водили хоромы, пели народные песни, частушки. Приезжали торговцы с разными товарами. Островский приходил на гулянье со всем

своим семейством, покупал гостинцев и оделял молодежь за их песни. Он шутил, смеялся, радовался со всеми вместе.

* * *

«Как ни хорошо в Щелькове, а все-таки без гостей скучно», — признавался А. Н. Островский Бурдину. Поэтому была у него постоянная забота — пригласить, уговорить, чтобы друзья приехали. И они приезжали. И поодиночке, и семьями. Кроме брата Михаила Николаевича, здесь бывали: Ф. А. Бурдин, И. Ф. Горбунов, М. И. Писарев, Н. А. Никулина, М. П. Садовский, О. О. Садовская, И. Е. Турчанинов, К. В. Загорский, С. В. Максимов, Н. Я. Соловьев, П. М. Невежин и многие другие — артисты, писатели, ученые.

Особенно многолюдно бывало в Щелькове в дни именин хозяйки Марии Васильевны (22 июня) и хозяина (3 августа). Именно к этим датам сюда съезжались и родственники, и близкие друзья. Были праздничные угощения, а под вечер в усадьбе горели яркие огни, играла музыка, гости пели, плясали, кружились в хороводах. Порой устраивались и спектакли. Шумно, в спорах выбирались для постановки пьесы, распределялись роли. В хозяйственном сарае устраивалась сцена, устанавливались лавки. Зрителями были крестьяне из ближних деревень. И собиралось их предостаточно. Сарай всех не вмещал, люди смотрели через забор, в щели, в дырки. Сам Александр Николаевич почти никогда на сцене не играл, а садился в зрительном зале, смотрел и частенько, по воспоминаниям крестьян, записывал что-то в книжечку.

В гостиной, на террасе, просто на лужайке около дома сходились для бесед. Возникали горячие споры о литературе, искусстве, сыпались веселые шутки. Разговоры на политические темы заводились обычно в тех случаях, когда в Щельково приезжал брат Александра Николаевича Михаил. И это понятно: он был важным правительственным лицом. Александр Николаевич искренне любил и уважал его за честность, за высокий ум, за широкую универсальную образованность. Братья, как правило, сходились в оценке тех или иных событий, но нередко между ними возникали и споры. Начинать их обычно Александр Николаевич. И делал это по причинам особым: в нем тихо, но настойчиво разгоралось иногда чувство обиды за друзей, общество которых в присутствии Михаила Николаевича было

не столь оживленно. И поэтому спор его с братом в такие моменты приобретал характер упрямства и озорства. «Во время обеда,— вспоминает В. П. Музиль-Бороздина,— Александр Николаевич и Михаил Николаевич искренно поспорят, отодвинут стулья, сядут друг против друга и, когда спор разгорится, повернут стулья спинками друг к другу и в таком положении, не глядя друг на друга, продолжают спорить. Помню, как один раз я шла впереди с Михаилом Николаевичем под руку, а сзади муж с Александром Николаевичем; в это время подають телеграмму Михаилу Николаевичу, и я вижу, что он страшно побледнел; я потихоньку высвободила руку, а Михаил Николаевич тотчас повернул назад, подошел к Александру Николаевичу и говорит ему: «Какой ужас! Мезенцова убили!» А Александр Николаевич: «Давно пора! Как это раньше не убили».

* * *

Возвращаясь в Москву, Островский тотчас сядил за письменный стол и записывал почти готовую пьесу, которая уже сложилась в Щелькове, когда он ходил по полям и лесам или сидел с удочкой на берегу Куекши. Работать в усадьбе ему было или некогда, или «запрещено». Им же утвержденным расписанием запрещено.

Однако жить по такому расписанию хватило его ненадолго, всего на три лета. За это время Александру Николаевичу удалось сделать хозяйство крепким, доходным. И постепенно приобщить к управлению делами жену. Отдав бразды правления хозяйством Марии Васильевне, сам Островский остался как бы только «попечителем». С этого времени стрелка часов его творчества все более поворачивается с Москвы на Щельково. Теперь чаще всего московско-зимние замыслы осуществляются в летнем Щелькове.

Московская зима Островского — это бесконечные хлопоты о публикации своих произведений, определении и постановке спектаклей в театрах, читке новых пьес для артистов. Почти каждую зиму с теми же целями Островский выезжает и в Петербург, где продолжительно и настойчиво работает с артистами Александринского театра. А щельковское лето отводится теперь преимущественно для творческой работы.

Большинство произведений Островского, относящихся к 70—80-м годам, было написано в Щелькове. Здесь обрели



Памятник А. Н. Островскому

свою жизнь «Не было ни гроша, да вдруг алтын», «Комик XVII века», «Поздняя любовь», «Трудовой хлеб», «Волки и овцы», «Богатые невесты», «Правда хорошо, а счастье лучше», «Последняя жертва», «Бесприданница», «Сердце не камень», «Невольницы», «Таланты и поклонники», «Красавец мужчина», «Не от мира сего».

Из всех сочинений, написанных им на костромской земле, наиболее «костромскими» являются «Воевода», «Лес» и «Снегурочка».

Место действия «Воеводы» — Кострома. В пьесе упоминаются Волга, Унжа, Галицкое озеро, село Красное, Ипатьевский монастырь и т. п. Некоторые сцены происходят на площади возле бывшего Успенского собора, на нынешней улице Островского, на берегу Волги. Время действия

отнесено к XVII столетию. Однако идейный, политический климат пьесы навеян событиями не XVII, а XIX в. Время конца 50-х и начала 60-х годов знаменательно, как известно, подъемом революционного движения в России. Только в Костромской губернии за эти годы произошло более сотни крестьянских выступлений: бунтов, неповиновений, поджогов помещичьих усадеб. Эта политическая ситуация определила и сюжет пьесы, и главное ее содержание. Достаточно сказать, что воевода подвергнут страшному суду восставшим народом — утоплен в Волге.

В пьесе «Лес» дом помещицы Гурмыжской — это усадьба Островского в Щелькове. Перекресток, на котором встречаются Геннадий Несчастливцев и Аркадий Счастливцев, — также щельковская реальность: встретились они на том месте, где дорога от усадьбы Островского выходит к тракту Кострома — Кинешма. Объясняя Аркадию Счастливцеву, какие у него вещи в «ранце», рассказывая, в частности, о фраке и о том, зачем ему этот фрак нужен, Геннадий Несчастливцев говорит: «Ну приду я теперь в Кострому... поступлю в труппу, — должен я к губернатору явиться, к полицеймейстеру, по городу визиты сделать?..»

Однако самой «костромской» и «щельковской» является, пожалуй, «Снегурочка». Действие «Весенней сказки» происходит то во дворце царя Берендея, который стоит на том же холме, что и дом автора ее, Островского, то в Берендеевке или в Ярилиной долине, то есть в одной из деревень или на одной из полян, существующих и доныне за речкой Куекшей. Поляна эта Ярилиной именуется и по сей день. На поляне есть родничок, и если взглянуть в его прозрачную воду, то можно увидеть, как в глубине трепетно бьется ключик. По преданиям старины — это сердце растаявшей от горячей любви Снегурочки.

* * *

В начале 70-х годов Островский в своих письмах все чаще жалуется не только на усталость, но и на недуги. «Дня три или четыре тому назад, — писал он в январе 1883 г., — у меня явились новые припадки — замирания в сердце: болезнь, убивающая физически и нравственно. И самому знать и видеть по испуганным взглядам окружающей семьи, что жизнь твоя на волоске — не легко».

Однако мера творческой жизни Островского была полной до самого последнего дня. Каждый год драматург дарит

России все новые и новые произведения, в том числе такие шедевры, как «Последняя жертва», «Бесириданница», «Таланты и поклонники», «Без вины виноватые»...

Всю свою жизнь Островский болел за судьбу русского театра. И всегда готов был служить ему не только как драматург, но и как организатор. Однако лишь в последние годы он получил на это право: в 1885 г. Александр Николаевич был назначен руководителем репертуарной части московских театров. Впрочем, и этому запоздалому решению правительства Островский был искренне рад: в одном из писем событие это он именует «праздником на нашей улице».

Несмотря на слабеющие силы, Александр Николаевич принимается за новое важное дело охотно и горячо: все лето 1885 г. (в Щелькове) он отдает «проектированию» лучшего будущего московских театров: составляет проект артистической школы, проект «о принятии и постановке пьес», «о режиссерском управлении», пишет несколько теоретических работ, читает множество пьес, которые присылаются ему со всех концов России. Приехав осенью в Москву, Островский приступает к практическому осуществлению широко задуманной программы. И с горечью сознает, что время упущено: «Я достиг цели стремлений всей моей жизни и... тут же, с ужасом, ощутил, что взятая мною на себя задача мне уж не по силам. Дали белке за ее верную службу целый воз орехов, да только тогда, когда у нее уж зубов не стало».

В апреле 1886 г. в московском доме Островского, как и прежде, делаются приготовления к отъезду в Щельково. Но вот проходит уже и половина мая, а Островские еще в Москве. Обострившаяся болезнь Александра Николаевича не позволяет двинуться в далекое путешествие.

Было решено, что Мария Васильевна пока поедет одна, ей надо быть в Щелькове обязательно: близилось начало полевых работ. 30 мая она выезжает из Москвы. С Александром Николаевичем остается его сын Михаил.

Иногда Островскому казалось, что болезнь отступает. Тогда он говорил, что если хоть как-нибудь доберется до Щелькова, то там-то уж непременно выздоровеет. И в конце концов твердо решил ехать. 10 июня они с Михаилом прибыли в Кинешму. На Кинешемском вокзале их встретил старый знакомый, уездный предводитель дворянства П. Ф. Хомутов. По свидетельству Хомутова, Александр Николаевич грустно сказал ему при встрече: «До имения не доеду». Путь пре-



Мостик на р. Кукеше

одоленный напомнил о болезни, путь предстоящий (двадцать верст по лесной, ухабистой дороге) вызывал страх.

Но вот все это было позади. Когда подъехали к дому и Александр Николаевич поднялся с помощью людей на крыльцо, он горько зарыдал от тягостных предчувствий.

На второй день пребывания в Щелькове Островский почувствовал себя лучше. А на третий — совсем почти хорошо. И он сел за работу, за перевод пьесы Шекспира «Антоний и Клеопатра». 13 июня, всем на удивление, Александр Николаевич расхаживал по дому, по саду, шутил, смеялся. И снова работал, работал с увлечением. Так же начиналось и утро 14 июня: Островский снова гулял по



Могила А. Н. Островского

комнатам, ходил в сад. Мария Васильевна, уверовавшая в выздоровление мужа, собралась в церковь. А он даже обрадовался этому, так как жена не очень-то поощряла его занятия. И как только Мария Васильевна уехала, Александр Николаевич тотчас приступил к делу. Работал он вдохновенно, время от времени вставал из-за стола, ходил то по кабинету, то по гостиной, снова торопился за стол и писал, писал...

А потом случилось то, чего уже перестали опасаться и ждать. Из кабинета послышался крик: «Ах, как мне дурно! Дайте воды!» «Я побежала за водой,— рассказывала дочь Островского, Мария Александровна,— и только что вышла, как услышала, что он упал». Вбежав в кабинет, Мария Александровна увидела отца безжизненно лежавшим на полу.

Хоронили А. Н. Островского 17 июня¹. На похороны приехало много родственников, знакомых из Москвы, из Петербурга. За гробом шли крестьяне окрестных сел. Похоронили его в ограде церкви Николая сельца Бережки, рядом с отцом его, Николаем Федоровичем Островским.

¹ По новому стилю.

ВАСИЛИЙ КАСТОРСКИЙ ШАЕВСКИЙ ССЫЛЬНЫЙ

Творчество Павла Александровича Катенина, поэта, драматурга, критика и переводчика, отразило идеи и настроения ранних декабристов и внесло значительный вклад в развитие русской литературы.

Родился Катенин 22 декабря 1792 г. в усадьбе Шаево Кологривского уезда Костромской губернии, в старинной дворянской семье. Родители дали ему хорошее домашнее образование и отправили в Петербург, где его ждала служба в министерстве народного просвещения. Однако молодого человека больше привлекала военная карьера, и, едва достигнув восемнадцатилетнего возраста, Катенин поступил в Преображенский полк в чине портуней-прапорщика.

Служба и светский образ жизни гвардейского офицера не помешали ему продолжать образование. С ранних лет испытывая склонность к поэзии, он начал писать стихи. В 1810 г. в журнале «Цветник» были напечатаны его переводы из Вергилия, Оссиана и других авторов. Одновременно Павел Александрович пробовал свои силы в драматургии, и тоже небезуспешно. В феврале следующего года в Петербурге была поставлена переведенная им трагедия Корнея «Ариадна».

Начавшаяся вскоре Отечественная война 1812 г. прервала литературную деятельность Катенина. Молодой офицер храбро сражался с врагом, отличился в Бородинской битве, затем во время заграничного похода — в сражениях под Люценом, Бауценом, Кульмом и Лейпцигом, дошел со своим полком до Парижа.

Время с 1814 по 1822 г. было самым ярким и плодотворным периодом в жизни и творчестве Катенина. В эти годы он пишет «простонародные» и исторические баллады: «Наташа», «Убийцы», «Леший», «Ольга», «Певец услад», «Мстислав Мстиславич», драматический пролог «Пир Иоанна Безземельного», трагедию «Анд-

ромаха», поэмы «Софокл», «Мир поэта», десятки стихотворений. Кроме того, Катенин много переводит, особенно из пьес знаменитых французских драматургов Корнеля и Расина. В то же время расширяются его связи с театральными и литературными кругами. Павел Александрович познакомился с семьей директора Публичной библиотеки Оленина, в кружке которого встретился с драматургом Шаховским и великим русским баснописцем Иваном Андреевичем Крыловым. Здесь же, вероятно, началась и его дружба с Александром Сергеевичем Грибоедовым, которая, в частности, выразилась в том, что они сообща написали комедию «Студент».

Известность Катенина как писателя растет. Оформляются его литературные позиции и политические взгляды. Павел Александрович принял активное участие в борьбе за создание самобытной, национальной русской литературы и стал одним из первых прогрессивных романтиков в русской поэзии.

К 1817 г. относится и знакомство Катенина с Александром Сергеевичем Пушкиным. Вот как описывает он встречу с великим поэтом:

«Пушкин встретил меня в дверях, подавая в руки толстым концом свою палку и говоря: «Я пришел к вам, как Диоген к Антисфену: побей, но выучи». — «Ученого учить — портить», — отвечал я, взял его за руку и повел в комнаты». С тех пор Пушкин часто посещал Катенина, проводил с ним целые вечера в литературных беседах и спорах, и они стали друзьями. Пушкин советовался с Катениным о своих стихотворениях и поэме «Руслан и Людмила».

В то же время Катенин сближается с передовой частью офицерства, становится одним из организаторов первых тайных революционных обществ в России, вступает в «Союз Спасения». Он был одним из учредителей тайной организации — «Общества добра и правды». Авторитет и влияние Катенина среди молодого офицерства гвардейских полков были в это время очень велики. В доносах полицейских органов он назывался «оракулом Преображенского полка, регулятором полкового мнения и действий молодых офицеров...».

По воспоминаниям современников, Катенин того времени внешностью напоминал своего друга Пушкина. Небольшого роста, необычайно подвижный, остроумный и вспыльчивый, вечно кипевший, «как кофейник на конфорке», он действи-

тельно имел некоторое сходство с великим поэтом, не только внешне, но и в темпераменте, и поведении.

«Он мог вести диспуты с кем и о чем угодно и своей неотразимой диалектикой сбить с толку, обезоружить своего противника... Декламировать, рассказывать увлекательно, острить, спорить, опровергать, доказывать — вот сфера, в которой он не имел соперников»¹.

Катенин пишет революционный гимн, представляющий вольный перевод французской революционной песни:

«Отечество наше страдает
Под игом твоим, о злодей!
Коль нас деспотизм угнетает,
То свергнем мы трон и царей.
Свобода! Свобода!
Ты царствуй над нами!
Ах, лучше смерть, чем жить рабами, —
Вот клятва каждого из нас!

Эта песня стала своего рода гимном декабристов. Ее они распевали на своих тайных собраниях. С этой песней впоследствии декабристы-каторжане выходили на работы, заставляя под ее звуки маршировать и своих конвоиров. Уже по содержанию этого гимна можно судить, что Катенин стоял на левом крыле декабристского движения, был сторонником уничтожения монархии в России. Вместе с тем следует отметить, что в 1818 г. Катенин был единственным русским писателем, идейно и организационно связанным с революционным подпольем.

Правительство Александра I подозревало в Катенине своего врага. Он числился в списке «неблагонамеренных людей». По словам доносчика, «он был вреден своим влиянием и распространением вольтерьянства», от него «набирались вольного духу» окружающие его люди. Но прямых улик против Катенина не было: очевидно, он был хорошим конспиратором. Царь искал случая, чтобы избавиться от опасного человека и примерно наказать его.

В сентябре 1820 г. молодой, блестящий полковник лейб-гвардии Преображенского полка был неожиданно уволен в отставку «по высочайшему повелению». Однако и отставка не заставила Катенина «смириться» и отказаться от борьбы с самодержавием.

Вскоре Катенин подвергся более жестокой каре. По ничтожному поводу — «за шиканье» в театре артистке Азареви-

¹ И. Н. Розанов. Пушкинская плеяда. «Задруга», 1923.

чевой, которой покровительствовал петербургский генерал-губернатор Милорадович, — он был выслан из Петербурга на три года в свою костромскую деревню, с «запрещением въезжать в обе столицы без высочайшего на то разрешения».

Всем было понятно, что мелкий театральный инцидент был только поводом для расправы с Катениным. Тем более что высылка Катенина была обставлена необычно. Ему не дали даже «законных» 24 часов. Граф Милорадович приказал полицмейстеру Чихачеву немедленно вывезти Катенина за заставу. Последний не имел возможности даже собраться и вынужден был, выехавши за заставу, остановиться на некоторое время в трактире «Красный кабачок» (на дороге в Петергоф), пока его друзья подготовили все необходимое для путешествия в далекое Шаево.

Катенина, между прочим, подозревали в причастности к делу о прокламациях, появившихся среди солдат в казармах Преображенского полка, в которых говорилось, что от царя нечего ждать, что он «сам не кто иной, как сильный разбойник».

В конце 1822 г. Катенин приехал в Шаево, «в страну медведей», по его выражению. Потянулись томительные дни ссылки. Человек исключительного ума и образованности, оторванный от политической и культурной жизни страны, Катенин переживал ссылку болезненно. Утешением «шаевского ссыльного», как он себя называл, были только книги (у него в Шаеве была богатая библиотека) да переписка с друзьями, в частности с Пушкиным и Грибоедовым.

Пушкин тогда был на юге. С запозданием узнав о высылке Катенина, он с беспокойством запрашивал своих друзей и родственников о его судьбе. «Правда ли, — писал он Вяземскому, — что говорят о Катенине? Мне никто ничего не пишет — Москва, Петербург и Арзамас совершенно забыли меня...» В дальнейшем, установив местонахождение Катенина, великий поэт начинает ему писать в Шаево. Павел Александрович тоже пристально следил за жизнью ссыльного Пушкина.

В период ссылки Катенин уделял мало внимания творчеству, однако полностью отказаться от любимого дела не мог. Он перевел комедию Мариво «Обман в пользу любви», создал оригинальную комедию «Говорить правду — потерять дружбу», написал ряд стихотворений. В 1824 г. Павел Александрович получил от Грибоедова рукопись комедии «Горе от ума» на отзыв и без промедления отправил другу подробный ее разбор.

Изредка навещивался в Шаево кто-нибудь из петербургских знакомых или сам Катенин уезжал на некоторое время в Кострому, Кологрив, Чухлому или Ростов-Ярославский. Тогда же купил он у И. Ю. Лермонтова (одного из родственников великого поэта) в Чухломском уезде усадьбу Колотилово, по соседству с имением своего брата, селом Бореевом, и построил здесь дом.

Средства, которыми располагал Катенин, были весьма ограниченными. Но он, сочувствуя бедственному положению своих крестьян, помогал им, был, по преданиям, «предобрый». Вот что писал он артистке А. М. Колосовой: «Крестьяне здешние с голоду мрут; кормлю их чем и как могу, но мне не на что купить овса для посева и доходов никаких нет». В письме к Бахтину Катенин сообщает: «Вы у меня просите тысячу рублей, когда у меня десяти нет, и занять здесь ни у кого нельзя. Весь уезд умирает с голоду, овес так приели, что нечем будет яровую сеять, а местами мужики кормятся дурандой. Я после этого гол, как сокол, и в долгу, как в шелку».

Из Петербурга приходили к нему известия о литературной интриге против него. Печатание произведений задерживалось.

В обстановке жестокой николаевской реакции Катенин рассматривал себя как хранителя литературных традиций декабризма. Это особенно отчетливо выражено в статье «Старая быль» и сопровождавшем его послании «А. С. Пушкину», а также в стихотворении «Гений и Поэт». По поводу статьи «Гений и Поэт» он писал Бахтину: «Я становлюсь смел в своей глуши и, коли прочтете, увидите почему». Действительно, это стихотворение проникнуто революционными мотивами. В нем Гений говорит Поэту:

Нет, сгубить доныне годы
Не могли врожденных сил;
Добродетели, свободы,
Славы ты не разлюбил;
Будь же вновь, чем был ты прежде.

И здесь же, намекая на события июльской революции во Франции, Катенин пишет:

Зри, как целые народы,
Пробужденные от сна,
Вдруг отчизны и свободы
Водружают знамена.

Конечно, такое стихотворение не было пропущено цензурой. Катенин не скрывал своего глубокого возмущения

цензурным гнетом. В письме к А. С. Пушкину он писал о цензорах: «О варвары, полотеры придворные, враги всего русского и всего хорошего». Катенин по-прежнему живет в своем Шаеве, любит ездить по деревням, посещает деревенские праздники, внимательно присматривается к жизни крестьян и в письмах друзьям не скрывает своего сочувствия угнетенному народу.

«Чем далее живу в отдаленной нашей стороне, — пишет он Бахтину, — тем сильнее удостаиваюсь, что здесь то именно труд и есть, которого уже плоды красуются на ветвях и забывают о бедных корнях, роющих землю в темноте (намек на басню Крылова «Листья и Корни». — В. К.). Сельская тишина, мир полей — пустые бессмысленные слова столичных богатых жителей, не имеющих никакого понятия о том, как трудно хлеб сеять, платить подати, ставить рекрут и как-нибудь жить».

Материальное положение самого Катенина в это время еще более ухудшилось. В письмах к друзьям он жалуется, что «доходов нет вовсе, процентов платить в Опекунский совет не из чего». В 1832 г. Колотилово за неплатеж ссуды и процентов по ней было взято в опеку.

Здесь надобно заметить, что несколько раньше, уступив настоятельным уговорам друзей, особенно А. С. Грибоедова и В. А. Каратыгина, Павел Александрович подал прошение царю о том, чтобы ему разрешено было вернуться в Петербург, и такое разрешение получил. В Петербурге он решил издать свои сочинения и с помощью друзей открыл на издание предварительную подписку. Большую помощь в этом ему оказал Пушкин, который взял для раздачи 100 подписных листов. Издание сочинений было значительным событием в жизни писателя. 7 января 1833 г. Катенин (вместе с Пушкиным) был избран в действительные члены Российской литературной академии.

Материальная необходимость заставила Катенина снова поступить на военную службу. Отслужив полгода в Царском Селе, он отправился на Кавказ и здесь служил до 1838 г. Некоторое время он жил в Ставрополе, затем в Ольгинском укреплении на Кубани. Участвовал в боях с горцами, был назначен комендантом крепости Кизляр.

И здесь, на Кавказе, Катенин не изменил своим прежним общественно-политическим взглядам. Он резко отрицательно относился к колонизаторской политике царского правительства, к произволу царских генералов и чиновников на Кавказе. В письме к Бахтину из Ставрополя он пишет

о «неограниченном самовластии высоких» на Кавказе, о том, что там «почтения к истине, к правоте и невинности, к страданию, двумя словами: совести и человеколюбия — в помине нет».

И на Кавказе Катенин продолжает заниматься литературным творчеством. Здесь им написаны большая сказка в стихах «Княжна Милуша», «Инвалид Горев», «Дура», «Сонет». В «Сонете» он вновь и вновь говорит о своей верности декабристским идеям, подчеркивает решимость идти прежним путем:

Как лебедь восстает белее из воды,
Как чище золото выходит из горнила,
Так честная душа из опыта беды:
Гоненьем и борьбой в ней
Только крепнет сила,
Чем гуще мрак кругом,
Тем ярче блеск звезды.

Конечно, полковник-поэт с таким настроением был совсем не по вкусу правительству Николая I. Приказом от 30 ноября 1838 г. Катенин неожиданно увольняется в отставку, «совершенно без вины и даже без предлога», как он писал впоследствии.

Последние 15 лет своей жизни П. А. Катенин провел в своих усадьбах Шаево и Колотилово. Больше жил в Колотилове. Отсюда иногда выезжал в Чухлому, в частности приезжал на публичные экзамены в Чухломском уездном училище. О жизни Катенина в Колотилове можно судить по роману А. Ф. Писемского «Люди сороковых годов», где Катенин изображен в лице А. И. Коптина. Писемский был соседом Катенина (родовое имение Писемских Раменье находилось в трех с половиной километрах от Колотилова). Когда Писемский был студентом, он на каникулах часто навещал Катенина в Колотилове. Старый писатель вел с Писемским оживленные беседы о литературе, о театре, учил его искусству декламации. И эти уроки не прошли даром. Впоследствии Писемский стал превосходным чтецом.

Только посещения Писемского да редкие визиты старых друзей Катенина, в частности знаменитого артиста В. А. Каратыгина, вносили некоторое разнообразие в его жизнь. Оторванный от центров политической и литературной жизни страны, находясь в одиночестве, в глуши, Катенин погружался в споры со своими литературными противниками.

все меньше занимался литературным творчеством. Последней творческой работой его были «Воспоминания о Пушкине», которые он закончил 9 апреля 1852 г.

9 мая 1853 г. (по ст. ст.), в «Николин день», Павел Александрович близ Шаева был разбит лошадьми. Несмотря на тяжелые ушибы и повреждения, Катенин сохранил бодрость духа и с улыбкой сказал поднимавшему его кучеру: «Подшутил над нами Никола!» Так же мужественно он встретил и смерть. Когда родственники предложили ему перед смертью исповедаться и причаститься, он, собрав последние силы, сказал: »Не нужно!»

Тело Катенина было перевезено в Чухломский уезд и похоронено на кладбище с. Бореева (в пяти километрах от Колотилова). На могиле была положена чугунная плита с надписью, сочиненной при жизни самим Катениным: «Павел, сын Александров, из рода Катениных. Честно отжил свой век, служил Отечеству верой и правдой, в Кульме бился насмерть, но судьба его пощадила; зла не творил никому и мене добра, чем хотелось». В 1955 г. прах П. А. Катенина перевезли в Чухлому и здесь на могиле его поставили новый памятник.

П. А. Катенин был личностью разносторонней. Он принадлежал к числу самых образованных людей России первой трети XIX в. А. М. Горький назвал его «знатоком литературы»¹. По свидетельству современников (Макарова, Андреева, Зотова), он отличался феноменальной памятью, необыкновенной эрудицией, универсальностью познаний.

Лингвистические способности Катенина были изумительны. С французским, немецким, итальянским языками он был знаком в совершенстве, английский, испанский и латинский знал настолько, что мог на них свободно читать. Все выдающиеся памятники западноевропейской литературы были ему знакомы. По словам Каратыгина, Катенин глубоко знал и историю. «Можно было положительно сказать, что не было ни одного исторического события, которого бы он не мог изложить со всеми подробностями. Это была живая энциклопедия»². Н. Ма-

¹ М. Горький. История Русской литературы. М., 1939.

² П. Каратыгин. Записки. СПб., 1880.

каров утверждает, что начитанность Катенина обнимала «все предметы, подлежащие книгопечатанию: поэзию, историю, беллетристику, философию, богословие, точные науки, естествознание»¹. По свидетельству А. Ф. Писемского Катенин знал и высшую математику. Поэт был превосходным знатоком сцены и театра, неподражаемым чтецом и декламатором и выдающимся актером-любителем. Он учил декламации и сценическому искусству знаменитых русских актеров В. А. Каратыгина и А. М. Колосову. А. М. Колосова в своих «Воспоминаниях» рассказывает о неизгладимом впечатлении, какое произвела на нее в свое время игра Катенина в роли Хвастуна в комедии Княжнина под тем же названием.

Но, конечно, основное в личности Катенина — его поэтическое творчество и литературно-критическая деятельность. Как поэта Катенина высоко ценили Пушкин и Грибоедов. Пушкин называл Катенина «опытным художником». В статье «О сочинениях П. А. Катенина» в качестве главных достоинств Катенина-поэта Пушкин отмечает самобытность и элементы народности в его поэзии. «Никогда не старался он угождать господствующему вкусу и публике,— писал великий поэт о Катенине,— напротив: шел всегда своим путем... быв один из первых апостолов романтизма и первый введши в круг возвышенной поэзии и язык и предметы простонародные, он первый отрекся от романтизма и обратился к классическим идолам»².

Пушкин считал Катенина лучшим из критиков 20-х годов. В феврале 1826 г. он писал Катенину: «Покамест, кроме тебя, нет у нас критика. Многие (в том числе и я) много тебе обязаны, ты отучил меня от односторонности в литературных мнениях». Великий поэт дорожил высказываниями Катенина о литературе.

Так же относился к Катенину-критику и Грибоедов. Недаром именно Катенину, в кологривскую глушь, в 1824 г. посылал он на отзыв рукопись только что законченной комедии «Горе от ума». Получив критический отзыв Катенина, Грибоедов писал ему в январе 1825 г.: «Критика твоя, хотя жестокая и вовсе несправедливая, принесла мне истинное удовольствие тоном чистосердечия, которого я напрасно буду требовать от других людей... Вообще я ни

¹ Н. Макаров. Мои 70-летние воспоминания, ч. I. СПб, 1884.

² А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 6-ти томах, т. 5., 1936.

перед кем не таился и сколько раз повторяю... что тебе обязан зрелостью, объемом и даже оригинальностью моего дарования, если оно и есть во мне»¹.

Значительная роль принадлежит Катенину в переводе на русский язык произведений западноевропейской литературы, особенно драматических. Деятельность переводчика он подчинял своим общественно-политическим и эстетическим взглядам: выбирал для перевода в основном лучшие произведения французских драматургов Корнеля и Расина, проникнутые высокими идеями. В нужных случаях Катенин при переводе «исправлял» Корнеля и Расина в духе декабристских идей. Переводы пьес Корнеля А. С. Пушкин ставил в большую заслугу Катенину. Так, по поводу перевода трагикомедии «Сид», которую великий поэт считал лучшей трагедией Корнеля, Пушкин писал: «Ты перевел «Сиду», поздравляю тебя и старого моего Корнеля».

В свое время катенинские переводы пьес французских драматургов Корнеля и Расина имели большое значение для русского театра, что было отмечено Пушкиным в первой главе «Евгения Онегина». Говоря о петербургском театре 10-х годов XIX столетия, Пушкин писал:

Там наш Катенин воскресил
Корнеля гений величавый...

Примечательно, что, кроме переводов с иностранных языков на русский, Катенин пробовал переводить и с русского языка на иностранные. Он, в частности, перевел на французский несколько стихотворений Державина.

Не следует переоценивать значение личности Катенина. К нему, как и ко всем представителям декабристского движения, относится классическая характеристика, данная В. И. Лениным в статье «Памяти Герцена».

Классовые дворянские предрассудки тяготели над поэтом не в меньшей мере, чем над другими декабристами. Это отразилось и на его творчестве. Но и недооценивать роли Катенина в истории русской литературы, критики и общественной мысли тоже нельзя. Это был один из тех лучших русских людей XIX в., которые помогали русскому народу в борьбе за его освобождение и внесли свой вклад в создание великой русской литературы.

¹ А. С. Грибоедов. Сочинения. Л., 1945.

ЮРИЙ ЛЕБЕДЕВ

НИВА, МОЯ НИВА...

Воды больших рек питаются лесными родничками. Если они иссякнут — реки обмелеют. Большая литература не может существовать без писателей скромного дарования. Ведь лесной родничок хорош по-своему. Его скромная красота может соперничать с красотой величавых рек.

В славной плеяде русских писателей середины XIX столетия есть свой голос у поэтессы Юлии Валериановны Жадовской. Еще не ушли, к счастью, далеко от нас те годы, когда ее стихи украшали детские хрестоматии. Первые поэтические ощущения родины, России у многих поколений русских людей еще согреты душевным теплом знаменитой некогда «Нивы»:

Нива, моя нива,
Нива золотая!
Зреешь ты на солнце,
Колос наливая.
По тебе от ветру,
Словно в синем море,
Волны так и ходят,
Ходят на просторе.
Над тобою с песней
Жаворонок вьется,
Над тобой и туча
Грозно пронесется.
Зреешь ты и спеешь,
Колос наливая,
О людских заботах
Ничего не зная.
Унеси ты, ветер,
Тучу градовую;
Сбереги нам, боже,
Ниву трудовую!..

Творчество Юлии Валериановны — скромный полевой цветок костромского края. Буй — Кострома — Ярославль — Кострома — Буй — такова нехитрая «география» жизненных странствий поэтессы. Были попытки покинуть провинцию ради Москвы и Петербурга, попытки, дважды увенчавшиеся

нешуточными поэтическими успехами. И вдруг, в зените славы, возвращение в обетованную землю буйскую... Какая сила отзывала Жадовскую «в сторону от большого света», от славы и успеха, открывавшихся там? Очевидно, высокая самокритичность, но, в первую очередь, неизбывная и скорбная любовь к родному краю, к его неброской красоте, к его обездоленному люду. На память приходят тургеневские герои: Лиза Калитина с ее неожиданным уходом от мирских соблазнов в монастырь, Лаврецкий с его желанием «пахать землю», уйти с головою в деревенскую тишину, на самое дно этой глубокой реки. На жизни поэтессы — печать судьбы целого поколения, людей острой совестливости, высокой нравственной культуры.

Юлия Валериановна Жадовская родилась 11 июля 1824 г. в селе Субботино Любимского уезда Ярославской губернии в имении отца. Она принадлежала к древнему, но к началу XIX в. оскудевшему дворянскому роду. Отец ее, Валериан Никандрович Жадовский, воспитанник Московского кадетского корпуса, служил во флоте, а затем, выйдя в отставку, был чиновником особых поручений при ярославском губернаторе, председателем Палаты гражданского суда. Мать поэтессы, Александра Ивановна Готовцева, воспитанница Смольного института, показала блестящие успехи и была записана на почетной золотой доске. Она приходилась родной сестрой костромичке Анне Ивановне Корниловой-Готовцевой, женщине весьма образованной и одаренной, печатавшей свои стихи в «Московском телеграфе», «Сыне отечества», «Галатее». На одно ее стихотворное послание отвечал А. С. Пушкин. Писательским дарованием не обделена была и старшая сестра Готовцевых, Мария Ивановна. В семействе матери все обладали сценическими способностями и писали стихи.

Судьба жестоко отнеслась к Юлии Валериановне: девочка родилась с серьезными физическими недостатками. без левой руки и лишь с тремя пальцами на правой. Она слишком рано почувствовала себя несчастным человеком. обделенным судьбой. Далее все шло по пословице «горе по горю, беды по бедам». Не успев окрепнуть, девочка лишилась матери, скончавшейся в возрасте 22-х лет от скоротечной чахотки. Осознав, что дни ее сочтены, Александра Ивановна сама привезла свою полуторагодовалую дочь к своей матери в усадьбу Панфилово Буйского уезда Костромской губернии.

Детские годы Юлии Валериановны прошли в деревенской глуши, в просторах буйских полей. Впоследствии она



Город Судиславль

называла эти края обетованной землей, где на закате дней вновь суждено ей будет поселиться навсегда. «С террасы вид открывается на множество сел и деревень, на целое море изумрудной озими. Вблизи пролегает проселочная дорога, оживляемая по временам протяжной песней крестьянина да стуком телеги...» — вот отзвуки панфиловских впечатлений в романе Жадовской «Женская история». Они неоднократно возникают и в стихах:

И часто Надя в дом пустой ходила,
Там комната одна ей полюбилась,
Чудесный вид из окон открывался:
Синела даль, белел уездный город,
И на местах гористых там и сям
Раскиданы и села и деревни;
Вблизи вилась река, сверкая небом,
Плакучих ив над ней склонялись ветки.
А на песке играли ребятишки,
Облитые вечерними лучами.

В усадьбе от покойного деда осталась большая библиотека. Девочка уже в раннем возрасте обнаружила незаурядные способности: с шести, а по другим сведениям, даже с трех лет она прекрасно читала. Бабушка Юлии Настасья Петровна Готовцева принадлежала к числу патриархальных дворянок доброго старого времени. Быт и нравы ее родового поместья были органично слиты с народной культурой и народной нравственностью. Долгими зимними сумерками, вспоминала Юлия Валериановна, «она сажала меня перед собой на стол, и, погладив... по голове, начинала рассказывать сказки о «Хитрой лисице и волке», о «Строевой дочке»... С этих пор явилась у меня странная потребность рассказывать мысленно себе самой сказки, созданные моим же собственным воображением. Сперва это были сказки, после — целые романы».

Буйские впечатления питают лучшие страницы поэзии и прозы Юлии Валериановны.

Когда девочке исполнилось двенадцать лет, бабушка, несмотря на всю привязанность к внучке, решила расстаться с ней и увезла на обучение в Кострому к своей дочери, родной тетке Юлии, Анне Ивановне Корниловой-Готовцевой, которая деятельно принялась за образование своей племянницы. Обладая незаурядными педагогическими способностями, она сама преподавала ей языки, географию, историю. Наконец, и отец решил заняться образованием дочери. К великому горю бабушки, он поместил девочку в частный костромской пансион Прево де Люмьен, учебное заведение с крайне рутинным преподаванием, а в 1839 г. взял дочь из пансиона к себе в Ярославль, пригласив на домашние уроки молодого учителя Ярославской гимназии Петра Мироновича Перевлесского, впоследствии известного ученого, профессора Александровского лицея. Перевлесский сразу же обнаружил и попытался развить в своей воспитаннице очевидные задатки художественного таланта.

Первый успех ждал Юлию Валериановну в 1841 г., когда в журнале «Москвитянин» было опубликовано ее письмо о приезде в Ярославль императора Николая I. Затем, в 1843 г., в этом же журнале появились ее заметки о провах масленицы в Буйском уезде, а в 1844 г. — первые стихи: «Водяной», «Русалка».

В течение трех лет Перевлесский посещает в роли учителя дом Жадовских. Дружба молодых людей незаметно для них самих перерастает в сердечную привязанность. С восторгом узнав о таланте дочери, отец все силы употребляет

ет на то, чтобы развить его. Жертвуя скромными доходами, он выписывает для Юлии все, что выходит в литературе значительного, решает вывезти дочь в Москву и Петербург для установления связей с литературными кругами столиц. Талант Юлии является его утешением и гордостью, но он и в мыслях не допускает, чтобы его дочь, родовитая дворянка, подающая надежды поэтесса, могла влюбиться в сына жалкого рязанского дьячка.

Здесь-то и постигает Юлию тот жизненный удар, от которого она не оправится до последних дней своих. Отец категорически отказывает ей в благословении на брак. Ни слезы, ни страдания дочери не могут переломить его закоренелый деспотизм:

Оскорбят тебя люди жестоко,
Опозорят святыню души;
Будешь, друг мой, страдать одиноко,
Лить горячие слезы в тиши...

Одна из героинь Ю. В. Жадовской говорит: «Можно любить и два раза в жизни, все зависит от того, сколько сил унесет первая страсть. Оборвите весной почки с дерева, оно пустит новые; сделайте это позднее, в нем уже не будет сил распуститься». У Жадовской такие силы нашлись, но распустились они не в жизни, а в поэзии. «Оплакивание первой любви, так безжалостно задушенной в самом ярком ее расцвете, занимает наиболее видное место среди этих песен женской неволи», — писал в свое время А. М. Скабичевский.

В 1846 г. Юлия Валериановна решила на издание первого сборника стихотворений. К этому подталкивали ее и литературные друзья, тогда уже многочисленные. Сборник обратил на себя внимание известных русских критиков. В. Г. Белинский в статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года» посвятил его разбору несколько страниц. Его отзыв был суровым. Отметив в стихах Жадовской «что-то вроде поэтического таланта», Белинский упрекал поэтессу в романтической мечтательности, хотя в то же время и оправдывал ее: «Нужно много смелости и героизма, чтобы женщина... не заключилась в ограниченный круг мечтаний, но ринулась бы в жизнь для борьбы с нею». Увы! Героизмом и решительностью в том смысле, в каком понимал его Белинский, Жадовская не обладала. Сказалось здесь и патриархальное воспитание, и личные, известные нам, но не известные Белинскому причины.

Высокую оценку сборнику дал другой талантливый критик 1840-х годов — Валериан Майков. Он впервые почувствовал и оценил по достоинству то, что выгодно отличало поэтические опыты Жадовской от эпигонских романтических стихов, заполнявших в 40-е годы страницы поэтических сборников и журналов. В стихах Жадовской критика привлекла не столько поэзия, сколько «чистая непосредственность, хотя и не чуждая поэзии». И действительно, поэзия для Жадовской так никогда и не стала искусством по преимуществу, оставшись этапом в ее жизни, когда все иные исходы оказались закрытыми для любящего сердца девушки. Кстати, Юлия Валериановна более, чем кто-либо из ее друзей и врагов, знала себе цену и никогда не страдала гордостью и честолюбием.

Вплоть до начала 1860-х годов Жадовская не оставляет своей поэтической деятельности, периодически выезжая в Москву и Петербург. Весной 1849 г. она посещает мастерскую К. Брюллова и пишет по этому поводу восторженные стихи. В Ярославле она знакомится с сыном известного декабриста Е. И. Якушкиным, участником революционной организации «Земля и воля». В одном из писем она называет этого человека «рыцарем без страха и упрека». В начале 1860-х годов Жадовская знакомится с начинающим поэтом Л. Н. Трефолевым, играет значительную роль в его творческом росте. По воспоминаниям Трефолева, Юлия Валериановна заклинала его именем святой поэзии «изучать, как можно больше изучать Белинского и Добролюбова». Она убеждала его, что кроме «книжной, идеальной любви к народу не мешает выражать ее практически, хотя бы при помощи одной книги, самой легкой и вместе с тем самой трудной: русского букваря». В эти годы растут демократические симпатии поэтессы, ее начинают волновать общественные вопросы, она приветствует в стихах гражданскую музу Н. А. Некрасова:

Стих твой звучит непритворным страданьем,
Словно из крови и слез он восстал!
Полный ко благу могучим призываньем,
Многим глубоко он в сердце запал.

Именно теперь Ю. В. Жадовская находит выход из личного горя и одиночества. Крепнет в ее поэзии лирический голос, сливается с голосом страдающего народа русского. Глазами крестьянина смотрит Жадовская на ниву трудовую, словами крестьянина заклинает стихии природы. «Отчего

так долго тянется крестьянский вопрос и будет ли ему конец? — пишет Юлия Валериановна своим знакомым в столицу. — Будет ли конец этой истоме, этому лихорадочному ожиданию бедных людей? Летние месяцы она проводит в стороне от большого света, в деревенской глуши. Часто навещает Юлия Валериановна буйские края, усадьбу Панфилово. По-видимому, в родных с детства местах и выплакались у поэтессы лучшие ее стихи, жемчужины русской классической лирики:

Грустная картина!
Облаком густым
Вьется из овина
За деревней дым.
Незавидна местность:
Скудная земля,
Плоская окрестность,
Выжаты поля.
Всё как бы в тумане,
Всё как будто спит...
В худеньком кафтане
Мужичок стоит,
Головой качает, —
Умолот плохой, —

Думает, гадает:
Как-то быть зимой?
Так вся жизнь проходит
С горем пополам:
Так и смерть приходит,
С ней конец трудам.
Причастит больного
Деревенский поп;
Принесут сосновый
От соседа гроб;
Отпоют уныло...
И старуха мать
Долго над могилой
Будет причитать...

В 1858 г. выходит второй сборник стихов Ю. В. Жадовской, встреченный сочувственными откликами демократической критики. «Нимало не задумываясь», Н. А. Добролюбов причисляет «эту книжку стихотворений к лучшим явлениям нашей поэтической литературы последнего времени». Он замечает не без основания, что стихи Жадовской «не отличаются отделкой», что «рифма часто изменяет ей», что «иногда выходят из-под ее пера строфы незвучные, отзывающиеся прозой». Но все эти недостатки поэтического мастерства вполне искупаются, по Добролюбову, одним достоинством — задушевностью, полной искренностью чувства и спокойной простотою его выражения.

Этот сборник оказался лебединой песней Юлии Валериановны. После выхода в свет романа «В стороне от большого света» поэтесса долгое время не пишет стихов. В 1861 г. в первых номерах только что открытого журнала братьев Достоевских «Время» вышел ее второй роман — «Женская история», а несколько месяцев спустя — повесть «Отпетая». Центральным конфликтом романов и повестей писательницы является столкновение любящей девушки с предрассудками среды, отстаивающей нормы старой патриархальной нрав-

*Церковь
в с. Густомесове*



ственности. В прозе Жадовской этот конфликт теряет трагический характер. Так Юлия Валериановна прощается с прошлым, с эпохой неудавшейся юности, с надеждами встретить в жизни свободную и чистую любовь.

В 1862 г. Ю. В. Жадовская решается на брак с пожилым вдовцом, старым другом дома, доктором К. Б. Севеном. С этого времени она всецело посвящает себя мужу и больному, параличному отцу. Слабая и больная, она пять лет ухаживает за ним, как за ребенком. Превыше всех горестных обид ставит Юлия Валериановна высокое чувство долга, святое чувство дочерней любви.

С 1863 г. Ю. В. Жадовская живет в Костроме, отдается второй любимой страсти — цветоводству, участвует в благотворительных спектаклях в пользу погоревшего костромского театра, в организации литературных вечеров. С 1870 по 1873 г. она живет уже на родине, в Буе, на берегу реки Костромы. Наконец, в 1873 г. осуществляется заветная мечта Юлии Валериановны: она приобретает в десяти верстах от Буя усадьбу Толстиково.

Незадолго до смерти к ней вернулись творческие силы. В 1883 г. она пишет свое поэтическое завещание:

Что это за чудо! Стихи все страданья,—
Свет невыразимый и восторг и радость.
Сладко, чудно, ясно полное сознание...
И потоком льется в душу жизни сладость.
И к кому-то тихо тянутся объятья,—
Целый мир готова в этот миг обнять я!..
Всем благословенье — никому проклятья!
Горьким и несчастным, страждущим и бедным
И науки жизни труженикам бледным,—
Всем забытым, жалким, угнетенным братьям —
Всем благословенье!

9 августа 1883 г. Ю. В. Жадовской не стало.

Ушла Жадовская, но остались ее стихи, «песни женской неволи». Многие композиторы — Варламов, Глинка, Даргомыжский — обращались к поэзии Жадовской, продолжавшей традиции русской голосовой народной песни. Особенно популярными стали романсы Даргомыжского «Ты скоро меня позабудешь» и «Я все еще его, безумная, люблю». Стихи Жадовской «Нива» и «Грустная картина» не оставят равнодушным и современного читателя: они стали фактом национального самосознания, органической частью русской поэтической культуры.

МИХАИЛ БАЗАНКОВ

НА РОДИНЕ ИВАНА КАСАТКИНА

В моем краю деревни окружены лесами. Чем дальше от Северной железной дороги, тем меньше полей и накатанных дорог, тем шире клин лесов между волжской рекой Унжей и ее притоком — неторопливой Межей, по имени которой назван и район — один из самых маленьких и отдаленных в Костромской области — Межевской. Лесную эту сторону называют коротко — Межа. Откуда такое слово взялось? Обозначает оно границу между земельными участками. Дед мой, Иван, помню, объяснил: тут вот, на реке этой, русские монголо-татар остановили, и была она как межа между правой и неправой силой. Уже много позднее, в школе, узнал я, что это интересное предание исторически неверное, хотя татары действительно прошли близко — чуть выше — через Кологрив, Галич. Право же, иногда покоя нет до тех пор, пока не узнаешь происхождение слова, какие смысловые оттенки со временем появились в нем. С помощью студенческой экспедиции, приезжавшей в район из Свердловского университета, и было установлено, что слово это в русский язык от племени чудь перешло. Есенинское вспомнилось: «Затерялась Русь в Мордве и Чуди...» Тут много таких названий: Портюг, Конюг, Волма... В ходу у нас еще одно интересное слово — утин. Его можно услышать в поле от синицы, жалобно тенькающей: у-тинь, у-тинь... Утин — дорога среди поля. В Никольскую школу, помню, мы бегали из своей деревни по утинам.

Старожилы говорят: ледяница, наслуд, водощеть, подзор, поставец и просто постав... Непривычные названия вещей, состояний в природе встречаются в рассказах нашего земляка — самобытного писателя Ивана Михайловича Касаткина.

«Я костромич,— писал он.— Моя родная деревня Барановица, Кологривского уезда, находится в глухом углу, в верховьях Унжи, на Меже. От нас до железной дороги сто верст, до Кологрива — тридцать верст. Кругом ни фабрик, ни заводов, ни ремесел. Словом, волчья сторонка. Туда и почта

из Москвы доходит немного быстрее, чем в Америку...» Теперь от железной дороги до этих мест недалеко — час пути на автобусе, на такси и того меньше. Асфальтированное шоссе напрямик устремилось к селу Никола. А там до бывшей Барановицы — рукой подать...»

Несколько лет назад, взявшись за составление сборника рассказов Ивана Касаткина, я прошел пешком по всей Меже, чтобы хоть что-то услышать о писателе от старожилов. Шел неторопливо, останавливаясь в каждой деревне. Запомнились многие встречи с земляками. Они стали моими попутчиками в поисках, и получилось, что в воспоминаниях и рассказах раскрывали тайники души, грани своих характеров. Я узнавал в межаках родственников тех, о которых с болью в сердце писал свои произведения один из первых пролетарских писателей, чей талант был замечен и оценен великим Горьким. Казалось мне, что вместе с земляками вновь читаю книгу Касаткина «Лесная быль». Межаки помнят почти наизусть многие рассказы. Несколько произведений пересказал мне Ефим Иванович Смирнов (он оказался первым попутчиком), хотя сам жаловался уже на «дырявую» память...

Действительно, где дороги, там и попутчики. В сенокосную пору, шагая от деревни к деревне, остановился я у глубокого колодца со звонкой водой. Пока медленно крутил ворот, вытягивая тяжелую деревянную бадью, окванную металлическими полосами, не заметил, как подъехала повозка. Присвистнув на лошадь, дед, похожий на Щукаря, «подрулил» к самому срубам, молодецкато выпрыгнул из телеги, оглядел меня с головы до ног и произнес строгим голосом:

— А ты на каждый-то колодец не кидайся. В жару жажду не утоляй — перетерпливай ее.— И спросил:— В гости к нам или как?

— Работа.

— Ну, садись, коли. Вместе потрясемся. Скучно одному-то. Я вот косы да грабли везу. Трактором с косилкой не везде возьмешь. Бригадир говорит: «Поезжай, Ефим Иванович, на лошадке, машину гнать не из-за чего».

Поскрипывала телега, переваливалась то на одну, то на другую сторону дороги, разъезженной машинами,— лошадь никак не хотела идти серединой.

— Привычка,— пояснил дед.— Вытеснили машины нашу лошадку на обочину. Вот и сторонимся.— И, разглаживая усы, продолжал:— Да, страда сенокосом начинается, а коп-

кой картошки кончается.— И помолчав: — Картошка-то нынче будет хороша. Полило вовремя. И солнышко вот... С кормами тоже неплохо...

Дед Ефим по-хозяйски прошелся со своими замечаниями по колхозным делам, оценивал решения специалистов — агрономов, зоотехников, инженеров, расторопность и деловитость бригадира. Я слушал его и дивился знанию жизни, общих забот и проблем. Тут, в рассуждениях деда, — и критика, и цифровые выкладки, и житейские расчеты, и думы о завтрашнем дне колхоза. А впрочем, истинный землепашец, который все силы положил на этой земле, всегда может одарить полезным советом...

Пока ехали, дед успел обговорить все дела, и когда, расставаясь, я сказал, что зайду как-нибудь вечером потолковать, он заметил:

— А чего толковать-то сейчас? Работать надо. Приехал — подсоби в жаркую пору. А для разговоров зимой приезжай. На досуге расскажу и про жизнь, о том, как она тут протекала в те времена, и про свои Георгиевские кресты похвастаюсь, чай, полный кавалер, а не как-нибудь, и о сыновьях скажу, есть что сказать — грамотные, трудовые ребята. Приезжай потом. А сейчас что — некогда...

Сенокосничал я вместе с деревенскими. И все-таки через несколько дней убедил Ефима Ивановича, что поговорить он со мной должен, хотя бы один вечер.

Многое он поведал о своем житье-бытье, с гордостью рассказывал о сыновьях и внуках — землепашцах, воинах, строителях, инженерах и учителях — и особенно о младшем сыне, который закончил сельхозинститут «Караваево».

Мне все казалось, дед, почти ровесник Ивана Касаткина, говорит давними словами. Язык писателя, его героев и разговор Ефима Ивановича — во многом схожи. И нет в том ничего удивительного — родились, и он и Касаткин, в соседних деревнях, только на разных берегах реки. Говорил дед и о прежней жизни, и о том, как ходил на барках, и как колхозы тут создавались. С гордостью прочитал стих, еще в 1913 г. сочиненный Дмитрием Алексеевичем Ершовым, тоже нашим земляком. Стих этот, посвященный смекалке, мастерству унжаков и межаков, умеющих за одну зиму «возвести сорокасаженную барку», заканчивается так:

У лесной большой реки
В пору заснеженную
Строят барку мужики
Сорокасаженную.
Это ж наши мужики —
унжаки и межаки.

Для деда прочитал я вслух письмо Д. А. Ершова, полученное перед поездкой на Межу. «В 1926—1937 годах я работал с М. И. Ульяновой в «Правде», ЦКК—РКИ и КСК при СНК СССР,— писал Ершов.— Когда она стала в 1932 году заведовать бюро жалоб ЦКК—РКИ, мне поручено было привлекать к участию в работе этого органа писателей и журналистов. И. М. Касаткин с охотой взялся и за это дело...

Я не раз бывал у него на квартире (ул. Грановского, 3), и он бывал у меня. При этих встречах и во время прогулок больше всего говорили о родных местах, их обитателях, горьком житье-бытье до революции. Мы оба побывали в детстве няньками, испытали голод, холод, нужду, наблюдали все «прелести» старого режима, все, что нашло отражение в творчестве Ивана Михайловича. Это был простой обаятельный человек. Рассказывал он и о своей подпольной деятельности, об участии в революции, о работе в органах ЧК...»

— Да,— сказал Ефим Иванович,— обоих я знавал. Большие люди были. А вишь, по родной сторонужке грустили... Пршло темное время. А хошь частушку скажу про себя и любого каждого той поры:

— Мы с тобою молодые,
Ты — межак, и я — межак.
— У тебя штаны худые,
У меня худой пинжак...

И рассмеялся весело, азартно, головой покачал.

Вспомнились строки писателя о детстве: «Бывало, придут деревенские властители, «опишут» и унесут за недоимку единственное имущество — отцов тулуп рваный, печной чугунок, что вместо самовара служит, и даже печные вьюшки, которыми трубу закрывают. Унесут все это в волость (Кузьминская волость была.— М.Б.), и мать, бывало, заткнув печную трубу соломой, начинает выть в голос, а вечером приходит из лесу, со смолокуренного завода, отец, весь чернее сажи, только белки глаз да зубы и видны на лице, и тоже начинает что-то выкрикивать свое, ахая и стуча по столу кулаками».

...Все больше и больше убеждался я в том и верил, что героями многих касаткиных рассказов были предки нынешних межаков.

Пытался я представить, в какой межевской деревне живут родственники красавицы Насти («Лесовица»), Гришки Куманькова, Костюньки, старика Левона («Село Микульское»), кузнеца Суслова, старика Мартьяна и многих других персонажей из горестных касаткиных рассказов о темном прошлом. Зная о законах творчества, я все-таки верил, что в рассказе «Село Микульское» имеется в виду село Никола, еще и сейчас называемое старожилками Никола-Граф. И вставали передо мной крестьяне из далекого прошлого, вставали с желтоватых страниц скромного издания 1919 г.

Точно такая же книжка лежит на письменном столе в Кремлевской квартире вождя революции. Одна из первых, выпущенных издательством Всероссийского Центрального исполнительного комитета, эта книга была подарена автором с надписью на титульном листе: «Мощно сдвинувшему тяжелую лесную быль — в сказку Владимиру Ильичу Ульянову (Ленину), с душевным чувством товарищеского привета Ив. Касаткин. Октябрь 1919, Москва».

Первые рассказы Касаткина были о детстве. Алексей Максимович Горький по ним и определил дарование: «Работайте, мне верится, что вы человек и способный, и серьезный, верится, что у вас хорошая душа...» Трагические уроки первой русской революции обострили интерес писателей к проблемам социальных сил деревни. Не случайно Горький высказывает Касаткину в 1908 г. такое пожелание: «Был бы рад и счастлив, если б Вам... удалось написать ряд небольших рассказов и очерков на тему о том, чем живет, что думает деревня наших дней, какие знаки оставило в душе ее недавнее прошлое» («Новый мир», 1937, № 6, с. 14).

От первых рассказов, полных ласкового, детского отношения к жизни, мечтаний и ожиданий, к показу сурового, вылепленного резкими красками мужика под постоянным вниманием «Буревестника революции» продвигался Касаткин. Много страниц посвятил он крестьянской доле. Даже в рассказах о детях эта доля, волновавшая Касаткина чрезвычайно, выходит на первый план. Конечно же, он видел и знал жизнь деревни во всем многообразии, но стремился в первую очередь высказать то, что особенно его волновало. Во многих произведениях живет во всей своей трагической неприглядности мужик, стихийный «бунтарь в себе», человек

в тушке, в отчаянье перед «хитро устроенной жизнью».

Оригинальное, самобытное дарование выходца из народа заметно совершенствовалось. «Самородок», как иногда называли Касаткина, светился отшлифованными гранями мастерства. Его произведения полны любви, сочувствия к униженному, полны обиды и боли за поруганного человека. Он страстно желал, чтобы рассказы о пережитом помогали видеть путь к светлой жизни. И работал много, чтобы изжить, победить остатки темного прошлого. Вел пропагандистскую работу, организовывал, помогал другим. Состоял в редколлегиях Гослита, Детгиза и других издательств. Был одним из организаторов Союза советских писателей, несколько раз его избирали секретарем парткома...

Всегда поддерживал связь с земляками. По инициативе Касаткина в деревне Барановица была открыта изба-читальня, почетное шефство над которой по решению общего собрания крестьян было возложено на него. Присылал он книги и для создания библиотек. В 1925 г. в «Правде» была опубликована его заметка «Как я шефствую в одиночку». А когда на Меже организовалась первая коммуна, крестьяне с помощью земляка приобрели трактор «Фордзон» и молотилку. Коммуна называлась «Идеал», председателем ее был коммунист Василий Макарович Смирнов. В 1928 г. коммуна расширилась — вошли жители деревень Барановица, Малая Елховка, Вылетово, Середняя, Голодаиха.

Теперь на Меже — новые люди, новые села, новые дороги. Революция, Советская власть принесли в этот край перемены, которые видны особенно старожилам.

* * *

Ранним утром, когда еще туман плыл по лесным проемам и просекам, пришли мы с местным старожилом, немногословным Ермилычем, на высокую Пустынскую гору. В дореволюционные годы в этих местах, описанных Касаткиным, затерялось несколько домов с часовней. Жили тут строгие люди. Вела к ним тропинка, проложенная верующими к «святому» колодцу, который был как раз под этой горой. Верующие таскали воду в гору, чтобы искупить свои грехи.

— И моя мать ходила тут, — сказал Ермилыч. — Ее, крохотную, с собой родители взяли...

Долго молчим. И каждый, конечно, думает о своем.

И сокровенные думы эти оказались схожими: оба вспомнили вечерний разговор о постоянной связи, которую поддерживал Иван Касаткин с земляками. Одно из его писем, опубликованное в газете «Кологривский лесоруб» 3 января 1937 г., было адресовано членам литературного кружка Княжереченской школы. Оно написано с трогательной нежностью и теплотой. Иван Михайлович рассказывал о тяжелом прошлом приузенских деревень, вспоминал знакомые речки, тропки, волок, ведущий к Барановице, указывал, в каких из рассказов можно найти описание этих мест. В лаконичной и выразительной концовке Иван Михайлович писал о смерти своего отца. «На Пустыни я тоже бывал. Там задавило бревном отца моего. Он заготавливал на зиму дрова попу Ивану, валил дерево, и его зашибло».

Вспомнилось, что многие писатели, тревожась о нерасторжимости с землей, совсем недавно призывали продлить существование маленькой деревни. Написано много книг, в них немало поэтических страниц посвящено «малой родине», чувству любви к русской деревне, русской природе, бережному мудрому отношению к ней. Молодые талантливые земляки вслед за Касаткиным отыскивали свои особые, проникновенные и точные слова, чтобы выразить глубокую любовь и кровную причастность к прошлому и настоящему мира деревни, поэзии ее трудов. Один из них — Леонид Воробьев в этих местах начинал свою литературную судьбу, он открыл колоритного современного колхозника Щенова, тоже писал о лесорубах, сплащиках, крестьянах, неторопливых жителях городка Кологрива.

Теперь с горы видно далеко окрест. Там, в глубине синеего лесного массива, новые люди заготавливают лес, и не как-нибудь, а с умом, с заботой о том, что тут потом вырастет, оберегают водоохранную зону и сохраняют подрост, и мало того, нередко участвуют в лесопосадке. Как тут не отступить старине, когда вместо деревушки Пустынь вырос новый поселок с широкими улицами, красивыми двухквартирными домами, с большой школой, просторным клубом, больницей и всеми прочими бытовыми зданиями. И название у него новое — Советский.

Кологривский леспромхоз первым в области решил сокращать лесосплав, строить лежневки к железным дорогам, чтобы высвободить и сохранить малые реки — притоки Унжи, начал заниматься лесовозобновлением. Сейчас в области поставлена задача в ближайшие годы прекратить молевой сплав и очистить реки от затонувшей древесины. Лесозаго-

товители теперь привлечены к охране природы. Есть тут что охранять, беречь.

Специалисты, работники леспромхозов, работники культуры, журналисты все настойчивее борются сейчас с загрязнением рек, за восстановление лесов, и в этой активности есть одна из примет коренных перемен в глубинке.

* * *

...У колодца резные столбики с причудливым орнаментом. На воротах — два вырезанных из дерева петуха. Когда тянешь бадью, они кувыркаются, всхлопывают крыльями.

— Кто такую красоту сотворил? — спрашиваю.

— Леонид. Архипов сын. Затейник... Мастеровой, за что только возьмется — все из рук не уходит. И выдумщик. Ребятишкам игрушек напридумывал, в такие они охотнее играют, чем в магазинные. К каждому дому украшение вышил: кому наличники, кому голубей по карнизу, а кому — звезды, колосья, серпы и молоты. Шкафы, диваны, поставцы мастерит. Все может. Золотые у него руки.

— Леонид Архипыч Смирнов? А не скажете, где теперь живет он?

— Как не скажу. Ведь внучек мой. Дом-то евоный издали видать. А самого-то хозяина нету, нету Лени-то. В поле. Рожь убирает.

Я видел, как он работает. Спокойно. С достоинством. С наслаждением. И комбайн он ведет осмотрительно, экономно.

Я видел, как он держал в широких ладонях зерно, и золотой отблеск солища падал на его лицо.

А вечером сидели мы у окна, наслаждаясь прохладой после жаркого рабочего дня, смотрели на кромку будто бы расплавленного неба над дальним лесом. Я думал, что Леонид в чем-то сродни литературному парню Гришке Куманькову из рассказа Касаткина.

— Сегодня, пожалуй, и не уснешь. Праздник был сегодня. Первый день жатвы. Как начинаю новое дело — не спится. Пока не привыкну, в ритм не войду — не до сна. Волнение охватывает или радость, быть может. Сегодня новый хлеб в ладонях держал: вот оно, творение наше, вот оно, главное произведение мое... Признаюсь, хочется большую картину про хлеб увидеть...

И заговорил он об искусстве. С завистью — о художниках.

— Знаешь, я ведь пробовал. Вспомнил, что в школе по рисованию хорошо шел, и надумал художеством заняться. Никому не показывал только. А храню несколько этюдов.

— Получилось, значит?

— Чутье есть, знаю, что надо, как надо, а не могу все воплотить или как там это называется... Тут, брат, своя наука. Поучиться бы. А не пришлось. После войны работать спешили. Должен кто-то землю пахать, хлеб растить. Я это с детства научился. С десяти лет — за плугом. Так что живопись у меня не пошла. Пилю, режу, строгаю увереннее. А вот кистью — плоховато. Не мое, значит, дело.

Леонид достал папки с репродукциями, сел к столу. На одни смотрел долго, с раздумьем, другие равнодушно откладывал. Я заметил: привлекают, понятны ему деревенские пейзажи, картины с сельскими сюжетами.

— Что любишь, тем и живешь, — сказал Леонид Архипыч. — В том себя и проявляешь. Люблю поле, деревню... Вот наблюдаю, как ночь подкрадывается, и слушаю, как шепчется на ветру черемуха, и думаю, что день недаром прожил. Недаром... Сыновья и дочка этому бы научились...

— Научатся, жди да радуйся. На них, на нынешних, больно-то не облакачивайся. Будут они так-ту с утра до вечера без выходных убиваться. — Бабушка Варвара Степановна, очевидно, уже не первый раз пеняла внуку за воспитание детей и теперь улучила момент, чтобы поговорить о наболевшем. — Шурка в мореходы наострился, Колюня летчиком намеревается, а та, вертушка, по горам, сказывала, надумала лазить. Не уймешь, не образумишь. Им бы только с земли сорваться.

— Вот, старая, опять завела. Ничего еще не решено. Поживем — увидим, — с улыбкой говорил Леонид.

Шелестела листва на близких деревьях. Ветер приносил запах спелого зерна. До рассвета уже недалеко — это было видно по восточной части неба.

* * *

Прощаясь, прохожу по большому красивому селу, в центре которого — памятник В. И. Ленину. Тут же в центре — символ нашей скорби и благодарной памяти — обелиск по-

гибшим землякам. А вокруг кудрявятся, шумят сады. И древний центральный сад, и школьный фруктовый, и совхозный... Есть в этих садах деревья, посаженные нашими старшими братьями и сестрами, есть деревья мои и моих сверстников и тех, кто только еще начал учиться в Никольской средней...

«Школа моя деревянная...» Ее создавал Александр Ильич Соколов. Он и сад школьный закладывал. Это ему 21 марта 1922 г. чрезвычайный уполномоченный написал на листке из блокнота: «Соколову Александру Ильичу. Настоящим предписывается вам выехать в деревни Колодезная, Дядинская и Старое по вопросу взыскания продналога». Это он возглавлял продотряд, гонялся по лесным дорогам за бандитами, активно участвовал в становлении новой деревни, проводил агитационную и просветительскую работу среди крестьян. Наш учитель Александр Ильич носил в потайном кармане небольшую книжку с портретом Ленина — «Членский билет № 4, предъявитель сего Соколов Александр Ильич. Председатель Верхне-Межевского волостного исполнительного комитета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов». В его судьбе, как и в судьбах других земляков старшего поколения, отразились напряженные будни строительства новой жизни.

Мы с благодарностью храним в памяти имена тех, кто работал и боролся за светлое будущее. И очень дороги нам свидетельства очевидцев, участников революционного преобразования мира. Многие помнит Александр Ильич и многое рассказал. Он встречался с Касаткиным в 1924 г. здесь в Николе... Он помнит, как было, как жилось тут в первые годы после победы революции.

...Учитель повел меня в школьный сад, который казался когда-то необъятно большим. И без конца задавал вопросы:

— Как живешь? Нравится ли, по душе ли работа? — Он положил руку на мое плечо и, все поглядывая снизу, пронизательно и ласково, выпрашивая и то, и это, шагал по аллее. — Видишь, помнишь? Твое дерево... И там... Как они выросли!

Говорим, говорим... С благодарностью думаю об учителе, и благодарные мысли мои, уверен, схожи с мыслями каждого, кто учился у него, работал вместе с ним. Среди выпускников нашей школы нет человека, который бы не посадил ни одного дерева, ни одного куста. Люди сажают деревья, цветы, растят сады на земле. Этим может гордиться учитель, облегчавший нам трудное военное детство...

Многое изменилось на Меже. Прав был Иван Михайлович, подарив вождю революции Владимиру Ильичу Ленину свою книгу с надписью: «Мощно сдвинувшему тяжелую лесную быль — в сказку». Сегодня новые люди живут такой жизнью, которая действительно кажется старожилам сказкой.

...До свиданья, земляки! До свиданья, родина Касаткина. Уезжаю по знакомой дороге. Она то взбирается на увалы, заросшие хвойными борами и белоствольным березняком, то катится вниз к скромным речкам с поэтическими названиями Княжая, Ичежа, Верзенга, Уромка, Лух, Унжа... Еду одним из обновленных проселков России.

СЕРГЕЙ ПЛЕХАНОВ

ОХОТНИК ЗА СЛОВОМ

Дорога, странствие — любимый мотив русской литературы. Многие знаменитые произведения отечественной словесности строились в форме отчета о какой-то поездке или «хождении» — от древних повестей тверитянина Афанасия Никитина и «Жития» пламенного Аввакума до «Мертвых душ» Гоголя и «Фрегата «Паллада» Гончарова. Но есть художники, почти целиком посвятившие себя литературе путешествий. У истоков этого жанра в России стоит писатель-землепроходец Сергей Васильевич Максимов. Его книги о путешествиях по Руси, о народах, обитающих на просторах огромной державы, выдержали множество изданий, стали своего рода классикой. Творчество писателя высоко оценивали его выдающиеся современники — И. С. Тургенев, М. Е. Салтыков-Щедрин, А. П. Чехов. Хотя Максимов не был беллетристом, то есть сочинителем в точном значении этого слова, а писал об увиденном и пережитом, имя его постоянно упоминалось при жизни в ряду виднейших мастеров слова. Для того чтобы понять, как путешественнику-этнографу удалось занять такое приметное место в числе виднейших писателей золотого века русской литературы, надо знать его жизненный путь.

7 октября 1831 г. — дата рождения писателя. Время, на которое пришлось детские и юношеские годы Сергея Максимова, — 30-е и 40-е годы. Это время Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Белинского. Десятилетия, определившие развитие литературы, искусства, общественной мысли. Герцен и Достоевский, Некрасов и Тютчев достигли в эту пору творческой зрелости.

Максимов рос в глухом посаде Парфентьеве, затерянном в лесах Костромской губернии, — отец его служил здешним почтмейстером. Однако отдаленность от культурных центров не мешала будущему писателю знакомиться с лучшими

образцами отечественной литературы, ощущать биение пульса эпохи. Современник писал, что родитель Сергея Васильевича — «человек, хотя плохо образованный, но весьма начитанный, просвещенный и с прогрессивными понятиями. Известный друг Пушкина, Катенин, близко сошелся с ним во время ссылки в свою костромскую деревню и только в его обществе отводил свою душу, стосковавшуюся в одиночестве и изгнании». Вероятно, какие-то из высказываний знаменитого поэта запомнились Сергею Максимову и как-то повлияли на характер его пристрастий. Ведь по своим убеждениям Катенин принадлежал к литературным «староверам» — его привлекали образы Древней Руси, он любил и ценил ее словесность.

Интерес к русскому прошлому появился у Максимова в юности — известно, что, еще учась в Костромской гимназии, он целиком прочел многотомную «Историю государства Российского» Н. М. Карамзина, один за другим «глотал» романы Загоскина, повествующие о былых подвигах русских людей. А в выпускном классе сам выступил в качестве историка — подготовленная им речь «Ломоносов как первый русский ученый» произвела большое впечатление на слушателей.

Среди его друзей по Московскому университету также оказались люди, влюбленные в прошлое России, увлеченные литературой и народоведением.

Писатели и ученые изучали жизнь крестьян, городской бедноты. Если в начале 30-х годов обращение к этой теме считалось для литератора дурным тоном, то теперь читающая публика охотно раскупала сочинения Даля, Сахарова, Терещенко и других авторов, писавших о быте, мировоззрении простого народа. Расцвел жанр так называемого «физиологического очерка» — нравоописательного рассказа о людях разных профессий и занятий. За десятилетие — с 1839 по 1848 г. — в России появилось около семисот таких сочинений.

Ко времени поступления Максимова в университет относится такое важное для русской словесности событие, как образование так называемой «молодой редакции» журнала «Москвитянин», издававшегося крупным историком М. П. Погодиным. Известные писатели и критики, объединившиеся вокруг журнала, были преданы идее изучения народной жизни, стремились постичь своеобразие исторических судеб родины.

Максимов и его друзья по университету прочитывали

каждый свежий номер «Москвитянина» — их кумирами были А. Н. Островский и А. Ф. Писемский, выступавшие на страницах журнала. Александр Николаевич Островский, с которым молодым людям посчастливилось познакомиться, свел их с редакцией «Москвитянина». Впоследствии поэт Аполлон Майков писал Максимову:

«Вы помните наше знакомство с Писемским: не знаю, он ли был крестным отцом Ваших первых произведений, но помню, что его трезвый взгляд на жизнь и искусство сильно действовал на вас, еще юношу, и не остался без влияния на дальнейшие Ваши труды. Он, кажется, первый и указал Вам на изучение жизни русского народа, найдя в Вас и нужную для того подготовку, меткий взгляд и разумную наблюдательность».

Проучившись в Москве два года, Сергей Максимов перебрался в Петербург и сделался слушателем военно-медицинской академии. К этому периоду относятся его первые опыты в художественно-этнографическом жанре. Самый читаемый журнал того времени «Библиотека для чтения» опубликовал в январе 1854 г. первый самостоятельный литературный опыт студента-медика — зарисовку «Крестьянские посиделки в Костромской губернии». За ним последовали подряд несколько очерков. Максимова заметили. И. С. Тургенев, считавшийся тогда первейшим знатоком родного языка, пришел в восторг от очерка «Сергач», посвященного бродячим поводырям дрессированных медведей.

Первые успехи вдохновили Максимова, и он решает предпринять путешествие по глухим местам России, чтобы дополнить и углубить свое знание народной жизни. Летом 1855 г. он покинул Петербург. Путь его лежал во Владимирскую и Вятскую губернии, в уезды, откуда расходились по всей стране офени — торговцы вразнос. Те самые коробейники, о которых поет народ — «Ой, полна, полна коробушка, есть и ситцы и парча». Было известно, что у офеней существует особый жаргон, непонятный для окружающих, — об этом писали и Даль, и другие знатоки народного быта. Но никто не владел языком коробейников. Максимов поставил перед собой задачу — создать словарь неведомого жаргона.

Чтобы не вызывать подозрений — а в описываемые времена «господа» с карандашом и бумагой в руках непременно вызвали сомнение у простых людей: не чиновник ли, собирающий подати, не переодетый ли полицейский



чин, — так вот, чтобы не насторожить собеседников, «охотник за словом» облачился в одежду, приличную для семинариста, ищущего место учителя, и отправился по «офенским» селам, выспрашивая попутчиков и собеседников на постоянных дворах о загадочном языке.

Такой же маскарад понадобился путешественнику, когда он отправился в поездку по земледельческим губерниям черноземной России. Во время этой «экспедиции» (1859 г.) он собрал основной материал для книги «Куль хлеба и его происхождения». В этот раз Максимов представлялся купцом средней руки, для чего соответствующим образом облачился.



На территории музея деревянного зодчества

Максимов объездил всю Россию. По заданию морского ведомства он в 1856—1857 гг. совершил тысячеверстное путешествие по берегам Белого моря, проплыл по крупнейшим рекам «стран полуночных» — Пинеге, Мезени и Печоре. Когда впечатления писателя, изложенные в объемистом труде «Год на Севере», стали достоянием читателя, Сергей Васильевич сразу приобрел широкую известность. Российское географическое общество присудило ему за эту книгу золотую медаль.

После каждой своей поездки (на Амур в 1860—1861 гг.,

на реку Урал и Каспий в 1862 г., по Смоленщине и Белоруссии в 1867—1868 гг.) писатель печатал в газетах и журналах своего рода художественные отчеты об увиденном, а затем издавал сборники очерков, объединенные какой-то общей идеей. Так появились книги «На Востоке», «Лесная глушь», «Сибирь и каторга», «Бродячая Русь Христа ради». К примеру, в последнем из названных сочинений были собраны наблюдения писателя над бытом всевозможных побирушек, нищих, бродяг, мошенников, в изобилии слонявшихся по градам и весям Руси. А солидный том, озаглавленный «Нечистая, неведомая и крестная сила», явился настоящей энциклопедией суеверных представлений, бытовавших в крестьянской среде.

Будучи прекрасным знатоком простонародной речи, хорошо зная историю языка и старинную письменность, Максимов увлекся объяснением малопонятных ходячих выражений вроде «шиворот-навыворот», «точить лясы», «попасть впросак». В 80-х годах прошлого века на страницах газет «Новости» и «Новое время», в юмористическом журнале «Осколки» то и дело появлялись заметки Максимова, в которых писатель истолковывал те или иные меткие речения. А затем все эти небольшие публикации составили книгу «Крылатые слова» — первое исследование такого рода на русском языке. Подобно многим другим произведениям писателя, книге суждена была долгая жизнь. Несколько переизданий «Крылатых слов» (в том числе в советское время) сделали объяснения Максимова широко известными — теперь уже не скажешь, что «бить баклуши» или «чур меня» относятся к числу «темных» словосочетаний.

Вообще обилие написанного Максимовым вызывает удивление. Ведь большую часть своей жизни ему пришлось отдать газетной рутине — тридцать лет он был редактором «Ведомостей Санкт-Петербургской городской полиции». В конторе этого страшно скучного казенного листка, почти целиком заполненного объявлениями да «дневником происшествий», повествовавшим о мелких городских скандалах и казусах вроде «укушения кошкою», Максиму приходилось проводить несколько часов ежедневно, а то и засиживаться до ночи. Но бросить постылую службу писатель не мог. Современник дает такое объяснение странной «привязанности» Сергея Васильевича: «Максимов был человек совершенно необеспеченный, семья у него была большая, а литературного заработка далеко не хватало». А ведь помимо



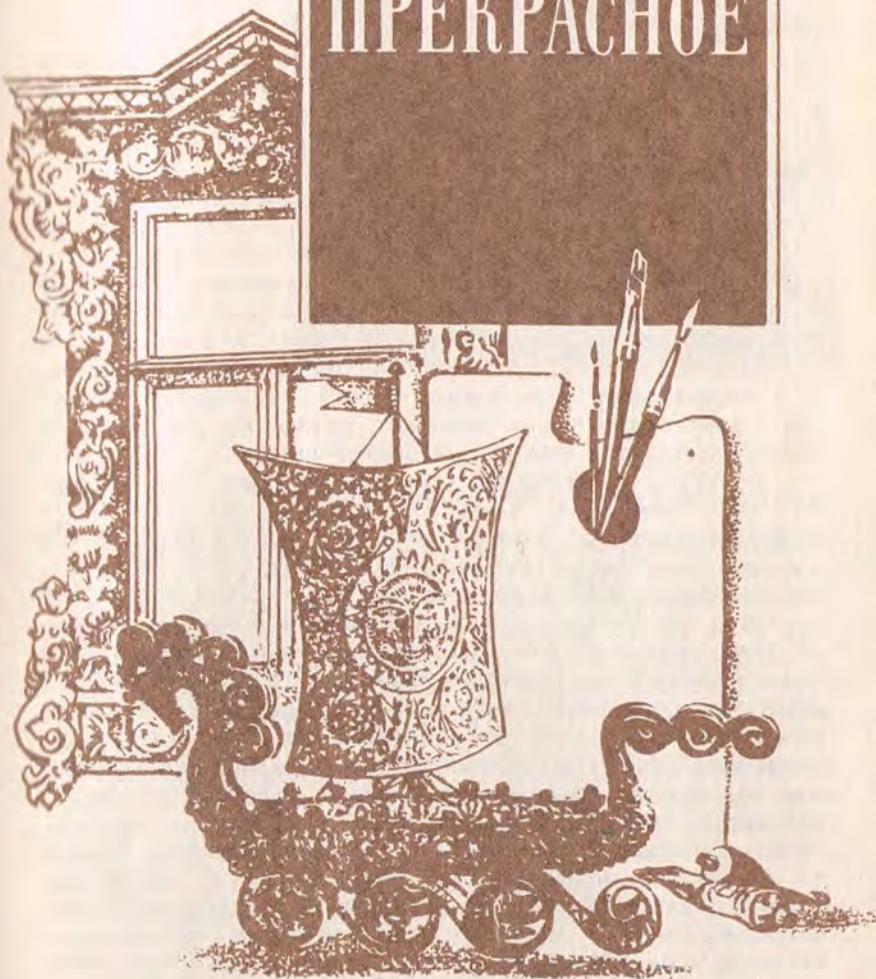
тягот, связанных с единоличным редактированием газеты, писателю приходилось терпеть придирки полицейского начальства, не раз за какую-нибудь опечатку в «Ведомостях» он попадал в немилость...

В прошлом веке не столь четко, как ныне, разграничивали изящную словесность (собственно художественную литературу) и то, что сегодня мы называем научно-популярным очерком. Творчество таких писателей, как Лесков, Глеб Успенский, Григорович, на добрую половину состоит из произведений «документального» жанра. Избрание в 1900 г. Максимова почетным академиком Российской академии наук по отделению русского языка и словесности свидетельствовало о том, что современники воспринимали книги путешественника-этнографа как подлинно художественные произведения. Когда в 1901 г. Сергей Васильевич скончался, некрологи о нем поместили все крупнейшие литературно-художественные журналы...

Имя Максимова не забыто и сегодня. К его творчеству

в равной степени обращаются этнографы, фольклористы, историки, литературоведы. Наследие этого писателя, мало-знакомое ныне широкому кругу читателя, никогда тем не менее не лежало под спудом — целые десятилетия ученые внимательно перечитывали книги выдающегося знатока простонародной России. Ссылки на произведения Максимова почти обязательно встретишь на страницах исследований, посвященных прошлому, культуре, обрядам и верованиям старой деревни.

ВЕЧНО ПРЕКРАСНОЕ



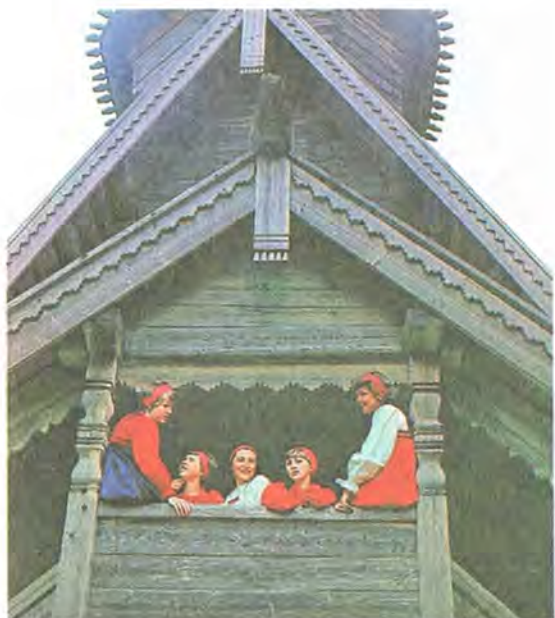
ЮРИЙ ТЮРИН

МАСТЕР ИЗ СОЛИГАЛИЧА

Все золотые самородки найдены случайно. Их подобрали при самых различных обстоятельствах, в разное время, люди разных лет и профессий. Промысловики говорят: когда старатель уходит в золотоносный район, он не знает, на какой час ему выпадет «короткая спичка» — это дело удачи. То же при поисках старинных живописных шедевров. Тут не просто сравнение, тут родство по существу — вспомним еще раз Грабаря, счастливо нашедшего в 1918 г. Звенигородский чин Рублева. Три уникальные поясные иконы из разобранного деисусного ряда Грабарь отыскал на заснеженном Звенигородском Городке, среди сараев, под заледенелой поленницей. Работы Рублева были приготовлены на дрова, и к апрельскому первотравью ничего не осталось бы от этих полутораметровых липовых досок, высушенных до стеклянного звона еще пять столетий назад.

В 1971 г. издательство «Искусство» выпустило книжку Алексея Алексеевича Тица «На земле древнего Галича». Небольшая книжка-путеводитель в характерной ярко-желтой обложке была напечатана в серии «Дороги к прекрасному», рассказывающей о художественных памятниках некоторых, особенно интересных в этом отношении областей страны. У Тица, который, очевидно, использовал большую часть своей информации об истории культуры старинного русского края, есть откровенное (а для нас интересное) признание-вывод: «Районы древнего Галичского княжества слабо изучены, чему немало способствовало мнение о них, как о страшном захолустье. Чухлома даже стала в дореволюционной литературе синонимом серости и беспросветного провинциализма. Конечно, бедным чухломским поместьям было далеко до роскошных подмосковных усадеб, но и в заволжских «дворянских гнездах» хранились значительные культурные и художественные ценности, о чем свидетельствуют экспонаты краеведческих музеев. (Курсив мой. — Ю.Т.) А сколько было разбросано по затерявшимся в лесах поселкам и де-

*На территории
музея
деревянного
зодчества*



рециям сокровищ народного искусства, самобытных творений русских умельцев!»

Тогда искусствовед не знал еще о живописных находках Солигалича, иначе он назвал бы имя солигаличского мастера в своей книге. Но надо отдать должное его чутью исследователя: экспонаты краеведческих музеев Галичского края действительно засвидетельствовали значительные культурные и художественные ценности заволжских дворянских гнезд. Речь идет о запасниках одного музея — Солигаличского.

Открытие нового имени в русском изобразительном искусстве состоялось в 1972 г. Теперь этого художника знают многие — специалисты и любители живописи, а после того как прошла в Москве и Костроме выставка «Солигаличские находки», его знают больше, шире и глубже.

«Островский Григорий — автор хранящегося в ГИМ¹

¹ ГИМ — Государственный Исторический музей.



портрета Н. С. Черевинной 1774 г.» — столь скупо говорит о художнике словарь «Живописных дел мастера», выпущенный издательством «Искусство» в 1965 г. Долгое время искусствоведам нечего было добавить к этим строчкам.

Ныне мы называем солигаличского живописца Григория Островского автором еще семнадцати портретов.

Я был косвенным свидетелем этого, без сомнения, выдающегося открытия для истории нашей культуры XVIII в. Весной 1972 г., когда на полях начал сходить снег и горожане, наблюдая перелет птичьих стай, бредят наяву дорогой, мне поздно вечером позвонил реставратор Савелий Васильевич Ямщиков, с которым мы готовили альбом древнерусской живописи по собранию Псковского музея. Альбомы и публикации Ямщикова-искусствоведа известны, но я должен ближе представить читателю этого непоседливого человека. Савелий Ямщиков — не только и не столько профессионал реставратор, сколько первооткрыватель и убежденный пропагандист русского искусства. Главная творческая черта в нем — завидная последовательность в осуществлении замыслов, упорная сосредоточенность на том участке работы, который обещает волнующие результаты, самостоятельность выводов, незави-

Григорий
Островский
Портрет
А. Ф. Катенина



симость экспериментов. У него темперамент борца — для первопроходства в искусстве иначе и нельзя.

— Завтра уезжаю в Кострому по вызову областного художественного музея. Вернусь через несколько дней, тогда позвоню. — Голос у Ямщикова звучал, пожалуй, взволнованно. Он вообще не умеет говорить рассудительно и неторопливо, будучи человеком конкретного, не терпящего отлагательств дела. Я знал, Ямщиков более десятка лет изучал фонды художественных музеев Суздаля и Ростова, Пскова и Петрозаводска, Рязани и Вологды. Настал черед Костромы.

Около месяца спустя Савелий Васильевич позвонил снова.

— Найден гениальный художник! — На этот раз он просто кричал, в голосе его был неподдельный восторг. — Мастер XVIII века из Солигалича. Он равен Рокотову, Вишнякову. Его имя — Островский!

Картины Григория Островского Ямщиков привез в Мо-

скву, в Центральные реставрационные мастерские имени академика И. Э. Грабаря. Здесь живопись была укреплена, расчищена лучшими специалистами.

Шестнадцать неизвестных людей — современники Ломоносова и Пугачева — смотрели на меня с покрытых свежим лаком холстов, почерк зрелого, самобытного мастера читался в каждой мазке. Это было замечательное мгновение. Я уверен, его испытали многие, кто увидел впервые картины Островского.

Эти живописные холсты, едва не преданные полному забвению, как пришли они к нам спустя двести лет после своего рождения? Каким чудом спаслись они от погребения временем, которое навечно бы стерло имя их автора? Вот что рассказывает об этом Ямщикова:

Энтузиаст краеведения В. Я. Игнатьев работал в фондах краеведческого музея старого русского города Солигалича. Его внимание привлекли многочисленные портреты, среди которых выделялось несколько холстов, явно принадлежащих одному автору. На обороте некоторых обветшавшая ткань хранила старые надписи, сообщающие имена и возраст изображенных людей, а чуть ниже, в правом углу, можно было прочесть подпись художника, сделанную славянской вязью. Соблюдая все меры предосторожности, он вывез в Кострому три портрета, находившиеся в наиболее тяжелом состоянии. Московские реставраторы пришли на помощь охотно, а главное — быстро. Все же один портрет из вновь найденной серии погиб еще в Солигаличе. На пропавшей от сырости картине был изображен, как гласила надпись, солигаличский дворянин Петр Иванович Черевин, заказчик Григория Островского. Есть портрет этого же человека (конечно, постаревшего), выполненный в начале XIX в. другим местным художником. Когда я нашел этот портрет, темный, покрытый пылью, я опрометчиво думал, что передо мной очередная работа самого Островского. Холст, к великой досаде, принадлежал неизвестному эпигону, а не самому мастеру. Впрочем, я опередил события в своем рассказе.

«Портрет Анны Сергеевны Лермонтовой. От роду имеет пять лет. Писан в 1776 году». Небольшой холст с такой надписью показали мне в Костроме. В потемневшей живописи только угадывался незаурядный талант художника, но очарование его кисти, гармония красок в полной мере не были видны. Только после расчистки я имел возможность как следует изучить этот изумительный портрет ребенка, по

Григорий
Островский
Портрет
А. С. Лермонтовой



человеческой доброте, по вложенной в него чистой и нежной любви равный классическим образам девушек-смолянок Левицкого.

Через несколько дней после моего приезда в Костромской музей мы вылетели в Солигалич. Внизу, под крыльями песпешного АН-2, разворачивались бесконечные заволжские леса. Мы очень волновались, словно нас ожидала встреча с близким человеком. И волновались не зря: их оказалось двенадцать — портретов, подписанных неизвестным до сих пор именем. Несколько картин не имели подписи, но бесспорно были выполнены тем же мастером. Позже нам удалось, в результате более кропотливого обследования Солигаличского музея, отыскать два новых портрета. Один из них, как помню, погиб. Но я не осознал тогда невосполнимости потери в достаточной степени. Мы были в те счастливые дни на седьмом небе. Судьба одарила нас невероятной удачей — сразу шестнадцать полотен незаурядного мастера, которому суждено бессмертие.

В поисках нам оказали огромную поддержку. И в Костроме, где нашей работой интересовались областное управление культуры, местное общество по охране памятников, и в самом Солигаличе. Сотрудники музея, краеведы, работники райкома партии предлагали любую форму помощи. Приятно сознавать, что наше дело встречало максимальное понимание. Никаких проволочек не было. Особенно внимательно относился к нашим трудам первый секретарь Солигаличского райкома КПСС Иван Евгеньевич Щиплецов. Сердечную благодарность испытываем мы ко всем этим прекрасным, отзывчивым людям.

Вот так, общими усилиями единомышленников, была открыта новая страница в истории отечественной живописи».

Сейчас творчество Григория Островского представляет общенациональный интерес, а ведь был он художником всего одной, поглощенной заболоченными лесами округи, а точнее — художником одной семьи. Шестнадцать из вновь открытых портретов прежде находились в подгородной солигаличской усадьбе Нероново, которой владел старинный и знатный дворянский род Черевиных. Родословная Черевиных восходит к XV в. И в прошлом еще столетии — как это можно поныне прочесть на могильных плитах нероновского погоста — представители этого старинного рода занимали видные посты на военной государственной службе.

Какая нужда заставила назвать глухое солигаличское поместье именем свирепого римского императора? Мы не знаем отношений и порядков, какие царили здесь во времена «Очакова и покоренья Крыма», да не о них теперь речь. Первостепенно важно другое. Откуда появился в Неронове Григорий Островский, этот самородок, почему работал он для одних и тех же заказчиков? Не был ли Островский крепостным?

Большинство портретов изображают самих Черевиных, их соседей по солигаличскому поместью или родственников хозяев нероновского дома. В 1741 г. созданы портреты Ивана Григорьевича Черевина, владельца усадьбы, и его жены Натальи Степановны. Новый портрет Черевиной и другие произведения появились спустя тридцать лет — в 70-х годах. Островский создал законченную семейную галерею.

Иван Григорьевич Черевин, открывающий эту серию, обращен к зрителям в профиль, рука его привычно заложена

за борт зеленого суконного мундира, взгляд несколько подпухших глаз властен и тверд. Художник великолепно передал характер человека решительного и сановитого. Подпись на портрете говорит, что заказчику в это время было всего-навсего 39 лет. Возможно, Иван Григорьевич Черевин, лейтенант флота, а затем надворный советник, после воцарения в 1741 г. императрицы Елизаветы Петровны удалился на покой, и тут, в солигаличской вотчине, у него поневоле родилась мысль о прочном деревенском быте. Черевин принялся приводить в порядок и обстраивать свое имение. Он имел перед глазами примеры загородной застройки столичных вельмож, подражавших в этом отношении двору. Русская усадьба приняла с начала XVIII в. новый вид. От летних резиденций Петра протянулись нити к загородным Подмосковьям, а отсюда к усадьбам губернских городов, к интимному складу не пышных, но уютных и обжитых дворянских гнезд. Черевин, очевидно, одним из первых на Галичской земле начал строить именно такую, в новом вкусе усадьбу, заведя в ней — хоть не на широкую ногу — порядки столичного барина, не желавшего терять своего достоинства даже в провинции. Затраты не останавливали Черевина: он строил *свое* поместье, которое затем подновляли его сын, внук и другие наследники рода.

Нероново достаточно полно сохранилось до сих пор. Уцелели служебные постройки, пятиглавая, несколько архаичная по своим формам церковь с пристроенной к ней многоярусной колокольней, увенчанной заостренным шпилем; цел и даже разросся липовый парк. Хорошо сохранился барский многооконный дом. Это была, безусловно, богатая, особенно для далекой провинции, ухоженная усадьба, обстроенная не без вкуса и по-хозяйски добротно. Здесь-то жил и работал Григорий Островский. Жил, наверное, подолгу, а это обстоятельство особенно надо учитывать.

Историческая жизнь давно покинула Галичский край. Некогда тут едва не решилась судьба государства: Галич оспаривал великокняжеский престол у Москвы. В Галиче, за насыпным валом городской крепости, готовился к битве с московским князем блестящий полководец и строитель Юрий Звенигородский. Буйно играла здесь молодецкая кровь галичского вотчинника Дмитрия Шемяки, неугомонного преследователя Василия Темного. По реке Костроме плыли караваны барж, груженных товарами богатой Соли Галичской. Но ветер времени все-таки засыпал столбовую дорогу в Галич: после исторических бурь наступило затишье. Зато

в этой заволжской лесной стороне, пусть подспудно, но безостановочно, текла жизнь созидательная, творческая, которая выдвигала порой из своей среды явления исключительных достоинств. Этот край дал России Катенина, Писемского, «русского Колумба» адмирала Невельского. Добавим теперь к этим славным именам Григория Островского, живописца.

Причудлив был усадебный барский быт. Опальные или престарелые государственные чины, становясь помещиками, делались по большей части ипохондриками и чудаками. Но один аршин для всех не годится. Иной барин оправдывал свою наследную праздность созданием в поместье по-настоящему культурного дворянского гнезда. Такие усадьбы являлись островами среди черноты и безнадежного провинциализма заштатной русской жизни. Они были этическим и эстетическим образцом для передовых умов поколения, они питали силы дворянской культуры. Ведь Писемский родился в усадьбе, сюда он приезжал работать над своими рукописями. Несколько лет, не бросая литературных занятий, провел в своем имении сосланный по велению Александра I поэт и переводчик Катенин. Отсюда он переписывался с Пушкиным, заинтересованно и пристрастно следил за журнальной периодикой, сохраняя желчь и независимость суждений. Заметим здесь, что в 1790 г. Григорий Островский создал портрет дяди Катенина — Андрея Федоровича. Тиц в упоминаемой мною книжке называет нескольких других галичан — людей, хорошо знавших цену подлинной культуре, не сломленных гонениями и немилостью двора. Участником заговора «верховников» против Бирона в 1730 г. был Мусин-Пушкин. Высланный из столицы, Мусин-Пушкин обстроил свое село Бушнево, постройки которого славились еще долго в Чухломском крае. Отец Анны Сергеевны Лермонтовой (той самой девочки, что рисовал Островский) Сергей Михайлович Лермонтов¹ вел каменное строительство в селе Понизье.

Не составляла исключения и семья Черевиных. О них можно сказать стихами Пушкина:

...Ступив за твой порог,
Я вдруг переношусь во дни Екатерины.
Книгохранилище, кумиры и картины,
И стройные сады свидетельствуют мне...

¹ Предки и родственники М. Ю. Лермонтова, в частности его прадед — Ю. Лермонтов, жили в Галичском крае.

У Черевиных было великолепное книгохранилище, без чего в XVIII в. не представлялась усадебная жизнь знатного дворянского рода. Черевины собрали превосходную домашнюю библиотеку, где главную гордость составляли книги на французском языке. В нероновском поместье отлично знали и свободно цитировали сочинения Вольтера. Чиновный Солигалич вряд ли знал, что знакомством с Вольтером, даже заочным, гордились монархи Европы. Для губернского общества остроумные колкости серейского мудреца выглядели непоправимой гордостью ума. Много позже, свидетельствовал Писемский, желчный скептик Катенин «во всей губернии слыл за большого вольнодумца, насмешника и даже богоотступника». Это через столько лет после смеха французского писателя! Наконец, Черевины могли разделять взгляд Вольтера на преимущества уединенной деревенской жизни — взгляд, который Вольтер осуществлял на собственном примере. Возможно, Черевины не полностью восприняли проповедь Вольтера о добровольном затворничестве в поместье: они не имели нужды сочинять стихи или трактаты. Зато они твердо знали, что русская деревенская жизнь для них не скучна, не позорна, не дика, что поместье предназначено не только для хозяйственных выгод, знали, что земля требует не только эксплуатации, но и украшения.

Остатки черевинского книгохранилища целы по сию пору. У этой семьи хранились книги французских энциклопедистов, труды по медицине, естествознанию, фортификации. Важный пункт для характеристики заказчиков Островского: Черевины поддерживали прочные связи с Францией — в Париже постоянно жили близкие родственники Черевиных, с которыми велась регулярная и откровенная переписка. Хотя тогдашнюю галломанию поощряли придворные круги, склонные, как флюгер, следовать за ветерком европейской моды, — влияние передового крыла, французской культуры было при тогдашнем педантизме и отсутствии творческой самостоятельности у петербургской и губернской бюрократии явлением в конечном счете бунтарским. Вот в каком доме творил Островский, вот что каждодневно окружало и, безусловно, нравственно воспитывало его.

Я не случайно подчеркиваю «французские симпатии» Черевиных. Семья эта, вероятно, бывала в Париже, а вместе с Черевиными мог попасть во Францию Островский. Путешествия тогда длились долго. По дороге случались остановки на день, два, неделю. Островский вместе с Черевиным мог быть в Берлине, Дрездене, Мюнхене, Вене. Тогда русские

путешественники, дожидаясь отправки, коротали время, осматривая европейские достопримечательности, в том числе знаменитые живописные коллекции прославленных городов.

Три десятилетия разделяют первые портреты Григория Островского и последующие четырнадцать полотен. За это время умер первый заказчик — Иван Григорьевич Черевин. Постарела его вдова, Наталья Степановна. Выросли дети, появились внуки. Семья Черевиных надолго перебралась в поместье, оставив шумные, далекие Москву и Петербург.

Эти три десятка лет резко изменили живописную манеру мастера, довершили воспитание его художественного вкуса, да и сам он, Островский Григорий, решительно неизвестный нам как живой человек, сделался мудрее и, по-видимому, снисходительнее к людям — об этом говорят нам его поздние работы. Груз жизненного опыта разнообразил и обогащал его искусство.

Первые портреты Григория Островского стилистически близки русской парсуне. Вероятно, художник обучался живописному мастерству у безвестных изографов, в одном из иконографических центров, которых в Заволжье было достаточно даже после петровских нововведений.

Картины 70-х годов заметно разнятся с первыми произведениями художника. Элементы архаики сведены на этих полотнах почти на нет. Живопись Островского сделалась изысканней, звонче, стилистически богаче. Это, бесспорно, шедевры русского камерного искусства.

Все произведения Григория Островского выполнены в жанре портрета. Для русской живописи XVIII в. этот жанр являлся главным, именно здесь русские художники добились наивысших результатов, доведя искусство портрета до совершенства. Своеобразие Островского в том, что солигаличский мастер выбрал особый род портрета: интимный портрет. Конечно, этот вид портрета был в творчестве ведущих живописцев того времени, но для Островского он стал основным. Черевины не обладали восточной пышностью петербургских вельмож, которые заказывали парадные, официозные полотна. Владельцы солигаличского поместья были проще в своих стремлениях и желаниях, что подсказывало художнику иной стиль живописи: на ней лежит печать большей откровенности и задушевности. На картинах Островского видно, как любит он некоторых из тех, кого изображает. Особенно заметно это, когда Островский рисует детей. Какое светлое чувство любви передает портрет пятилетней Анны Сергеевны Лермонтовой! Ребенок,

показанный живописцем, — это сама чистота, неомраченная радость, это создание, жадно открытое всем впечатлениям, незнакомое пока ни со злом, ни с пороком.

Виртуозна кисть мастера на этом портрете. Легкими, но уверенными мазками, точно соблюдая меру, Островский живописует красивое, обаятельное лицо ребенка, нежность кожи, выразительные, внимательные, чуть со смешинкой глаза, высокий, чистый лобик с убранный под легкий чепчик прической. Вместе с тем художник великолепно передает материальность предметов: воздушные кружева чепца, глубокое свечение грушевидной жемчужины-сережки, невесомость бисерного шнура, повязанного на тонкой, хрупкой детской шее. Модели Островского раскрыты не только со своей человеческой стороны, они нарисованы великолепным колористом, прекрасно знакомым с законами современной живописной школы. Это умение с видимой легкостью соединять талант рассказчика, умного и глубокого повествователя с безупречным искусством живописи отличает действительно редких мастеров.

Творчество Григория Островского не имеет прямых аналогий среди известных сейчас произведений того времени. Но правомочно сравнивать манеру работы художника, его своеобразный и неповторимый стиль с искусством ведущих портретистов-современников: Вишнякова, Рокотова, Левицкого. Сходство в некоторых приемах, живописных принципах объясняется, пожалуй, знакомством Островского с лучшими работами русских художников. И в Париже, и в Петербурге, и в Москве Григорий Островский многому научился. Он увидел общее направление европейской и русской живописи, познакомился с новыми, безусловно жизнотворными приемами наиболее талантливых современников, бесконечно обогатил свое знание живописных законов. Однако объяснить теперь искусство Островского только влиянием новых течений в столичном искусстве, очевидно, нельзя.

В основе творческого метода Григория Островского лежит следование традициям национального демократического искусства, цельное понимание творческих принципов народной самобытности, народного мировосприятия. У Островского есть корень, который крепко связывает его живопись непосредственно с жизнью его родины, его народа, его края.

В отдельных моментах метод Григория Островского — даже позднего периода — восходит к парсунному письму русских иконографов.

Но не только определенным приемам научили его местные изографы. Они воспитали в нем доброту, внимание к человеческим нуждам, чуткость к внутреннему миру человека, к его нравственным идеалам, духовным порывам.

Европейская культура, круг недавно учрежденной русской Академии художеств, усадьба мецената выработали из Островского художника с требованиями современного, передового искусства, не оценимо развили его профессиональную подготовку. Но при всем том из Островского получился бы пустоцвет, если бы не та закваска, которую вложили в него безымянные учителя из родных заволжских земель, если он потерял бы ободряющее чувство родины, те нравственные достоинства, что получил на заре сознательной жизни своей в искусстве.

В Галиче, Чухломе, Солигаличе работали зодчие, резчики, изографы из народа, неимущие, обкраденные начальством, администрацией, удивительно талантливые люди, с живым чувством прекрасного в сердце. До нас дошли некоторые из их созданий. Это были соратники, учителя и ученики Григория Островского. Среди них некоторые даже напоминали творческим своеобразием путь самого художника. Вот что пишет Тиц об архитектурном памятнике Галича — соборе Преображения: «Освященный в 1774 году, собор собрал воедино веяния различных художественных эпох. Строили этот храм, несомненно, местные мастера. В соборную церковь они вложили все свое искусство, всю свою выдумку, все свое знание непонятных им заморских архитектурных деталей... Блестящий пример местного мастерства... столь оригинального произведения, сочетающего *необъяснимым путем* (курсив мой.— Ю.Т.) элементы западноевропейского архитектурного языка с народным северным говором».

Можно привести и другой пример — из романа А. Ф. Писемского «Люди сороковых годов», созданного автором буквально с натуры. Много лет минуло с тех пор, как умер Островский, как работали строители галичского архитектурного памятника. А в лесном краю не переводилась их традиция, ее несли другие чудотрудцы, хранители народного гения. «В местности, где находилось Воздвиженское, были всякого рода мастеровые», — свидетельствует Писемский. К герою книги, молодому барину Вихрову, жившему в поместье, приводят живописца поправить на потолке росписи.

«Мастеровой еще раным-ранехонько притащил на другой день леса, подмостил их и с маленькой кисточкой в руках и черепком, в котором распущена была краска, влез туда и, легши вверх лицом, стал подправлять разных богов Олимпа... Живописец и сам, кажется, чувствовал удовольствие от своей работы: нарисует что-нибудь окончательно, отодвинется на спине по лесам как можно подальше, сожмет кулак в трубку и смотрит в него на то, что сделал...»

— Что же ты не отдохнешь никогда? — спрашивал его Вихров.

— Так уж, я николи не отдыхаю, не надо мне этого! — отвечал живописец...

Недели в две он кончил весь потолок — и кончил отлично: манера рисовать у него была почти академическая».

Так кем все-таки был Григорий Островский? Таким вот мастеровым, даровитым учеником иконников, взятым в усадьбу помещиком? Или был он крепостным Черевиных, подобно шереметевскому художнику Аргунову? Или был он бедным родственником знатных бар? Ничего нельзя сказать точно — документальной биографии Островского нет. Остается представить ее, что я и старался сделать.

Этот безвестный человек открыл яркую страницу русского искусства XVIII в. Он обессмертил имя свое для истории русской живописи. Удивительное дело: теперь благодаря дару Островского не канули в лету и его герои. Сила искусства воскресила всех этих современников мастера. Три поколения Черевиных, их близкие и родные, сановный Михаил Иванович Ярославов, его сын Алексей Михайлович Ярославов, одутловатый помещик Акулов, сосед Черевиных, неизвестный молодой человек и молодая светская дама, гостья из столицы, — все они, участники семейной живописной хроники, стали образами и характерами в творчестве художника. Спасибо вам, исчезнувшие люди, если вы чем-либо помогли своему домашнему живописцу. Краеведы еще, возможно, напишут о вас, а мне пора заканчивать свой очерк. Пусть заключат его аксаковские слова из романа «Семейная хроника». Слова эти подходят ко всем героям Григория Островского, каких мы увидели на его прекрасных портретах:

«Прощайте, мои светлые и темные образы, мои добрые и недобрые люди, или, лучше сказать, образы, в которых есть и светлые и темные стороны, люди, в которых есть и доброе и худое! Вы не великие герои, не громкие личности;

в тишине и безвестности прошли вы свое земное поприще и давно, очень давно его оставили, но вы были люди, и ваша внешняя и внутренняя жизнь так же исполнена поэзии, так же любопытна и поучительна для нас, как мы и наша жизнь в свою очередь будем любопытны и поучительны для потомков. Вы были такие же действующие лица великого всемирного зрелища, с незапамятных времен представляемого человечеством, так же добросовестно разыгрывали свои роли, как и все люди, и так же стоите воспоминания. Могучею силой письма и печати познакомлено с вами ваше потомство. Оно встретило вас с сочувствием и признало в вас братьев, когда и как бы вы ни жили, в каком бы платье ни ходили. Да не оскорбится же никогда память ваша никаким пристрастным судом, никаким легкомысленным словом!»

ЮРИЙ САМАРИН

ЛЕЛЬ

Люби поэзию. Это душевный хлеб. Без поэзии жизнь скучна — материальна, как у животных.

*Е. Честняков
Из письма племяннице*

Он никогда не искал славы, этот человек — Ефим Честняков, костромской крестьянин, живописец, скульптор, философ.

От первого вскрика до тихой кончины, всю долгую, почти девятистолетнюю жизнь свою провел он практически в отчей деревне, пахал землю вместе с односельчанами, сеял, косил — одним словом, работал, пока не выпадал снег, и за *труд свой ученый* садился лишь зимой. Так, несколько книжно, именовал он создание «могучей универсальной культуры», апостолом которой был и оставался до конца дней.

Один из современных писателей сказал о родном селе: мал родничок, а поди-ка, вычерпай его до дна... Вот и Ефим Честняков полными горстями черпал из своего родничка. Для него мысль об универсальной сельской культуре включала в себя множество элементов. Посредством искусства стремился соединить в одно целое коллективный труд и неповторимый быт современной ему деревни, социальное в жизни крестьян и вековую мудрость фольклора. Это была цель (увы, недостижимая), бесконечно заветная мечта, одушевленная искреннейшим желанием сделать жизнь народа лучшей, неизменно счастливой. Венец всему, по разумению Честнякова, — всеобщее благоденствие. На картинах его, в скульптурах, литературных произведениях мы встречаемся с постоянным мотивом: ребятишки несут гигантский пирог или везут на тележке невероятных размеров яблоко — напитать всю деревню. Законченное выражение утопия Честнякова получила в самом большом его живописном полотне «Город всеобщего благоденствия».

Эта огромная по своим размерам, двадцатифигурная



композиция воспринимается как социально-этическая гармония, увиденная глазами земледельца-бессребреника. Вечный праздник царит здесь, в диковинном, вымышленном городе, даже не городе — фантастической деревне, где прихотливо возведенные избы соседствуют с каменными постройками, на площади красуется дворец с колоннами, а на балконе дворца расположились принаряженные молодежь и старики. Изобилие благ земных сочетается на картине с праздником труда: мальчики держат большущие крендели, мужики поддерживают лакомый пирог, девочки с лукошками,



полными ягод, с виноградными гроздьями, а рядом, в большой избе, прядут лен парни и девушки.

Картина словно иллюстрирует сказку самого Честнякова «Шаболовский тарантас»: «...надумали обнести всю деревню каменной стеной с воротами, дверями и окошками... и получился необыкновенно большой дом, а внутри стоят избы и растут сады... Устроили одну большую печь... и тепло по трубам стало расходиться по всей деревне... Перестали топить печки в избах... и лепешки и пироги стали печь в большой печке в маленьких отделениях, устроенных вроде

маленьких печей, и на плитах... или просто в большущих котлах для всех... И пироги большущие с сажень, если не больше... И в розницу и вместе стряпали и больших и маленьких размеров, как придется... И зимой в деревне стало лето — пташки перезимовывают, скворцы остаются и ласточки... и зимой распевают...

А это было уже в декабре месяце».

Как просто задним числом упрекнуть Честнякова в наивном утопизме, даже прекраснодушии. Но подождем бросать в него камень: вспомним атмосферу времени, нравственный климат эпохи, когда идея свободы сочеталась для многих людей с жадной сиюминутной радостью. Герой «Сентиментального романа» Веры Пановой, юноша-комсомолец (действие книги происходит сразу после гражданской войны) отвергает, как «ненужную», поэзию не только Ахматовой, но и Маяковского, предпочитая им «Город солнца» Кампанеллы, классический образец социально-общественной утопии человечества. На обелиске Свободы, установленном у стен Кремля в первые годы Советской власти, наряду с другими борцами за счастье людей были начертаны имена великих утопистов Фурье и Сен-Симона. Тем более понятно это чаяние «всеобщего благоденствия» у коренного русского крестьянина, некогда вышедшего из общины, вечного лапотника, работника, коему сплошь да рядом не хватало прокорма до наступления весны...

Ефим Честняков, человек чистейшего сердца, был для односельчан не только соратником, он кистью живописца и резцом скульптора воспевал их нехитрые радости, сдержанную одухотворенность их обветренных ликов, лучезарное сияние их редких улыбок. Будучи по образованию народным учителем, обучал крестьянских ребятишек грамоте, мастерил им куклы, устраивал театральные представления. Сам взрослый ребенок, он любил рисовать детей, напоминая этим Венецианова. И дети на картинах Честнякова — сама непосредственность, неотмирная доброта, самый чудесный отросток жизни, святая надежда.

В деревне каждый любил и верил дедушке Ефиму, затейнику и живописцу. Поэтому, когда несколько лет назад в Шаблово попали сотрудники Костромского художественного музея, их поразило прямо-таки благоговейное отношение к жившему здесь и пока еще таинственному для них старцу. Картины Честнякова в некоторых избах висели в красном углу, в других домах из-за больших размеров держали их в сенях, но вот что важно — *хранили и помнили.*

Так, случайно или не очень случайно, произошло открытие нового имени в истории нашего народного искусства. Произведения Честнякова вывезены были в Костромской музей, где изучением их занялись специалисты. Московские реставраторы, в свое время оказавшие неоценимую помощь музею в спасении картин художника Григория Островского, и теперь проявили завидное терпение в восстановлении живописных работ безвестного дотоле крестьянского самородка. Я был свидетелем упорного, каждодневного, но и радостного труда художников-реставраторов Сергея Голушкина и Савелия Ямщикова, они вернули первозданное очарование одной из самых удивительных картин Честнякова — «Коледа» (праздник песни).

Более полувека огромный художественный мир Ефима Честнякова не знал других зрителей, кроме обитателей деревни Шаблово, что схоронилась среди костромских лесов. Единственный раз — на скромной выставке в Кологриве в 1923 г. — художник демонстрировал публике свои работы.

Но наконец, разомкнув кольцо безвестности, произведения его обрели вторую жизнь. В Москве прошла фундаментальная выставка картин, графики и скульптур Честнякова...

Безусловно, в сознании современного зрителя многообразная личность Честнякова связывается, прежде всего, с ипостасью живописца. Причудливо сказочный, пестрый мир художника, населенный сотнями любовно изображенных ликов — детей и стариков, женщин и мужчин, улыбчивых и кротко печальных, любопытных и шаловливых, босоногий и лапотный мир этот, высвеченный разноцветьем красок, поражает магией самобытности, необычностью даже. Воспринимается как прихотливое соединение, *синтез* фантастического и натурального. Честняков не стилизатор, он не из породы придумщиков, падких на сенсации. Художественный микрокосм его органичен — именно таким взглядом воспринимал живописец родную ему деревню, односельчан, именно таковым было мировосприятие его, «рыцаря сказочной мечты», как назвал он себя в одном из стихотворений. Хотя следовало бы называть его вовсе не рыцарем, ибо не было ни в нем самом, ни в искусстве его ничего воинственного, напористого, что соединяется для нас с этим старинным и чуть жестковатым словом. Скорее, Честнякова можно величать менестрелем, а еще точнее — попросту лелем, так напевен, чист, спокоен его живописный язык. Этот

мечтатель из мужиков начисто лишен трагичности сознания, сердце его в ладу с разумом, и картины Честнякова — гармония душевного равновесия, это ясность знойного летнего полдня, спокойная сила созревшего хлеба, тепло костра.

Возможно, со временем художника провозгласят великим примитивистом, русским Пиросмани или русским Генераличем. Он заслуживает самых лестных эпитетов. Еще Репин как-то заметил ему: «...талантливо. Вы идете своей дорогой, я вас испорчу. У вас способности... вот и продолжайте дальше... Вы уже художник. Это огонь, этого уже ничем не удержишь».

Но не будем гадать о будущем признании живописца. Обратимся лучше к его любопытнейшей биографии, она объясняет характер его поразительного творчества.

Ефим Васильевич Честняков родился 19 декабря 1874 г. в деревне Шаблово Кологривского уезда Костромской губернии, в крестьянской семье. Талант дан был ему от рождения: он начал рисовать еще ребенком. «Вспоминаю,— замечает он через много лет в записных книжках,— как с дедушкой ездили в Урму на свадьбу к тетушке Ографене, дедушкиной сестре. Она выдавала дочку. В избе у тетушки Груни дедушко похвастал гостям, что я умею рисовать... Пожелали, чтобы что-нибудь нарисовал... И стесняясь гостей, нарисовал на бумаге лошадку... Раньше я не слыхивал от дедушки похвалы за рисованье — он впервые об этом заговорил только тогда (на свадьбе)... Рисованье мое поощряла — хвалила бабушка...»

По окончании учительской семинарии Честняков работал народным учителем в Костромском и Кинешемском уездах, в Костроме. «По так называемому образованию от соответствующего учебного заведения я получил право быть начальным учителем. Таковым и оставался до моего вступления на художественное поприще». А вступление это состоялось в канун нового, двадцатого века.

Сначала Петербургская Академия художеств, затем Казанская художественная школа и снова Петербург. Вот аттестация способностей молодого художника великим его современником и учителем: «Если лицам, оказывающим поддержку Е. В. Честнякову, нужно знать мой о нем отзыв, то повторяю, что г. Честняков обладает темпераментом художника, проникнут стремлением к искусству и тому успеху, который от него ожидается по его способностям, мешает главным образом, по его словам, недостаток в материальных

средствах. Профессор И. Репин. 7 мая 1902 г. СПб. Академия художеств».

И кому только не мешал тогда этот «недостаток в материальных средствах», вечный бич русских самородков! А тем паче крестьянскому сыну. «Родители мои безденежные крестьяне не могли мне помочь, от меня же глядели помощи...» В 1905 г. Честняков возвращается в Шаблово. «Конечные цели у меня — деятельность в деревне», — отмечает он, но прекрасно при этом понимает, что не успел завершить свое художественное образование. Но где было найти средства для жизни в Петербурге? «Я никогда не выражал нежелания к действительному учению, — горько сетовал живописец, — и теперь стремлюсь, но город... поступает отвратительно. Нет жизни душе моей, как и моим соплеменникам».

В 1913 г. Честняков снова делает попытку обосноваться в столице. До конца года он занимается в академической мастерской профессора Кардовского, а затем вновь, на сей раз окончательно, перебирается в деревню. Здесь он живет и работает.

Скончался художник 27 июня 1961 г.

Скорее всего, Честняков создал большинство своих картин и рисунков между 1914 и 1923 г., когда, как помним, в Кологриве состоялась его выставка. Жизнь и работа в Шаблово не были, таким образом, для него некой формой толстовства, влиятельного в то время. Тут не опрощение интеллигента, а естественность бытия человека из народа. Честняков родился крестьянином и прожил крестьянином. Он сказал о себе стихотворным размером прошлого века: «Фим трудился многи годы, окруженный хором муз, и носился по народу с грузами своих искусств».

На волне пореформенного брожения русского крестьянства вспыхнули литературные дарования крестьянских сынов Дрожжина и Семенова, но то были самоучки, не вкусившие профессиональной учебы. Знаем, как ушел из деревни в город Есенин. Но ведь знал я и судьбу устюжского крестьянина Евстафия Павловича Шильниковского, патриарха северного чернения, доброго и давнего своего знакомого. Получив подготовку в той же Петербургской Академии художеств, он вернулся в Великий Устюг и стал-таки народным художником, умельцем традиционного чернения по серебру. Вот и Ефим Честняков, как думается, есть пример такого же

возвращения к самому себе, к искусству внешне простому, зато бесконечно родному. Искусству от жизни и о жизни: «Фантазия — она реальна, когда фантазия сказку рисует — это уже действительность... и потом она войдет в обиход жизни так же, как ковш для питья... И жизнь будет именно такой, какой рисует ее наша фантазия... Гляди вперед и покажи твои грезы... и по красоте твоих грез ты займешь свое место...»

ВИКТОР БОЧКОВ

ЗАВЕТНЫЙ «ТЕРЕМ»

Кустодиев любил рассказывать, как он познакомился с будущей женой. Три беспечных студента Академии художеств, путешествуя в сентябре 1900 г. по Волге, сошли с парохода в Кинешме, чтобы побывать в лесном Заволжье, в древнем торговом селе Семеновском-Лапотном (ныне поселок Островское). Там узнали, что неподалеку находится усадьба Высоково, у владелиц которой есть ценное собрание произведений искусства: картин, гравюр, скульптур. Почему бы не съездить, не посмотреть? «Они, — записал его рассказ искусствовед В. В. Воинов, — компания молодых художников, приехали в усадьбу Грек на отчаянной деревенской телеге (один рубль за весь день). Ехали 12 верст почти шагом, завалившись в телегу, обломав о лошадь несколько кнутов. В усадьбе почти что напугались, думали, что разбойники приехали». В тополевой аллее высококовского парка Борис Михайлович и увидел впервые стройную девятнадцатилетнюю девушку.

Юле Прошинской было всего два года, когда она лишилась отца — семья осталась без всяких средств к существованию. Тогда две сердобольные старушки Мария и Юлия Петровны Грек взяли ребенка на воспитание и увезли из Петербурга в свою костромскую усадьбу. Потом Юлия Евстафьевна училась в Смольном институте. Окончив его, служила машинисткой в Комитете министров, где управлял делами племянник ее покровительниц. Одновременно занималась живописью в школе Общества поощрения художеств. Отпуск проводила в ставшей родной усадьбе Грек...

Следующее лето Кустодиев гостил в Высокове. Интеллигентные воспитательницы вздрагивали, когда он по-астрахански нажимал в разговоре на буквы «а» и «я», произнося «чáсы» или «пáтно». «Боже мой, — тихо сокрушались они, — неужели наша Юленька выйдет все-таки замуж за этого художника из провинции, он влюбился в нее без памяти и нравится ей! Ведь столько блестящих партий у нее есть!»

Уже в первый приезд в Семеновское-Лапотное Кустодиев нашел здесь не только личное счастье — он пришел в восхищение от поэтичных окрестностей, от колоритного облика местных жителей. Это, пожалуй, было закономерно. Ведь еще на полвека раньше поселившийся рядом с Семеновским — в сельце Щелькове — гениальный драматург А. Н. Островский говорил, каким сокровищем является здешний край для живописца: «Каждый пригорочек, каждая сосна, каждый изгиб реки — очаровательны, каждая мужицкая физиономия значительна (я пошлых не видел еще), и все это ждет кисти, ждет жизни от творческого духа. Здесь все вопиет о воспроизведении». Кустодиев написал вблизи Щелькова сотни прекрасных пейзажей, портретов, бытовых сцен. Пребывание в краях, где прежде жил драматург, позволило Кустодиеву глубже проникнуть в мир его образов, облегчило зрительное восприятие пьес Островского, многие из которых писались на местном материале. *

И Кустодиев, и Островский оказались в костромском Заволжье в силу случайного стечения обстоятельств — один приехал к отцу, другой — к невесте, но не случайно, что, узнав эти места, они решили в них поселиться, связать с ними жизнь.

В августе 1901 г. Борис Михайлович, навсегда пленившийся костромскими краями, писал из Петербурга невесте в Высоково: «...вот я сейчас с таким удовольствием побегал бы с Вами где-нибудь в поле — особенно там за гумном, как, я думаю, теперь хорошо у вас — серые тучи, ветер шумит по березам, и галки стаями кричат и перелетают; я их страшно люблю. Особенно хорошо теперь в Семеновском у церкви — это такая музыка». А уже в конце осени 1901 г. он сам возвращается сюда — писать для Академии художеств дипломную работу «Базар в Семеновском». И вскоре, довольный, сообщает Юлии Евстафьевне: «А что у меня сегодня хорошее настроение, так это вот почему: сегодня здесь базар, именно то, для чего я сюда ехал, да базар такой, что я как обалделый (извини за такое выражение, не особенно красивое, но верное) только стоял да смотрел, желая обладать сверхчеловеческой способностью все это запечатлеть и запомнить и передать. Положительно глаза разбежались — столько интересного, что и годами не перепишешь! Если даже сделать одну сотую всего этого так, как было, то будет здорово! Все-таки я много смотрел и многое в другом виде показалось, чем раньше думал».

Позднее Кустодиев прямо сказал: «Село Семеновское

было моей второй родиной». Картина «Базар в Семеновском» принесла ему официальное признание — он получил за нее золотую медаль, звание художника и право на двухгодичную пансионерскую поездку за границу. Лето 1903 г. Борис Михайлович все же провел в Высокове, где написал известный большой портрет жены на усадебной веранде с собакой, а в декабре уехал с семьей во Францию и Испанию. Там он вместо положенных двух лет едва прожил пять месяцев. «Меня, — объяснял он другу граверу В. В. Матэ, — не прельщают Париж, Мадрид и Севилья, меня тянет в Семеновское-Ланотное».

Высоково после смерти старушек Грек отошло в казну и было продано, но Кустодиевы не мыслят летний отдых вне окрестностей Семеновского. К счастью, их приглашает погостить живший в соседней усадьбе, сельце Павловском, ученый-геолог, профессор Казанского университета Борис Константинович Поленов. Павловское на лесной речке Яхрусте — прародина памятного в русской науке и искусстве рода Поленовых. Отсюда происходил эрудированнейший русский юрист XVIII в. Алексей Яковлевич Поленов, автор первого русского антикрепостнического сочинения «О крепостном состоянии крестьян в России». Знаменитый живописец Василий Дмитриевич Поленов доводится ему правнуком.

В августе 1904 г. Кустодиев так описывал свою жизнь в Павловском тому же Матэ: «Два месяца мы уже живем в благословенных краях благословенной русской земли... Пишу этюды к одной картине, но это так все медленно движется, что не знаю, когда кончу... Нужно правду сказать, больше времени хожу с ружьем по лесу и дышу воздухом, набираюсь им на зиму, когда кроме как питерской улично-фабричной вонью ничем не будешь дышать».

На самом деле художник работал в Павловском удивительно продуктивно. Ирина Борисовна Кустодиева подчеркивала: «Папа много раз писал и рисовал членов семьи Поленовых, их желтый с зеленой крышей дом». Так, например, широко известен «Портрет семьи Поленовых», изумительный по сходству, глубине образов и живописному мастерству... Очень хорош выполненный углем портрет Б. К. Поленова.

В следующем году Борис Михайлович вновь гостил в Павловском. Юлия Евстафьевна ждала второго ребенка, но не вынесла разлуки и приехала к мужу — здесь она и родила дочь. У Кустодиева есть трогательная картина «Сирень» — у кущи цветущей сирени рядом с домом стоит

его жена, держа на руках запеленатого в белое одеяльце младенца.

Разрастающаяся семья сделала пребывание художника в Павловском не совсем удобным. Но и покидать костромские места не хотелось. Тогда доброжелательный Б. К. Поленов уступил две с половиной десятины луговины в полуверсте от усадьбы, за околицей крохотной — менее десятка дворов — деревеньки Маурино. Там Борис Михайлович выстроил дом-мастерскую, напоминающий своей затейливой архитектурой старинный русский терем. Здание, да и весь участок, так и называли — «Терем». Кустодиев рассказывал, что «Терем» наполовину построил «собственными руками». Дом строился из тщательно просушенных сосновых бревен, на северную сторону выходила крытая терраса, на юг — балкон. В первом этаже было пять комнат: столовая, соединенная деревянной аркой с гостиной, откуда вела лестница наверх. Под лестницей дверь в спальню, оттуда — в детскую. Еще комната няни и кухня. Наверху — большая мастерская, и из нее двери в две маленькие комнаты для гостей. С лестничной же площадки был проход в «фонарь», где Юлия Евстафьевна устроила свою гостиную. Часть «фонаря» с окнами увековечена на кустодиевской картине «Японская кукла». Мебели в доме было немного. Ее делал местный деревенский столяр из березы и, по указанию Бориса Михайловича, даже не полировал. Вообще интерьер «Терема» был тщательно продуман.

Весь участок был обнесен дощатым забором, с воротами на северную сторону, на березовую аллею, доходящую до Павловского. У забора, вблизи ворот — огородик, за ним амбары, а напротив ворот, при въезде — большая клумба, вернее даже круг, засеваемый клевером, который любила щипать лошадь Серка. Со временем круг обсадили тополями. С южной стороны дома к самому балкону подступал сад, за ним по склону сбегала к ручейку березовая рощица, а за ручьем начиналась «Красновская земля».

И «Терем», и соседнюю деревню Маурино Кустодиев запечатлел на многих полотнах. Здесь создавались автопортреты, здесь писал он сенокосы, жатвы, деревенские праздники и т. п. «Чем выдумывать всякие «сюжеты», — писал художник жене, — нужно только брать из природы, которая бесконечно разнообразнее всего выдуманного». Живя в «Тереме», он особое внимание уделял пленэру. «Всю эту округу я знал как свои пять пальцев», — заявлял впоследствии художник. В селе Богородском им написаны «Портрет

священника и дьякона» и «Из церкви», в усадьбе Козловка «Портрет Подсосова», в селе Иваньковицы — зарисовки ярмарки, в усадьбе Новинки «Портрет Лизы Васильковой» и др.

Больше всего Кустодиев любил ходить на Зверевскую гору. «Мы шли, — вспоминал сын Кирилл, — сначала прогомом, затем по большой лесной дороге, а затем по луговине к мельнице на речке Яхруст. Там устроена запруда, и вода широко разливалась вокруг... Наш путь лежал к деревне Звереву, находившейся по другую сторону реки. Когда переходили через запруду, справа от которой был глубокий омут, мне все казалось, что вот сейчас оттуда выскочит русалка и схватит меня».

Страх перед русалкой на впечатлительного мальчика навеяло отцовское панно в Павловском. Там на стене в столовой художник изобразил дремучий лес, по которому при лунном свете мчится русалка, а за нею гонится лохматый леший. Так Борис Михайлович выразил свою признательность Поленовым, с которыми продолжал тесно общаться и после постройки «Терема». «Все наше детство и жизнь в «Тереме» связаны с семьей Поленовых. Моя мать любила у них бывать и с бесконечным уважением относилась к их памяти», — отмечает И. Б. Кустодиева.

Внимание художника во время прогулок с этюдником или альбомом привлекали не одни красивые пейзажи. «...Года два назад я, — писал в 1964 г. местный старожил Б. С. Киндяков, — встретил колхозника И. В. Веселова из деревни Нагорье. Разговорились. «Пасу как-то коров, еще мальчиком был. И пришел ко мне на пастушню Борис Михайлович и говорит: «Ты посгрудь коров-то и сам вставай здесь и кнут расхлестни». Я пособрал, и он стал нас рисовать, а затем говорит: «Ты побывай у меня денька через три». Я отпас и прихожу, он провел меня через комнаты и подвел к картине. Ай да батюшки, да это я, да вон Миленка, Цыганка, Пеганка, стал я переименовывать коров. Меня удивило — корова и корова, так нет — каждая на себя похожа. Попросил я подарить картину, но он отказал — нельзя, говорит, а после подарил другую — садятся они в тарантас у «Терема».

После 1905 г. Кустодиев целых десять лет уезжал на лето, как он гордо подчеркивал в газетном интервью, «к себе в Костромскую губернию». Постепенно он действительно знакомится почти со всей губернией. Сохранился, например, его этюд «Сумерки в Судиславле». Борис Михайлович полюбил и саму губернскую Кострому, где начал

ывать довольно часто. Его задушевым другом и спутником, прогулках по городу стал превосходный знаток Костромы, основатель городского музея, искусствовед и историк Иван Александрович Рязановский. «Если бы Вы знали,— пишет ему художник 23 мая 1911 г. из Швейцарии,— как меня опять заставили вашей Костромой, куда я мечтал ехать вместо прекрасных здешних мест». Или в другом письме: «До сих пор мне живу все тем, что мы с Вами видели в наших прогулках в Костроме. И особенно эта удивительная гауптвахта с покаркой».

Костроме посвящен ряд полотен Кустодиева, фактически же на всех его картинах с изображениями провинциального города 1910-х годов сказывается «захваченность» Костромой ее рядами, древними храмами, беседкой на городском берегу над Волгой и т. д. «Приходившие в мастерскую люди,— свидетельствует сын художника,— говорили: «Борис Михайлович, вы изобразили Кострому, мы здесь все узнаем!» Он смеялся: «Нет, это город выдуманный, собранный из разных мест; хорошо, что он похож на Кострому, значит, правда есть!» — и был очень доволен».

В «Тереме» Кустодиева уже подтачивал тот недуг, который позднее приковал к креслу и рано оборвал его жизнь. Но целительный местный воздух и здоровый режим бодрили его. Приехав сюда из Петербурга, художник преобразился. Он сбрасывал с себя городское платье и надевал русскую сатиновую рубаху, вышитую женой по вороту и подолу крестиками. Резко улучшалось и настроение, он становился благодушным и шутливым. «Папа,— вспоминала Ирина Кустодиева,— отлично имитировал голоса всяких животных — собак, птиц, кошек. Сидим на «северном» балконе. На столе шипит медный самовар с еловыми шишками от комаров, суровая полотняная скатерть, вышитая мамой по краям черными и красными сороками, пестренькие «ситцевые» голубые чашки. На перилах балкона — Рыжик, кот, на полу — такса Дэзи. Вокруг балкона ходит клуша с цыплятами. Папа начинает отчаянно пищать, как потерявшийся цыпленок. Клуша с глупейшим видом бегаёт, ищет. Мы все смеемся». Местные крестьяне тоже запомнили Бориса Михайловича веселым, дружелюбным и легким на ногу человеком.

«Весной 1914 года,— продолжала Ирина Кустодиева,— мы, как всегда, поехали в «Терем»... В избушке при входе во двор, где была конюшня и сеновал, жил круглый год сторож — старик Павел Федосеевич. Жил с ним кот Рыжик



Б. М. Кустодиев
«Гуляние на Волге»

и собака. Павел Федосеевич часто позировал папе, который много раз рисовал его и даже лепил.

...Ежедневно к вечеру запрягали Серку в повозку с бочкой. Кирилл садился на козлы, и мы ехали за водой к колодцу. Павел Федосеевич вел Серку под уздцы. Ведрами наполняли бочку до краев, и вся процессия двигалась обратно к дому, где бочка ставилась у крыльца кухни, лошадь выпрягали, и мы начинали скучную поливку клумб в цветнике. Мама очень любила этот цветник, бережно выращивала в нем чудесные цветы, особые сорта желтых роз. На картинке «Мой дом» папа изобразил нашу семью, сидящую под березами в этом цветнике (на заднем плане — «Терем», южной своей стороной)».

В приезд 1915 г. художник создал в «Тереме» одну из последних работ «костромского цикла». Это «Прогулка верхом» — своеобразное прощание с любимыми местами. Борис Михайлович и Юлия Евстафьевна едут верхом на лоша-

дах поблизости от села Иваньковица. По словам автора монографии о Кустодиеве Т. А. Савицкой, картина «почти в символическом образе передает восприятие художником природы, а личный момент только усиливает этот оттенок исповеди в любви к природе — чувство всегда значительное, философски осмысленное в его творчестве.

Зелено-розовая симфония огромного пространства неба, окаймленное цветами поле ржи, волнистые холмы и перелески до самого горизонта, и в самой середине его белый силуэт церкви... Несложна композиция этого полотна — поле, небо и два всадника, но картина выражает мудрую радость слияния человека с природой так мягко и вместе с тем так значительно, что вся она ощущается как эническое произведение».

После 1915 г. тяжело больной Кустодиев в костромских краях уже не бывал. Лет через девять — десять разобрали «Терем», ранее было покинуто Павловское... Но до последних дней художник, лишенный непосредственных внешних впечатлений жизни, помнил и воссоздавал на полотне места своей счастливой молодости — Семеновское-Ланотное, Кострому. Это тонко подметил его близкий друг М. В. Добужинский: «Наперекор всему и своей болезни он уходил в свой мир тихой и обильной жизни Поволжья, быта купцов и купчих, который уже тогда смела революция, радостных пейзажей с полями, залитыми солнцем, масленичных гуляний с тройками и березами в ивее, гостиных дворов его небывалого русского городка».

А сам Кустодиев незадолго до смерти написал семеновскому учителю Н. И. Адельфинскому: «Я прожил в тех местах десять лет и считаю эти годы одними из лучших в своей жизни».

АЛЕКСАНДР БУЗИН

ШЛЕИН И ЕГО УЧЕНИКИ

Заслуженный деятель искусств РСФСР Николай Павлович Шлеин, художник старшего поколения, вышел из среды поздних передвижников. Воспитанный на традициях русской реалистической живописи, он за многолетнюю плодотворную творческую и педагогическую деятельность внес существенный вклад в становление и развитие советского портретного искусства, формирование новой художественной школы и воспитание молодых художников.

Летом 1929 г. А. В. Луначарский в письме к Н. К. Крупской сообщал: «В Кисловодске я встретил художника Шлеина, автора портретов Горького и Покровского, которые Вы видели в моем кабинете. Он сделал с меня здесь очень хороший портрет. Ему хотелось бы сделать такой же с Вас. Лично я очень прошу Вас попозировать ему в Железноводске, если для этого есть хоть малейшая возможность. Он специально приедет в случае Вашего согласия туда и займет у Вас по часу-полтора в течение 4—5 дней, но зато потомству останется достойный портрет». Такова высокая оценка живописного мастерства Шлеина, она, несомненно, свидетельствует о признании Луначарским яркого и самобытного таланта художника.

Н. П. Шлеин родился 20 ноября 1873 г. в Костроме, в мещанской семье. Первоначальное художественное образование он получает в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. В числе лучших учеников Шлеин переходит в открывшуюся при училище мастерскую портретной живописи, которую возглавил В. Серов.

Напряженные годы учебы художника проходят в сложный и переломный период для русского изобразительного искусства. В Московское училище на смену преподавателям-передвижникам И. Прянишникову, Д. Поленову, С. Коровину приходят В. Серов, А. Архипов, И. Левитая, которые

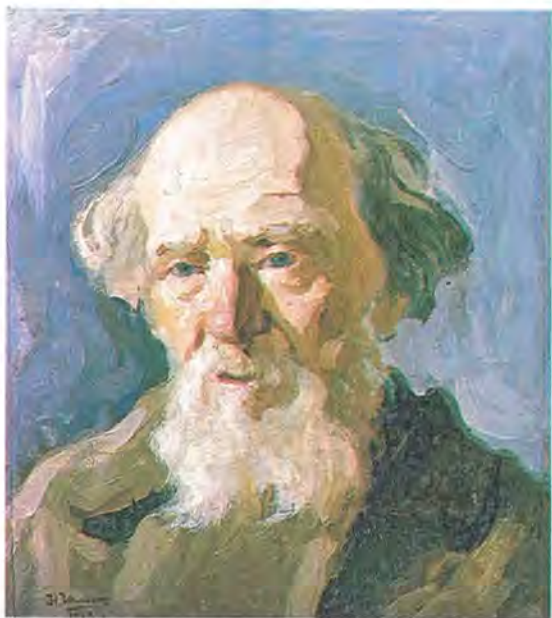
требуют от своих учеников не только серьезной работы над натурой, но и смелых поисков живописной формы, самостоятельного творческого решения острых выразительных композиционных мотивов.

Большую серебряную медаль и звание классного художника Шлеин получает в 1900 г. за конкурсную картину «Неизвестный». В трактире поздним вечером за столом одиноко сидит молодой человек. Усталый и осунувшийся, он безразлично смотрит в пространство. Хозяин харчевни, недовольно посматривающий на запоздалого посетителя, намеревается выпроводить подозрительного неизвестного клиента. Это первое полотно, в котором автор сумел правдиво выразить душевную драму интеллигента, задавленного в мрачной обыденщине царского режима. Картина была принята на 28-ю передвижную выставку. О ее успехе Шлеин пишет матери: «Вчера в субботу был на устройстве выставки. Познакомился со многими художниками. Левитан сам подошел ко мне и сообщил, что ему очень приятно познакомиться со мной и что вещь моя ему очень нравится. Он сказал также, что когда Репин увидел ее, так закричал перед картиной: «Она лучшая на выставке из жанровых». Приятно было слышать и не верить своим ушам».

В 1901 г. Шлеин поступает в Высшее художественное училище при Петербургской Академии художеств в мастерскую профессора В. Е. Маковского. Под влиянием своего педагога, большого знатока быта народа, тонкого психолога и наблюдателя, он пишет в эти годы ряд небольших жанровых картин: «Нашла», «С прошением», «Поддержите коммерцию», «В приемном покое» и др. В них чувствуется тесная связь начинающего художника с группой поздних передвижников, для которых в те годы было характерно обращение к небольшим полотнам, правдиво отражающим быт и тяжелую долю простых людей. Шлеин не мог избежать и слабых сторон этого направления — созерцательности и натурализма. Позднее он постепенно начинает более осмысленно и критически оценивать события окружающей действительности.

Профессор В. Е. Маковский считал своего ученика вполне зрелым и подготовленным художником, успешно выступившим со своими работами на ответственных выставках передвижников. Он рекомендует Шлеину досрочно выйти с картиной «Беспутный» на конкурс. Эта программная композиция в 1903 г. была одобрена Советом академии, с присуждением автору звания классного художника, награ-

И. И. Шлеин
«Голова старика»



ждением золотой медалью и предоставлением заграничной командировки.

Интересно сравнить это полотно с известной картиной В. Н. Бакшеева «Житейская проза», написанной в 1893 г. Одна и та же вечная и злободневная проблема конфликта отцов и детей в полотнах двух художников решается по-разному. Бакшеев акцентирует главное внимание на ссоре отца с дочерью, сочувствуя горю и бессилию девушки, подчеркивая бесправное положение русской женщины. Шлеин не ограничивается семейной мелодрамой. В основе его произведения дается обобщенный образ современника — сильного, волевого, убежденного в своих поступках молодого человека. Если в ранних небольших картинах художник удовлетворялся внешним показом бытовых сцен, то в «Беспутном» затрагивается тема большой общественной значимости, веры человека в его будущее, которое предстоит завоевать в борьбе. Эта работа подводит итог учебе и раннему творчеству сложившегося мастера.

В 1904 г. Н. П. Шлеин возвращается на родину в Кострому. Здесь он открывает художественные классы рисунка, живописи и лепки, преподает в реальном училище, мужской гимназии. Наряду с большой педагогической деятельностью художник много и упорно занимается живописью. В годы реакции, наступившей после поражения революции 1905 г., Шлеин не поддается соблазнам модных декадентских течений. Он твердо стоит на позициях реализма, продолжая создавать новые полотна, повествующие о тяжелой доле трудового народа. В 1909 г. в Костроме открылась персональная выставка портретов, пейзажей и графики Шлейна, на которой были показаны новые интересные тематические картины: «Учительница», «Странник», портрет художника С. Карташова, автопортрет и другие.

В 1910 г. Шлеин совершает поездку за границу: в Польшу, Австрию и Италию. С группой художников он посещает остров Капри, где встречается с А. М. Горьким.

Портрет Горького, написанный Н. П. Шлейным, по праву считается одним из лучших прижизненных портретов писателя. Сам А. М. Горький высоко оценил этот портрет, считая его очень верным и законченным. Репродукции с него были изданы в открытках Всемирного почтового союза России, напечатаны в энциклопедическом словаре бр. Гранат, атласе «Мировые писатели» и других изданиях. Встреча с А. М. Горьким явилась важной вехой в жизни и творчестве Н. П. Шлейна. Художник почувствовал в себе уверенность мастера-портретиста.

В Италии он пишет живописные виды Неаполя, Помпей, острова Капри. Знакомство художника с замечательными памятниками архитектуры, полотнами итальянских художников эпохи Возрождения способствовало расширению его кругозора, обогащению палитры, стремлению к новым смелым поискам.

Творческая общественная деятельность Н. П. Шлейна особенно плодотворно развернулась в первые годы Советской власти. В 1918 г. он создает большие декоративные панно: «Рабочая демонстрация» и «Рабочие парламентарии». Шлеин является членом Костромского научного общества, уполномоченным Наркомпроса по охране памятников старины. По его просьбе из фондов музеев столицы выделяются произведения русской живописи конца XIX — начала XX в., он бережно собирает памятники крестьянского декоративного искусства для вновь открываемого при Костромском краеведческом музее отдела изобразительного искусства. Большая



*А. П. Бельх
«Лесорубы»*

заслуга принадлежит Шлеину и в организации в 1919 г. Государственных Свободных художественных мастерских, куда он назначается профессором и руководителем.

Шлеину пришлось выдержать упорную борьбу с группой преподавателей во главе с М. Изнар и В. Макаровым, которые под флагом новаторства стремились перестроить учебную программу, внедряя «левые» пролеткультовские идеи и формалистические методы обучения. В этой борьбе за реалистические принципы обучения он находит поддержку со стороны А. В. Луначарского и Д. Бедного. Так, в письме в Наркомпрос Д. Бедный пишет: «Настоящим подтверждаю: если какая-нибудь административная сволочь, в порядке гнусной интриги попытается применить к художнику-реалисту Н. П. Шлеину то или иное административное угнетение, защиту Шлеина беру на себя я, раз художников реалистов от футуристических озорников уже некому в Наркомпросе защищать. Демьян Бедный».

В 1925 г. по заданию АХРП Шлеин совершает творческую

*М. С. Колесов
Портрет
Героя
Социалистического
Труда
пастуха
И. М. Нестерова*



командировку по стране, принимает участие в VII и VIII выставках АХРРа с картинами «Волга в Нижнем Новгороде», «На пароходе», «Волга в Ржеве». С 1926 г. его избирают председателем Костромского отделения АХРР.

Отдавая много сил и внимания педагогической и общественной деятельности, Шлеин продолжает творческую работу. Наибольший интерес представляет его портретное искусство. Художник создает портреты А. В. Луначарского, Л. Б. Красина, Демьяна Бедного, А. С. Новикова-Прибоя, ученого-зоотехника С. И. Штеймана и других. Каждая из этих работ говорит о проникновении во внутренний мир человека, совершенстве техники, уверенной лепке формы.

С 1934 г. Шлеин возглавляет филиал Костромской организации ССХ, принимает активное участие в художественных выставках «Итоги первой пятилетки ИПО», «Ивановская область в изобразительном искусстве». В 1935 г. в Костроме открывается персональная выставка его



*В. А. Кузилин
«9-е Мая»*

произведений, посвященная 30-летию творческой деятельности.

В портретном цикле он запечатлел образы современников, людей труда, среди которых следует отметить такие работы, как «Орденоска К. Быкова», «Дядя Паша», «Комсомолка» и др. Портрет «Комсомолка» как бы перекликается с лучшими портретами советской живописи 1930-х годов, такими, как «Делегатка» и «Председательница» Г. Ряжского. Все в этом простом образе, от которого веет здоровьем и радостью жизни, напоминает годы первых пятилеток и комсомольских новостроек.

Своеобразным художником Шлеин выступает и в пейзажной живописи. Он пишет волжские просторы, пристани, пароходы, часто бывает в Плесе, Кинешме, Юрьевце. С особой теплотой обращается к простым сельским мотивам родного



края. Пейзажи его скромны, это в основном натурные этюды, в которых нет ничего кричащего, бьющего на эффект. В живописном отношении они выполнены в сдержанном колорите. Своеобразие этих работ состоит в том, что художник любит солнце, — не случайно большинство из них создавалось летом, — в них много света, волнения и трепета жизни. В цикле этюдов, написанных в Плесе, автор воспеваает красоту тихого волжского городка с его узкими улочками, небольшими кирпичными домами, чайными и белокаменными церквями. В серии лирических полотен: «Спуск к Волге», «С кормы парохода», «Завозня», «Лодки в затоне» и других — зоркий взгляд художника подмечает спокойный трудовой ритм могучей русской реки, показывает живописное богатство ее крутых песчаных берегов, тихих затонов, широких плесов.

Шлеин обращается и к созданию тематических пейзажей, в которых добивается широкого охвата явлений действительности. Картина «Тихо» как бы завершает раздумье старого мастера о прожитых годах, о торжестве, величии



и красоте родной природы. Над зеркальной гладью реки медленно поднимаются сгущающиеся полосы тумана, погружаются в сон темные кроны прибрежного леса, вечернее небо постепенно заволакивают хмурые тучи. Опустевший мостик купальни, одинокие, привязанные к берегу лодки и сходни напоминают об оживленных днях уходящего лета. Высокий горизонт, дали полей и лесов придают полотну монументальность и величественность.

В 1932—1934 гг. по заданию Революционного Военного Совета Шлеин пишет тематические картины «Красноармейцы на отдыхе», «Физзарядка бойцов Красной Армии». Работая с натуры в летних воинских лагерях, он пишет этюды с загорелых, сильных красноармейцев, внимательно наблюдает занятия и будни воинской жизни. Новые жанровые композиции значительно отличаются от суровых дореволюционных тематических картин, написанных в сером, приглушенном колорите.

В годы Великой Отечественной войны художник принимает участие в военно-шефской работе, пишет портреты

летчика Героя Советского Союза Красноярченко, генерал-лейтенанта В. И. Филичкина, продолжает педагогическую работу. В 1945 г. Н. П. Шлеин награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». В 1946 г. ему присвоено почетное звание заслуженного деятеля искусств РСФСР.

Свыше тридцати лет Николай Павлович оставался бессменным руководителем художественной школы, преобразованной в 1944 г. в Костромское художественное училище. Здесь он был и ведущим преподавателем рисунка, живописи и композиции. Педагогическая деятельность Шлеина, которой он отдавал много сил и энергии, — славная страница в его биографии. Чуткий и требовательный наставник, умный организатор и воспитатель, он имел особый дар видения и индивидуального подхода к ученикам. Великолепный рисовальщик и живописец, Шлеин охотно передавал свои знания молодежи. Богатейший жизненный опыт, уникальное собрание произведений русского и зарубежного искусства, обширная библиотека — все это использовалось для плодотворного обучения учащихся, расширения их кругозора.

Из школы Шлеина вышли десятки квалифицированных педагогов рисования и талантливых живописцев. Достаточно хотя бы назвать такие имена, как лауреат Государственной премии Е. Г. Чемодуров, доцент Костромского пединститута М. С. Колесов, художники А. И. Рябиков, И. А. Крылов, А. И. Яблоков и другие.

В 1960 г. на базе училища был создан художественно-графический факультет Костромского пединститута имени Н. А. Некрасова. Педагоги-художники А. П. Белых, Л. П. Веричев, В. А. Кутилин продолжают лучшие реалистические традиции Шлеина в преподавании рисунка, живописи и композиции.

Костромичи чтут память художника-земляка. Имя Шлеина присвоено детской художественной школе; в доме, где он жил, будет организован мемориальный музей.

ВЯЧЕСЛАВ ШАПОШНИКОВ

КРАСНОСЕЛЬСКИЕ ЮВЕЛИРЫ

Серебряных дел ремесло, серебряных дел искусство

Верхняя Волга — начало русского Севера. Здешний край даровит и самобытен. Здесь, на севере, всегда была благодатная почва для всякого «ручного» искусства.

И по сей день это искусство живет как фольклор, ежедневно творимый умом и руками искусников да умельцев.

Стародавний край промыслов... Память веков заносит нас в самые далекие и темные дали его судьбы. И всюду там светят душе чародейские огни промыслов. То золотыми выскерками оживут эти огни на корабельном узорчатом боку братины, то отпольшнут молнией на дорогом оружии, а то и целым солнцем заплывут в твой день какой-нибудь жаром вышущей хохломской посудиною...

Еще в силах представить мы и самих чародеев, служителей меры и красоты, колдовавших над золотом, медью и сталью, над теплым обрубком липы, над гранью хрустальной... Здесь и поныне витает могучий и светлый дух дедов — «каменосечцев и древоделей», златокузнецов, столбовых скобарей, развеселых игрушечников, выдумщиков, кем создавалась и в самые беспросветные лихолетья «радость для души и для глаз утеха».

Сложен и неровен путь бытовавших здесь промыслов из глубины столетий к нашему дню. Иные не дошли, не дотекли вовсе. Обмелели, оскудели в пути на ветрах времени. Многие из дошедших претерпели немалые изменения, почти перестав быть самими собой. Но, пожалуй, больше всего перепадов и перипетий выпало на долю серебряного промысла, испокон осевшего ниже Костромы, по берегам Волжской излучины в селе Красном и его окрестностях.

Необычную судьбу имеет красносельский ювелирный промысел. Развитие его протекало по руслу запутанному, может быть, значительную часть своего пути.

Дело тут в выборе самого пути. Красносельский кустарь



*Марка Красносельской
ювелирной фабрики*

менее всего был «свободным художником». Художественное начало на протяжении добрых полутора столетий вообще не имело почвы на красносельской земле. Эти дореволюционные полтора столетия для красносельского промысла — годы последовательного разрушения художественных традиций до почти полного исчезновения их. Красносельский ювелирный промысел во второй половине XIX в. уже совсем не художник. Ремесленник. Рынок диктовал ему свои условия. И промысел спешил не отстать от них. Говорить об индивидуальной манере отдельных мастеров к этому времени уже не было возможным.

Если, к примеру, для профессионального кустика — мастера Палеха или Хохломы, Великого Устюга или Федоскина — законы художественной традиции, законы народного искусства были азбукой жизни, то для красносельского кустика эти законы были подменены со временем законами рынка, законами купли-продажи.

Кстати, законы эти пришли в Красное не случайно. Возможность такой подмены заложена была в самом характере красносельского промысла.

Промысел был, точнее — казался, доступным, «не хитрым, не мудреным» для всякого, кто имел руки.

Серебряное ремесло здесь, на бедных северных землях, было почти спасением для многих и многих, и не «второй тягой» здешней деревни, а наипервейшей. Об этом явлении пишет В. И. Ленин в своей работе «Развитие капитализма в России»: «Село Красное Костромской губернии и уезда — одно из тех промышленных сел, которые являются обыкновенно центрами нашей «народной» капиталистической мануфактуры».

«Промышленное село...» Не центр художественного промысла, а центр «народной» капиталистической мануфактуры! Вот правда о Красном конца XIX и начала XX столетия.

У промысла уже в ту пору не художественно-промысловый, а индустриальный размах. По широте распространения своих изделий красносельский серебряный промысел мог бы поспорить с любым промыслом России. Трудно было отыскать уже тогда в европейской или азиатской части страны село, деревушку, где бы женщины не носили красносельских дешевых серег-калачей, колечек-супиров. А уж о нательных крестах и образках и говорить не приходится.

Красносельский ювелирный промысел — это «работа на народ, на весь мир». В этом давняя тенденция его, его направление.

Костромские купцы Морозовы, Шпажниковы, Пушиловы, Павел Кодырев торговали красносельскими изделиями в городах Сибири. Пушиловы торговали еще в Москве, Сорокин имел торговлю в Петербурге, Чувиляевы — на Украине, Шпажниковы — сразу в нескольких городах: в Москве, Курске и Харькове.

На любой из ярмарок, где бы их ни устраивали, можно было встретить красносельские изделия: дешевые ювелирные украшения — серьги, браслеты, медальоны, броши, цепи, серебряные предметы — от солонок до подстаканников, небольшие штампованные образки, крестики-тельники. Все крупные монастыри имели связь с красносельским промыслом, давали заказы на изготовление образков с изображением местно чтимых святых для продажи в Киеве, Троице-Сергиевой лавре, в Чернигове и прочих местах. Одним словом: география распространения красносельских изделий была довольно широкой.

Правда, если забежать вперед и посмотреть, как выглядит

эта «география» сегодня, то можно увидеть, что Красное уже не всероссийский, а всемирный поставщик. Но об этом далее. А пока о том, как та великая широта вела промысел к сужению его творческих возможностей, к потере его творческого лица, к торжеству ремесленного начала над художественным.

Пассажира, плывший по Волге в самых первых годах нашего века на одном из речных пароходов санкт-петербургской компании «Надежда», при подходе к селу Красному мог прочитать в путеводителе, выпущенном этой компанией, следующее: «Село Красное (Яковлевское) славится кустарным производством мелких изделий (крестиков, колец, серег и т. д.) из серебра, золота и разных сплавов. Этот промысел развит и в других ближайших селениях, особенно в селе Сидоровском». И далее: «Дешевизна изделий из сплавов поразительная: бронзовые серьги можно купить за 2—3 копейки».

«Дешевизна...» Вот какое представление увозил на память о здешнем промысле пассажир компании «Надежда».

Ну что ж, компания смотрела в точку, как говорится. Она не лгала своему пассажиру — даже из желания сделать его водное путешествие богаче одной сказкой.

Промысел вовсе не сказками жил. Жил он нервно, тяжело и даже жестоко, хотя и небывало широко. Годовой вес изготовленных изделий доходил до двух тысяч пудов! И вес этот составляли в основном 3—5-граммовые изделия. Промысел рос вширь, но это была широта дешевизны, широта падения, а не взлета. Несмотря на кажущееся расширение, промысел вымирал. Вымирал, разрастаясь...

Не случайно Н. Н. Корбицкому, автору книги «Кустарный промысел ювелирных изделий в Костромской губернии и его развитие», изданной в 1913 г., приходит мысль: «Ему, как кустарному промыслу, при имеющихся условиях рынка и производств, все возможно, что скоро не будет места. Изменить же свою организацию он не в состоянии, так как никогда не сможет перейти в фабрику и закончить цикл своего развития». Человек, знающий о судьбе этого промысла, наверняка улыбнется, встретив такое соображение. Но ведь то — сегодня!.. Сейчас многое видится другими глазами. Тем интереснее заглянуть в судьбу красносельского промысла глубже, проследить течение ее от истоков. Нам предстоит совершить с промыслом его путь. Путь от искусства к ремеслу и от ремесла к искусству. Серебряных дел ремесло,

серебряных дел искусство — вот переменчивые берега этой реки с довольно известным в России названием — Красносельский ювелирный промысел.

Реки ищут новые берега и, обретая их, оставляют в стороне старицы. Обычно это красивые и тревожные места, где и сама неподвижность, и тишина словно бы хранят память о былом течении, о жизни, безвозвратно ушедшей и пынче почти забытой.

Но чем-то манят нас эти места... Чем-то они нас тревожат!

Может, тем, что, глядя на эти страницы, видишь вдруг, каких мук стоили реке поиски сегодняшней ее дороги.

Посетим и мы несколько таких стариц.

К истокам

О возникновении серебряного дела на Красносельщине немало живет преданий и догадок.

Однако корни промысла уходят гораздо глубже, чем представляется и самым старейшим жителям села Красное. Не на всю глубину может увидеть их и дотошный исследователь. Вещевые и документальные материалы красносельской старины сохранил для нас почти только XVIII век. Но уже то, насколько богат он именами мастеров, связанных происхождением с красносельской землей, позволяет догадываться, что все здесь гораздо глубже и стародавней.

Сама история может подтвердить эту догадку. Край этот связан с именами бояр Романовых, Годунова Бориса, графа Орлова. Села Сидоровское и Красное — дворцовые села, впоследствии пожалованные дворянам за службу. Вокруг них и ведется давний неразрешимый спор: в красносельских или сидоровских домах засветился, заиграл впервые тот первый слабый лучик серебряного ремесла, которое на века покорило здешний край — добрую сотню сел и деревень.

Те красноселы, которым ныне было бы по сто пятьдесят лет, могли рассказать, что они помнят время, когда в Красном было всего три мастера по серебряному делу, что в Красном и началось оно.

Но предания с противоположного берега Волги, с пра-

вого, где раскинулось село Сидоровское, — иные. Припомнят сидоровские жители случай, что владелец села граф Орлов отправил крестьянского мальчика Яшу Осинина в Москву для изучения ювелирного ремесла и как потом уже Осинин основал в Сидоровском ювелирную мастерскую. Вот эта, мол, мастерская и есть начало серебряного дела.

Может быть, и в этом есть доля истины.

И вот уже ловит слух иную легенду, рожденную на противоположном берегу...

От покорения Пскова и Новгорода началось все. Разгромленная новгородская вольница, бежав, селилась по берегам Волги, в лесах. Какая-то часть ее обосновалась в Дубовой гриве, остатки которой еще и ныне можно видеть под Красным. Вот с того времени и пустило корни на Красносельщине серебряное производство. Но сначала было оно медным.

Именно в ту пору в Вологде и в Великом Устюге делают золотые и серебряные вещицы с рисунками чернью другие мастера, бежавшие из Новгорода и Пскова. К сказанному добавляют досужие люди, что немало тут связано и с бывшим в этих местах иным «промыслом» — с изготовлением звонкой фальшивой монеты...

Много-много легенд и преданий позади у промысла. В любом из них — доля истины.

Но обратимся к спискам мастеров, работавших в Серебряной палате Москвы в XVII в. В последней четверти этого века в числе мастеров был золотильщик Михаил Савельев из села Красное.

В первые годы XVIII в. упоминаются имена мастеров-серебряников из Красного и Сидоровского, бравших в Оружейной палате пробы и «позволительные письма». Это Чутков Алексей — серебряного дела мастеровой, человек из села Красное, Иванов Федор — крестьянин дворцового села Красное, Исаев Андрей — из того же села посадский человек... Упоминаются там Конопляничкин Федор, Ханькин Федор, Сысоев Мирон, Бабушкин Осип, Васильев Степан...

Это далеко не полный перечень имен. Но и он дает основание думать, что задолго до упомянутых здесь лет серебряное производство существовало и в селе Красном, и в селе Сидоровском.

А некоторые обстоятельства свидетельствуют, что производство первоначально было более интересным и несло на себе печать индивидуальности и самобытности мастера.

Правда, виды техники, применявшиеся здешними серебряниками, несколько однообразны: преимущественно резьба и чеканка. Обычные сегодня для красносельского ювелирного промысла скань и эмаль на изделиях той поры не встречаются...

Страна игрушечных фабрик

Всякому издавна населенному месту, будь то село или городишко самый захудалый, присуще нечто свое, сокровенное, что определимо разве таким вот понятием, как дух. Понятие вроде бы и не ахти какое отчетливое, но более точного, пожалуй, не подобрать.

Там русский дух,
Там Русью пахнет...

Вот так и в любом местечке российском «Русью пахнет», и всегда несколько по-своему, на своей лад, особенно. Если хотите, это воздух духовной жизни такого-то края. И веяния его дают уже о себе знать, едва прожито вами в новом, еще не разгаданном месте дня два-три. Это каждому знакомо, кто повидал землю, походил по ней.

Такой-то городок лег на душу легко, празднично, в ином месте душе было беспокойно, настороженно даже, и унесла она в себе это чувство-впечатление об увиденном. Так вот подышалось тем особенным воздухом духовной жизни посещенного вами места.

Красное... Уже в самом имени его есть то, что в чутком к русскому слову человеке будит доброе любопытство: поскорее узнать, чем красно оно, что за воздух там и не пахнет ли он сказочным...

Едва ли не с открытием навигации в Красное со стороны Волги — паломничество. Но пройтись по Красному, посетить даже его знаменитую ювелирную фабрику — еще полдела. Тем более что все это случается и спешно, и едва ли не в строю организованных экскурсантов.

В Красном надо пожить. Остановиться, прислушаться, приглядеться. Белокаменные, бывшие «купецкие» да «пра-

соловские» дома, и тут и там разрушающие линии деревянных улочек... Загадочно над всем этим блеснет опрокинутый золоченый полумесяц-поперечина на кресте, вознесенном высоко в небо древним храмом Богоявления, построенным еще при Борисе Годунове.

Дух Красного не прост. Веяния глубокой старины в соседстве со всем тем, чем отмечено каждое приволжское селение — широтой, вернее, размашистостью... И все-таки над всем этим есть еще нечто...

Вглядевшись сегодня в его дома, не скажешь, что они не просто дома. Обыкновенные, каких по России многие тысячи. И все-таки необыкновенны они. Многие из них полстолетия тому назад были почти что фабриками со своим производственным циклом. Это была целая страна карликовых, игрушечных фабрик, на которых рабочие — вся семья. «Фабрики» эти были специализированы. Развиваясь, серебряное производство создало множество необычных промыслов: промысел ковалей, занятых исключительно одной ковкой серебра, промысел резчиков по стали, резчиков по серебру, полировщиков (воронильщиков по-местному), крепачей, занимающихся вставкой камней, и угольный промысел. Это о подсобных промыслах. А сколько их основных было внутри серебряного промысла!

В одном доме семья вырабатывала кресты эмалированные, в другом — эмалированные образки, в третьем — браслеты, там — броши, там — брелоки, в другом месте — кольца гладкие, обручальные, рядом — тоже кольца, но с украшениями, с камешками — «супиры». Делали посудный товар, цепи всевозможные: панцирные, крестовые... Особенно высоко поднялся в начале нашего столетия посудный товар. Он легко конкурировал с московским фабричным товаром.

И тем не менее видимая широта ответвлений от промысла не представляется нормальной. По сути своей промысел питался не от художественной почвы.

Условия работы здесь были весьма тяжелыми. Во второй половине прошлого века оборудование надомных мастерских было крайне примитивным. Паяльную лампу заменял разбитый чайник, трубка паяльная — самодельная, многие принадлежности для обработки изделий грубы, несовершенны.

Из-за столь примитивного оборудования мастерских, из-за тяжелого материального положения кустарь-серебряник, в силу необходимости, слишком узко специализировал свое ремесло. Если он делал кольца, то уж не брал никаких других заказов, так как не имел иных инструментов и приспособлений, кроме тех, какие использовал на выработке колец. Да он и не умел делать иного. Специализация душила промысел, расчленила его по мелочам. Надо помнить, что речь идет о надомном производстве, о производстве замкнутом в самом себе без всякого отношения к другим соседним производствам.

Но зайдем в дома, бывшие когда-то карликовыми фабриками.

Вот дом Сергея Александровича Грустливого. Он один из тех, кого считают в Красном основателем династии ювелиров. Сыновья его — ювелиры, внуки — также склонны к дедовской профессии. Сергей Александрович в красносельской старине несколько на особом месте. Старики хорошо говорят. Интересно.

Сергей Александрович Грустливый... Седенький согбенный старичок. Смотрит живо, но глаза за голубым дымком, словно осел на них весь чад, дым и пары ядовитые, которыми столько дышал он, многие годы служа красносельскому промыслу его первейшим «золотарем да серебрилой». Такие глаза, наверное, у добрых волшебников, у чародеев-кудесников должны быть...

«Прежние» люди на слово пощеднее, без скупости. Много историй о селе Красном было рассказано мне Сергеем Александровичем. Не один зимний вечер провели мы с ним в долгих разговорах о том, как было, что было и кем был сам он... Грустливый. Даже в фамилии его слышишь словно бы отклик на что-то невеселое и старое-престарое. Но по натуре своей Сергей Александрович, мало сказать, общительный. Он еще и ногой притоцнет при веселом случае, и усы подкрутит, и песню свою излюбленную споет:

Скажи-ка, дядя,
Ведь не даром...

«Золотить я начал с 11 лет. Товар вызолотишь хорошо, да два товара испортишь. Однако толк вышел. Учился потом в техническом профессиональном училище. Повезло мне, можно сказать. Стоял у нас на квартире настоящий галь-

ваник, и я пошел после училища к нему в ученики. Егор Никитыч Суворов.

Подучился я у него. Вот он мне как-то и говорит: «Купи теперь, Сережа, элемент Бунзена — батареей. Я тебя научу, как с ним работать. Это что-то году в 1908 было. Поехал я в Ярославль за этим элементом. Сродник там у нас торговал. Приехал я к нему, говорю: «Дядя Николаша, вот мне что надо бы...» Он мне: «Со мной рядом есть магазин аптекарский. Пойдем». Пошли. Действительно, нашли там элементы Бунзена. Я взял два аппарата. Возвратился в Красное. Вот так и стал золотить уже по-грамотному. Все пошло по химии. Сам зарядку батареей делал. Пошла работа. В ванну за один раз десять пар «калачей» на «мединке» — на проволоке медной — опускаешь или колодец «обручалки» штук двадцать пять. И только успеваешь опустить да вынимать. Одну «мединку» опустил в ванну — другую вынимаешь оттуда.

Отец у меня тоже золотарем да серебрилой был. Только золотил он попросту. В чугушке. Но от него я впервые все перенял. Учил он меня, как материалы варить, «кровяную соль», скажем, или «желтую каль». Ведь как было. Таили друг от дружки, что удавалось узнать новое. Вот матери моей двоюродный брат ездил в Москву со своим товаром и привез что-то похожее на сахар. Но названия так и не сказал, умирал, но не сказал. Тогда это вещество чудом казалось: немного в ванну положил — золоти хоть неделю. Потом я сам уж узнал, что это куприйкалийцена-тум!

Но коренные золотари пошли вот в Красном, и вообще в здешних местах, от Егора Никитовича Суворова: Павел Еферьевич Жаров, Алексей Васильевич Смирнов, Афанасий Иванович Чулков и вот я. Человек семь всего. Работы всем хватало.

А в 18-м году организовали в Красном ювелирную артель. Это в том доме, где теперь поселковая почта. По 21-й год до призыва в армию я в артели состоял — золотил, конечное дело. А пока служил, артель эта распалась. Приятель аппарат мой после того жене моей принес. «На, — говорит, — Лизавета Александровна, а то пропадет...» Ну, когда вернулся я домой, снова золотить начал на дому. Жена без меня на дому же «калачи» готовила. А тут она стала моей помощницей. Сам я работал утро, пока жена по хозяйству управляется. Я отдыхать — она на мое место садится. Золотит. А уж маленькие детушки помогали —

на «мединки» нанизывали изделия, готовили к золочению...

В 28-м году я опять начал работать в артели. Звание мне стало: мастер по золочению и серебрению. А попросту — золотарь да серебрило. Работал я по золотке в Сопыреве, в Веселове, в Густомесове, в Сидоровском. Учил, готовил других мастеров в каждом новом месте. Вроде Кирилла и Мефодия в одном лице был по золотой-то части, доносил ремесло это до народа».

Прасолы

Еще при малом развитии промысла, при крепостном праве, ходили по Красному торговцы, стучали по окнам: «Хозяин! Нет ли серег-колец, крестов-образков?!»

В середине прошлого века картины такой не наблюдалось — роли поменялись. Теперь мастер шел под окна к торговцу с теми же почти словами, заменяя в них разве что «нет ли?» робким «не надо ли?».

Торговец быстро понял выгодность своего положения, начал притеснять рабочего человека. Выражалось это чаще всего в уменьшении платы за работу мастеров. Более «темным» становится способ расчета. Деньгами выдается мастеру лишь малая часть причитающегося, остальное же торговец (прасол по-красносельскому) предлагает мастеру получить продуктами, ставя за них удвоенную против обычного цену. На руку торговцу было отсутствие правильной организации торговли и кредита под залог изделий кустарей. Часть кустарей «работала» свои изделия из получаемого от прасолов по весу серебра. По весу же сдавались и готовые изделия.

Другие мастера, «работая» из своего материала, не имели возможности сбывать самостоятельно свои изделия на рынок и вынуждены были продавать их тем же прасолам за ту же самую плату, исключая стоимость материала. Только самая небольшая часть мастеров-кустарей сбывала изделия свои прямо на рынок. Невысокая оплата труда кустарей продолжала понижаться. Мастера в погоне за более или менее подходящим заработком вынуждены были удлинять ежедневное время работы, уже не заботясь об изяществе и качестве изделий.

Если ранее мастер, работавший изящнее прочих, мог рассчитывать на более высокую оплату за свой труд, то позднее получал больше тот, кто работал быстрее.

Получалось по пословице: беда беду родит. Быстрота, вынужденная быстрота в работе, приводившая к ухудшению вида изделий и их прочности, была причиной нового понижения цен. Получался порочный круг, из которого выхода не было.

В то же время при обнищании кустарей дела прасолов шли в гору.

До 1895 г. в летнее время кустари по вечерам не работали. С наступлением осени начиналась работа при огне. И первое сентября почиталось в Красном за праздник. С этого дня работать начинали усидчивее, что означало и работу по ночам. Праздник этот так и называется по-местному — «засидки».

Погоня за неуловимым заработком сделала жизнь кустаря беднее на один праздник. Хозяином положения в промысле стал рубль, а не искусство, прасол, а не мастер.

Прасолы... Промысел был для них истинно золотым дном. На отблески, отсветы этого дна слетались и торговцы-пришельцы из Питера, Москвы, Киева... Всем мерещилась здесь пожива, но не искусство.

Сергей Александрович Грустливый немало рассказал мне о них. У Сергея Александровича дар изображать их «в лицах».

Вот он начинает рассказывать про дедушку Афанасия, как звали в Красном прасола Афанасия Павловича Саксонова...

Лицо становится прехитрым, глаза незнакомо забегают. Таким, наверное, и был этот «дедушка Афанасий»... И Сергей Александрович поясняет: «Он не выговаривал «д». Все у него получалось через «т».

Имел он пивную в центре села, чайную. В пивной он и умер за стойкой, хотя сам трезвенник был...

Плешивый, с бородой, роста небольшого, но плотный. Он ничем не брезговал. Заартачится иной прасол, не берет товар. Что делать мастеру? Иду к дедушке Афанасию! Он возьмет. Правда, так возьмет — не обрадуешься. Зато расчет у него скорый: тут же и получишь денежки. Знал, как себя с мастерами держать: шуточкой-прибауточкой окрутит.

Придет мастер: «Афанасий Павлыч, возьми товар!» — «Если никто не возьмет — приходи ко мне. Я возьму!» — «Так уж я у всех был, Афанасий Павлыч! Не берут...» Помолчит дедушка Афанасий. Вроде бы и в раздумье. Равноду-у-ш-енько спросит: «А сколько ты за это просишь, что люди не берут?..» — «Да два рубля за фунт! Кольца у меня...» — «Полтора рубля получай и расчет сейчас дам!»

Делать нечего — надо отдавать. А то семья дома ждет. Возьмет дедушка Афанасий товар, а летом с открытием навигации он продает этот товар по хорошей цене другим заезжим торговцам. Сам дедушка Афанасий никуда не ездил из Красного. Товар он перепродавал тут же, на дому.

Многих прасолов помнит Грустный. И почти к каждому из них нечто вроде притчи. И смешно и горько.

«Да... Прасола... — в раздумье произносит он. — Вот отец у меня работал в Петербурге. Как сейчас помню и адрес, по какому он отправлял изделия свои туда: «Горохова, 49. Абраму Яковлевичу Почталец». И сам Почталец ездил к нам в Красное трижды в году. Худощавый, низенький. Интеллигентного вида. Ему отец до смерти работал. Гурману Борису Ильичу в Москву он также работал. Братья Лазоровские ко мне ездили. Брели цепи вчерне и золотили их в Киеве сами — так куда им было выгодней...»

И снова смешок, в усах лишь припрятанный, промелькнет под струенье слов:

«А то еще от Москвы Арон Барахович приезжал через каждые два-три месяца. Паралитик, почитай, видел плохо, а вот разглядел, где пожить можно. Вон откуда приезжал!»

Рассказам таким нет конца. И, воспроизводя здесь услышанное мной от старейших жителей села Красного, я забочусь об одном — дать почувствовать читателю здешний необычный воздух, увидеть Красное как бы из глубины.

В поисках выхода

Нельзя сказать, что Красное не искало путей к изменению сложившегося порядка. Промысел, разросшись до грандиозного, продолжал в то же время все дальше разрушаться, нивелироваться как художник.

Свое, здешнее, особенное лицо промысла было, как существовала и почва для появления целого ряда отменных мастеров-серебряников. Правда, изделия их были и грубоваты, и архаичны. Не лишены они и стилистических колебаний, и более того — смешения всевозможных стилей. Строгий, унаследованный от давних времен орнамент в соседстве с легкими завитками рококо характерен для изделий той лучшей поры. Речь идет о XVIII в. Но при этом в грубоватой, но искренней наивности работ того времени была та особая привлекательность, которая лишь и присуща истинно народному творчеству. Речь идет именно о народном творчестве, о промысле, живущем в гуще народа.

В разное время мастера Красного, чувствуя, что необходимо каким-то образом выбраться из создавшегося тупика узкой специализации, посылали детей своих для обучения в столичные мастерские. Но не всегда удавалось довести до конца. Посланный вскоре возвращался, так как семья не могла содержать его.

В конце прошлого столетия, в 1897 г., по инициативе костромского уездного земства в селе Красном был открыт класс технического рисования. Сюда принимались дети, достигшие одиннадцатилетнего возраста, — и мальчики, и девочки. В классе преподавали рисование, лепку, черчение, проводились практические занятия по золото-серебряному делу, гравировке, учили чеканному, сканному, эмальерному, посудному и ювелирному делу. Более того, класс рисования принимал заказы на изготовление золотых и серебряных изделий. Обучалось в классе до семнадцати человек.

Цель устройства класса заключалась в развитии художественного вкуса среди кустарей. Но деятельность класса при его скромных средствах для такого большого промысла, как красносельский, в котором работало в то время до 6000 человек, не могла, разумеется, оказать определенного влияния на развитие промысла.

После нескольких лет существования этой школы возникает мысль о преобразовании ее в художественную ремесленную мастерскую. Кстати сказать, мысль эту поддержало и местное население, хотя при зарождении класса оно недоверчиво отнеслось к новинке. Кустари довольно охотно вносят небольшой процент от продажи выработанных ими вещей на постройку здания будущей Художественной ремесленной учебной мастерской.

Занятия в новом здании начались 1 марта 1904 г.

Учащимися ее стали 46 бывших учеников класса технического рисования. Был утвержден устав, где говорилось о назначении мастерской: «Сообщать обучающимся художественные познания и технические приемы, необходимые для мастера по золото-серебряному делу»...

А в 1913 г. в селе Красном открывается образцовая мастерская. За год до ее открытия бывшие выпускники художественной мастерской при содействии заведующего В. М. Анастасьева организуются в художественно-ремесленную артель. Как видите, слово «художественное» начинает завоевывать себе место в промысле.

Устройство артели дает возможность окончившим учебную мастерскую работать в том направлении, которое они получили. Артель убедительно доказала значение художественно-ремесленного образования для промысла. Она за малое время существования участвовала на многих выставках, изделия ее пользовались успехом и находили сбыт. Продажа изделий производилась и на волжских пароходах, курсировавших между Ярославлем и Нижним Новгородом. Мастерская, таким образом, постепенно расширяла границы своего влияния. Но перед ней стояла главная задача.

Для дальнейшего развития промысла, которое наметилось с возникновением мастерской, было необходимо не только способствовать развитию вкуса и технических навыков, но и придать изделиям национальное своеобразие. В них должны были сказаться, очевидно, местные особенности: природы, быта, нравов. Ведь в любом кустарном промысле именно это наиболее ценно. Промыслу предстояло обрести лицо — собственное, живое, народное.

Понятно, что быстрой эволюции не могло произойти. На молодых мастеров, как и на весь процесс художественного воспитания, влияли многие побочные течения той поры. Просматривая каталоги изделий, выработанных учебной мастерской, видишь, что при большом разнообразии изделий почти все они вычурной, усложненной формы, орнаментовка их далека от народного орнамента. Чаще всего она напоминает виньетки и заставки журнала «Нива». Небольшие вещицы дамского туалета до чрезмерности усложнены: сплетения рыб, ветвей, птиц, да и конструктивно вещи довольно несуразны. Но в каждой вещи — поиск, желание сделать ее художественной.

Разумеется, есть среди них и удачи. Но очень много



случайного, наносного. Однако промысел явно вступил в пору поисков и находок.

Дальнейший путь промысла — артельный и лишь в наши дни, с начала 60-х годов, — фабричный. Ощутимые изменения для фабрики принесли именно 60-е годы — время истинного и широкого пробуждения интереса к народному искусству.

Буквально за несколько лет фабрика преобразилась: расширилась, улучшилось ее оборудование и главное — сюда пришел настоящий художественный поиск. Интерес к художественным и народным промыслам, к декоративному и прикладному искусству в наше время необыкновенно возрос,

особенно в последние годы. В дни мира всегда начинали процветать на земле так называемые искусства малых форм, искусства наиболее приближенные к быту, к повседневности, как бы призванные приносить в будни настроение и яркость праздника.

Мастер

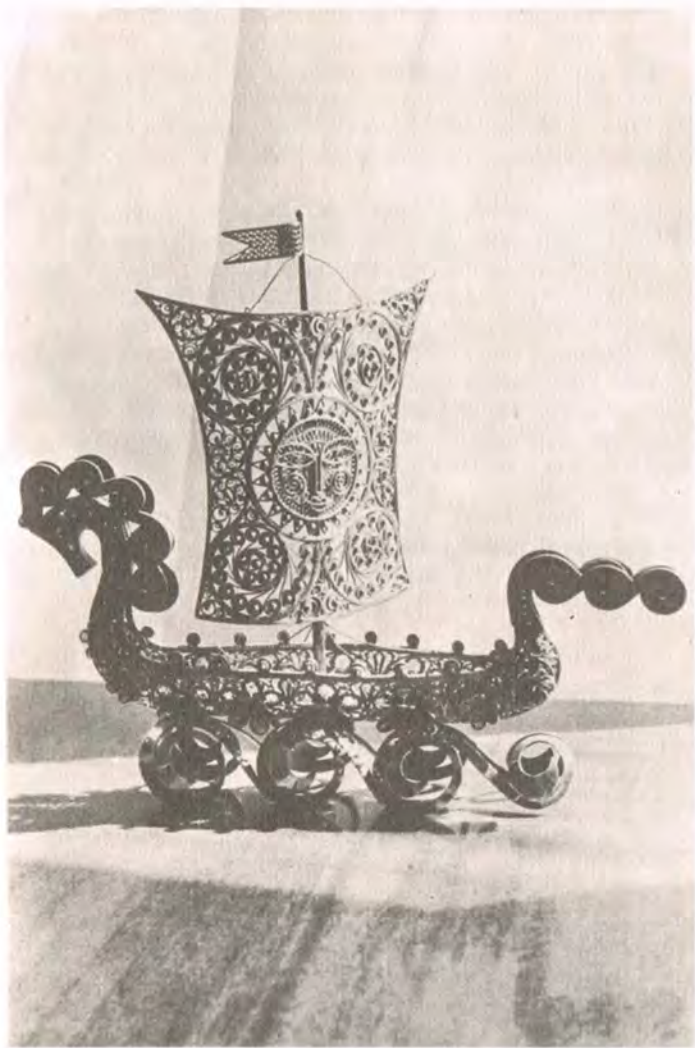
Ведущие художники Красносельской ювелирной фабрики — Петр Чулков, Сергей Кавалеров, Леонид Игошин, Рафаил Медведев... Всего их — около десяти человек. Все они — выпускники Красносельского училища художественной обработки металлов (училище буквально соседствует с фабрикой). О каждом из них, как о художнике, много можно бы рассказать. Расскажу об одном — о Петре Ивановиче Чулкове.

Петр Чулков — художник-ювелир широкого диапазона. Техника скани, филиграни — его излюбленная техника. Художник понимает, какое богатство в его руках. Скань в Красное пришла не так уж и давно — при возникновении артели. И, пожалуй, можно сказать, что в Красном именно Петр Чулков первым достиг современного «звучания» этой сложной и богатой ювелирной техники, он первым показал ее широкие современные декоративные возможности.

С чем сравнима скань?.. С зимним, расписанным морозом окном?.. Пожалуй... Но в морозном узоре холод блещет, стужа колючими огоньками переплескивается, сумрак сугробный таится... Скань же теплом дышит. Она в огне и рождается. Скорее всего сравнима она с затейливой плавной речью наших северных говорунов, мастеров вымысла да присказки. Ведь только кажется немой «серебряная речь» узоров. Приглядеться надо, прислушаться! «Язык» у скани — богатейший! Скань — чудо серебряное! С вологодским кружевом еще в родстве она. Как и там, на Вологодчине, где рождается это кружево, красносельская скань — дело женских рук в основном. Там — плетет, тут — сканщица, там из-под руки плетей вытекают «жемчужки», «речки», «елочки», «путаницы», «морозы», «воронья лапка», тут плетется, вьется пинцетами-корцанками кружево из медной и серебряной проволоки. Но и здесь, и там выпеваются руками мастериц сказ о северных петлистых речушках, о спящих зимних лесах, о не тающих морозных узорах...



В Красном мастерице-сканщице предшествует художник. Как уже сказано, Петр Чулков — один из этих художников, он необыкновенно изобретателен, поиски его всегда оригинальны и интересны. Хочется вспомнить слова Гоголя: «Сколько других еще образов нами вовсе не тронуты. Сколько прямая линия может ломаться и изменять направление, сколько кривая выгибаться, сколько новых можно ввести украшений...» Если бы к судьбе такого человека, как Петр Чулков, полагался, скажем, эпитафия, как к иному произведению литературы, то вот он, кажется, и найден! Великий писатель, так глубоко чувствовавший сказочное, народное, знал цену всему украшающему жизнь, вносящему в нее



музыку и воздух сказки! И хотя слова, приведенные мной, написаны по другому поводу, и давным-давно написаны, они кажутся мне словно сказанными в разговоре именно с таким мастером, поскольку сама его жизнь, кажется, пронизана и наполнена мотивом: «Сколько других еще обра-

зов нами вовсе не тронута!..» Вся она — стремление к новым и новым образам, бесконечное, непрекращаемое служение красоте. Потому и останавливаешься в удивлении, глядя на его затейливые творения: как много успел сделать этот человек!.. Тут и ювелирные вещицы, и сувениры, и настенные декоративные панно, и посуда... Всего и не перечислить!

Нельзя без улыбки вспомнить, как когда-то Андрей Федорович Чулков, житель села Красного, послал на выставку в Нижний Новгород свои изделия: кресты, броши, колечки, как потом послал он все это на другую выставку — в Париж, «позолотив»... тухлым яйцом...

И вот его внук — участник многих художественных выставок: и зональных, и республиканских, и всесоюзных — первым из красносельских ювелиров был принят в члены Союза художников РСФСР, он мастер, тонко и точно понимающий суть своего искусства.

Когда есть такие художники, как Петр Чулков, нет сомнений, что нынешнее Красное уже нашло, определило свой путь, что ремесло ушло из него и утвердилось искусство.

Как-то я заглянул в мастерскую-мансарду моих давних знакомых — костромских художников Николая и Татьяны Шуваловых. Татьяна как раз заканчивала работу над довольно большим холстом. Это был портрет Петра Чулкова с его сынишкой. Татьяна написала их в привычной домашней обстановке, в окружении знакомых им вещей, среди которых немало филигранных, сканных изделий самого Петра Чулкова.

Бросился в глаза крылатый конь из золоченой скани словно бы воспаривший над левой частью холста. Он весел светился и сверкал, а отец с сыном за столом перед несколькими новыми изделиями были озарены тем золотым светом светом чуда, красоты, волшебства. Отец — сосредоточенно спокойный, сын — с лукавой, озорной улыбкой детства на губах и в глазах.

Художница хорошо поняла, почувствовала и передала на холсте главную черту Петра Чулкова — постоянную сосредоточенность. Я увидел перед собой зрелого мастера движимого творческим горением, увлеченного поиском новых форм, новых образов. Да, портрет совпадал с моим пред

ставлением о Петре Чулкове: построивший себя, как человек и художник, он смог стать вровень с высшей сутью своей редчайшей профессии, он соответствует ей умом, сердцем, культурой. Глядя на тот портрет, я невольно вспомнил прекрасные слова кавказских златокузнецов: «Когда мастер думает о работе, цветы просят его: возьми нас на серебро».

Сынишка Петра Чулкова сидел впереди отца и глядел на меня своими живыми, лукавыми глазами. За ним увиделся мне вдруг долгий, не прямой и нелегкий путь, начатый невесть когда его дедами-прадедами, путь, пройденный всем красносельским промыслом от ремесла к искусству... И припомнились мне еще слова, тоже на Кавказе рожденные: «Мои предки толкают меня в будущее...» Строка грузинского поэта Симона Чиковани... Живым, усмешливым, умным взглядом на меня словно бы смотрел сам завтрашний день Красного...

ВАСИЛИЙ БОЧАРНИКОВ

НАЗВАНЬЯ

Что скрывается за названием
Из глубин веков — отгадай!
Вот понятное всем — Сусанино
И загадочное — Судай.

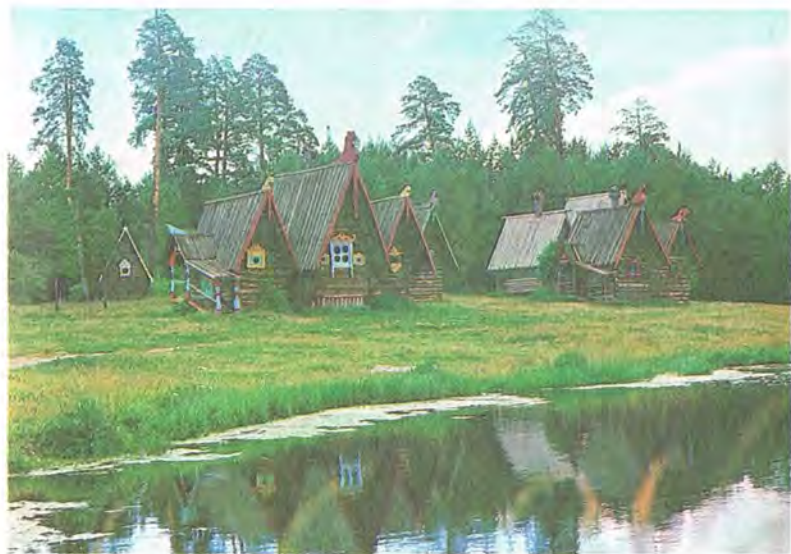
То ль угрозою, то ли ласкою
Отзывается нам — Кадый.
Это русское иль татарское,
Что принес с собой хан Батый?

Докопаться бы до той истины,
Чтоб веков прояснилась тьма.
— Галич! — слышу в нем клич воинственный,
И ласкает слух — Кострома.

Как дошли они в век наш атомный?
Ни огонь не взял, ни года!
Иль ключи тех слов крепко спрятаны?
Иль утрачены навсегда?..

НЕЛИДОВО

Всюду тени синие раскиданы,
Воздух солнцем и травой пропах.
На холме стоит мое Нелидово —
Деревенька на семи ветрах.



*«Бережовка» —
фольклорная деревня*

Все равно когда — зимою, летом ли —
Для меня туда тропа одна.
Зорями, веселыми рассветами
И лесами ты окружена.

Я по сизой струйке дыма издали
Узнаю, кто первый топит печь.
Не красна ты рублеными избами,
Но достойна, чтоб тебя беречь.

И любить. И сердцем беспокоиться.
И носить в разлуке тихо грусть.
Гляну зорче — в днях твоих откроется
Светлая и трепетная Русь.

ВИКТОР БОЧКОВ

И ДЕРЕВЯННАЯ И КАМЕННАЯ...

В ленинградской школе первых послевоенных лет литературу нам преподавал сильно окаяющий учитель. Контуженный и нервный, он раздражался по всякому поводу, и тогда, предупреждая его мучительную вспышку, кто-нибудь из класса изрекал: «Славен город Кострома». Учитель при напоминании о родине светлел лицом и потихоньку успокаивался. Потом я с удивлением прочел те слова, которые и сам произносил не раз, в поэме Н. А. Некрасова «Коробейники»:

Хороша наша губерния,
Славен город Кострома.

Еще позднее я увидел дом, в котором останавливался, приезжая в Кострому, поэт, — внушительное здание дворцового типа, выстроенное около 1821 г. участником Отечественной войны генералом С. С. Борщовым. Сюда, но уже в гостиницу «Лондон», в 1858 г. впервые пришел с базара к Некрасову костромской охотник Гаврила Яковлевич Захаров, которому и посвящена поэма «Коробейники». Из окон своего номера поэт мог наблюдать описанную в другой поэме, «Кому на Руси жить хорошо», картину:

Стоит из меди кованный...
Мужик на площади...
— «Чей памятник?» — «Сусанина».

Сусанинская площадь (ныне площадь Революции) по праву считается одной из красивейших в нашей стране. Сотворенная в первой четверти XIX в. последовательными

усилиями нескольких талантливых зодчих, она отличается стилевым единством. Площадь просторна, зданий на ней немного. Зато какие! Особняк Борцова, здание присутственных мест, два жилых дома начала прошлого века, Мучные и Красные ряды собраны в превосходный ансамбль. Гауптвахта и каланча воздвигнуты одновременно и бок о бок ярко одаренным костромским архитектором Петром Ивановичем Фурсовым (1798—конец 1840-х годов). Гауптвахта, здание скромных размеров, поражает своей величавой простотой и уравновешенностью, а сочетание шести дорических колонн и глубокой ниши-экседры помогло достичь светотеневых эффектов. Пожарная же 35-метровая каланча задумана Фурсовым в виде античного храма с портиком и фронтоном, над которым вздымается сужающийся кверху дозорный столб.

В Костроме уцелели — многие ли крупные города могут похвалиться тем же? — целые кварталы домов, сооруженных в определенное, точно узнаваемое время. Дворянские двухэтажные здания конца XVIII в., занявшие почти всю улицу Чайковского. Купеческие особняки с антресолями и мезонинами первой половины прошлого века на улицах Островского или Лесной (чего стоит один немалый даже нелепый на вид, но уютный, с «подъемным жильем и мизинетом» дом помещика Н. П. Акатова 1820 г. — готовая декорация к пьесам А. Н. Островского).

Кострома — город старинный, там издавна ценили кирпич и умели из него строить. Была целая Кирпичная слобода, жители которой специально вызывались для постройки соборов в Московском Кремле. Да и на родине они оставили после себя образцы высокого искусства — тот же храм Воскресения на Дебре, выдающийся памятник русского зодчества середины XVII в., украшенный белокаменными резными клеймами с изображением сказочных зверей и птиц.

И тем не менее, помимо Костромы «каменной», есть еще одна Кострома — «деревянная», напоминающая нам о дремучих заволжских лесах, о крепких дубовых стенах здешнего кремля, сгоревшего в конце XVII в., о бревенчатых церквушках и узорчатых теремах. Теперь ее все сложнее обнаружить: она отступает в боковые улочки, внутрь дворов. И трудно, проходя мимо современных девятиэтажных зданий по Овражной (б. Дворянской) улице, представить себе, что всего лет десять — пятнадцать назад она была сплошь застроена деревянными домиками, хозяева которых запирали

Карта области





Районы:

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 11 — Антроповский. | 23 — Нерехтский. |
| 9 — Буйский. | 8 — Октябрьский. |
| 7 — Вохомский. | 20 — Островский. |
| 10 — Галичский. | 6 — Павинский. |
| 21 — Кадыйский. | 12 — Парфеньевский. |
| 3 — Кологривский. | 16 — Поназыревский. |
| 17 — Костромской. | 5 — Пыщугский. |
| 24 — Красносельский. | 1 — Солигаличский. |
| 22 — Макарьевский. | 19 — Судиславский. |
| 14 — Мантуровский. | 18 — Сусанинский. |
| 4 — Межевский. | 2 — Чухломский. |
| 13 — Нейский. | 15 — Шарьинский. |

на ночь ставни, что когда-то ее особнячками с колоннами восторгался А. Н. Островский, а художницу Е. Д. Поленову она подвигла на создание в 1888 г. картины «Улица в Костроме». Но рядом с Овражной, вблизи от центра города, пролегает улица Лермонтова, деревянная первоначальная застройка которой сохранилась пока в полной неприкосновенности. Редко кто из авторов путеводителей по Костроме не охарактеризует архитектурные достоинства стоящего на ней дома № 14, сооруженного княгиней Шаховской в 1850 г., особо выделив лепной фриз под крышей.

Большинство же деревянных домов в Костроме построено простыми жителями. И, право, по мастерству они ничуть не уступают княжеским!

У деревянной Костромы есть одна особенность — она очень тесно связана с историей города. Так, нельзя не заметить у многих домов башенок, шпилей и т. п., казалось бы, чуждых традициям северорусского зодчества. «Одних витых барочных колонн в Костромском крае так много, как нигде», — удивлялся один из исследователей. В чем дело? В 1560-х годах Иван Грозный переселил в Кострому сотни семей немецких ремесленников из завоеванной им Ливонии. От них, предполагает видный искусствовед профессор А. И. Некрасов, и пошла в Костроме готико-барочная архитектура и орнаментика.

Или обилие специальных надстроек-светелок над деревянными зданиями. На то тоже есть причина — владельцы заведенных с середины XVIII в. в Костроме полотняных мануфактур считали невыгодным содержать собственные «ткацкие», а раздавали пряжу жителям. А для работы на домашних станах требовались светлые помещения. Конечно, костромичи дома давно не ткут, но по традиции продолжают строить светелки, используя их теперь, например, как «детские».

И деревянная и каменная Кострома сложились исторически и призваны дополнять и обогащать друг друга. Уникальные памятники архитектуры XVI—XIX вв., рассыпанные в изобилии буквально на всей территории города, наделяют его «лица необщим выраженьем» и превращают, по словам старых исследователей, в «провинциальные Афины».

Однако быстротекущее время бесцеремонно и властно несет свои перемены. Тут и там возникают современные здания, растут солидные и светлые корпуса предприятий,

начисто меняют лицо бывшие полудеревенские окраины, рождаются целые кварталы и улицы новостроек. Но удивительное дело: неповторимый и прекрасный облик древнего города как будто остается неизменным. И тот, кто видел его хоть раз, стремится увидеть снова. Живут традиции.

Узнав Кострому, трудно не полюбить ее и еще труднее забыть!

СОДЕРЖАНИЕ

Ю. Н. Баладин ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ	3
ОТ ВСЕЙ ДУШИ. <i>Поэтическое слово о костромской земле и костромичах. Н. Тряпкин, Н. Соколов, М. Комиссарова, В. Боков, С. Марков</i>	9

ИСТОКИ

ПАВЕЛ СВИНЬИН. Земля Сусанина	20
КОНДРАТИЙ РЫЛЕЕВ. Иван Сусанин	33
НИКОЛАЙ ЛЕСКОВ. Однодум	35
АЛЕКСЕЙ ПИСЕМСКИЙ. Очерки из крестьянского быта	66
НИКОЛАЙ НЕКРАСОВ. Коробейники	92
ВЛАДИМИР КОРОЛЕНКО. Из «Записной книжки 1879»	102

НА ПЕРЕЛОМЕ

ВСЕВОЛОД ИВАНОВ. На Нижней Девре	125
--	-----

В БОЮ И ТРУДЕ

ЕВГЕНИЙ ГОЛУБЕВ. Впереди огни	156
ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ. О советских чудесах в костромских лесах	167
АЛЕКСЕЙ КОЛОСОВ. Творчество	174

СЕРГЕЙ ПОДЕЛКОВ. Ночной бой	186
ВИКТОР МАРКОВ. Герои	201
ЮРИЙ БОРОДКИН. Кологривский волок	204
ВАСИЛИЙ ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ. Два друга	218
АЛЕКСАНДР ЖАРОВ. Кострома	220
ЮРИЙ ГРИБОВ. Крестьянский талант	222
ЕВГЕНИЙ СТАРШИНОВ. В Самети	234
ВЛАДИМИР КОРНИЛОВ. И земля отозвалась...	235
ВАСИЛИЙ БОЧАРНИКОВ. Ода русскому льну	255
ИНЕССА БУРКОВА. Людям навстречу	264
ВИКТОР ПОЛТОРАЦКИЙ. Говорит Кострома	273
КОНСТАНТИН АБАТУРОВ. Человек в лесу	275
АЛЕКСАНДР ЧАСОВНИКОВ. Плоты плывут	290
ВИКТОР ХОХЛОВ. Три встречи	294
РИЧАРД БЛЯНК. Высокое напряжение	317
АРКАДИЙ ПРЖИАЛКОВСКИЙ. Нет ничего дороже хлеба	328
Из книги стихов Татьяны Иноземцевой	333

РОДНЫЕ ПЕНАТЫ

ВАСИЛИЙ ОСОКИН. Онисимыч	346
АЛЕКСЕЙ МИРОНОВ. Там, где родилась Снегурочка	355
ВАСИЛИЙ КАСТОРСКИЙ. Шаевский ссыльный	367
ЮРИЙ ЛЕБЕДЕВ. Нива, моя нива...	377

МИХАИЛ БАЗАНКОВ. На родине Ивана Касаткина	386
СЕРГЕЙ ПЛЕХАНОВ. Охотник за словом	397

ВЕЧНО ПРЕКРАСНОЕ

ЮРИЙ ТЮРИН. Мастер из Солигалича	406
ЮРИЙ САМАРИН. Лель	421
ВИКТОР БОЧКОВ. Заветный «Терем»	429
АЛЕКСАНДР БУЗИН. Шлеин и его ученики	437
ВЯЧЕСЛАВ ШАПОШНИКОВ. Красносельские ювелиры	447
ВАСИЛИЙ БОЧАРНИКОВ. Названья, Нелидово	468
ВИКТОР БОЧКОВ. И деревянная и каменная...	470

КОСТРОМСКАЯ БЫЛЬ

Составитель

ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ ХОХЛОВ

Фотографии

В. КРЮКОВА

Рецензенты

Е. ОСЕТРОВ, В. СОБОЛЕВ, С. ШУРТАКОВ

Редактор

Л. ЕГОРШИЛОВ

Художник

В. ЗАХАРЧЕНКО

Художественный редактор

Е. АНДРЕЕВА

Технический редактор

В. ФЛИД

Корректор

Т. ЛЮБОРЕЦ

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

ИБ № 1873. Сдано в набор 06.05.83. Подписано к печати 29.02.84. Формат 84×108/32. Гарнитура обычн. нов. Печать офсет. Бумага офс. № 1. Усл. краск.-отт. 91,70. Усл. печ. л. 25,2. Уч.-изд. л. 25,91. Тираж 50 000 экз. Заказ 1864. Цена 2 р. 10 к.

Республиканская ордена «Знак Почета» типография имени П. Ф. Анохина Государственного комитета Карельской АССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 185630, г. Петрозаводск, ул. «Правды», 4

К72 Костромская быль/Сост. В. Хохлов.— М.: Современник, 1984.— 480 с., ил.— («Сердце России»)

В пер.: 2 р. 10 к.

Книга рассказывает о сегодняшнем дне и славной истории Костромской области. Герои сборника — наши современники, труженики города и деревни северного Нечерноземья, их отцы, их славные прадеды, такие, как Иван Сусанин, чей подвиг запечатлен в сердце каждого русского человека.

Замечательной костромской земле, таланту ее мастеров посвятили свои произведения К. Рылеев, Н. Некрасов, Н. Лесков, литератор-историк П. Свинын и другие русские писатели XIX века. Советские поэты и прозаики Н. Тряпкин, С. Марков, В. Корнилов и другие рассказывают о достижениях области, об идущих впереди. Об исторических местах края и памятниках культуры говорят краеведы.

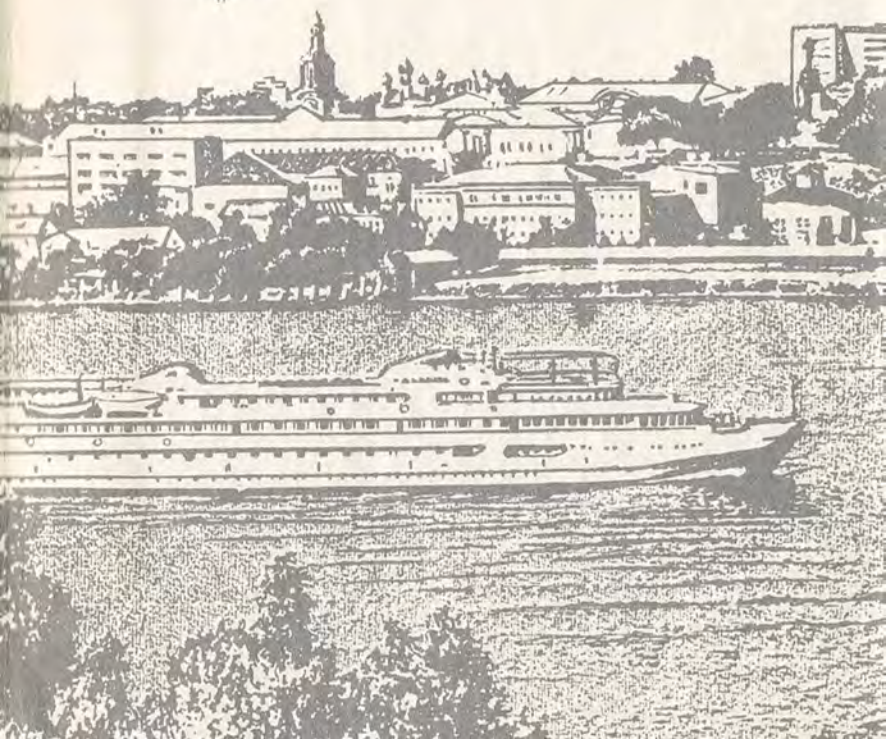
К $\frac{4702000000-088}{M106(O3)-84}$ 4-84

ББК 65.9(2Р34





КОСТРОМА



2 р.10 к.

•СОВРЕМЕНИК•

Blank lined page with horizontal ruling lines.

NOVEMBER
DIMITIS



Blank lined page with horizontal ruling lines.